ПЛОЩАДЬ МИРА

ПЛОЩАДЬ

МИРА

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ МИРА

Литературно-художественный сборник



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1984

ББК 84.Р7
П 39

Составители:

Анатолий Иванович Белинский
Александр Евгеньевич Бранский

Художник
Виктор Коломейцев

П $\frac{4702010200-339}{083(02)-84}$ 107—85

Хочу навек оставить здесь
Все так, как было, так, как есть!
Хочу, чтобы никто не тронул
Обоймы дикие патронов.

Не тронул бы всесильный тлен
Остатков ленты пулеметной
В воде проржавленной, болотной
И вросших в мох блиндажных стен.

И пощадил бы дождь и град
Холма израненного скат,
Траншей великое обилье,
Все то, что было нашей былью,
Все то, что нашей явью было,
Рвалось, стреляло и бомбило.

Хочу, чтоб рощи в страшной муке
Свои израненные руки
Все простирали в вышину...
Чтоб люди помнили войну!

1945

Александр Прокофьев

АВТОРЫ СБОРНИКА

БРОНИСЛАВ КЕЖУН
ФЕДОР АБРАМОВ
АНАТОЛИЙ ЧЕПУРОВ
ЯКОВ ИЛЬИЧЕВ
ПЕТР ОЙФА
ИЛЬЯ ТУРИЧИН
РОАЛЬД НАЗАРОВ
ДАНИИЛ ГРАНИН
ВАДИМ ШЕФНЕР
ГЕОРГИЙ ХОЛОПОВ
ЕЛЕНА РЫВИНА
НИКОЛАЙ ВНУКОВ
ВСЕВОЛОД АЗАРОВ
АНАТОЛИЙ БЕЛИНСКИЙ
ГЕРМАН ГОППЕ
НИКОЛАЙ КОНЯЕВ
МАЙЯ БОРИСОВА
ВАЛЕНТИНА ЧУДАКОВА
РИЗА ХАЛИД
ВЛАДИМИР САВИЦКИЙ
МИХАИЛ ДУДИН
ЭЛЬМАР ГРИН
ВИКТОР МАКСИМОВ
ИВАН ВИНОГРАДОВ
ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ
ИЛЬЯ МИКСОН
ВЛАДИСЛАВ ШОШИН
ИВАН ДЕМЬЯНОВ
СЕМЕН БОТВИННИК
ДАНИИЛ АЛЬ
ТАМАРА НИКИТИНА
МИХАИЛ ПАНИН
АНАТОЛИЙ КРАСНОВ
МИХАИЛ ДЕМИДЕНКО
ПАВЕЛ БУЛУШЕВ
РАДИЙ ПОГОДИН
ГЕННАДИЙ МОРОЗОВ
ВЛАДИМИР НАСУЩЕНКО
СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ
МАРИЯ РОЛЬНИКАЙТЕ
НАДЕЖДА ПОЛЯКОВА
ВАСИЛИЙ ЦЕХАНОВИЧ
ОЛЕГ ЦАКУНОВ
АРКАДИЙ МИНЧКОВСКИЙ
ЛЕВ КУКЛИН
ЕВГЕНИЙ КУТУЗОВ
ЕЛЕНА ВЕЧТОМОВА
ВАЛЕРИЙ СУРОВ
ЭЛИДА ДУБРОВИНА
СЕРГЕЙ ВОРОНИН
АЛЕКСАНДР КУШНЕР
ВИКТОР КОНЕЦКИЙ
АНАТОЛИЙ АКВИЛЕВ
ГЛЕБ ГОРЫШИН
ЮВАН ШЕСТАЛОВ
ЮРИЙ РЫТХЭУ
ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ
ЮРИЙ ПОМПЕЕВ
ИЛЬЯ ФОНЯКОВ
БОРИС НИКОЛЬСКИЙ
ЮРИЙ СКОРОДУМОВ
ЕЛЕНА СЕРЕБРОВСКАЯ
ВОЛЬТ СУСЛОВ

*ЛЕНИНГРАДСКИЕ
ПИСАТЕЛИ,
ПОЭТЫ
И
ХУДОЖНИКИ,
ПРЕДСТАВИВШИЕ
СВОИ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ЭТОТ
СБОРНИК,
ПЕРЕДАЮТ
ГОНОРАР
В СОВЕТСКИЙ
ФОНД МИРА*

АНДРЕЙ УШИН

«Смольный»



БРОНИСЛАВ КЕЖУН

У Смольного

Осеннею октябрьскою порой
В саду горит живой огонь природы.
С багряною и желтою листвой
Балтийский ветер водит хороводы.
Кружась, он гонит листья вдоль аллей —
Круженья быстрота невероятна,—
И листья словно кажутся светлей:
Они горят, как солнечные пятна.
А в небе — только темных туч гряда.
Под ветром плещет алый флаг над Смольным.
И сердце, словно в юные года,
Охвачено волнением невольным.
Как будто долетел издалека
Октябрьской бури хор многоголосый!
Сюда текли, как вешняя река,
Рабочие, солдаты и матросы.
Как будто вновь костры горят во мгле!
Знакомый дом, знакомые ступени...
Ко всей России и ко всей земле
С трибуны в Смольном обратился Ленин.
Он говорил — и Ленину в ответ
Могучий гул взлетал к высоким сводам.
Здесь был подписан ленинский декрет,
Провозгласивший миру: «Мир — народам!»
Два мудрых слова, будто два орла,
Ушли в полет. В них было столько света
И столько человечьего тепла,
Что ими человечество согрето.
Посевы мира на земле взошли,
Ни тленью не подвластные, ни годам.
Теперь гремит во всех концах земли,
Как клятва миллионов: «Мир — народам!»
Октябрьских дней неугасимый свет
Ведет людей, на бой за мир идущих.
Октябрь, Октябрь! Ты — слава давних лет,

Ты — слава наших лет и лет грядущих!
Рожденные великим Октябрем,
Во всех краях Отчизны нашей милой,
О мире думая, для мира мы живем
И песнь свою поем во славу мира!

ФЕДОР АБРАМОВ

Материнское сердце

Рассказ

Ни одного не осталось, все там... А какой лес был! Петя, Ваня, Павел, Егор, Степа... Пять мужиков! Я, бывало, время рожать подходит, не про то думаю, как их всех прокормить да одеть, а про то, как за столом рассадить. Стол-то, вишь, у свекра был небольшой, на себя с хозяйкой да на сына делан, а меня в дом взяли — засыпало ребятами.

Ну, о старших я уж не говорю — тех война съела. На одном году три похоронки получила — вот как по мне война-то проехалась. И Егор тоже через войну нарушился — в плену у германца был. А Степа-то! Мизинец-то мой желанный! Тот уж на моей совести, того я сама упустила... Вот и не просыхаю. Какой уж — двадцать семой пошел, а я все точу себя, все думаю: ох, кабы спохватилась ты тогда пораньше, Офимья, не куковала бы теперь одна на старости. Ложусь и встаю с тем.

Ты когда из дому-то уехал? До войны еще? В тридцать восьмом? Ну, дак Степу-то ты и не помнишь. Я его в тридцать четвертом на беду родила. Все дети у меня хорошие были — ни на одного не пообижусь, а такого не было. Чистое золото! Сколько ему — девяти годков не было: помер,— а мы с девкой не знали дров да воды. Все он. За скамейку станет — самого не видно, только пила зыкает. И за грибами там, за ягодами — не надо посылать, сам бежит...

Вот это-то его старанье и сбило меня с толку. Я уж тогда на него глаза раскрыла, когда он кровью заходил. Как-то раз вышла утром за хлев — не знаю, из-за чего дома до бела света задержалась, так-то все и на работу и с работы в потемках, ребят в лицо по неделям не видишь — вот как мы в войну-то робили, а тут не знаю чего задержалась. Смотрю — на, господи, снег-то в отхожем месте за хлевом весь в крови, и на бревнах тоже кровь намерзла.

Я в избу:

— Ребята, кто сичас за хлев бегал?

Молчат. И девка молчит, и парень.

— Признавайтесь, говорю, неладно ведь у нас. К дохтуру надо.

Тут Степанушко у меня и повинился: «Я, мама».

А я уж и сама догадалась, что он. Парень уж когда, с самой осени, небаской с лица. И день в школу сходит да три лежит. А раз прихожу домой — по сено ездила:

— Мама, говорит, ко мне сегодня птичка прилетала. Я лежу на лавке, а она села на стволочек рамы да клювиком в стекло тук-тук и все смотрит, смотрит мне в глаза. Чего ей от меня надо?

— То, говорю, замерзла она, в тепло просится. Вишь ведь, говорю, стужа-то какая — бревна рвет.

А птичка-то, оказывается, не простая — смертная. С предупрежденьем прилетала: готовься, мол, скоро по твою душеньку прилечу.

В те поры, когда он, Степа-то, про эту птичку рассказывал, я и в ум не взяла: вся устала, примерзла — до птички ли мне? А вот когда я кровь-то за хлевом при белом свете увидела, тут я и про птичку вспомнила.

Побежала к бригадиру.

— Так и так, говорю, Павел Егорович, у меня парень порато болен — дай лошади в район к дохтурам съездить.

А бригадир, царство ему небесное — помнишь, наверно, Паху-рожу,— нехороший человечишко был, через каждое слово матюк:

— В лес, в лес, мать-перемать!.. Чтобы через час духу твоего здесь не было!

— Нет, говорю, Павел Егорович, кричи не кричи, а повезу парня в больницу. Ты, говорю, и правов таких не имеешь, чтобы меня задерживать.

Павел Егорович стоптал ногами, войной меня гнуть: «Я, что ли, войну выдумал?», а потом видит, война не помогает — бух мне в ноги:

— Что ты, говорит, Офимья, опомнись! Парень твой как-нибудь недельку промается, а мне ведь, говорит, за то, что лошадь в простое,— решка...

Я пришла домой, плачу.

— Ребята, говорю, что мне делать-то? Бригадир в лес гонит...

А ребята — что! Разве можно в таком деле ребят спрашивать?

— Поезжай, мама! Надо помогать братьям.

В ту пору у нас еще все живы были: и Петя, и Ваня, и Паша, и Егор.

Ну, поехала. Как не поедешь. Тогда ведь не просто робили, деньгу в лесу зашибали, а лесную битву с врагом вели. Так у нас про лесозаготовки внушали — и взрослым, и школьникам. Терпите! Поможем нашим сыновьям и братьям на фронте...

Ох, что пережито! Теперь начнешь вспоминать — не всяк и верит. Как, говорят, можно целую зиму прожить, и чтобы без хлеба? А мы не видали в ту зиму хлебного — все, до зернышка, на войну загребли. Да и картошки-то было не досыта. Одного капустного листа было вволю. Вот Степа-то у меня через этот капустный лист и простудился, на нем здоровье потерял.

В покров прибегает из школы — как раз в ту пору затайка исделалась, на полях снег водой взялся.

— Мама, говорит, люди на колхозном капустнике лист собирают. Нам бы, говорит, тоже надо.

— Надо бы, говорю, парень, да матерь-то у тебя из упряжки не вылезает.

А вечером-то с работы прихожу — на, изба-то у меня полнехонька листу. Анка сидит с лучиной, в корыте моет. А кто наносил, не надо спрашивать,— Степа. Лежит на печи — только стукоток стоит, зуб на зуб не попадает, начисто промерз. Сам знаешь, каково на осеннем капустнике по воде да по грязи бродить. Да в нашей-то обутке.

И вот сколько у меня тогда ума было. В лесу два сухаря на день давали — радуюсь. Ладно, думаю, нет худа без добра. Я хоть Степу немножко поддержу. Может, он у меня оттого и чахнет, что хлебного не видит... А вернулась из лесу — Степа-то у меня уж совсем худ. Я сухари на стол высыпала: Степа, Степонька родимый! Ешь ты, бога ради, сколько хочешь. Хоть все зараз съешь...

А Степа за сухарь обеими руками ухватился, ко рту поднес, а разгрызть и силы нету.

— Я, говорит, мама, в другой раз.

Ну, я и лошадь не отводила в конюшню. Судите, хоть расстреляйте на месте — повезу парня в больницу!

Не довезла... Одну версту не довезла... Спуск-то перед районом помнишь? Большущая лиственница стоит, комель обгорелый. Ну дак у этой вот лиственницы Степина жизнь кончилась.

Стужа была, мороз, я все одежки, какие дома были, на него свалила, а тут, у листвы, немного приоткрыла.

— Степа, говорю, к району подъезжаем. Можешь ли, говорю, посмотреть-то?

А он сам меня просил: «Мама, скажи, когда к району подъезжать будем». Ребенок ведь! Нигде не бывал дальше своей деревни — охота на белый свет посмотреть.

И вот Степанушко у меня голову приподнял:

— Мама, говорит, как светло-то. Какой район-то у нас красивый...

Да и все — кончился. Так на руках у матери дух и испустил.

Не знаю, не знаю, что бы тогда со мной было, наверно, заревелась бы тут, у лиственницы, а не то замерзла — страсть какой холодина был. Да хорошо, на мое счастье или несчастье, Таисья Тихоновна попалась, председатель сельсовета. Из района домой попадает. Пешочком. Так председатели-то тогда ездили. На своих. Лошадей-то на весь колхоз три-четыре оставляли, а остальных в лес, на всю зиму.

Хорошая у нас была председательница. Бывало, поблажки от ей не жди — в лес там, на другую какую работу сама гонит, а у кого горе в доме, похоронка, чего другое — там уж она завсегда. Первая причитальщица. Бывало, так и говорила: «Нечем мне вам, бабы, пособить, ничего сейчас у Советской власти нету, кроме слез да жалости». Ну и плакала, не жалела себя. А в другой раз, видит, слезой да жалостью человека не пронять, и поругает, побранит. Меня тогда не один день жучила.

— Сколько, говорит, еще реветь будешь? Сыновья на фронте голодные, холодные, может,— рев им твой надо? Не забывай, говорит: ты матерь, да и над тобой мать есть. Всем матерям мати...

Ох, Таисья, Таисья Тихоновна... Сколько годов минуло! Самой уж, наверно, лет двадцать в живых нету. Скоро после войны свернуло — надорвала, видно, на нашем горе сердце, а я все с ней разговариваю — вслух, по ночам. Разговариваю да спорю.

Анна, дочи, проснется:

— Что ты, старуха дикая! Сказано тебе: война Степу съела.

— Да, может, и не война, говорю. Над старшими, говорю, мати не вольна, а малой-от возле меня был. Я недосмотрела.

— Да когда тебе было досматривать-то? Ты в лесу была.

— А что бы, говорю, случилось, кабы я на день, на два позже в лес выехала?..

Анне сказать нечего, да и утром вставать рано (скотницей робит), заорет:

— Да дашь ли ты мне спокоя? Когда у нас это кончится?

Я замолчу — беда, нервенный народ стал, все в крик, все в горло, а про себя думаю: никогда не кончится. До скончания века не кончится. До той поры, покуда материнское сердце живо...

АНАТОЛИЙ ЧЕПУРОВ

* * *

Не думая
Ни о войне, ни о мире,
Заплакал ребенок в соседней квартире.
И вспыхнула лампа в оконном квадрате,
И кто-то склонился у детской кровати.

А ночь рассыпала зеленые звезды.
Был тих на сирени настоянный воздух.
Вокруг — ни трава, ни деревья, ни птица,
Ни ветер в саду, отошедшем ко сну,—
Казалось, никто не посмел бы решиться
Такую сейчас возмутить тишину.
Но плакал ребенок в соседней квартире,
И думать хотелось о жизни, о мире.

АНДРЕЙ УШИН

«Александровский сад»



ЯКОВ ИЛЬИЧЕВ

Бескорыстие сильного духом

Из романа «Турецкий караван»

ЖГУЧИЕ ДНИ

В августе 1921 года нарком Чичерин телеграфировал Нацаренусу — советскому полпреду в Ангоре, нынешней Анкаре:

«...Еще раз повторяю, что мы базируемся не на мимолетных ситуациях, а на длительных исторических силах, поэтому не только не ослабляем наших тесных отношений с Турцией, но, наоборот, усиливаем их. Турецкая национальность не погибнет, и национальное движение достаточно сильно, чтобы в конце концов одержать верх, если даже будут временами капитуляции верхов перед Антантой».

В августе солнце разило все живое на Малоазийском плоскогорье. Будто недостаточно было огня от ружей, бомб. Сабельные вспышки ослепляли солдат. Раскалились склоны холмов, уложенные телами павших.

Греческий король Константин под зонтом въехал в древний Эскишехир, бросил своим войскам клич: «На Ангору!» И вот его авангард уже у реки Сакарьи.

Турецкая пехота вместе с кавалерией весь день двадцатого с криками «Алла!» то и дело бросалась в контратаки против воинов в белых чулках с помпонами — кипело сражение...

Закат обагрился, тут же и погас, фиолетовым стало небо, затянуло торчащий минарет мечети Дуа-Тепе, в селении, где главная квартира турок. Ночь накрыла землю, и оборвались крики, пальба. Тоскливо заскрипели цикады, стало холодно, запахло майораном — душицей, диким чесноком. Глухой голос верховного главнокомандующего Кемаля где-то во мраке:

— Адъютант, подойди! В Дуа не поеду. Ночую в поле...

Это чтобы утром с вершины холма уловить через трубу ход неприятеля. По ступеням Кемаль сбежал в откры-

тый солдатами окоп, лег на тюфяки, взглянул на звезды, дрожащие за воздушными струями. Сказал:

— Разбудить, если телеграмма.

Однако спать еще не стал, закурил. В ночной тиши пришло раздумье... Запад взял за горло железной рукой... Три года как окончилась мировая война и развалилась империя.

...В те дни Кемаль со своей Седьмой армией совершал марш из Палестины домой, дошел уже до Александретты у моря. Вдруг с Босфора глупый приказ маршала Иззет-паши: отдайте англичанам этот город, он нужен им для снабжения Алеппо, отдайте — мы бессильны...

Это значило сдать и армию. Кемаль ответил: списку жертв следует положить конец. Но маршал продолжал увещевать: английский генерал обещал снисхождение, дал заверение джентльмена, ответим любезностью. Скрывая ярость, Кемаль с иронией ответил: «Я чувствую себя лишенным той деликатности, которая, очевидно, нужна, чтобы осознать необходимость любезности». Его, конечно, отстранили от армии, но он успел раздать населению ее оружие.

«Я начал борьбу. Мне помогла Россия. Самим своим существованием. Заявлением Ленина о святости нашей борьбы»,— подумал Кемаль.

Первые атаки Запада были отбиты... Но худо получилось во Фракии: действующие совместно турецкие и болгарские четы оказались оторванными от главных сил и отступили в Болгарию — не получили поддержки от стамбульских аристократов, османов, которые не верят в победу Турции, подавленные богатством и размахом жестокостей Запада.

«Я поступил безошибочно, обратившись с письмом к Ленину,— думал Кемаль.— Но если теперь падет Ангора, то аристократы поладят с Западом,— не будет конца любезностям! — а меня убьют».

— Еще не спишь, верховный? — послышался наверху взволнованный голос старшего адъютанта.— Особая новость!

— Разве дадите уснуть! Что еще случилось?

— Только что векиль наших иностранных дел господин Юсуф передал: Москва посылает к нам главного командующего войсками Республики Украина, его превосходительство Фрунзе. Что ответить?

Кемаль сразу встал с тюфяка, по ступенькам вышел на холод...

Через девять дней полпред Нацаренус телеграфом передал из Ангоры Чичерину ноту векиля иностранных дел Великого национального собрания: согласны с назначением господина Фрунзе, счастливы, примем хорошо, сообщите как можно скорее о времени прибытия господина Фрунзе, а также каким путем он желает следовать.

СВИДАНИЕ С КЕМАЛЕМ

Долгой была дорога. Из Харькова специальный поезд продвинулся сперва до Баку. Фрунзе, член ЦК, осмотрел нефтепромыслы, советовался с руководителями Азербайджана, спрашивал о связях с Турцией. Беседовал с турецким консулом в Тифлисе, выяснял обстановку. Дальше поезд вышел к Черному морю, в Батум. Фрунзе встретился и со здешним консулом, спрашивал о Кемале. Затем инкогнито ночью сел с помощниками на итальянский пароход, утром высадился в Трапезунде. Здесь был обед у губернатора, речи. На другой день Фрунзе принимал бывших белогвардейцев, пожелавших вернуться на родину, разъяснял, разъяснял... Четыре дня крепко штормило, а когда затихло море, Фрунзе на другом пароходе добрался с участниками миссии до Самсуна. Отсюда начался мучительный караванный путь. Четыреста верст то в повозке, то верхом — по ущельям мимо пещер, в которых прятались сепаратистские банды. Ночевал в деревушках, в караван-сараях. Говорил с крестьянами, изучал жизнь страны. Караван миссии обгоняла молва:

— Едет русский паша, алдаш Фрунзе, всем доступен, говорит с простым народом, очень красив, хорош...

Последние девяносто верст пришлись на узкоколейку, пересели в вагончик, то и дело сходивший над пропастью с рельсов. И, наконец, вот она, Ангора, городишко в сердце Анатолии. Добрались, доехали!

Приехали, а Мустафы Кемаля нет — говорят, он где-то на фронте, вручать верительные грамоты пока что некому. Но работа миссии уже началась. Фрунзе знакомился с членами правительства и депутатами меджлиса, принял владельцев газет.

И вот еще что: самую тесную связь установил с послом Азербайджана в Ангоре — Ибрагимом Абиловым, подружился с этим милым, славным товарищем, работали вместе. Были уже неразлучны, когда появился Кемаль.

Кемаль зависел от воли Национального собрания, оно

же — разноголосо: семьдесят купцов, пятьдесят мулл, пятнадцать адвокатов, двенадцать офицеров, только два полупролетария...

Вокруг конака было больше обычного пехотинцев и верховых. Ходили лазы, вооруженные, стройные, в черном. Лошади стояли в садочке напротив. На дорогу ложились резкие тени от экипажей.

— Мустафа уже здесь,— определил Фрунзе.

У воротец ждал посла начканцелярии:

— Пожалуйста, пожалуйста! С удовольствием... Гази у себя.

Внутренняя деревянная лестница скрипела в полутьме, как переборки на корабле в бурю. На втором этаже было светло. В конце коридора начканцелярии широко распахнул дверь в большую комнату со стульями у стен. Вошли, и сразу же открылась противоположная дверь, вошел человек с бородой заступом — коминдел Юсуф. Степенный, а глаза напряжены. Оглянулся — позади послышались твердые быстрые шаги. Не было сомнений: шел Мустафа Кемаль.

На пороге он на мгновение стал и тотчас двинулся плечом вперед. Прямо смотрел на Фрунзе из-под косматых рыжих бровей, которые перепутались с рыжим мехом папахи.

«Договоримся»,— подумал Фрунзе, увидев впалые щеки, суровые глаза. Все слышанное о нем, дух телеграмм Кемаля в Москву — все, казалось, совпадало с его внешним обликом.

Фрунзе сделал несколько шагов навстречу, остановился:

— Господин Председатель Великого национального собрания! Правительством Советской Украины я уполномочен провести в Ангоре переговоры, подписать договор о мире и дружбе, подтвердить стремление всех советских республик укреплять доброе соседство... Освободительное священное дело турецкого народа, его революционного правительства поддерживается нами... Передаю привет и пожелание успехов Собранию и лично вам от Председателя Совета Народных Комиссаров России Владимира Ильича Ленина и правительств всех республик. Я и прибывшие со мной сотрудники надеемся на ваше содействие в выполнении возложенной на нас миссии...

Взяв из рук секретаря конверт, опечатанный сургучной печатью, Фрунзе передал его Кемалю. Во время пе-

ревода речи Фрунзе Кемаль, глядя угрюмо и пристально, кивал. Склонил набок голову под огромной папахой. Но его угрюмость не была неприятной. За нею угадывалась лежащая на его плечах тяжесть войны в разоренной стране. Все, что он делал, все, что говорил людям, подчинялось войне: помогаешь мне или врагу? Приезд Фрунзе мог послужить победе. Угрюмость Кемаля не испортила встречи. Без улыбки, грозно ощетинив усы, Кемаль взял конверт, сказал, однако, с неожиданным оттенком ласки, глухо и гортанно, по-турецки, на «ты»:

— Спасибо тебе... Совместными усилиями мы достигнем нашей цели... Турция искренне благодарит Россию за братскую помощь и скажет об этом еще не раз...

Обменялись рукопожатиями. Кемаль рывком передал адъютанту конверт с верительными грамотами. И, снова пожимая руку, положил другую на плечо собеседника. Фрунзе представил главе государства своих советников — Дежнова и Андерса.

В соседней комнате был накрыт стол. Фрукты, минеральная вода и сигареты. Уселись. Кемаль закурил. Подали кофе, чай. После коротких взаимных вопросов о здоровье, о дороге Фрунзе открыто сказал:

— Когда я проезжал Закавказье, то ощутил сильное беспокойство населения: люди опасаются, что снова вспыхнет война...

Кемаль сожалеюще покачал головой, и оттого, что не снял свою высокую папаху, это движение получилось размашистым, слегка потешным. Фрунзе продолжал:

— Такую же тревогу я услышал и на турецкой земле — в Трапезунде, Самсуне. Но услышал и приветы простых людей: «Мы рады, что ты здесь».

Длинными, нервными пальцами Кемаль время от времени прикрывал тяжеловатый подбородок, будто стирал улыбку. В этом неожиданном, безотчетном жесте была непосредственность. Он ответил:

— Тревога — результат крика западных газет о ненужности нашей дружбы. Но я искренне и твердо сообщаю тебе, что не поддаюсь воздействию удушающего западного ветра. Все прояснится...

Фрунзе горячо заговорил о том, что, если бы правдой была клеветническая злостная писанина западных газет об угрозе новой Турции со стороны красных войск в Закавказье, он, военный, находился бы там, с ними, а не здесь, в Ангоре, имел честь видеть вождя борющихся турок. В августе, когда двинулись королевские войска и

казалось, что Ангора вот-вот падет, Россия и Украина перед всем миром заявили о поддержке, о том, что Украина направляет в Ангору посла. Как и другие республики, Украина идет на жертвы, шлет в Ангору эшелоны с винтовками, тяжелыми и легкими пулеметами, орудиями, снарядами, радиостанциями, с телефонным проводом, с медикаментами. Миссия передала правительству Кемаль-паши золото и завод боеприпасов. Он, Фрунзе,— один из командиров единой Красной Армии, и его слово — это слово всей Советской страны. Единение и мир, мир постоянный, крепкий, равноправный,— другой политики Страна Советов не знает.

Мустафа Кемаль наклонил голову, покрытую папахой:

— Никогда не забуду, что сделала для нас Россия...

Фрунзе сказал:

— Оторванность, плохой телеграф и неосведомленность — это можно преодолеть. Труднее пересилить тех, кто становится между нами.

Кемаль, глядя прямо в голубые глаза посла, произнес раздельно, слово за словом:

— Это не будет позволено никому! Я пошлю письмо Ленину: мы никогда не утвердим соглашения, прямо или косвенно направленного против России... Каково сейчас ее военное положение?

Оказалось, что Кемаль анализировал ход операций Красной Армии против сил Колчака, Деникина и Врангеля, знает о стратегии и тактике сторон на Перекопе и Сиваше. Даже о тактике Махно. Лучше всего — о действиях конницы Буденного. Откуда знает? Кемаль ответил:

— Турецкие офицеры горячо заинтересовались Октябрьской революцией и вооруженной борьбой в России... Ведь белая гвардия соединилась с иноземцами, изменила нации? Мы были уверены, что русская нация, объединив все народы России, победит. Сто пятьдесят миллионов при отличном руководстве большевиков победят.

Глаза Кемаля потеплели.

Фрунзе рассказал, что видел, кого встретил в дороге. Спросил:

— А как относится к нам большинство в Собрании?

— Надо помнить,— сказал Кемаль,— что самое первое его постановление — это направить в Москву делегацию... А когда я сообщил Собранию, что Советская республика обещает нам винтовки, пушки, то началась ова-

ция, послышались возгласы: «Браво!» Это настроение, надеюсь, не поколебалось.

— Турецкий народ хорошо встречал нас в пути...

— Знаю, однако вас огорчили некоторые эпизоды...

— Нас огорчило уже в Ангоре,— сказал Фрунзе,— долгое отсутствие ваше, Мустафа, и коминдела Юсуфа.

— Мы уехали с некоторым расчетом,— кротко улыбнулся Кемаль, покосился на Юсуфа.— Чтобы выявить намерения... третьей стороны. В результате усилилось желание Собрания говорить с тобой. Получилось хорошо.

В ответ на предложение Фрунзе обнародовать его новое широкое заявление Кемаль твердо сказал:

— Сегодня же приходи на вечернее заседание!

Этой фразой Кемаль отрезал себе путь назад. Отношения с оппозицией теперь обострятся. Впрочем, и так и так... Это неизбежно, как и решающая битва на фронте... Кемаль поднялся из-за стола:

— Не прощаюсь. Первым пойдет твое заявление... Председательствовать буду я...

Этот голубоглазый сказал что-то, кажется, о порядке предстоящих переговоров. Но Кемаль неясно расслышал, занятый мыслью о том, как поведет себя Собрание.

ОТКРЫТОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В комнате, примыкающей к залу, толпились члены президиума, правительства, председатели комиссий. Завидев Фрунзе, Кемаль подошел, взял его за руку:

— Пойдем, познакомлю... Это Хюсейн Рауф, наш сотрудник...

У Рауфа большая и грубая рука, рукопожатие преувеличенно крепкое и с поворотом: кажется, еще усилие — и сломает пальцы Фрунзе.

Кемаль подозвал военного с усиками кончиками кверху, как у кайзера Вильгельма и Энвера.

— Это векиль национальной обороны Рефет-паша, ценит русские винтовки...

Стройный, немного томный человек. Мягкое, почти женственное рукопожатие. Вспомнив рассказы Абилова, Фрунзе подумал: «Если что, от этих двоих пощады не будет».

В приоткрытую дверь видны школьные парты, занятые депутатами. Кемаль указал на старца, сидевшего у самой кафедры:

— Это Мюмтаз. Пойдем познакомлю... Он участво-

вал в Сивасском революционном конгрессе в девятнадцатом... Раньше служил в почтово-телеграфном департаменте... Сейчас стар, мало работает, но уважаем.

Старик обрадовался подошедшим, стал звать Фрунзе к себе домой в гости. Депутаты в зале смолкли, прислушиваясь, все смотрели на Фрунзе. Похоже, что на это и рассчитывал Кемаль. Возле него вдруг оказался какой-то пехотный офицер. Кемаль представил его:

— Ты всех знаешь, расскажи его превосходительству Фрунзе, кто при чем. А я пойду скажу... несколько необходимых слов... кое-кому.

И подошел к Рауфу.

Фрунзе следил: Кемаль о чем-то настойчиво говорил то с одним, то с другим векилем. Резко поворачивался. Рауф держался возле. Тут же степенный Аднан — второй председатель. Кемаль, по-видимому, резко что-то сказал, все подтянулись. Рефет опустил умные глазки. Да, в каждом сердце и жар и холод. Фрунзе вдруг услышал высокий голос Рауфа:

— Пора начинать! — Рауф двинулся в тихо гудящий зал, прихватив за рукав Аднана.— Прошу, господа, пожалуйста,— хмурился Рауф, уже стоя на пороге.— Начинаем.

— Постой! — окликнул его Кемаль.— Первым пройдет гость.

Зал зааплодировал. Кемаль сказал Рауфу:

— Иди в первый ряд, садись и Аднана усади... Не жалей ладоней, приветствуя этого... И чтобы все видели.

Мустафа Кемаль прошел затем к столу, так же как и в комнате президиума, покрытому черной скатертью, обратился к залу:

— Уважаемое Собрание! Сегодня мы счастливы принять прибывшего к нам выдающегося деятеля. Господа, от вашего имени я прошу его превосходительство Фрунзе сказать свое слово.

Под шум аплодисментов Фрунзе с папкой в руке вышел к светло-коричневой, с затейливыми карнизиками кафедре. Возле нее висела на стене лампа — крепко несло керосином. Сразу же подошел и Абилов в меховой своей низкой кубанке.

Фрунзе провел ладонью по волосам, глянул в зал. Колыхались фиолетовые фески чиновников. Но больше всего сидело за партами ходжей и мулл. В полутьме белели их круглые чалмы, и зал казался вечерним

лугом, заросшим местами пушистыми одуванчиками. Фрунзе понял, почему Кемаль после победы на Сакарье сказал в этом зале: «Аллах помог!..» Тишина... Многие — из мест, разоренных врагом. Их можно растрогать: они все же беженцы, хотя у власти и богаты.

— Сила птицы — в крыльях, сила человека — в братстве,— начал Фрунзе, и едва успел Абилов перевести, как послышались аплодисменты. Фрунзе продолжал: — Я привез вам привет от Украины и от всех народов Страны Советов, включая армянский, который по совету Ленина свое оружие уступает вам, стремящимся выкинуть хищников из своей страны. Сакарийская победа вызвала у нас большую радость...

Снова аплодисменты, заколыхались чалмы. Фрунзе продолжал:

— Много общего в истории советских республик и революционной Турции. Однако не будем скрывать, что наши добрососедские отношения подвержены многим опасностям. Враги пытались огнем и мечом стереть с лица земли турецкое государство, но натолкнулись на героизм турецкого народа, сплотившегося вокруг Великого национального собрания. Враги убедились в силе турецкой нации. И вот теперь они стараются изменить характер своих действий. Они начинают играть роль льстивых друзей и доброжелателей. Но, как говорит турецкая пословица, вместо соловья ворону продают. Все для того, чтобы подорвать дружбу между Турцией и советским правительством — эту единственную гарантию целостности и независимости Турции. Теперь враги настойчиво толкают Турцию на выступление против советского правительства, стараются под маской дружбы достигнуть цели, добиться которой им не удалось применением оружия. Но мы уверены, что правительство и народ Турции, которые перенесли так много испытаний и получили столько уроков политической истории, не будут обмануты уловками и интригами наших общих врагов...

Фрунзе смотрел в зал, когда переводил Абилов, и чувствовал, что хорошо слушают.

— Как вредоносных жучков, враги питают деятелей, подтачивающих нашу дружбу, чтобы снова воевать на Кавказе... Турцию бросают себе под ноги... Но мудрость народов уже давно не верит хищнику льву, когда он мурлычит, что идет на Восток слушать сказки Шехеразады и выращивать цветы... Противники добрососедст-

ва имеют шанс одуматься... Каждому свой очаг дорог. Путь новой Турции — через доброе соседство и независимость — к счастливой жизни ее сынов и дочерей. От древней сохи — карасапана, от горных кочевий, от ручного промысла, от голодного прозябания и неграмотности — к светлому электричеству, к машинам и национальной культуре, к развитому земледелию и скотоводству, к дружбе племен...

Фрунзе уловил в дыхании зала отзывчивость, внимание. И когда он желал счастья народу, восставшему против грабителей, когда осуждал кровавые проделки империализма, считающего Турцию «больным человеком», доживающим свои последние дни, а Россию, Украину, Персию, Китай — достойными лишь рабства, когда горячо призывал к крепкому советско-турецкому союзу,— он слышал, как стучит сердце, мысленно видел картины неутихающей битвы, и то, что было в дороге,— и голодный Харьков, и серые пирамиды заготовленной соли в Сиваше, соли, которую требовал, просил и снова требовал собрать Ленин, чтобы обменять ее на хлеб... Фрунзе вглядывался в лица депутатов и почти был уверен, что его заявление дойдет до сердец, «селям» примут...

Мустафа Кемаль стоя аплодировал Фрунзе, покидавшему кафедру. Речь русского вызвала продолжительные аплодисменты зала, приветственные возгласы. Это обстоятельство следовало сполна использовать, и Кемаль уже принял чрезвычайное, может быть неожиданное и для него самого, час назад еще невозможное решение. После он скажет о нем в ответной речи... Размягченным, внешне ленивым шагом Кемаль прошел и ступил на кафедру:

— Ваше превосходительство посол! С глубокой радостью я принимаю славного и храброго главнокомандующего... От имени народа я благодарю Украину за симпатию к нам, за солидарность с нами в нашей священной и справедливой войне... Турки, подвергшиеся самым яростным атакам колонизаторов, знали, что по другую сторону Черного моря живут народы, ведущие бой насмерть против таких же алчных устремлений извне... Мы уверены, что Турция, подобно России и Украине, также освободит свои горы и плоскогорья, заставит признать ее независимость. Я благодарен за то, что

вы дали столь блестящее подтверждение своей солидарности, заявив в этот жизненно важный для нас час, что интересы наших стран совпадают... Украинское правительство послало к нам в вашем лице одного из своих крупных руководителей. Нас тронуло, что решение о вашем приезде в наш правительственный центр было сообщено нам в момент, когда враг уже считал нас повергнутыми и хотел уверить в этом весь мир.

Ваше превосходительство посол! Я надеюсь, что наши связи никогда не ослабеют... Я спешу заверить вас, что сбросившие иго царизма русская и украинская нации могут быть во всех случаях уверены в истинной неколебимой дружбе турецкой нации. Я немедленно сообщу народу о вашем приветствии и вашей высокой оценке наших усилий. Турецкая, как и Красная, армия вынуждена в условиях величайших лишений выполнять свой священный долг защиты чести и независимости нации, решившей победить, чтобы не погибнуть. Любовь к нам ваша и восточных стран освещает понимание, что Турция в Сакарийской битве проливала кровь за счастье всех народов Востока. Еще раз благодарю за уверенность в нашей окончательной победе...

Овация, но Кемаль уже не здесь — тут дело сделано. Вернувшись за черный стол, он передал председательствование Аднану и увел Фрунзе в свой кабинет.

— Завтра вечером состоится специальное совещание генштаба. Приглашаю тебя принять участие. Приезжай!

«Что он придумал? Какой это знак? — подумал Фрунзе. — Видимо, неплохой. Что бы то ни было, а разговор с военными — это важно».

ВОЕННЫЕ СЕКРЕТЫ

Большая комната, длинный стол с белеющими листками бумаги. На краешке — поднос с чашками. До полу свисает карта турецких горных фронтов. Группками стоят офицеры, уже начали рассаживаться.

Фрунзе увидел Февзи с его запорожскими усами. Тот поднялся, приветствуя, познакомил гостей с полковником Кязимом, человеком в кубанке, надетой набекрень. Он уже везде повоевал — на Кавказе, в Сирии и Курдистане...

За дверью послышались уверенные шаги. Фрунзе поднял палец:

— Это Мустафа!

Да, Кемаль. Он вошел со старшим адъютантом Джевадом Аббасом, только что вернувшимся из командировки в Германии, потом в Австрию и Болгарию.

Андерс снял папаху, распахнул шинель — хорошо чувствовал себя, как дома. Абилов оживленно переговаривался со знакомыми офицерами. Векиль национальной обороны Рефет сидел напротив Фрунзе, чуткий, настороженный... Изысканно внимателен, но Фрунзе уже знал, кто он.

Февзи поблагодарил всех за то, что явились, и сейчас же послышался глухой, с хрипотцой голос Мустафы... Никто никогда не смог бы предугадать, с чего начнет свою речь Мустафа Кемаль — с сотворения мира аллахом или с того, что видел вчера проездом через базар. Сейчас он начал с воспоминаний о Сакарийской битве. К чему поведет?

— Господа! Каково лицо нашей великой победы? Ответ на этот вопрос имеет значение. Важны факторы субъективные и объективные. Враг открыл бешеное наступление. Пятнадцать дней и ночей лилась кровь. Нам нужно было выиграть время. Я распорядился оторваться от армии неприятеля, разрешил отступить даже к северу от Сакарьи: преследуя нас, враг растянет линию этапов, мы же соберем свои силы, хотя и велико будет потрясение Собрания...

В этом месте доклад Мустафы принял новый оттенок — политический, и Фрунзе понял, что это-то — в нем главное. В Собрании возбуждение, крики: «Куда идет армия, куда ведут народ? Где ответственный?» Часть депутатов убеждена, что армия разбита, дело погибло.

— Они хотели, чтобы я сам погиб, находясь во главе армии, которая уже будто разложена,— продолжал Кемаль.— Другая часть депутатов, к счастью большая, искренне желала видеть меня во главе армии и верила в победу... Его превосходительство Февзи-паша был и начальником Генерального штаба, и векилем обороны. Лучше пусть сосредоточится на делах штаба. Так мы и сделали... В таком случае Рефет-пашу следовало выдвинуть на освободившийся пост...

«Ага! Значит, он вояку Рефета просто отодвинул — подальше от фронта»,— подумал Фрунзе и далее будто свои мысли услышал.

— Я не признаю теории защиты фронтовых линий,— говорил Кемаль.— Линии фронта не существует, объект

обороны — территория, а это вся страна. Ведь так было и в России? — повернулся Кемаль к Фрунзе.

Абилов тотчас перевел ответ Фрунзе:

— Именно так. Исключение — лишь Сиваш и Перекоп в конечной стадии. Нас всегда занимали моменты сосредоточения сил и направления удара, когда бы главные силы противника оставались в бездействии. Это огромный выигрыш. Несомненно, что и Турция это может.

Кемаль немедленно отозвался:

— Спасибо, ваше превосходительство, за это ваше мнение. Мы его принимаем... Итак, нам удалось истребить большие силы, лишить врага наступательной мощи. И тогда мы перешли в контрнаступление. Правым крылом мы стали отрывать от реки Сакарьи левое крыло врага... Эта битва продолжалась двадцать два дня и двадцать две ночи.

Кемаль сцепил пальцы за спиной, выпрямился:

— Армия выполнила свой долг! Однако победа была достигнута поголовным участием народа в битве, его бесконечными жертвами. Народ не только послал на битву своих сыновей, но и все свое имущество отдал. Господин Фрунзе! Вот мои приказы о реквизициях накануне Сакарьи. Господа советские делегаты, убедитесь, что я догола раздел страну,— Кемаль подал Абилову папку.— Читай, Абилов, и переводи!

Эти исторические приказы о реквизициях отличались чрезвычайной полнотой. У торговцев, у всего населения изымалась половина всех товаров, продовольственных и ремесленных.

Мобилизованы были все, взято было все.

— Для новой битвы больше нечего брать,— сказал Кемаль.— Склады пусты. Западные пути для нас отрезаны... Я могу отдать свою жизнь в предстоящем сражении, но этого будет недостаточно для победы. И мы с надеждой смотрим на Россию...

Кемаль быстро прошелся, закурил, затянулся и помальчишески спрятал руку с папиросой за спиной.

— В Собрании есть течение, враждебное армии. «Почему, говорят, после Сакарьи больше не наступает? Должна наступать, хотя бы на одном участке». Но мы против такого наступления. Мы за подготовку решающего.

Кемаль подошел к карте, показал стеком:

— Сегодня фронт растянулся от Мраморного моря

до Меандра. По численности мы не уступаем грекам. Но нет пулеметов, орудий, аэропланов, транспорта, амуниции, радиостанций. У неприятеля все есть, он свободно использует промышленность всего мира. У нас — ничего. Как будем выходить из положения?

Поднял глаза хитрый Рефет. Ошеломил:

— Пусть Россия двинет свою армию. Дело в том, что первый наш противник не грек. Победив его, мы все же не достигнем цели. Нужно победить... Англию.

«Вот тебе и на,— подумал Фрунзе.— Бредит?»

Тихим, журчащим голосом Рефет продолжал:

— Против короля оставим заслон. Главными силами нападем на Восточную Месопотамию. Вот где нужна, господин Фрунзе, помощь русской армии. Она также где-нибудь нападет...

— Вы, господин Рефет, оказывается, полноценный империалист,— тут же ответил Фрунзе. Все засмеялись, когда Абилов перевел эту фразу.— Хотите и Советскую Россию втянуть в империалистическое дело?

Рефет покорно склонил голову набок.

Февзи иронически заметил, что векиль обороны хочет превратиться в векиля расширения государства. Полковник Кязим объяснил оторванность Рефета от сути вещей: давно не был на фронте. А Кемаль проговорил так, будто Рефет отсутствовал:

— Его бессмысленные рассуждения, конечно, не могут быть приняты нами благосклонно.

С Рефетом было покончено. Февзи заговорил об источниках получения оружия — это лишь Россия, судьба Турции зависит от России.

Фрунзе понял, что от французов Кемаль ничего пока не получил. Другой офицер назвал количество хомутов и повозок. По знаку Кемаля офицер, сидевший рядом, дал справку о запасах продовольствия, и было ясно, что в случае плохого урожая — катастрофа. Оружейник назвал, какое снаряжение дадут свои рабочие, мастерские, гильзонабивной завод; назвал, сколько в Анатолии кузнецов.

Кемаль четко повернулся к Фрунзе:

— Мы намеренно открываем тебе все тайны. Это — свидетельство полного доверия к тебе... Я назову средства, какие нам нужны для усиления и развертывания армии, для получения перевеса над противником...

Взял из папки листок, ровным глухим голосом зачел беспощадные цифры: нужны 100 000 винтовок с тыся-

чью патронов на каждую, 600 пулеметов, 3500 автоматических ружей, 20 тяжелых гаубиц, 12 легких гаубиц, 84 полевых орудия, 120 горных орудий, 600 000 снарядов, 400 000 ручных гранат, 150 000 комплектов обмундирования для новобранцев.

Аккуратно вложил листок в папку, связал тесемки:

— На приобретение всего этого потребуется пятьдесят миллионов лир. Я открыл тебе такое, что не сообщалось депутатам Собрания, ибо многие из них — люди слабой души. Теперь ты знаешь все о нашем положении. Дадим и новые сведения. Дело обстоит так: если до весны не добудем военных средств, то придется искать выхода в дипломатии. Знаю: соглашение с Западом — кабала. Я этого не хочу. Но ситуация может оказаться сильнее нас. Я все сказал потому, что хочу быть искренним с Россией до конца. И хочу знать ее слово.

Наступила тишина. Все ожидали слова Фрунзе. Волнение мешало ему начать. Передвинул карандаш на столе. Опустил голову... Чувство симпатии к этим людям, особенно к этому сильному и, видимо, живущему на пределе напряжения человеку — Мустафе, диктовало утешительный ответ, щедрое обещание. Но такое обещание Фрунзе не мог позволить себе: решит только Политбюро... Как видно, угрожающего союза между Турцией и Францией все же нет, а своевременная помощь исключит его наверняка, исключит угрозу. Помочь, помочь во что бы то ни стало! И он поднял глаза:

— Господин маршал, господа офицеры! Мы отдаем себе отчет, что наступил критический момент — жизнь или смерть, смерть или жизнь. И верьте: в нашей восточной политике нет и не будет перемены. Симпатия к новой Турции остается непоколебимой... Недодача обещанных сумм объясняется лишь небывалым положением... Ранняя весна, засушливый май, ветры пустыни, в Саратове — температура Египта. Страну постигло библейское бедствие. Сгорел хлеб в самых плодородных областях. Пал скот. Голодает двадцать два миллиона человек — в Поволжье, Дагестане, Азербайджане, в Татарской республике, в Крыму. Люди грызут мерзлую землю, сходят с ума. Прилагаются огромные усилия — спасти людей, засеять поля. Мы пытаемся купить хлеб, если заграница нам продаст, если Антанта пропустит хлеб в Россию. Оружие, все, что возможно, передается вам и будет передаваться, коль скоро Турция продолжает справедливую войну. С деньгами же, с золотом

труднее — нужно попытаться купить хлеб. Тем не менее заверю: будет сделано все возможное. Текущей ночью, буквально через час-два, отправляю через Тифлис в Москву телеграмму... Победа новой Турции поможет и нам отбиться от наступлений капитала, который каждую минуту готов вновь открыть фронт, рад нашему голоду, хочет использовать его, чтобы нас задушить.

ТЕЛЕГРАММА В МОСКВУ

Еще несколько дней и ночей деловых переговоров, приемов, подписания документов — и вот уже уезжать: все закончено в Ангоре, где работали полных три недели!

...Кемаль поднялся рано утром. Мелькнула мысль, что Фрунзе еще в Ангоре, можно вновь повидать его. И вдруг адъютант доложил, что русский, известили, вот-вот прибудет — наверно, хочет попрощаться. Кемаль обрадовался.

Приезд Фрунзе — это была серьезная удача. Само известие о его назначении, обнародованное, оказалось добавочным к Сакарийской победе толчком, который кинул в Ангору французских дипломатов с предложением новых уступок. Это известие в тяжкие дни подняло дух и Собрания, и солдат. А потом, когда Франция предложила военный союз, компромисс с Англией и отход от русских, то уже можно было твердо сказать ей: «Нет!» Отброшена и оппозиция, шумевшая, что от Москвы нет пользы и надо смотреть на Запад. Наконец, самому оказалось можно передохнуть — возникло чувство, что встретил близкого.

За окном послышался стук колес. Адъютант сказал: «Это он».

Вот они, неразлучные Фрунзе и Абилов! Кемаль ласково усадил их на сафьяновый диванчик перед овальным столом на резных изогнутых ножках, сам сел напротив.

— Догадались, якши,— сказал он и крикнул в соседнюю комнату: — Фахрие, пожалуйста... самого вкусного!..

Словно озорничая, сбросил с головы феску, обнажились реденькие, рыжеватые, пушистые, как у младенца, волосы.

— Итак, завтра?..— Глаза вдруг стали острыми.— Узкоколейкой не пользоваться!..

— Да, я люблю седло,— сказал Фрунзе.— Лучше видна тропа. Люблю седло!

— Седло? — о чем-то подумав, переспросил Кемаль.— Прости ты, товарищ Фрунзе, и ты, Ибрагим, выйду на минуту...

— Он пришлет вам, Михаил Васильевич, подарок — седло! Украшенное! — догадался Абилов.

На стене над письменным столом Кемаля висела фотография Фрунзе в гимнастерке. Абилов сказал:

— Портрета Буйона я тут не видел. Вас Мустафа уважает.

— Московскую политику!

— А политика — это же люди!

На большом столе лежали подарки Кемалю. На стене висел золотой кавказский кинжал с надписью: «Память от Азербайджанского рабоче-крестьянского правительства герою турецкой революции М. Кемаль-паше».

По ковру неслышно вошел Кемаль, сел.

— В Москве передай Ленину, Чичерину и Калинину: Мустафа прежним остался.

— Все будет прекрасно, Гази! Ленин поможет.

Кемаль встал, прошелся:

— Сколько мне осталось жить? Наверно, немного. Болезнь почек, плохая печень. Но я, передай, кое-что успею... Большие изменения будут у нас. Эта нелепая феска, дикие привычки, суеверия, неграмотность... Нищета! Крестьяне живут в пещерах. Много будет перемен!

— Если поднять народ, то все достижимо,— сказал Фрунзе.

— Мустафа,— сказал Абилов,— только крестьянин — пастух, землепашец — может обеспечить победу.

Кемаль отозвался:

— Мы немного помогаем хлебопашцам и пастухам, чуть-чуть. Это дело будущего, когда победим. Народ! С ним говорим через Национальное собрание. Оно — существо с тремя головами. Одна из них говорит: религия — волшебный меч, завоюет и Запад и Восток. Хочет восстановить власть султана. Это — духовенство, чиновничество, крупная буржуазия...

Кемаль, упорно глядя, подождал, пока Абилов переведет.

— Вторая голова смотрит на Запад. Рассчитывает: дольше война — больший торговый застой, необходимо сейчас же соглашение с Антантой любой ценой, при лю-

бых жертвах. Но есть третья голова. Это халкисты — народники, стоящие за власть народа. Эта голова смотрит на советские республики. Главная голова! Понимает: соглашение с Западом допустимо лишь при условии дружбы с вами. Понимает эта голова: империалисты Запада по рождению враги, у волка из пасти кости не отнимешь. Настоящими друзьями не будут. Соглашение с ними — ни под каким видом в ущерб братству и дружбе с советскими республиками. Империалисты — постоянные враги. С ними не может быть никогда устойчивого соглашения. Эта идея есть и будет, пока я жив, руководящей в меджлисе. Эту идею провожу я. Эта третья голова — моя!

Фрунзе заговорил о партии, что повела бы страну. Кемаль тотчас отозвался:

— В скором времени призовем турок в Народную партию! Будет! Она построит новое турецкое государство. Без султана и без халифа. Но прошу вас не говорить об этом пока никому. Многие еще не могут представить себе Турцию без султана.

Фрунзе было жаль, что этому человеку, в сущности доброму, отзывчивому, не жалеющему себя, приходится и суровым быть, и дипломатом, и таиться. Он шел под ядовитыми стрелами клеветы, зависел от многих грозных обстоятельств, от зла, опирающегося как на законы шариата, так и на услуги иностранных агентов.

— Борьба Востока — освободительная, национальная — на разрыв цепей империализма и средневековья,— сказал Фрунзе.— Следовательно, обретя в борьбе государственную независимость, любая страна станет в своих отношениях с миром добиваться и экономической независимости. Устранение режима капитуляций, я полагаю, только начало. Острый глаз различит, что уважение, что — приманка и капкан, новые цепи и кабала!

Кемаль, было видно, слушал сосредоточенно, глаза сузились, брови сдвинулись. Нет, не миражи вставали перед ним...

— Да, мы будем об этом думать. Пройдет немного времени, мы победим, и тогда вы услышите: в Турции зародилась государственная доля в хозяйстве. Государственный сектор — это будет большое дело. Постепенно подойдем к нему.... Не спеша.

За окном потемнело, как перед грозой. Пора идти

укладывать вещи — утром отъезд. Поднялись. Прощаясь, Фрунзе крепко жал руку Кемаля:

— Если не увидимся больше... Хотелось бы, Гази, чтобы в вашей и в душе Турции не осталось и тени сомнений. Наш вождь, учитель трудящихся, обращаясь к жителям Кавказа, выразил уверенность, что они приложат все усилия для установления братской солидарности между трудящимися Армении, Турции, Азербайджана — всеми...

— Да будет так!— сказал Кемаль.— Не устану повторять: Турция с уважением говорит Ленину: «Чок-чок тешеккюр эдерим».

— Большое, большое спасибо,— перевел Абилов.

— Значит, так?..— сказал Фрунзе, не отпуская руки.

— Еще раз прошу, брат, передай: пока я жив, никому не удастся поссорить нас. Еще и еще раз благодарю, еще и еще буду благодарить за помощь, за сердце, отданное Турции. Эйваллах, до свидания, товарищ, прощай!

ПЕТР ОЙФА

К XX веку, ступившему на свою финишную прямую

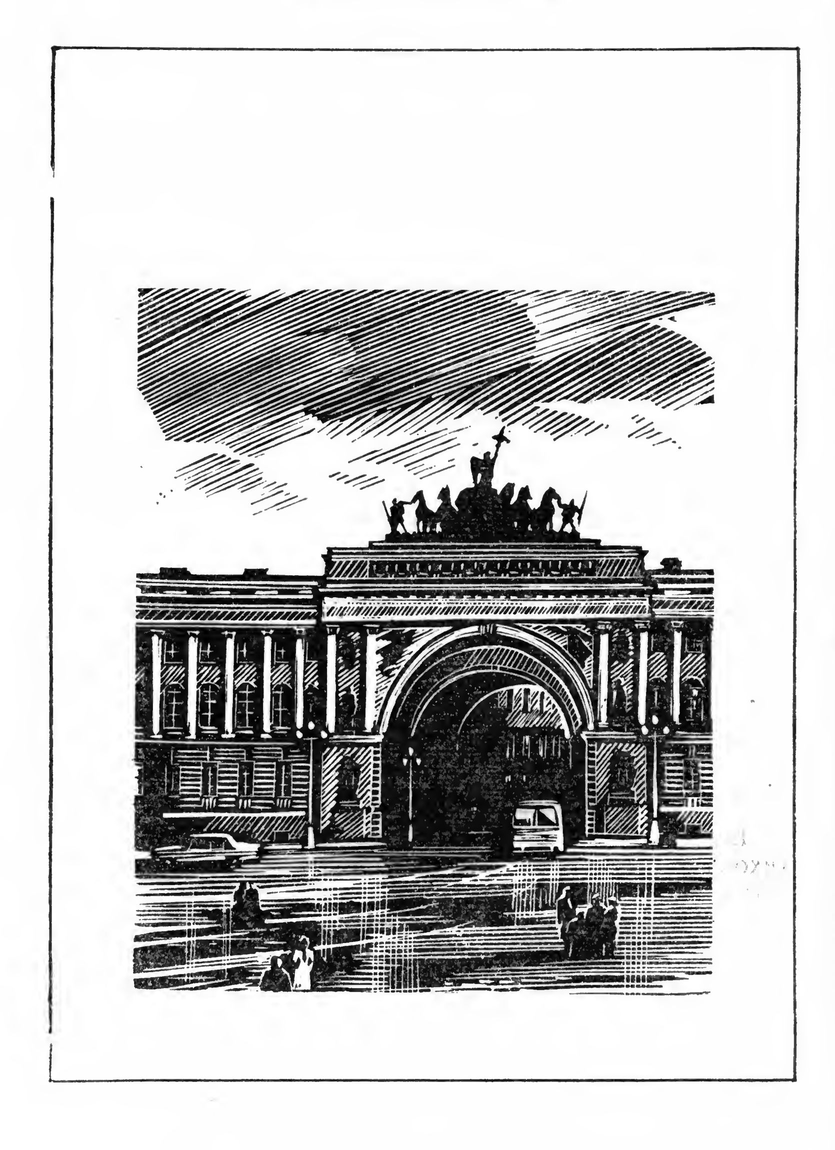
Монолог современника

С младенческой поры передо мной воочью
Горячий пепел жжет плоды трудов земных —
И стал твой каждый день как бы беззвездной ночью
Бессчетных войн, убийств и вероломств твоих!

Освенцимы и лжи стальные телебашни,
Прожекторных плетей секущий небо свет!
Сегодняшний твой день похож на день вчерашний...
Как страшен, говорю, мне твой автопортрет!
Как страшен, повторю...
Но в мире есть Россия —
Отчизна мира, щит его и меч!
Лишь к ней припавшие живут сердца людские!
Но ты...
Поймешь ли ты ее прямую речь!

АНДРЕЙ УШИН

«Арка Главного штаба»



ИЛЬЯ ТУРИЧИН

Защитники

Два рассказа

Это рассказы о несовместимом: о детях и войне. О страданиях и недетском мужестве. О добрых ребячьих сердцах. Пусть такие же сердца бьются и в сегодняшних мальчишках и девчонках, и пусть они знают о войне только по нашим рассказам. Мир им!

ЗАЩИТНИКИ

На улицах города шли бои.

Жителей — женщин, стариков, детей — давно переправили на другой берег реки, а в городе остались только его защитники — солдаты.

Да еще Виташка и Петька. Виташке было семь лет, Петьке — двенадцать.

Когда на улицах начали рваться мины, Петька увел Виташку в подвал. Там они и отсиживались, давно утратив счет времени, перепутав день с ночью. Кончилась вода. Кончился и хлеб. Оставалась одна черствая горбушка.

Тогда Петька решил отправиться на разведку, поискать чего-нибудь съестного. Он ушел и не вернулся.

Виташка остался один.

Он забился в самый темный угол подвала, завернулся в Петькино пальто, горбушку сунул за пазуху. Петька мог и вовсе не вернуться, пропасть. Ведь там, наверху, война! Может, она еще долго будет? Надо беречь хлеб. А не то с голоду помрешь. Виташка хоть и маленький, а понимал это.

Есть хотелось все сильнее и сильнее, но он только тихонько притрагивался к хлебу пальцами. А есть не решался. Еще можно было терпеть. Вот когда уже нельзя будет терпеть, совсем уже невмоготу станет, тогда он отломает кусочек, крошечку. Сунет в рот и будет ее тихонько посасывать.

Виташка закрыл глаза, сморщился и почмокал, будто и в самом деле положил в рот хлебную крошку.

От дверей донесся стон, потом глухой удар, будто упал кто. Может, Петька?..

Виташка скинул пальто и, прижимая рукой горбушку, чтобы не потерять, шмыгнул к двери.

На ступеньках лежал солдат.

Виташка тихонько тронул его за плечо:

— Дяденька, вы что? Вы раненый?

Солдат открыл глаза. Губы у него были желтые и лицо желтое.

— Товарищи в угловом... Третий этаж... Патроны... Не дошел я... Ящик...

Солдат закрыл глаза.

— Дяденька, вы что?.. Дяденька!— спросил Виташка и отшатнулся. Вот так же мамка лежала, когда ее убило осколком... Вот так же...

Виташка заплакал. Потом сквозь слезы, как сквозь туман, увидел на верхней ступеньке ящик. Потрогал строганые доски. Понял: «Патроны. Солдат нес их туда. В уголовой дом. На третий этаж».

Виташка попробовал поднять ящик. Куда там! С места не сдвинуть!

«Надо пойти сказать»,— решил Виташка. Он вобрал голову в плечи, сжался в комок и, стараясь быть как можно меньше, метнулся вдоль улицы...

Квартира на третьем этаже оказалась без дверей, а потолок был весь в дырах, как решето.

У окна с выбитыми стеклами стоял солдат. Он не отрываясь глядел на улицу. В углу на полу лежал другой солдат, еще двое склонились над ним.

Виташку никто не заметил.

— Дяденьки,— позвал он, переводя дух.

Солдаты обернулись. Один из них с седой щетиной на щеках, спросил:

— Ты откуда взялся?

— Снизу,— Виташка ткнул пальцем в пол.— Недалеко я сидел. В подвале.

— Зашевелились фрицы,— сказал солдат у окна.

Перебинтованная голова шевельнулась:

— Давай автомат...

— Что автомат! Патроны вышли.

— Есть патроны, дяденьки,— звонко крикнул Виташка.— Там солдат убитый лежит. Он ящик нес.

— Ящик?.. Где ящик?..

— Через дом, у подвала. Я покажу.

— Сиди здесь. Еще зацепят ненароком.

Седой солдат бросился вниз и вскоре вернулся с ящиком.

— Есть патроны, ребята!— Потом обернулся к Виташке: — Ты, малый, дуй в подвал. Да побыстрее. А за патроны спасибо.

Виташка пошел к лестнице, но остановился. Сейчас солдаты воевать будут. А ведь тоже, наверно, голодные! Виташка потрогал пальцами горбушку за пазухой. Она была твердой и шершавой. Он достал ее и протянул солдату:

— Вот еще хлеба вам.

Солдат посмотрел на Виташку и не сразу понял, что тот протягивает ему хлеб. Потом лицо его посветлело. Он взял горбушку, положил на ладонь:

— Хлеб... Хлеб — это хорошо-о-о.— Потом сунул горбушку назад в Виташкины руки, наклонился и поцеловал его, уколов жесткой щетиной.— Вот победим фашистов — будет хлеб, малыш. Будет!— И легонько подтолкнул мальчика к лестнице.

Виташка вздохнул, прижал горбушку к груди и стал спускаться.

А солдаты зарядили автоматы Виташкиными патронами, чтобы защищать город и Виташку от врагов. Они дрались с фашистами яростно, до последнего патрона, и отстояли город.

Разве могло быть иначе?

ЗЕМЛЯНИКА

— А еще бывают пироги с черникой. Едал?

Минька отрицательно помотал головой. Шея у него была тоненькая-тоненькая, а голова большая, словно тыква на стебле.

Витяй зажмурил глаза и долго смачно цокал языком, показывая, как вкусны пироги с черникой.

— Мамка пекла... Давно-о-о... В чернику-то песок сахарный сыплют,— добавил Витяй, подметив недоверие в глазах товарища.— Сла-адкие пироги.

Минька поморгал белесыми ресницами и вздохнул. Не едал он сладких пирогов. И несладких не едал. Вот калитки с картошкой мать пекла. Корочка темная, хрустит. Вкусно!

— Есть хочется,— сказал Минька.

— Хочется,— согласился Витяй.

Они сидели в тени елки возле самой дороги. Солнце

палило. Пустая серая дорога казалась выжженной. И рыжие стволы сосен, и придорожная травка — выжженными. А здесь, в тени, было сносно. Только мухи одолевали.

— Давай поедим,— предложил Минька.

— Давай,— согласился Витяй и вздохнул. Идти еще далеко: до станции километров десять да обратно до дому, считай, пятнадцать. Да еще на станции ждать. Когда поезд будет! Не по расписанию ходят. Наголодаешься!

Узелок с едой был общий, несли его по очереди. Витяй, как старший, развязал узелок, достал четыре вареных картошины, кусок хлеба и спичечный коробок с крупной желтой солью. Взвесил на ладошках картошины. Две поменьше протянул Миньке. Хлеб разделил на неравные доли и ту, что побольше, взял себе.

Минька спорить не стал. Осторожно взял картошину, макнул в соль, откусил прямо с кожурой.

— Почисть,— сказал Витяй.

Минька не ответил. Неторопливо жевал, стараясь продлить удовольствие. Знал: сытым не будешь, так хоть пожевать вдосталь. Потом отломил кусочек хлеба, сунул в рот. Хлеб был жестким, с соломой, и царапал десны.

— Ты землянику-то не раздавай. Сперва сахар бери, или хлеб, или еще что,— поучал Витяй.— А потом уж землянику отдавай. А то бывает, без совести попадется человек. Землянику возьмет, а ничего не даст. Обманет.

Минька взглянул на два берестяных туеса, до краев наполненных красной душистой земляникой. Вчера весь день по вырубкам ползали, пока спина не заныла и в голове не загудело от жары. Много набрали.

Мамка сушит землянику, а потом, зимой, заваривает земляничный чай, и в избе запахнет жарким солнечным лесом. А эту сушить не стала, отпустила Миньку на станцию менять у военных землянику на что дадут. Есть-то надо!

— Ничего,— сказала мамка.— Вот побьют Гитлера. Недолго уж. Папка с фронта вернется — всего будет вдоволь.

«Война, война!.. Где-то папка воюет?.. Наменяю на землянику хлеба, сахара, сала. А может, консервов дадут. Домой принесу — мамка обрадуется, а маленькая Нюрка будет сзади ходить и канючить: «Да-ай хлебца!»

Минька улыбнулся своим мыслям.

— Ты чего?— спросил Витяй.

— Ничего.

— Пойдем. Засиделись.

Минька неохотно поднялся. Витяй помог ему приладить туес на спине. Потом Минька помог Витяю. И они зашагали по жаркой мягкой пыли, сгорбившись под тяжелыми туесами, словно маленькие старички.

На станции было пусто и тихо. Только костлявая старуха махала метлой возле облупленного станционного домика. Мальчики пристроились под кустами акации. Витяй пошел разведать, не ждут ли эшелона. Вернулся и сказал, что на станции никто ничего не знает. Надо ждать.

Вскоре далеко-далеко начало постукивать. Из-за леса показался поезд. С грохотом пробежали мимо станции платформы, на которых стояли укрытые брезентом танки. Минька удивленно и торопливо вертел головой, провожая каждую платформу, и махал танкам рукой.

Потом снова стало тихо.

— А мой батя сапер. Сержант,— сказал Минька.

— А мой — артиллерист,— сказал Витяй.

Они знали все про всех, кто ушел из их деревни на фронт. Просто захотелось поговорить о своих отцах.

Солнце начало клониться к лесу, а нужного эшелона все не было. Шли мимо без остановки. После грохота очередного состава установилась утомительная звенящая тишина, и Минька уснул.

Снились Миньке танки, они приближались, гремя гусеницами. А на одном из танков, на башне, сидел отец и махал автоматом. Потом он спрыгнул с танка, подбежал к Миньке и стал трясти его за плечо:

— Вставай, вставай...

— Батя,— сказал Минька и открыл глаза.

— Чего «батя»? — сердито сказал Витяй и еще раз тряхнул товарища.— Вставай. Эшелон подходит. Может, только минуту постоит. Гляди не теряйся, Минька. Солдаты навалят — только поворачивайся! Да не продешеви землянику-то!

К станции, погромыхивая на стыках, медленно подходил странный поезд из зеленых пассажирских и красных товарных вагонов вперемешку. В самой середине поезда на платформе дымились походные кухни.

Витяй подхватил свой туес и побежал к хвосту поезда.

В пассажирском вагоне, который остановился как

раз напротив Миньки, несколько окон были открыты. Запахло лекарствами. В одном из окон свесилась с верхней полки голова в бинтах. Только рот да глаза видны.

— Что за станция, сынок?

Минька назвал станцию.

— Не слыхивал... Эх,— вздохнула голова.— Носит нас, носит... Жаль, трех верст до той Германии не дошел.

Минька молча смотрел на забинтованную голову.

Кто-то тронул его за плечо.

— Ты чего, глухой?

— Не...— Минька повернулся и увидел немолодого солдата в гимнастерке без пояса и в тапочках на босу ногу. Один рукав у гимнастерки был начисто оторван, и рука, обмотанная бинтами, покоилась в марлевой косынке, словно младенец в люльке.

— Я тебя спрашиваю, а ты не откликаешься...

— Засмотрелся.— Минька шмыгнул носом и проворно достал из-за пазухи загодя приготовленные из старых газет кулечки.

— Никак земляника?— спросил солдат и втянул в себя воздух.— Духовита. Продаешь?

Минька кивнул.

— Почем?

— Нипочем,— сказал Минька тихо.— Меняю я. На хлеб, на сахар...

— Голодно? — спросила из окна забинтованная голова.

— Голодуем.

— А хлеб-то как?.. Хлеб-то на полях? Чай, сеяли?

— Сеяли,— сказал Минька.— На коровах пахали, а кто и так, на себе...

— Значит, меняешь? —перебил солдат с перебинтованной рукой.

— Меняю.

Солдат вздохнул с сожалением.

— Нет у меня ничего на менку. Не запас, видишь. Не гадал, что с тобой встречусь, а у тебя — земляника!.. Эх, земляничка-ягодка, красная да сладкая...— неожиданно пропел он хрипловато и спросил: — Может, на деньги продашь?

Минька помотал головой.

— Жаль,— сказал солдат и отошел.

У соседних вагонов появились раненые — у кого рука в бинтах, кто с костылем. А из вагона, что напротив,

вышла только девушка в белом халате. Стояла возле подножки, щурясь на солнце.

Минька понял: эшелон санитарный, и надо перейти к другим вагонам, где ходячие раненые, а иначе не наторгуешь. Но все стоял и смотрел на забинтованную голову, свесившуюся с верхней полки. И вдруг подумал, что вот так же, может, где-нибудь везут и его отца, сержанта-сапера. Война, она везде война. Любого ранить могут. А то и убить. Вон сколько похоронок в деревню пришло. Чуть не каждый день бабы ревмя ревут. И может, на какой безвестной станции стоит батин эшелон, а батя с перебинтованной головой в окно глядит. А там — мальчишка с земляникой. И охота бате землянички поесть. Она ж как лекарство, ягода! А не дает мальчишка. Только на менку. А чего сержант-сапер поменять может, если он раненый, беспомощный лежит? Какие такие у него запасы?

Где-то протяжно закричали:

— По ваго-онам!..

У Миньки защемило сердце. Он беспомощно огляделся вокруг, словно потерял что. Раненые спешили, подсаживали друг друга, взбирались на подножки.

Минька шагнул к окну.

— Дяденька, земляники хочете?

— Поел бы, да, вишь, сменять мне нечего,— сказала перебинтованная голова.

Минька бросился к девушке в белом халате:

— Сестричка, отдайте землянику вон тому дяденьке с забинтованной головой. Всем отдайте. Пускай все кушают.

Он совал ей в руки тяжелый туес. Девушка взяла туес, поднялась с ним в вагон, обернулась, сверкнула зубами:

— Спасибо, мальчик!

А Минька отошел в сторону.

Подбежал Витяй. В его туесе оставалось еще много ягод. А из узелка выпирала початая буханка хлеба и еще что-то.

— Ну, как торговля? — спросил он.

Минька посмотрел на него грустно:

— Никак.

— А ягода где?

Минька махнул рукой в сторону вагона.

— Что дали?

— А ничего... Так... Так,— строго повторил Минька.

Паровоз гуднул несколько раз. Внезапно и громко лязгнули буфера вагонов.

— Эй, сынок! — крикнула забинтованная голова.— Спасибо тебе за ягоды! Наши инвалидишки заулыбались... Лесом пахнет.

Минька замахал рукой. Вагон дрогнул и тронулся.

— Сынок, посуду возьми! Спасибо, сынок! — раненый опустил туес за окно и разжал пальцы. Туес упал в обожженную траву.

Минька махал, пока эшелон не скрылся за лесом. По щекам текли слезы, словно он только что проводил отца.

— Эх ты, тютя,— сказал Витяй обидно и зашагал от станции.

Минька не ответил, побрел к туесу, поднял. В нем что-то перекатилось. Минька заглянул в туес: там лежало несколько кусочков сахара, а в уголке что-то поблескивало. Минька сунул руку в туес, и на ладони его сверкнули часы, настоящие ручные часы на черном ремешке. Они весело и быстро тикали, и тонкая секундная стрелка деловито спешила по циферблату, будто проверяла, на месте ли черточки минут и цифры часов.

Минька шмыгнул носом, утер лицо рукавом и улыбнулся. Луч заходящего солнца тронул часы, и они улыбнулись в ответ.

И тут Минька заметил на них розовое пятнышко — прилипшую земляничку. Минька сунул ее в рот и побрел по теплой дороге вслед за Витяем.

РОАЛЬД НАЗАРОВ

Руки

Руки ребенка
и руки мамины.
Руки любимых,
теплы и легки.
Руки,
сжавшие древко знамени,
и руки,
сжатые в кулаки.
Руки,
лежащие на штурвале,
руки,
держащие мастерок,
руки из плоти,
из камня,
из стали,
руки-антенны,
руки-смычок...
Руки,
        творящие
                настоящее!
Руки,
        зовущие
                в грядущее!
Вы кузнецы,
и духом вы молоды,
руки-серпы,
руки-молоты!
Вам ковать
не ключи от рая —
сила ваша
в земных победах.
Руки, руки,
вам
    присягаю!
Вас
    исповедую!

Ночью и днем,
вчера и сегодня
вы держите мир
в лепестках
ладоней!
Руки,
любовь моя,
вера,
надежда,—
НЕ УРОНИТЕ
ЗЕМЛЮ!

ОЛЕГ ПОЧТЕННЫЙ

«Нева у стрелки Васильевского острова»



ДАНИИЛ ГРАНИН

Прекрасная Ута

Из повести «Прекрасная Ута»

ДОСКИ СТАРОЙ КУПАЛЬНИ

Человек, которого я искал, бомбил Ленинград. Рассказывали, что он командовал авиаполком или авиадивизией. Почему-то мне казалось этого достаточно, чтобы я узнал его сам, прежде чем нас познакомят. Встречу на улице — и узнаю. Определю. Городишко-то был крохотный, игрушечный, вырванный из старых немецких сказок, из рекламных проспектов, за два часа его можно было обойти от окраинной кузницы до туристского пансионата. В таком городке трудно было не встретиться. К полудню многие прохожие уже приметились. Я мысленно проверял каждого встречного. Должна была остаться выправка кадрового военного, следы былой власти, положения, конечно, виноватость, раскаяние или затаенность. Какая-то печать «бывшего». Правда, я знал только наших бывших. Я привык узнавать их среди стариков, что заполняли скамеечки Михайловского сада. Старики сидели компаниями, листали газеты, играли в шашки, некоторые дремали на солнышке. Старики были разные — ухоженные и одинокие, крепкие и больные. Следы перенесенных инфарктов сквозили в их замедленных движениях. Инсультные руки с глянцевитой кожей сведенных пальцев, багровые лица, вздутые вены,— в старости люди становятся куда более разными. Они — как проявленные, закрепленные, высушенные снимки, где уже ничего нельзя подретушировать. Былые заслуги, стройки, обиды, увлечения, война, привычка стоять у станка или сидеть за столом — все было видно. Их биографии проступали неудержимо, как вечерние краски заката. Особенно меня занимали бывшие — бывшие шефы, зубры, эти брыластые львы, которых когда-то шепотком звали «наш», «сам», «хозяин». Что-то в них почти всегда оставалось — важность, осторожность, задерганность бессонных ночей, непроницаемость, покровительственная грубоватость. Они умели значительно молчать. Морщины их привычно складывались в

жесткую недоверчивость. Другие же, наоборот, сделались говорливы, беспечны, лица их разгладились в неожиданной приветливости.

Кузнец подковывал тяжелого немецкого першерона. Лошадь понятливо косилась на своего возчика, который сидел на скамеечке, попыхивая короткой трубкой. Мальчик вышел из булочной с корзинкой, полной рогаликов, и зачарованно остановился перед наковальней. От рогаликов курился ароматный пар. Лошадь деликатно повела ноздрями. Кузнец что-то сказал, и мальчик и возчик засмеялись. Эта была милая сценка, умилительная, и добрая, и приятно старинная, и было нехорошо с моей стороны, когда я вдруг подумал: а чем занимались этот кузнец и этот возчик во время войны? Я ничего не мог поделать с собой — всякий раз, встречаясь с немцем старшего возраста, я мысленно спрашивал: а что он делал тогда, в те годы?

Кем он был тогда, этот лойтенбергский возчик, которому сейчас за пятьдесят? И этот хромой кузнец? Кто подстрелил ему ногу? И чей сын этот мальчик?

Яд этих вопросов отравлял меня. Какое мне дело до биографии отца этого мальчика. При чем тут мальчик. Он сам по себе. Мало ли что делал мой прадед. Понятия не имею, кем был мой прадед,— может, бандит, палач. Где кончается прошлое — вчера? отец? дед?

После того митинга в Бухенвальде мы гуляли с Вернером фон Т. по Веймару. Вернер приехал из Западной Германии. Он читал нам свои стихи. Он скорее походил на боксера, чем на поэта, но стихи были интересные, веселые, он вскрикивал, присвистывал по-птичьи, круглая курносая физиономия его раскраснелась. Ни с того ни с сего я вдруг спросил, кто был его отец. Еще не утихший смех плескался в глазах Вернера, когда он отчетливо перечислял: нацист, лейтенант СС-ваффен, погиб под Сталинградом.

Симпатичность его сразу исчезла, то есть для меня она сразу исчезла, я увидел его арийскую белокурость, крепкий подбородок и этот неуместный смешок. Он почувствовал, как во мне все ощетинилось. Пересилив себя, я сказал, снимая возникшую неловкость, что, конечно, сын не отвечает за отца. Известная формула, которую мы когда-то учили, но не применяли.

Он медленно повел головой.

— Нет, отвечает.

Он рассказал мне про группу «Искупление». Дети

бывших нацистов, эсэсовцев создали в Западном Берлине такую группу, члены ее уезжали в Норвегию, Югославию — в страны, разрушенные, разоренные фашистами — и бесплатно год-полтора работали на стройках. Их было всего несколько сот — юношей и девушек, но они были, и они-то и считали себя настоящими детьми.

Я заставил себя подумать о том, что фашизм и немцы — вещи разные. Фашизм нельзя считать чисто немецким явлением. Фашизм — явление не национальное, а социальное. Мысль давно известная, об этом писали у нас еще во время войны, но понадобились годы, чтобы я сам подумал об этом, и затем годы, наверное, еще нужны, чтобы она стала моим убеждением.

Есть люди, для которых она вовсе не так уж очевидна. Люди и местности. Мне вспоминались всякие местечки в Польше и в Чехословакии и город моего детства Старая Русса. Такой же старинный, маленький городок, с такими же тихими улочками, прохожими, знающими друг друга. С той лишь разницей, что почти ничего не осталось в нем от довоенного города. Все было сожжено и разрушено, кажется лишь четыре дома уцелело. Я приехал туда через двадцать лет после войны, мы ходили со старым моим знакомцем — учителем истории, и он показывал мне то, чего уже не было. Место, где стоял гостиный двор, пропахший сыромятной кожей, рыбой, мелкими яблоками «чулановкой». Порубленный немцами курортный парк, разрушенные церкви. Из моего детства сохранилась лишь купальня на соленом озере. Темно-зеленая вода и скрипучие старые доски. Вновь отстроенный город казался чужим. Мы шли по улице Володарского, учитель рассказывал, как здесь вдоль улицы немцы повесили семьдесят человек.

— А ты защищаешь немцев,— сказал он.— Нигде фашизм не принимал такие чудовищные формы, как в Германии. Думаешь, это случайно? Вспомни прусскую военщину восемнадцатого века.

Я не мог вспомнить прусскую военщину восемнадцатого века,— и тогда он мне цитировал кого-то: «Отсутствие нравственных идеалов делает их готовыми орудиями для исполнения любых приказаний. Они никогда не размышляют, насколько справедливы эти приказания». Так писали о пруссаках в 1756 году.

— Откуда ты все это поднабрал? — спрашивал я.

— Из немецких книг. Это же писали немцы про свою немецкую реакцию.

— Подожди, при чем здесь немецкий характер и немецкий народ? Если писать историю нашей, русской реакции, тоже можно подобрать. Будь здоров.

— Ничего подобного, поверь, что нигде, например, не было такого произвола и невежества цензуры, как в Германии. Я специально занимался...

Мы вошли в щербатый разоренный курортный парк. Сохранился большой фонтан. Он шумел под стеклянным колпаком. Стояли незнакомые светлые корпуса санатория. По аллеям гуляли больные, на головах у них были сложенные из газет шапочки. Плеск воды покрывал голоса, пахло железом, солью, сероводородом, поначалу неприятно, а потом что-то очнулось во мне, и по этому запаху, как по следу, я стал искать свое детство.

— Подожди,— сказал я учителю,— не показывай мне дороги, я сам найду.

— Хорошо... Так вот, еще в начале девятнадцатого века прусская цензура, представляешь, превратила Моора в шиллеровских «Разбойниках» в дядю...

Я знал, что надо миновать площадку и музыкальную раковину, где раньше играл духовой оркестр и на скамьях сидели горожане. В бостоновых костюмах с широкими галстуками и значками Осоавиахима и МОПРа. Еще были значки ОДН — общества «Долой неграмотность», ОДР — общества «Друг радио» и старомодные значки — смычки города с деревней.

Ни раковины, ни оркестра, ни площадки — ничего не осталось. Пересохлые колеи ободранной земли цеплялись за ноги. Я свернул направо, где-то там должны были быть купальни на тех зеленых озерах.

— ...Если в романе цензор встречал выражение: «У нее была белая пышная грудь», то он заменял: «Спереди она была хорошо сложена». Представляешь? Были запрещены сочинения лучших историков Европы — Тьера, Макиавелли, Гиббона. Даже у латинских и греческих классиков вычеркивали все, где упоминалась республика...

Путаясь, но самую малость, я нашел купальни. Направо — женская, налево — мужская, так и осталось. Я сразу узнал огороженный квадрат купальни, с трех сторон навесы, а с четвертой надводный забор, выходящий в озеро. На солнечной стороне мы разделись и сели на пружинистые теплые доски настила, спустив ноги в воду. Пятки мои ощущали скользкую мохнатость свай, крепкая соленость воды впивалась в кожу. Прошлое

просыпалось толчками. Я узнал эти доски. И дранку навеса — тот же памятный с детства особый темно-серый блеск, какой бывает у старого серебра. Где-то мы взбирались на узенькую крышу навеса, пробегали и с ходу ныряли в соседнюю женскую купальню под вскрики девчонок. Под водой выплывали в озеро...

— ...Немецкий народ был разделен на шпионов и обвиняемых. То же происходило у них и в литературе. Положение в литературе, оно весьма показательно. Вся литература разделялась на надзирателей и надзираемых. Сыщики, доносчики. Сикофанты. Честный журналист, писатель нигде не мог выступить против сикофантов. Даже защититься от их клеветы не мог...

Я закрыл глаза, и мне вспомнилось, как отец учил меня плавать в этой купальне. Как мы сидели с ним здесь последний раз, когда мне было уже семнадцать лет. Белое сухонькое тело отца, коричневая загорелая шея, до кистей коричневые руки, точно в перчатках. При его лесничьей работе курортная эта купальня была для него роскошью, да и Старая Русса после лесных бараков, смолокурен, делянок с бело-желтыми штабелями баланса, какого-то пропса, лесосплавных барж с плотами, гонками,— этот город был для него праздником, и он нахваливал мне эту купальню, плотную зеленую воду, на которой можно было лежать, красоту и знаменитость здешних мест. Я слушал его вполуха, так же как сейчас учителя. Мне было скучно и непонятно, чего тут хорошего. Восторги отца казались мне наивными.

И вот сейчас отца моего давно уже нет в живых, а я сижу здесь и так же щурюсь на этот хвойный блеск воды, теперь уже зная цену неторопливости и этих пристальных минут. Мне показалось, что отец чувствовал или знал, что когда-нибудь это случится со мной, я приеду сюда. Как будто он забросил то наше прощальное купание в мое будущее и теперь я нашел... Кто знает, может, и он думал тогда о своем отце, о том, как он не понимал его, о своей жестокой отчужденности. Мне представилась цепь, уходящая в прошлое и в будущее, дети, которые возвращаются к отцам слишком поздно,— так происходит всегда, и бесполезно предупреждать детей, и торопить их, и требовать, я тоже был в этой цепи и сыном, и отцом, и прадедом; может, и меня коснется это позднее постижение моего правнука, так же как и я сейчас коснулся своего деда, которого я никогда не видал.

— ...А реакция подкупала, развращала, кастри-

ровала лучшие таланты Германии. И они, представляешь, чтобы не оставаться узниками, становились тюремщиками, побрякивали своими ключами. Кого объявляли лучшими патриотами — тех, кто заботился лишь о себе, о своей семье, тех, кто переставал быть гражданином...

Я подумал о Вернере фон Т. и его отце, о нарушенной связи поколений. И еще полнее ощутил счастье этих минут. Пусть позднюю, но близость своего отца... Мое понимание его. Что-то сокровенное передавалось, доходило ко мне от этих теплых старых досок... Мне стало жаль Вернера. Дело, за которое погиб его отец, оказалось позорным, преступным, нить была порвана, позади у Вернера была пустота, он не был звеном, он был обрывок.

—...Нигде «благонамеренные» не были в таком почете, как в Германии...

— Подожди, но было и другое,— сказал я.— Была революция, Либкнехт, Тельман, юнгштурм, «Рот фронт», немецкая компартия. Разве мы не гордились немецкими коммунистами? Мы пели песни Эйслера, ты помнишь Эрнста Буша? Всегда оставалась Германия Томаса Манна и Брехта, и сегодня...

— Ну да, конечно, две Германии, так удобно и просто. А вот не получается,— постучал себя по заросшей седым волосом груди.— Внутри у меня никак не разделить. Логически — пожалуйста, я себе доказывал — фашисты виноваты, немцы ни при чем. Поскольку фашизм уничтожен, то все претензии списаны. Ан нет, что-то такое осталось. Я по своей учительской привычке и так и этак выяснял — что именно. Почему осталось. Думаю, ведь не зря осталось. По-твоему, полезно полное отпущение грехов? Должны немцы чувствовать себя виноватыми? Да, да, народ. Некоторые ведь как считают — народ ни в чем не может быть виноват, народ, мол, всегда прав. Извините. Виноваты, перед другими народами виноваты. И пусть отвечают. Чтобы впредь не допускали. Другие народы должны тоже знать — есть ответственность. Существует. Вот именно ответственность каждого народа перед всеми остальными народами...

Но тут мне пришли на ум мои разговоры с молодыми немцами о том, до каких пор нужно напоминать о фашизме, сколько можно виноватить, от постоянных попреков появляется чувство неполноценности, оно мешает душевному оздоровлению народа, я вспомнил их споры и рассуждения о гарантиях и опасностях.

— Ага, им не нравится,— обрадовался учитель.— Страдают, и очень прекрасно. Страдание — исцеляющее чувство. Да-да, через страдание к добру...— Он вдруг удивленно замолчал, хлопнул себя по голому колену: — Надо же, Федор Михайлович Достоевский это же самое писал, и где, здесь же, в Руссе, может, вот здесь, в купальне, сидел и про это думал...

Меня заразило его удивление. Прошло почти сто лет. То же солнце, такие же поросшие зеленью ступеньки под той же водой, и опять те же мысли и чувства способны мучить людей. И как сто лет назад, мы спорим о том же... Прекрасно, что дух человеческий не привязан ко времени, он сильнее времени, он больше, чем время, Земля вращается, а мы можем обгонять ее и возвращаться назад. Неважно, что время движется только в одну сторону и нет обратного пути от смерти к рождению.

...А Лойтенберг стоял чистенький, целехонький, в красных колпаках черепичных крыш, аккуратный старичок со всеми своими ратушами, кирками, фонтанчиками, особнячками... Учитель имел право на злость, но имел ли он право на несправедливость?

Шестая по счету пивная, куда я зашел, помещалась под ратушей. Благодушный пивной хмель укачивал меня. Шестой стакан пива появился передо мной, на этот раз пиво было черное. В каждой пивной было свое фирменное пиво, свои завсегдатаи, у них были свои столики, вновь входящий стучал по столу в знак общего приветствия, хозяин приносил ему, не спрашивая, стакан его пива — подогретого, холодного, пива с водкой, пива с вином.

Я сел у окна, чтобы видеть площадь. Играла старенькая радиола. На стенах висели потемнелые гравюры и выведенные готическим шрифтом изречения местных трактирщиков.

Землю нашу украшают женщины и вино.
Мужчины знают это давно.
Поэтому они не хотят умирать,
Чтобы радости эти не покидать.

— Вы ждете кого-то?— любезно спросил кельнер.— Автобус из Зальфельда придет через полчаса.

Голова его была протерта до лысины, когда-то прямоугольные плечи обвисли. Линялые глаза смотрели на

меня, словно узнавая. А почему бы нет. Может, он был среди тех пленных, что прокладывали в Ленинграде кабели. Почти год после войны я работал с ними. А может, на фронте под Кенигсбергом. Или в госпитале. Может, он приезжал в Ленинград после войны. Может, в Прибалтике, когда мы окружили егерский батальон. В Берлине в пятьдесят шестом году... Поразительно, сколько у нас оказалось возможностей встретиться. Неизвестные нам нити связывали наши судьбы. Мир был перемешан, взболтан. Все мы уже когда-то встречались. Чьи глаза смотрели на меня из подвала, когда танки, грохоча, ползли по затихшим немецким городкам, а мы стояли в открытых люках?..

Однорукий толстяк за соседним столиком приветливо подмигнул мне.

Не торопись, когда пьешь,—
Это тебе не игра.
Кто пьет обдуманно,
Тот выпьет много.

Мудрость веселых трактирщиков. Дубовые бочки с медными кранами. Поля с косыми шестами, обвитыми хмелем... Взболтать перед употреблением. Взболтали. А дальше?

— Здравствуйте!— по-русски уверенно.

Он застиг меня врасплох. Я поднялся, крепко держась за спинку стула. Пивная пошла в пике, воздух стал плотным. Не стоило спрашивать, как он нашел меня, и он ведь не стал бы спрашивать, если б я увидел его первый.

— Садитесь.

Ему было за пятьдесят, но он сохранил спортивную форму: без лишнего жира, крепкий, приземистый, способный вполне постоять за себя. Я ощутил тяжесть своих кулаков и тяжесть окружающих вещей — вес железного стула, пластмассовую пустоту столешницы, твердость его большой челюсти.

Он предпочитал говорить сам, не ожидая моих расспросов. Во-первых, он не был нацистом. Он был солдат, профессиональный солдат. Кончив Академию генерального штаба, он начал летчиком. Первая его война была над Францией, затем Норвегия и затем небо России. А во-вторых, он любил, да, любил свою профессию летчика.

Ах, ты любил, сука,— я ударил его в челюсть, прямой справа по всем правилам бокса, так что он полетел

на мокрый кафель. Занес стул над головой. А ну давайте, подходите вы все...

— Пожалуйста, еще пару пива,— сказал я.

— Вы курите? Прошу...

Он щелкнул зажигалкой. У него было хорошо управляемое лицо, привычное к тому, что за ним наблюдают, оценивают каждое движение.

В Прибалтике его впервые подбили. Он сумел кое-как посадить свою тяжелую машину. Они сняли пулемет и стали пробираться к своим. Приключения его напоминали наши военные очерки про отважных пилотов, подбитых за линией фронта. Как он вел свой экипаж через ночные леса, как отсиживались днем в придорожных кустах... Захваченная автомашина, на ней лихой проскок по шоссе... До чего же это было знакомо. Ведь и у меня были две недели в болотных лесах, когда мы выбирались к своим, и даже захваченная автомашина с мешками сахара. Мы ели сахар и чернику, мы перебегали в сумерках шоссе...

События располагались с мнимой симметричностью. Ось симметрии проткнула годы и легла между нами через этот столик, мы сидели друг против друга с одинаковыми стаканами черного пива.

В сентябре мы оставили Пушкин, а Макса Л. отправили из Прибалтики под Ленинград. Он отличился при бомбежке Таллина и Балтийского флота и получил эскадрилью. Его эскадрилья почти ежедневно бомбила Ленинград, бомбила заводы, батареи, порт, мосты. Когда началась блокада, он бомбил водопроводную станцию.

Он рассказывал о порядке полетов, о нахождении цели, системе связи.

— Зенитная оборона у вас была слабая.

Как легко он укладывался в портрет, заготовленный мною. А может, наоборот,— портрет мой сейчас подгонялся под него? Особенно профиль. Его профиль сохранял четкость прямых линий; можно было представить, как это эффектно выглядело в военном мундире четверть века назад, когда блестели кресты, ордена, нашивки молодого, преуспевающего, такого удачливого аса.

Я вынул пистолет,— все же ты попался, стервятник. Пристрелю я тебя без всякого суда, с наслаждением, во имя всех моих погибших ребят.

— Мне кажется, что наши зенитчики не виноваты,—

сказал я.— Они не могли организовать оборону на подходах, фронт был слишком близко к городу.

— Если б вы имели локаторы, можно было подымать истребители заранее.

Было что-то странное в нашем спокойствии, как будто шел разбор учения. Пистолет — да, когда-то я бы торопясь навел пистолет. Я отчетливо помнил свою фронтовую мечту...

На Ленинградском фронте Макс Л. стал командиром полка, летом сорок второго его перебросили на Курское направление, и вскоре он получил дивизию. По-видимому, он действительно был боевым командиром, он добился разрешения лично участвовать в боевых вылетах. Фактически всю войну он провел в воздухе, вплоть до того дня, когда самолет его взорвался. Причина взрыва была непонятна, зенитки не стреляли, взрыв раздался неожиданно, беспричинно, машина стала разваливаться. Ему удалось выпрыгнуть, он спустился на парашюте и попал в плен.

Рассказ его, отработанный почти до обыденности, был тем не менее лишен малейших оправданий. За столько лет Макс Л. мог бы создать систему самозащиты, найти какие-то смягчения. Но он не оправдывал себя. И не было в нем бравады. И не было осуждения. Да, существовал Макс Л., летчик, командир, имеющий столько-то боевых вылетов, активный участник бомбежек и разрушений Ленинграда, и был другой Макс Л., который, не отрекаясь от себя, работал сейчас в ГДР и тоже активно и добросовестно делал свое дело.

Какие отношения имелись между этими двумя людьми — он не рассказывал. Он добровольно выбрал из двух Германий демократическую, сам по себе этот выбор означал отказ от прошлого. Но что значит отказ — забвение? пересмотр? Можно ли забыть свое прошлое, когда оно составляет бо́льшую часть жизни? С чем же он остался? Да и как можно отказаться от своего прошлого, как это происходит — запереть его, никогда самому не возвращаться к нему, отнести его к кому-то другому. И что взамен? Значит, то был не я, то был другой. Но «я», оно же складывается из памяти. Индивидуальность — это память. Как же ладить с тем, бывшим Максом Л.?

Но ведь и со мной творилось сейчас нечто подобное. Оказывается, давно уже я слушал Макса Л., спокойно прихлебывая пиво, улыбался, вспоминая, как мы стре-

ляли бронебойными в их самолеты. Он пролетал над нашими окопами, и мы с Сеней стреляли по всем правилам с упреждениями и поправками, мечтая попасть в какое-то незащищенное местечко, чтобы был черный дым, кувыркание, взрыв... Сейчас мы посмеивались вместе с Максом Л. над такой вероятностью, ничтожной и несбыточной, как чудо...

Никакой ненависти я не чувствовал к этому человеку. Куда же она девалась — выношенная, вмерзлая навечно? Проклятия, которые мы слали вслед его самолетам. Где-то там в городе выли сирены, мы их не слышали, к нам доходили лишь звуки разрывов, мерзлая земля слабо вздрагивала в наших окопах.

Почему я так благодушно спокоен? Ну как я мог так измениться, ведь и сейчас разумом я отчетливо представлял распластанный под крылом самолета Макса Л. мой город, занесенные снегом кварталы, расчетливое кружение его над целью.

К тому времени немцы оставили попытки взять город штурмом, решено было выморить его голодом, затем разрушить, перемолоть в щебенку, превратить в пустырь, заваленный кирпичом, камнем. Развалины набережных, искореженные узоры решеток, обломки кариатид, руины мостов. Пустые острова, которым предписано снова зарасти лесом. «По низким, топким берегам чернеют избы здесь и там...» Не позволено никаких изб, лишь топкие, низкие берега. А мы? А нам запланировано умереть с голода. Судьба наша была решена в ставке фюрера, штабные офицеры подсчитали сроки, составили графики, выделили необходимое количество бомб, взрывчатки, горючего, орденов.

Под утро я пришел к Феде Сазонову в боевое охранение. Рассветало, мы выползали с ним по снежному ходу поближе к немцам. На нас были белые халаты, белые каски, единственная наша снайперская винтовка тоже была выкрашена белым. Мы были как гипсовые статуи в парках. Через час я увидел в оптику, как вышел из блиндажа немец, потянулся, в руках у него блеснул термос. Я хотел передвинуть винтовку Сазонову, он прошипел — стреляй сам. Я навел перекрестие на термос, нажал крючок. И тотчас там раздался крик, немец завертелся...

Хрипела старенькая радиола. Эрнст Буш пел песни Ганса Эйслера. На площади школьники выпрыгивали из автобуса. В руках у них сверкали длиные цветные отк-

рытки с видами Зальфельдских пещер, и лица их еще пылали отсветами подземных сталактитовых замков.

Я сбился, потерял ход своих мыслей. Я заблудился среди воспоминаний. Зачем мне понадобился тот немец с термосом... И вообще... Я смотрел на Макса Л. и не мог понять, для чего я так долго, упорно разыскивал его. История моих поисков сама по себе увлекала как детектив. Отличный жанр, читаешь — и нельзя оторваться до самого конца. Главное было найти. Больше всего мы ненавидели летчиков, бомбивших город. Мне казалось, что если я его найду... А между прочим, нашел-то меня он. Я ему тоже зачем-то был нужен. Как в большинстве детективов, конец разочаровывал. Мы сидели почти скучая, занятые каждый собой, я выжимал из себя вопросы — а потом, а дальше? А дальше в лагере он вскоре вступил в Союз свободной Германии, многие немецкие офицеры и генералы осуждали его — еще бы, потомственный военный, внук знаменитого немецкого генерала, он в какой-то мере символизировал кастовое офицерство. Вернувшись в Берлин, он долго разыскивал свою семью, жену, детей, они скитались на западе по разрушенной Германии...

Во мне не было злорадства — наоборот, я заметил, что я сочувствую злоключениям его семьи, я понимаю их, потому что сам пережил похожее после войны. Но ведь сравнивать было кощунством, им-то всем так и надо было, они-то заслужили, и не того еще заслужили, и, зная это, я все же жалел и сочувствовал. И тут же поражался своему превращению.

— А совсем недавно прочел я воспоминания одного из ваших партизан,— Макс Л. предвкушающе улыбнулся.— Они действовали как раз на Курском направлении, они подкладывали мины на аэродромах. Оказывается, они и в мой самолет запрятали мину с часовым механизмом,— он беззлобно, даже как-то торжествующе рассмеялся.— Выяснилось!

И я тоже засмеялся, радуясь за наших партизан. Мы смеялись с ним одинаково, с чем-то сходными чувствами. Я имел право так смеяться, но он-то...

— Знаете что,— он помолчал,— я собираюсь, то есть я хотел бы,— он опять помолчал,— приехать в Ленинград.

Мне бы возмутиться, вскочить — да как вы смеете, да как у вас совести хватает, будь вы просто рядовой солдат, но вы же командовали, приказывали, других за-

ставляли. Вы что ж полагаете — мы совсем беспамятные? Наглость-то какова, в Ленинград...

Вместо этого я ободряюще подхватил:

— А что, правильно, приезжайте,— и готов был доказывать, что ему необходимо приехать, и убеждать его, наперекор себе и совершенно искренне, именно потому что наперекор.

Он все еще сомневался.

— Я хотел не один... Я думал сына взять. Младшего.— Подавленная тревога была в его голосе.

— Обязательно берите.

Ось симметрии хрустнула и надломилась: я поменял нас местами. Если б они победили, смогли бы мы сидеть так и стал бы он меня приглашать в Берлин? Нет, ничего не получилось. И я не стал бы ему рассказывать о себе, ни я и никто из моих ребят, даже если б мы остались в живых.

Поздно вечером по витой песчаной дороге я поднимался к замку. Пивной дух кружил над моей головой, вовлекая в свое вращение, но я не поддавался. Огни замка подмигивали сверху, мешаясь среди созвездий. Князья, герцоги, оруженосцы обгоняли меня, но я не обижался, я знал их феодальную ограниченность, и вся их историческая обреченность была мне досконально известна. Государства и цивилизации сменялись по причинам, установленным в школьных учебниках, а вот мое личное прошлое не поддавалось никаким законам. Ни черта я не мог разобраться в нем. Все некогда, все откладываешь на потом, на когда-нибудь, хотя потом ты уже не тот, пройдет еще несколько лет, и этот вечер, пивная под ратушей, встреча с Максом Л., и мой разговор, мое поведение станут еще необъяснимей. Если бы выйти из времени. Выйти и постоять в сторонке.

Так я и сделал.

Оказалось проще простого. На замшелом камне сидел Фауст в черной судейской мантии и Вагнер в роговых очках, доцент Вагнер, радушный, милейший господин, готовый помочь мне, тем более что все так просто и легко выяснить.

— Зачем я его приглашал? — спросил я.— Что мне нужно? Простить его? А может, я хочу его возненавидеть.

— За что?

— Нет, ты скажи, а имею я право ненавидеть его?

— Как человека, как личность — пожалуйста.

— Но почему ему не стыдно?

— Тебе нужно, чтобы он стал другим? Или тебе нужно, чтобы он все время каялся, страдал?

Вагнер растолковал мне:

— Чувство постоянной виноватости порождает, в свою очередь, неполноценность, а, как известно, неполноценность народа и есть то, на чем настаивал фашизм, объявляя некоторые народы неполноценными. Таким образом, твой друг учитель невольно, я бы сказал — неосознанно, играет на руку...

— Погоди, я не о том, я хочу о себе, я себя хочу понять,— сказал я.— Мне надо найти самого себя, я желаю знать, где я, а где время. Где и когда я заблуждался, что было истиной. Что было правильным в прошлом, а что нет.

— Мой друг,— сказал Фауст,— прошедшее постичь не так легко.

Его и смысл и дух настолько не забыты —
Как в книге за семью печатями сокрыты.
То, что для нас на беглый взгляд
Дух времени — увы! — не что иное,
Как отраженье века временное
В лице писателя: его лишь дух и склад...

— Это для меня слишком сложно,— сказал я,— выходит, я толком не могу узнать свое время.

— Все можно узнать,— сказал Вагнер.— Иначе бы я не мог получить свое ученое звание.

— Погоди,— сказал я.— Ты придерживайся текста.

— Хорошо,— Вагнер откинул руку:

А мир? А дух людей, их сердце?
Без сомненья. Всяк хочет что-нибудь узнать на этот счет.

Фауст кивнул и сказал:

Да, но что значит знать?
Вот в чем все затрудненье!
Кто верным именем младенца наречет?..

Я ошеломленно повторил его последнюю фразу. Действительно, назовут ее Мотя, а она никакая не Мотя, она Надежда.

— Да,— сказал я, с трудом собирая свои мысли,— пусть я не знаю истину, но что я могу, так это не скрывать своих чувств, ошибок, размышлений. Рассказать все, что происходило со мной, историю моих отношений... Я был такой и был другой. А как надо на самом

деле — не знаю. Вот если бы вы видели ту девочку в Дрездене.

— Сейчас,— сказал Фауст.

И мы очутились в Дрездене, в том зале, куда я забрел случайно. Заброшенный, безлюдный зал, какие бывают в знаметитых галереях, зал без прославленных полотен,— там, кажется, была выставлена современная живопись. На бархатном диванчике очень прямо сидела полная красивая женщина. Руки ее лежали на коленях, взгляд был устремлен к портрету на стене. У ног ее стояла новенькая синяя авиасумка с маркой голландской компании «KLM». Портрет изображал девочку — голодную, синюшную, с огромными испуганными глазами. Она очень прямо сидела на желтеньком стуле, на голове ее торчал нелепый, почти клоунский колпак, худенькие костлявые руки лежали на коленях. Я обернулся, и сходство портрета с женщиной на диванчике поразило меня. Какое-то движение света, поворот случайно выдали ее. «Портрет дочери. 1945 год»,— написано было на латунной дощечке. Мимо шли посетители, обводя на ходу глазами развешанные картины, иногда задерживаясь у портрета девочки. Никто не догадывался, что это она, живая, сидит на бархатном диванчике. Разрушенный в одну ночь Дрезден, сплошные руины, зимние ночи в этих развалинах... Какая жизнь разделяла портрет и эту женщину — смерть отца, эмиграция, чужбина. Спустя двадцать лет она туристкой, приехав на родину, зашла в галерею и увидела свой детский портрет.

— С чего ты взял, откуда тебе известно?— сказал Вагнер.

Я не слушал его. Я представлял: портрет попался ей на глаза случайно, она не сразу вспомнила, когда отец рисовал ее. Неужели это она? Она сидит, ища в памяти подробностей, ей слышны замечания проходящих, она вдруг понимает, что они говорят о ней, то есть об этой девочке; и после ее отъезда, изо дня в день, годами, кто-то в этом зале будет замедлять шаг, толкать спутника — посмотри на эту девочку,— они будут заглядывать ей в глаза, где всегда будет война, страх, бомбежки, ужасная декабрьская ночь в Дрездене.

Руины были расчищены, дворцы Цвингера восстановлены, светлые многоэтажные дома поднялись над Дрезденом... Отчего же грусть моя не проходит и образ этой женщины не дает мне покоя! Я же не виноват перед ней, нисколько, наоборот, так почему же я ищу ка-

кие-то слова утешения или оправдания? Почему, черт возьми, мне так тошно?.. Я-то при чем?

— Ты абсолютно ни при чем,— подтвердил Вагнер.

Фауст молчал. Надвинутая шляпа скрыла его лицо.

НАС БЫЛО ЧЕТВЕРО

В начале осени Макс Л. приехал в Ленинград. Мы гуляли с ним по городу как старые знакомые. Под золотом шпилей кружились первые желтые листья. Вечерняя заря алела в конце Кировского проспекта. Когда-то улица так и называлась — улицей Красных зорь. Голубые минареты мечети вытянулись над серым камнем домов. Ленинград блистал во всей красе. Скупые его краски ожили, с моста открылся простор Невы, размах новых домов, отремонтированный чистый гранит набережных.

Мы пересекли пятнистые желтеющие сумерки Летнего сада с его белыми телами богинь и пошли дальше через мостики, мимо старых церквей и старых домов, где снимал квартиру Пушкин и где жил Маршак, где была моя школа, где жил Даргомыжский и Ира Галл, в которую мы все были влюблены. Любой дом здесь был для меня отмечен невидимыми мемориальными досками, легендами, датами, я знал все проходные дворы, магазинчики, трансформаторные будки. Я знал эти дома разрушенными — вернее, не эти, а те, какие стояли до войны, потом их развороченные, обнаженные внутренности. Восстановленные, заново отстроенные дома успели постареть, местами облупиться. Невозможно было представить, как выглядел город сразу после блокады. Макс Л. послушно смотрел на церковь, чистенькую, свежепокрашенную, куда в сорок третьем свозили трупы, на витрины, тогда заваленные мешками,— вздыхал, но я чувствовал: он не в силах вообразить себе все это. Мне почудилось даже, что он словно бы разочарован... Порой мне самому не хватало наглядности пережитого. Чтобы он мог увидеть развалины, оценить сделанное и понять, какой город он разрушал. Но я не хотел укорять его.

И не хотел ничего смягчать.

И не хотел, чтобы он чувствовал себя стесненно и виновато.

Не хотел прикидываться радушным, всепрощающим хозяином.

Мы шли по Суворовскому проспекту, широкому, чистому, весело веснушчатому от крапа палой листвы, и рядом шел я, среди сугробов. Дымился разбитый госпиталь, из окон выкидывали матрацы, по проспекту вели аэростат заграждения. Покачиваясь, он плыл, окутанный сетями, девушки, отдыхая, висели на веревках, медленно перебирая ногами. Лица их в ранних сумерках были прозрачно-серые.

Сбоку у Макса Л. болтался фотоаппарат, а у меня противогазная сумка, и в ней сухари — мой паек, который я нес на Таврическую, в старую петербургскую квартиру с темной большой передней, уставленной высокими шкафами для гербариев, и с угловой комнаткой, где жила девушка, так похожая на прекрасную Уту.

Мы с Максом Л. шли по тротуару, но я-то, я шел по узкой тропке на мостовой, потому что панель была завалена оледенелыми кучами мусора. Навстречу мне женщина тащила сани. На них лежал человек, привязанный веревкой. Голова его ватно подрагивала. Так возили тогда трупы умерших с голоду, зрелище было обычное. Я посторонился. Санки поравнялись со мной, я увидел сверкающую белую бороду и ярко-румяные щеки, немыслимые в том блокадном голоде. Глаза старичка радостно блестели из-под белых бровей. От фантастичности этого зрелища я почувствовал слабость.

— Что это?

Женщина остановилась, передохнула.

— Дед-мороз.

У нее не было сил улыбнуться. Где-то неподалеку устраивали елку для ребятишек, театральный мастер изготовил большого деда-мороза, и она тащит его уже несколько часов. В это время взвыли сирены воздушной тревоги, захлопали зенитки, и сразу над нами все громче загудело темнеющее небо, зашарили прожекторы. Макс Л. летел бомбить водопроводную станцию в квартале отсюда. Мы стали с женщиной и дедом-морозом в ближнюю подворотню. Воздух завыл нарастающим воплем. Арка над нами пошатнулась. Посыпались стекла. Штукатурка упала на лицо деду-морозу, и стеклянный глаз его звякнул и разбился.

— Вы промахнулись,— сказал я Максу Л.— Вы попали в деда-мороза и в этом дом.

Новенький, блистающий протертыми широкими окнами дом выглядел выше и стройнее, чем тот. С центральным отоплением, с лифтом. Только в подъезде не

было цветных витражей с рыцарем. И на втором этаже ничего не осталось от той квартиры с гербариями. О ней никто и не помнил, кроме меня. Макс Л. сфотографировал этот дом.

— Как ее звали?— спросил он.

Я пожал плечами.

— Ута. Вы помните прекрасную Уту в Наумбургском соборе?

Макс Л. неопределенно кивнул.

— Мою мать убило в соборе,— сказал он.— Брухтвейнский собор, в Баварии. Вам не приходилось там бывать?

— Нет,— сказал я.

В клубе Ленгорвода шел фильм «Берегись автомобиля» с участием Смоктуновского. Сквозь кусты виднелись корпуса насосных, водоочистных и прочих сооружений. Я показал Максу Л. старую водонапорную башню, в которую он никак не мог попасть.

Где-то в Таврическом саду упал сбитый немецкий самолет, но где именно, я уже позабыл. На площадке пацаны гоняли мяч. Молодые мамаши катили никелированные мальпосты, будущие мамаши шептались на скамейках с будущими отцами. Макс Л. щелкал аппаратом.

— Та женщина погибла?— спросил он.

— Нет... Она сошла с ума.

Рядом с Максом Л. шел полковник-летчик в кожаной меховой куртке, под ней кресты за Францию, Норвегию, Ленинград и прочие заслуги. Впервые я увидел их совсем недавно, в лавочке в Сан-Франциско. Полный комплект их лежал под стеклом, а на полках — генеральские фуражки, каски со свастикой, фашистские мундиры. Хозяин уговаривал нас купить — эти реликвии дорожают быстрее других.

Листья старых лип кружились над нами. Когда-то здесь стоял танцпавильон и мы ходили с ней танцевать.

Лейтенант в полушубке, с махоркой в кармане, брезгливо разглядывал меня нынешнего, гуляющего как ни в чем не бывало с нынешним Максом Л., обоих нас в летних костюмчиках, в одинаковых нейлоновых рубашечках — этакие благообразные отцы семейств, любезный хозяин и его милый гость по линии Интуриста.

...Жаль, что вы не увидите белых ночей, о, белые ночи — это чудо, у нас не бывает белых ночей, да, да, Достоевский, у вас увлекаются Достоевским, завтра фон-

таны Петергофа работают, основал Петр, вода уже холодная, выпить пива, у вас мало пивных, пивная далеко, у вас много читают, обратите внимание — это музей Суворова, русские церкви имеют прекрасную архитектуру, по воскресеньям все на лыжах, в метро читают, у нас нет зимы, у вас есть зима...

Полковник Макс Л. от этой болтовни хватался за пистолет; я, в полушубке, сжимал свой лейтенантский наган. Позор, предательство, измена открывались перед нами. Двое на двое, мы с нынешним Максом Л. против тогдашних. Тогдашние-то между собой смертельные враги. И нас они не признают. Я пытался образумить лейтенанта. Но я гордился им. Мы все трое ненавидели чванливого, тупого, надутого пивом и прусской спесью полковника-летчика. Каждый был против каждого. В этом четырехугольнике все перепуталось. Четырехугольник не был равносторонним, не был равноправным, черт знает, какой он получался перекошенный.

— Посмотрите отсюда на Таврический дворец.— Мне приятно было, что Максу Л. нравился Ленинград. Я хотел, чтобы он полюбил этот город, так же как я любил шумный веселый Лейпциг, и Веймар, и маленький Ильменау, затерянный в горах Тюрингии, с его студентами, рыночной площадью, домиком Гете.

Я все еще не понимал, зачем Макс Л. так настойчиво выискивает следы войны. Чего он добивается? Воронки были давно засыпаны, пустыри застроены, надписи об обстреле закрашены, осталась лишь одна на Невском — и та воспроизведена заново. Блокада экспонировалась в музее. Макс Л. мог гулять вполне спокойно, не опасаясь напоминаний.

Что я мог ему еще показать? Кладбища? Одиноких женщин? Инвалидов? Война и блокада доживали скрыто, среди старух, оставшихся без детей, в наследственных болезнях. И даже под землей...

До сих пор мне слышатся тревожные ночные звонки в диспетчерской. Аварийная машина мчалась к подстанции. Вылетел кабель. Его пробивало где-то под землей. Вскрывали асфальт, копали траншеи, разыскивая место пробоя. Обычно то была муфта, смонтированная еще в блокаду, после обстрелов, вставки, которыми латали поврежденные кабели. От бомб и снарядов, даже упавших поодаль, изоляция трескалась, рано или поздно эти кабели пробивались. Сквозь ничтожные волосяные трещины влага не спеша, годами ползла к жилам,

и наконец разражался пробой. А то начинал оседать грунт бывших воронок. Земля тянула за собой кабели, муфты не выдерживали. Весной, когда почва оттаивала, аварии вспыхивали, подобно эпидемии. Тщетно мы пытались предусмотреть, предотвратить их. Следы блокады проступали неукоснительно. Для нас, кабельщиков, обстрел продолжался, разрывы неслышно раздавались под землей.

То же происходило и с людьми, с их артериями и сердечными мышцами. Что я мог показать Максу Л.? А именно эта бесследность войны его волновала. Как будто ему не хватало вещественных доказательств своей вины.

Он пробовал сам доискаться.

— Я знаю, что осталось. Недоверие. Вот даже вы, сознайтесь, вы не до конца верите мне?

Честно говоря, он застал меня врасплох.

— Вы разве что-нибудь чувствуете?

— Да, вы стараетесь обходить... Вы не даете волю... Вы умалчиваете... Вы щадите...

В чем-то он был прав. Верил ли я ему? Я вглядывался в себя, в самую глубь, в изначальность чувств, туда, где возникает приязнь или такая же внезапная и необъяснимая неприязнь. Туда, где в смутных глубинах души решалось: это друг, а это просто знакомый. Грустное и нежное лицо Лотты Вассер появилось передо мной. Ее глуховатый, протяжный голос. Мюллер — похожий на развороченный муравейник, наши резкие, наотмашь споры. Уж с ним-то я не стеснялся. А Хеди, смешливая, громкая, а ребята-биологи из Дрездена? А Лиза и ее муж и наши долгие прогулки по старому Берлину? А Лео? А Роберт?..

У меня и мысли не возникало — верю ли я им. Они не были для меня немцами. Просто друзья, которых я люблю. Такие же, как Реваз Маргиани, Кайсын Кулиев, Мустай Карим. Когда она появляется, эта самая национальность? В каких случаях?

С Анной Зегерс, с Эрнстом Бушем я мог говорить так откровенно, как не стал бы с иными моими московскими знакомыми. Однако именно через них я полюбил Германию — вот, пожалуй, в чем они были немцами. Через них я кое-что уразумел в трагедии немецкого народа. Через них, через Генриха Бёлля, Кеппена, Дитера Нолля. Фашизм мне был известен лишь снаружи, они же раскрывали его изнутри. Настоящий антифа-

шизм куда серьезнее и труднее, чем просто ненависть к фашизму.

Но было и другое. Недаром Макс Л. что-то почувствовал.

Была та парочка, немец со своей подружкой в Дубровнике.

Мы сидели в погребке, Женя читала свои стихи, и тогда этот парень включил транзистор. Включил не музыку, а какую-то немецкую передачу, специально, назло. Мы посмотрели на него, еще не понимая. Он закинул ногу на ногу и засмеялся. Женя замолчала.

— Читай,— сказали мы.

Немец усмехнулся и увеличил громкость. Радио орало в пустом погребке, лающий голос зазвучал вдруг как тогда, в сороковые. Он ликовал, этот парень, красивый, сочный, голубоглазый, со своей умело раскрашенной подружкой, похожей на Реглинду, ту, что стоит рядом с Утой. Будь на их месте французы, русские, югославы, мы бы сочли это за обычное хулиганство. Поругались, выставили бы их, но тут злость поднялась, такая жгучая, непереносимая. Я почувствовал в этой выходке именно немецкое, ненавистное немецкое, особый умысел. Не знаю, был ли на самом деле умысел, но я воспринял как умысел, потому что передо мной был немец. И когда Иво с трудом вытащил нас из погребка и мы поднимались по узким ступенчатым улицам Дубровника, нам стали замечаться прежде всего немцы. Бодрые, краснощекие, сентиментальные западные старушки, толстозадые парни в шортах, писклявые девицы. Все в них вызывало неприязнь — их крикливость, самоуверенность, бесцеремонность. Они вели себя как хозяева, как будто ничего не было, как будто не мужья этих одуванчиков расстреливали здесь партизан, и не отцы, не дяди, как будто они ни при чем. Как будто не их приятели, туристы из ФРГ, два дня назад на партизанском кладбище устроили пикник и отплясывали между могил, распевая свой шлягер.

У нас руки чесались — пинками их под зад, вон из беломраморного Дубровника, и повесить надпись «Немцам въезд воспрещен». Но тут с крепостной стены открылось море, большое, синее. Голова моя охладилась.

«Господи, так ведь это же и есть расизм,— подумал я,— когда считаешь, что человек плох, потому что он немец. Какое я право имею? Оказывается, сидело во мне это самое, застряло, как осколок с войны. Парень

тот — фашист, хулиган, подонок, кто угодно, но при чем тут немцы»,— твердил я себе.

— Терпеть их не могу,— сказала Женя.— Знаю, что нехорошо, гадко, и ничего не могу поделать.

Чем же мы лучше тогда каких-нибудь черносотенцев, американских расистов, думал я, так же нельзя себя распускать. И как могло то низменное, стыдное чувство быть таким сильным. И почему раскаянье не мучает меня, то есть разумом я понимаю, что нехорошо, что надо уничтожить это в себе, но ведь не мучаюсь, не страдаю.

Ох, как это соблазнительно возненавидеть другую нацию, особенно когда есть личные, такие уважительные причины. Не обязательно ненавидеть, можно презирать, брезгливо морщиться, можно не доверять, вежливо улыбаться, обходя щекотливые вопросы...

А девица того немца похожа не Реглинду, младшую сестру Уты. И моя девушка была похожа на Уту. У меня не осталось ее фотографий, поэтому я купил в Наумбургском соборе фотографию Уты. Прекрасная Ута и ее младшая сестра Реглинда работы неизвестного мастера тринадцатого века.

Длинные руки Макса Л. помогали его скудному русскому языку, множество жестов, каждым пальцем отдельно, ему необходимо было что-то ухватить, извлечь, отделить.

Улики... Он искал улики. Его обескураживало, что к ним отнеслись пренебрежительно. Суду не хватало улик. Странная пьеса разыгрывалась передо мной.

Мы сидели в переполненном зале. На сцене под деревянным распятием расположились присяжные и судья в парике. Подсудимый яростно запирался. Поначалу пьеса казалась похожей на другие пьесы и фильмы. Защитник доказывал, что подсудимый всего лишь солдат, который исполнял чужие приказания. Прокурор умело расправлялся с этой знаменитой формулой. Он искусно отделял солдата от командира, приказ от выбора: внутри приказа для командира всегда есть выбор. Свидетели читали документы, показывали фотографии. Непонятно, откуда взялись фотографии; судя по камзолам и шпагам, действие происходило в давние времена. Двенадцать присяжных походили на двенадцать наумбургских фигур, среди них была Ута и ее супруг, маркграф Тю-

рингский Эккехард, и печальный Герман. Посредине сидел судья, узколицый, чем-то напоминающий Гете.

Постепенно виновность подсудимого выяснялась. Преступление изобиловало подробностями столь гнусными, что кое-кто в зале не выдерживал, уходил. Защитник был удручен. Подсудимый слушал речь прокурора с ужасом, так же как и весь зал. И когда судья предоставил ему последнее слово, он растерянно оглянулся, как будто речь шла о ком-то другом. Позади стояли только стражники.

— Значит, это был я,— сказал подсудимый. С каким-то самозабвением он признался во всем; единственное, чем он оправдывался, это непониманием, он не понимал, что творил. Неподвижное костяное лицо судьи впервые дрогнуло, нарушая все правила, он спросил, понимает ли теперь подсудимый, как это было и почему он так делал. Подсудимый покачал головой — и теперь он не понимает. Все встали, суд удалился на совещание.

Прошел час, другой, суд не возвращался. Публика стала расходиться. Когда подсудимый поднял голову, в зале осталось совсем мало народу, и конвоиров уже не было. Пришел сторож и начал гасить свечи. Подсудимый спросил, где же суд. Сторож не знал. Тогда подсудимый вскочил, вышел из-за барьера, его не остановили, он двинулся к комнате, куда удалился суд, постучал, никто не ответил. Он распахнул дверь. Комната была пуста. Приговора не будет. Как же так, он оправдан? Но он знает, что оправдать его невозможно. Он ищет судью, он требует наказания. Они не имеют права нарушать закон, по закону ему положено наказание. Какое бы ни было наказание — оно расчет, оно возможность расквитаться, но в том-то и мучение, что рассчитаться нельзя, приговора нет...

— Как вам понравилась пьеса? — спросил Макс Л.

— Притча. Причем сомнительная. Раз нет наказания, это значит безнаказанность?

— Совсем наоборот, из-за этого в глазах людей он всегда остается преступником, ему нельзя доверять, поскольку он не искупил...

— Послушайте, нам-то с вами зачем разыгрывать пьесу,— сказал я.— У меня нет права вам не доверять. Ведь вы могли бы давно перейти на Запад, если б хотели. Нет, я вам верю хотя бы из-за того, что вас это все мучает.

— При чем тут Запад,— с силой сказал Макс Л.— Разве можно все мерить переходом на Запад? Как будто там, в ФРГ, нет честных людей.

— Для вас этот переход был бы переходом к реваншистам.

— Я не о том. Я про недоверие. Ведь если нам не доверяют, значит, нас отталкивают. А куда, к чему отталкивают — об этом вы задумывались? И как бы вы ни уверяли меня, мне всегда будет казаться... Да и как я могу требовать, вы, если бы и захотели, не сможете простить...

Рука его на мгновенье застыла, вцепившись в воздух, и что-то отозвалось во мне, словно я прикоснулся к тому, что годами тлело в душе этого человека, нечто такое наболелое, что и выразить, тем более передать другим людям, не представлялось никакой возможности.

Трудно нам было; как бы мы ни старались с ним, вряд ли сумеем мы до конца преодолеть то, что стоит между нами, так это и останется при нас, с тем мы, наверное, и уйдем из жизни.

В полвосьмого, как и договорились, у пруда мы встретились с Леной и Костей, которым я с утра поручил Вилли, младшего сына Макса Л. Они показывали Вилли город. У них, пятнадцатилетних, был свой город, где блокада и война были отнесены к истории вместе со взятием Зимнего, «Авророй», Пушкиным, Ломоносовым. В их городе был Эрмитаж, «комета» на подводных крыльях, стадион Кирова, Костина гитара, кафе «Север», Зоосад, где Лена выхаживала зебру, новая линия метро — кто его знает, что еще там было.

Мы зашли в буфет, заказали сосиски, чай с лимоном и немного водки, так что на каждого пришлось по рюмке. Лена поинтересовалась, как мы проводили время.

ПОРТРЕТ УТЫ

— А что смотреть на Таврической? — удивилась она, и быстрые воробьиные глаза ее на скуластом лице округлились, совсем как у покойного ее отца.

Ей было два года, когда он умер, она не помнила ни его костылей, ни военных песен, ни его обожженных рук.

— На Таврической улице...— Я медлил, соображая, как бы почестнее выйти из положения.

И тут Макс Л., черт бы побрал его искренность, сказал:

— Я бомбил этот район во время войны.

Почему-то они, все трое, посмотрели не на него, а на меня. Как будто моя физиономия могла им разъяснить услышанное, как будто я должен им подсказать, Вилли и тот смотрел с напряженным ожиданием. А что подсказать? Не хватало еще, чтобы они меня спросили, как это могло произойти? Что «это»? Ну, вообще — фашизм, и война, и Гитлер, и Освенцим. Они обожали подобные вопросы. Впрочем, когда они их не задавали, было еще хуже.

Если б я мог из своей путаной истории отношений с Максом Л. и с другими немцами, из истории, где были промахи, заблуждения, предрассудки, вывести какую-то формулу. Надежную и общую, пригодную для той жизни, в которой им предстоит жить рядом с неграми, корейцами, китайцами, американцами, в мире, перемешанном куда гуще, чем наш, где фашистское будет без свастики, коричневое прикинется голубым, Освенцим станет такой же древней историей, как Тауэр или казематы Петропавловской крепости.

В огромных залах музея Освенцима за стеклами лежала гора помазков, гора очков, гора протезов, высокая гора обуви. Меня удивил одинаково серовато-пыльный цвет обуви — этих тапочек, туфель, штиблет, сандалий. Краски исчезли. Я сообразил, что прошло почти четверть века, кожа истлевает. Гора волос тоже поблекла, волосы превращаются в тлен, скоро придется все тут заменять декорацией, фотографиями.

Если б я мог вывести формулу — такую, чтобы Освенцим не превращался в музей. Чтобы все эти экспонаты, камеры, печи оставались угрозой.

Но вместо формулы мои размышления оканчивались новыми вопросами.

Макс. Л. поднял рюмку. Голос его звучал сухо:

— Я полагаю, что отныне мы с вами вместе будем бороться с фашизмом.

Я чувствовал, как ему мешает мысль о том, что ему не верят, слова его становились еще казенней.

— История не должна повториться,— он взглянул на меня, запнулся.— И также ради Уты...

Он сказал это тихо, бесцветно. Мы чокнулись.

— Какой Уты? — спросила Лена.

Я достал из бумажника фотографию.

— Знаю, это в Наумбургском соборе,— сказал Вилли.— Нас туда возили.

Интересно, что Вилли был заодно с ними, ничто не изменилось в их отношениях, и потом, когда они шли впереди нас по улице, держась за руки, в стеганых куртках, с одинаково заросшими затылками, меня удивляло и радовало, что они никак не выделяли Вилли. Они перебивали друг друга, мешая немецкие, русские, английские слова, смеясь оговоркам, иногда чуть озабоченно оглядываясь на нас, может быть чувствуя, как мы завидуем их свободе.

Мы шли по Таврической. В сером камне домов возникали черты Уты, ее прекрасное лицо. Я подумал, что наумбургский мастер никогда не видел ни маркграфини Уты, ни ее супруга Эккехарда, ни Реглинды. Они жили задолго до него. Тогда не существовало ни фотографий, ни портретов. Какой она была на самом деле, Ута? Может быть, он изобразил женщину, которую любил. Поэтому она так похожа на мою Уту. Мы вместе с ним любили одну женщину...

ВАДИМ ШЕФНЕР

Общая планета

Хороша зимой и летом
И пригодна для жилья
Всенародная планета,
Наша матушка-Земля.

До сих пор не обветшала
Крыша синяя над ней;
В странах — комнатах и залах —
С каждым годом все людней.

Где — богаче, где — попроще
Жизнь идет, но с давних пор
Двери все выходят в общий
Коммунальный коридор.

Семьи всех оттенков кожи
Рядышком расселены;
Семьи все на свете схожи:
Не хотят они войны.

Не хотят, чтоб стала тиром,
Превратилась в полигон
Эта общая квартира
Всех народов и племен.

Людям надо непременно
Сохранить свой дом земной —
Ведь у них во всей Вселенной
Нет жилплощади иной.

АНДРЕЙ УШИН

«Музей Великой Октябрьской
социалистической революции.



ГЕОРГИЙ ХОЛОПОВ

Рота прикрытия

Рассказ

Из Петрозаводска мы выезжаем во втором часу ночи.

Город погружен во мрак. Идет проливной дождь.

Вместе со мной едет техник из инженерного отдела армии. Как-то в июле мы с ним вот так же вдвоем ехали в район озера Пелдо и дальше, на Вашкелицы. Но тогда было лето, ярко светило солнце, и казалось — недолго продлится война. А вот уже конец сентября, идут дожди, и войска наши отступают по всему Карельскому фронту.

Нам двоим не вместиться в кабину, и из чувства солидарности мы сидим в кузове, накрывшись плащ-палатками.

С невеселыми мыслями я покидаю Петрозаводск. Говорят, не сегодня завтра город будет оставлен нашими войсками. Что же ждет нас в районе далекого озера Пелдо?.. Те же мысли, видимо, мучают и моего соседа. Едем молча.

Вскоре наша машина выезжает за город, на асфальтированное шоссе. Мы оборачиваемся и долго смотрим на дорогу, освещенную фарами. Навстречу тянутся телеги с нехитрым домашним скарбом, с сидящими на верхотуре промокшими детьми и старухами. За телегами плетутся коровы на привязи, меж колес бредут сонные собаки. А по обочине дороги с мешками за плечами, цепочкой, точно странники, идут смертельно усталые люди.

Под утро, уже далеко от Петрозаводска, мой спутник спрашивает:

— Интересно, стоит ли на том перекрестке зеркальный шкаф?

Я не отвечаю, хотя отчетливо вспоминаю и развилку дороги, и кем-то брошенный зеркальный шкаф, и веселых молодых солдат, бреющихся перед ним. Где теперь эти солдаты?..

И вот начинает рассветать. Мы подъезжаем к па-

мятной развилке. Да, зеркальный шкаф все стоит на том же месте, но он уже не такой нарядный и зеркало исполосовано трещинами.

— Когда зеркало становится никому не нужным, это уже плохой признак,— с тревогой говорит мой спутник.

Но я и на этот раз не отвечаю. Мне почему-то трудно раскрыть рот и что-нибудь сказать...

Сквозь густую сетку дождя впереди показывается Спасская Губа. Улицы ее пустынны, в домах настежь распахнуты окна и двери, у порогов валяются матрацы, самовары, корыта и всякое другое добро.

Мы пересекаем городок и останавливаемся у шлагбаума. Я хорошо помню, что тогда, в нашу первую поездку, здесь, у контрольного пункта, стояла большая очередь и пограничники строго проверяли документы. Теперь — ни очереди, ни пограничников, и шлагбаум поднят.

Мы с техником вылезаем из кузова. Дальше нам идти пешком. Шофер разворачивает машину. И вдруг мой спутник вскакивает на подножку, открывает дверцу кабины и зло кричит мне, что он никуда не пойдет, что у него брезентовые сапоги, что он уже промок насквозь и не желает заболеть воспалением легких!..

— К тому же отсюда вряд ли выберешься живым! Вон какая зловещая тишина! — Он машет рукой: — Желаю удачи! — И, забравшись в кабину, захлопывает дверцу.

Я долго и с изумлением смотрю вслед машине, на бешеной скорости уходящей по шоссе. Правду говорят, что машины, как и лошади, бегут домой быстрее. Потом, как и положено военному корреспонденту, иду вперед — туда, в озерный край, где у черта на куличках находится озеро Пелдо. Дождь идет с прежней силой.

Снова и снова я вспоминаю свою первую поездку в район озера Пелдо и дальше, на Вашкелицы. Это было в июле. Дорога тогда проходила то вечнозеленым, старым, мирным лесом, то лесом, обугленным от пожаров, с редкими, чудом уцелевшими деревьями, или же лесом, изуродованным снарядами и бомбами с расщепленными столетними соснами. На протяжении многих десятков километров лесная дорога была усеяна разбитыми ящиками из-под снарядов, опрокинутыми телегами, мертвыми лошадьми. Валялись новенькие финские и шведские велосипеды, красно-черные противогазы-намордники, солдатские котелки, пустые винные бутылки,

разорванные брезентовые палатки, шинели, белье... В грязь были втоптаны письма, газеты, многоцветные журналы и карманные евангелия. А по краям дороги стояли наспех сколоченные березовые кресты на наспех насыпанных могилах, с верхушек сосен свисали навсегда замолкшие «кукушки»... Попробовали было войска противника сунуться в тот район, но им нанесли такой удар, что они сразу же откатились до самой границы. И до самой границы тогда дорога была полна больших и малых пехотных колонн, артиллерии, машин с боеприпасами, куда-то несущихся велосипедистов и мотоциклистов...

А теперь, в сентябре 1941 года, эта же дорога выглядит совсем иначе. Изредка пройдет небольшой обоз, еще реже промчатся машины с отступающими войсками, и снова надолго ни звука, ни живой души. Чем дальше я иду, тем с большей тревогой озираюсь по сторонам. Удивительно тихо в лесу.

Дождь идет проливной. И плащ-палатка, и шинель, и белье на мне очень скоро промокают до последней нитки. А сапоги покрываются таким толстым слоем грязи, что я еле передвигаю ноги.

Лишь к полудню я оказываюсь в небольшой полуразрушенной, мрачной и безлюдной деревушке Носоново, что стоит на берегу не менее мрачного, покрытого туманом озера Носоновского. Не успеваю я обогнуть озеро, как уже наступает вечер и становится темным-темно. Я спотыкаюсь о выступающие корни, падаю, скатываюсь в канавы, полные воды, ударяюсь лицом о ствол дерева. Вокруг не видать ни зги...

Уже поздно ночью сквозь шум ливня до меня доносится резкий окрик:

— Стой! Кто идет? — Зловеще щелкает затвор винтовки.— Пропуск!

— Свои! — отвечаю я, переводя дыхание.— Пропуска не знаю. Иду издалека.

— Не старшина ли Злобин? — с надеждой вдруг спрашивает часовой.

— Нет, не Злобин. И не старшина.

Вспыхивает красный луч карманного фонарика, висящего на груди часового. Только сейчас, на свету, я вижу, с какой силой льет дождь.

— Кто?.. Куда идешь? — спрашивает часовой, отступая назад.

Под дулом винтовки я с мельчайшими подробностями, видимо как это бывает на исповеди, рассказываю о себе, о цели моей поездки.

— А вы не сумасшедший? — спрашивает часовой, перейдя на «вы».

— Не думаю,— отвечаю я.— Нет.

— Какие здесь можно писать очерки о героизме?.. О каком героизме?.. Где вы здесь видели героев?.. Вы знаете, куда попали?.. Знаете обстановку?..

— Понятия не имею. Наш редактор об этом не говорил, посылая меня в район озера Пелдо.

— Н-да!..— шумно вздыхает потрясенный часовой.— Еще бы сто шагов — и как раз угодили бы на минное поле... История!..

Мы идем на КП, к командиру роты, я впереди, часовой — позади, освещая дорогу фонариком. Через десяток шагов часовой говорит:

— Осторожнее! Здесь должны быть ступени.

Не успеваю я нащупать ногой первую ступень, как скатываюсь вниз и, пролетев под плащ-палаткой, навешенной над входом, оказываюсь в землянке.

Это яма в два-три квадратных метра. Она полна воды, с журчанием пробивающейся изо всех щелей и сверху, с наката. На воде покачивается ящик, на нем — крошечная коптилка. По одну сторону от ящика, спиной к выходу, на чем-то, скрытом водой и чуть ли не по пояс в воде, сидит лейтенант, командир роты, по другую, опустив ноги в воду, на каком-то чурбане, привалясь к стене,— девушка. Над самой ее головой висит санитарная сумка.

Схватившись обеими руками за ящик, закачавшийся от бурных волн, лейтенант с радостным изумлением оборачивается ко мне, потом шумно и разочарованно вздыхает:

— А я-то думал — Злобин!..

Тяжело вздыхает и девушка.

— Нет, не Злобин, не старшина,— вновь отвечаю я и, назвав себя, поднимаюсь на ноги. Вода доходит мне почти до колен.

Поднимается и командир роты. За ним — девушка.

— Лейтенант Мартынюк! — пытливо всматриваясь в меня, представляется командир роты. У него обросшее щетиной лицо, смертельно усталые глаза. Ему, должно быть, лет двадцать пять, но выглядит он намного старше.

— Медсестра Кондратьева! — говорит девушка, настороженно косясь на меня.

— Нам или придется стоять, или же сесть на нары... правда, скрытые водой. Другого ничего не могу предложить! — разводит руками Мартынюк.

— Что же вы так?..— Я разглядываю ветхую землянку.— Это же яма, прикрытая одним-единственным накатом!

— Спасибо и за яму! — глухим, простуженным голосом отвечает Мартынюк.— Хоть нашли местечко для КП!.. Мы только несколько часов назад закрепились на этом участке. Враг — в ста метрах.

— Отступали?

— Сегодня — трижды... Садитесь... Что стоять под ливнем, что сидеть в воде — один черт! — И Мартынюк первым садится. Его примеру следует медсестра.

Некоторое время я еще продолжаю стоять, потом осторожно опускаюсь в воду, нащупав под собой нары.

— Только не погасите фитилек,— просит Мартынюк.— Здесь ни у кого нет сухих спичек.

— Хоть бы скорее наступило утро! — в отчаянии шепчет медсестра.

— Лучше бы пришел Злобин с ребятами!.. Тогда бы сразу ушли из этого гиблого места,— говорит Мартынюк.

— Проклятый ливень! — шепчет медсестра, тяжело вздохнув.

Фитилек в коптилке трепетно дрожит от ее вздоха, вот-вот готовый погаснуть. Мартынюк молча показывает кулак. Медсестра испуганно зажимает себе рот...

Приподнимается край плащ-палатки, и в землянку просовывается рябоватое лицо с мохнатыми, толстыми бровями. С каски гулко скатываются в воду большие тяжелые капли.

— Час прошел, товарищ лейтенант... Злобина все нет... Минировать проход?..

— Как фланги?

— Роты Веселова и Сиротина закончили минирование своих участков. Остановка только за нами. Как закроем проход — сразу можем отойти.

Мартынюк переглядывается с медсестрой.

— Ну подождем еще немного. Ну хотя бы еще полчаса! — умоляюще просит она.

Мартынюк долго молчит, как зачарованный глядя на фитилек: он думает.

— Отложим еще на час,— говорит он.— Может быть, они все-таки живы и бродят где-то рядом с нами, ищут этот злосчастный проход?.. Злобин не может не прийти...

— Мы обыскали весь лес, товарищ лейтенант,— говорит рябоватый.— Подобрали только раненого связиста... Больше никого там нет.— Понизив голос, он шепчет: — Под шум дождя враг накапливается на той стороне. Лучше вовремя уйти. К утру придется отходить с боем.

— Подождем еще час,— твердо говорит Мартынюк, с грустью и сожалением посмотрев на сапера.

— Хорошо. Откладываем отход в третий раз.— И рябоватый, судя по всему — командир саперного взвода, опускает набухшую плащ-палатку, и она, как камень, погружается в воду.

Я смотрю на задумчивое лицо Мартынюка и спрашиваю про обстановку, хотя она мне, конечно, и так ясна.

— Какая там, к черту, обстановка! — Он устало машет рукой.— Приказано отступать — и мы отступаем, прикрывая основные силы... Сегодня потеряли много людей... Вот не вернулась и группа Злобина... Она отвлекла на себя автоматчиков, благодаря ей мы и оторвались от врага, закрепились на этом участке... Вы знаете, что такое рота или батальон прикрытия или отступления?

— Догадываюсь,— отвечаю я.

Мы молчим, прикованные взглядом к трепетному огоньку коптилки. Но наше молчание прерывается голосом снаружи:

— Как быть с шалашами, товарищ лейтенант?

— Пошли Смирнова. Пусть займут их, разожгут костры, вскипятят чай. Скоро начнем выводить народ,— обернувшись, отвечает Мартынюк.

Потом поочередно входят в землянку командир отделения связи, командир пулеметного взвода, представители рот Веселова и Сиротина и другие, не разгаданные мной. То и дело в их разговоре я слышу имя Злобина.

И вдруг край плащ-палатки приподнимается, и мы снова видим рябоватое лицо командира саперного взвода. Его мохнатые, толстые брови сведены у переносицы, и глядит он исподлобья.

— Как скоро идет время! — шумно вздыхает Мартынюк.

— Неужели прошел уже час? — негодующе спрашивает медсестра.

Командир саперного взвода молча поднимает руку, показывая свои огромные, как будильник, часы.

— Так...— в тягостной тишине произносит Мартынюк. И после долгой паузы: — Минируй...— как можно спокойнее выговаривает он.

— Есть минировать проход! — гаркнул сапер, и его брови разлетаются в стороны.

И тут Кондратьева, глотая слезы, тихо, по-бабьи плачет, отвернувшись к стене...

— Я сделал все,— раздумчиво, точно сам с собой, говорит Мартынюк, наклонившись над фитильком, и внимательно рассматривает его.— Ты это видела... Он был и моим близким товарищем...

Осторожно переставляя ноги в хлюпающих сапогах, в землянку входит связной Мартынюка. Откинув полу накинутой на плечи плащ-палатки, он протягивает лейтенанту окорок, завернутый в полотенце. От мяса несет сильным запахом дыма и запекшейся крови.

— Как народ?— спрашивает Мартынюк, беря окорок.

— Накушались до отвала, товарищ лейтенант,— широко и беззаботно улыбаясь, отвечает связной, совсем еще мальчишка.— Лось-то был величиной со слона!

— А ты видел слона? По окороку что-то непохоже.— И Мартынюк передает его заплаканной Кондратьевой. Сам берет у связного протянутую бутылку.

— Видел! На картинке! — Связной по-мальчишески прыскает со смеху и скрывается за порогом, взбурлив воду.

Ударом о ладонь Мартынюк вышибает пробку и отдает бутылку мне. Я отпиваю глоток и возвращаю бутылку лейтенанту. Мартынюк передает бутылку медсестре и берет у нее окорок. Кондратьева с отвращением, как отраву, делает два торопливых глотка.

— Пей, пей! — сердито хрипит Мартынюк.— А то в этой ванне еще схватишь воспаление легких.

— Ну и черт со мною! Теперь все равно! — Кондратьева возвращает ему бутылку.

Снова приподнимается край плащ-палатки, и с порога докладывают:

— Уходит первый взвод, товарищ лейтенант!

— Добре,— отвечает Мартынюк. Держа в одной руке окорок, в другой — водку, он прикладывается к горлышку и одним долгим глотком осушает чуть ли не поло-

вину бутылки. Потом, поставив ее на ящик, отчего ящик накреняется, он впивается крупными белоснежными зубами в окорок, отрывает кусок и протягивает окорок мне.

От запаха мяса у меня кружится голова. Достаю из кармана перочинный нож, пытаюсь отрезать кусок мяса, но тупой нож скользит, не оставляя даже следа. Тогда я тоже впиваюсь в мясо зубами... Окорок переходит к Кондратьевой. Она держит его в руках и умоляюще смотрит на меня, не зная, как к нему подступиться, потом закрывает глаза и следует нашему примеру.

— Уходит второй взвод, товарищ лейтенант! — раздается за плащ-палаткой.

— Добре,— отвечает Мартынюк, беря из рук Кондратьевой окорок.

И вновь окорок возвращается ко мне, переходит к медсестре, от нее — к Мартынюку...

Распив со мной остаток водки, лейтенант споласкивает руки и осторожно встает. Но ящик все же сильно покачивается, и трепетно дрожит фитилек в коптилке. Откуда-то из-под наката Мартынюк достает пистолет, планшетку. И приподнимает плащ-палатку.

— Мы уходим с третьим взводом. Приготовьтесь в дорогу,— говорит он.

— А куда деть окорок? — чуть ли не плача спрашивает Кондратьева.

— Возьми с собой. Там нас теща не ждет,— жестко бросает он и переступает порог.

Кондратьева тяжело вздыхает и продолжает есть. Видимо, она очень голодна.

Чтобы не смущать медсестру, я поднимаюсь и хочу выйти из землянки. К тому же меня начинает знобить. И в это время сквозь шум ливня где-то близко слышатся два сильных взрыва...

— Что это?

— Думаю — мины, взрывы на минном поле,— говорю я, прислушиваясь к однотонному шуму ливня.

И вдруг где-то совсем рядом раздается нечеловеческий крик, от которого у меня мороз пробегает по спине:

— Лю-у-ди-и-и! Бр-а-а-а-а-ту-уш-ки-и-и!..

— Ой!.. Наверное, Злобин! Леша! — вскрикивает Кондратьева и роняет окорок в воду. Потом вскакивает, хватает свою санитарную сумку и выбегает из землянки, опрокинув ящик с коптилкой.

Я оказываюсь в кромешной темноте.

С минного поля снова несутся душераздирающие:

— Лю-у-ди-и-и! Бр-ра-а-а-а-ту-уш-ки-и-и!..

Я слышу топот грузных солдатских сапог, отдающийся в голове, как удары молота, и выхожу из землянки, осторожно нащупывая смытые ливнем ступени. Передо мной, как стена, темень. Я ничего не вижу и не могу сделать шага.

Меня окликают:

— Товарищ политрук?

— Да,— с радостью отвечаю я, узнав знакомый голос часового.— Вы меня видите?.. А я вас нет.

— Слышали?.. Злобин пришел.

— Все же пришел?

— Пришел,— весело отвечает часовой, приближаясь ко мне.— Выходит, не зря ждали, хотя, видно, кое-кто у него подорвался на минах.

— Спасут их?

— Должны. Есть у нас санитары, и Кондратьева у нас молодец, и саперы еще никуда не ушли... Дайте руку, нам приказано уходить с третьим взводом.

Я протягиваю руку и иду как за поводырем. Мы входим на дорогу и пристраиваемся в хвост третьему взводу, которого я не вижу, хотя и слышу какие-то голоса впереди. Мы часто падаем, скатываемся в канавы, но идем.

Вывалявшиеся в грязи, к утру прибываем в «район шалашей», между озерами Кодисяргер, Вохт-озером и Носоновским. Шалаши здесь сохранились еще с финской кампании 1939—1940 годов, когда в этих местах стояли наши пехотные полки. В них скрывались от пятидесятиградусных морозов.

Мы входим в один из шалашей. Посредине горит большой и сухой как порох, костер, а вокруг, под потоком искр, сидят и лежат раздетые люди. Каждый что-нибудь да держит в руках: кто шинель, кто сапоги, кто рубаху. И от всего этого густо валит пар.

Шалаш громадный и весь, как готический собор, устремлен ввысь. Сложен он из гигантских сосен, каким-то чудом стянутых верхушками в узел.

Дождь наконец-то прекратился, и мы с радостью снимаем с себя мокрые шинели, потом — сапоги. Нам дают по пересохшей и шуршащей, как пергамент, плащ-палатке, я раздеваюсь догола, закутываюсь в нее и сажусь к самому огню, ни о чем больше не мечтая на свете.

Здесь, в районе шалашей, новый рубеж, занятый ротой прикрытия.

ЕЛЕНА РЫВИНА

* * *

Я помню первого снаряда
Протяжный свист,
                зловещий вой.
А наши дети были рядом
На ленинградской мостовой.

Мы заслоняли их собою,
Но мы не всех могли спасти
В суровый час,
                в разгаре боя,
В начале страдного пути.

Нет, Гений века горд не этим,
И атом не затем разъят,
Чтоб им грозили нашим детям,
Как человечеству грозят!

И мы встаем стеною грозной
У изуверов на пути,
Чтобы детей —
                пока не поздно,—
Чтоб человечество спасти!

НИКОЛАЙ КОФАНОВ

«Набережная Невы»



НИКОЛАЙ ВНУКОВ

Шрамы на колоннах

Рассказ

Исаакиевский собор знают все. По крутой лестнице поднимаются ленинградцы к самому куполу, откуда весь город виден, как с вертолета, и долго стоят, глядя на медленное течение широкой Невы и на Медного всадника, который скачет в будущее.

Однажды я слышал, как мальчик, стоя у колонн бокового входа, спрашивал:

— Мама, а почему колонны наверху побиты? Почему в них дырки?

— Где ты увидел дырки? — спросила мама, поднимая голову.

— Вон там, видишь? Две... три... четыре...

Мама долго смотрела на верхушки колонн, потом покачала головой:

— Не знаю.

Даже ленинградцы, пережившие в городе страшные годы блокады, не знают, что произошло ночью 7 ноября 1941 года недалеко от собора.

А это должен знать каждый.

1

Рядовой пиротехнической роты Александр Белавин приготовил конверты для праздничных писем. Он вынул их из полевой сумки и разложил на столе. Не торопясь заточил карандаш. Вырвал из тетради несколько листков бумаги.

В красном уголке воинской части было тихо. Только из коридора чуть слышно доносилась музыка. Дежурный по роте слушал радио.

Первое письмо будет, конечно, матери и сестренкам в далекое село Власово. Они, наверное, давно ждут не дождутся, а он никак не может выбрать несколько свободных минут.

Александр придвинул к себе листок и написал в правом верхнем углу:

«6 ноября 1941 года. Ленинград.

Дорогие мои!

Поздравляю вас с праздником Великого Октября. Как вы живете? Получаете ли весточки от Володи и Вани с фронта? У меня служба идет, как всегда,— ученья, тревоги, выезды на задания. В общем — все нормально...»

Он поднял карандаш и задумался.

Хотелось написать многое. О том, как недавно обезвреживали неразорвавшуюся бомбу на Охте. Она упала недалеко от моста и ушла глубоко в землю. Откапывали долго. А когда откопали, у бомбы вместо взрывателя оказался пустой алюминиевый цилиндрик. Сначала не могли понять почему. Потом решили, что среди немецких рабочих, изготовляющих боеприпасы, тоже есть друзья — антифашисты.

...Или о том, каким суровым стал город. Как забирали в леса и обкладывали мешками с песком Медного всадника, чтобы защитить его от взрывов. Как снимали с гранитных постаментов знаменитых коней у Аничкова моста.

Но слов не хватало. Как всегда, когда рассказать нужно многое, а с чего начать — не знаешь. Да и времени на длинные письма не было.

«После войны расскажу»,— подумал Александр и улыбнулся.

Радио в коридоре вдруг замолкло. Музыку словно ножом обрезало. Послышался громкий голос диктора:

«Внимание! Внимание! Воздушная тревога! Воздушная тревога!»

И сразу же отрывисто и четко застучал метроном.

В городе завыли сирены.

Александр посмотрел на часы. Стрелки показывали 22.10. Пятый налет фашистских самолетов за сегодняшний день. Это они ради праздника стараются. Устрашают... Как ненавидел Александр идущие в темном вечернем небе самолеты с черными крестами на крыльях и летчиков, хладнокровно сбрасывающих на город тяжелые бомбы!

Но на этот раз отбой наступил необычно быстро. Через десять минут перестал стучать метроном. Наступила глухая тишина. Потом снова начали передавать музыку.

«Видно, зенитчики отогнали самолеты!» — подумал Александр и опять принялся за письмо.

В красный уголок заглянул старшина.

— Белавин! Вызывает командир роты! Быстро!

«Ну что ж... Допишу ночью».

Он собрал бумагу, конверты, надел на карандаш наконечник, сделанный из гранатного капсюля, сложил все в полевую сумку.

Потом снова достал карандаш и написал после слов *«все нормально»: «Сейчас иду на ответственное задание. Выполню его с честью. Не беспокойтесь обо мне».*

2

— Назначаю вас старшим расчета, Белавин. Примите команду.

— Есть принять команду.

Александр посмотрел на трех красноармейцев, стоявших у входа в кабинет.

Ребята незнакомые. Молодые. Но, кажется, крепкие.

— Бомба на улице Союза связи, у Главпочтамта. Определите калибр, тип взрывателя. Если невозможно обезвредить, подорвите на месте.

— Ясно, товарищ капитан.

— Желаю удачи. Действуйте.

Уже в грузовике, грохотавшем по пустым улицам города, Белавин познакомился с расчетом, спросил:

— Приходилось когда-нибудь откапывать бомбы?

Красноармейцы переглянулись.

— Мы уж штук двадцать в дым пустили. Не сомневайтесь.

— Это хорошо! — сказал Белавин.

И больше не проронил ни слова до самого места.

Он вообще не любил длинных разговоров.

3

Бомба упала прямо против арки Главпочтамта. Проломив асфальт, она ушла в грунт, оставив после себя солидную дыру, засыпанную землей. У места падения бомбы кто-то уже поставил знак запрета движения. Поодаль, за аркой Почтамта, маячила одинокая фигура дежурного дружинника.

Уже совсем смеркалось. Темные дома двумя угрюмыми шеренгами стояли вдоль улицы. Ни единого проблеска света не пробивалось из окон. Жители строго соблюдали правила светомаскировки.

Белавин достал из кузова аккумуляторный фонарь с синим фильтром и осмотрел место падения бомбы. По величине дыры определил ее вес — двести пятьдесят килограммов. Взяв у одного из пиротехников щуп — длинный металлический стержень,— Белавин погрузил его в рыхлую землю. Стержень вошел в почву на всю свою полутораметровую длину, не встретив сопротивления. Бомба лежала глубже.

«Метрах в трех от поверхности,— мысленно определил Белавин, разглядывая обломки асфальта.— Интересно, почему не взорвалась? Что это, неисправность взрывателя или...»

Это «или» было самым неприятным для пиротехников, занимавшихся неразорвавшимися авиабомбами. В девяноста случаях из ста оно значило, что взрыватель у несработавшей бобмы — замедленного действия, вероятнее всего, с часовым механизмом.

«Будем надеяться, что она без часиков»,— подумал Белавин, и эта мысль немного успокоила.

Он обернулся.

За его спиной стояли пиротехники расчета с лопатами в руках, а за ними — дружинник с красной повязкой на рукаве зимнего пальто. В синем свете фонаря повязка казалась совсем черной. Увидев, что приехавшие на грузовике красноармейцы ходят рядом с воронкой, оставленной бомбой, он осмелел и подошел ближе.

— Когда упала? — спросил Белавин.

— Минут тридцать — сорок назад. Мы сразу же позвонили к вам в штаб,— ответил дружинник, и Белавин по голосу понял, что перед ним девушка, и, кажется, очень молодая.

— Это вы поставили знак запрета движения?

— Да.

— Правильно сделали. Молодец. На Почтамте кто-нибудь есть?

— Нет. Мы их предупредили. Все ушли. И из этих домов тоже все ушли.— Девушка показала рукой на темные окна со стеклами, перекрещенными белыми бумажными полосками.

— Куда ушли?

— В убежище.

Белавин сделал шаг к девушке и вгляделся в ее лицо.

«Совсем еще девчонка,— подумал он.— Сколько ей?

Лет пятнадцать, от силы шестнадцать. Как моей сестре Кате...»

Он вздохнул и произнес тихо:

— Простите, девушка, но вам тоже нужно будет уйти.

Она вскинула голову:

— Я не могу. У меня пост...

— Сейчас здесь командую я! — Голос его стал жестким.— Я снимаю вас с поста. Идите. И передайте людям в убежище: все будет в порядке. Понятно?

Дежурная постояла несколько секунд, словно не решаясь тронуться с места, словно хотела сказать что-то еще, потом резко повернулась и пошла.

Белавин дождался, когда она повернула за угол, и только после этого сказал своим:

— Давайте, ребята.

4

Было два пути.

Первый путь — откопать бомбу. Погнать машину за мешками с песком. Выложить из мешков стенку для защиты Почтамта и ближайших домов от взрыва и прикрепить к бомбе толовую шашку. Затем взорвать шашку. Вместе с шашкой взорвется бомба. Песок примет в себя осколки и приглушит ударную волну.

Это был легкий путь, но рискованный. За песком ехать долго. Неизвестно, какой толщины стенку нужно построить, чтобы ее не разметало взрывом. Да и строить все это долго. А вдруг за это время бомба взорвется? Если у нее взрыватель с часовым механизмом, она может взорваться в любую минуту.

Другой путь короткий, но очень опасный, потому что при этом на каждом шагу пиротехника подстерегает смерть. Но зато такой путь выключал работу Главной почты всего лишь на несколько часов.

И существовала еще одна причина, заставившая Александра Белавина сразу же отказаться от первого пути.

Своему расчету он сказал:

— Через два часа наступит Седьмое ноября. Мы должны сделать так, чтобы бомба не разрушила Почтамт в праздник Революции. Будем копать траншею вдоль улицы.

Они сразу поняли все.

И по тому, как они взялись за лопаты, и по тому, что не было задано ни одного вопроса, Белавин увидел, что расчет действительно опытный. Только люди, много работавшие с неразорвавшимися авиабомбами, могли понять его мысль. Нужно повернуть бешеную силу взрыва в том направлении, где она ничего не сможет разрушить. Нужно вырыть канаву от места падения бомбы в сторону Исаакиевской площади. Тогда страшная ударная волна взрыва пройдет по этой канаве вдоль улицы, вырвавшись на простор площади, ослабнет и потеряет свою сокрушительную мощь. Ни одно здание не будет задето. Только судорожно дрогнет земля да вылетят в окнах еще уцелевшие стекла.

5

Белавин вспомнил, как несколько дней назад покупал конверты для писем. Он купил их совершенно случайно здесь, на Главпочте.

Огромный зал, где в мирное время всегда было много народа, теперь пустовал. В окошечках, где принимали письма, слабыми звездочками светились маломощные лампочки. Стеклянный потолок наглухо заложен досками и засыпан песком.

Он подошел к ближайшему окошечку и на стеклянной витрине увидел конверты. Простые, из плотной синей бумаги, с напечатанными для адреса линеечками. Он давно уже не пользовался конвертами. В части все письма складывались треугольничком. Никаких марок, никаких почтовых ящиков — треугольнички сдавались в канцелярию части, откуда поступали на военную почту. А тут... На некоторых конвертах были даже марки с видами павильонов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Александр сначала даже растерялся, увидев конверты. Они были словно пришельцами из довоенного мира. Из того времени, когда Ленинград еще не знал затемнений и на его улицах не было разрушенных домов.

Он подошел к окошечку и тронул пальцем стекло, под которым лежали конверты.

— Это... продается?

Девушка за стеклянной перегородкой подняла голову.

— Конечно. Тридцать две копейки штука.

— Дайте мне три. И марки чтобы... покрасивее...

Сейчас Почтамт был пустынен и темен. Он словно ожидал взрыва, который мог ударить по стенам в любую минуту.

Его судьбу держали в руках Белавин и бойцы пиротехнического расчета. Только от них зависело, жить зданию дальше или превратиться в груду разбитого кирпича.

6

Через полчаса лопата одного из пиротехников лязгнула о металл.

— Кажется, стабилизатор,— сказал он негромко.

Александр спрыгнул в яму. Встав на колени, пошарил рукой в рыхлой земле. Ладонь наткнулась на погнутый стальной лист.

Да, пиротехник не ошибся. Это был верхний конец хвоста неразорвавшейся бомбы. Он торчал из земли, как плавник акулы.

Отбросив лопатой крупные комья, Александр добрался до корпуса бомбы. Потом вынул из кармана куртки стетоскоп, обыкновенный медицинский стетоскоп, которым врачи выслушивают больных, и приложил чувствительную головку к телу бомбы.

Закрыл глаза, прислушиваясь.

Сначала он ничего не услышал. Сильно шумела кровь в ушах после тяжелой работы. Но потом из глубины — казалось, из самого центра земли — проклюнулся звук, едва уловимый, похожий на постукивание крохотных стальных молоточков. Стук то усиливался, то исчезал, и не понять было, существует он на самом деле или это обман напряженного слуха.

Пиротехники наверху ждали.

Александр еще плотнее прижал головку стетоскопа к стали.

Нет. Это не обман слуха. Молоточки внутри отчетливо отстукивают секунды.

— Взрыватель с часовым замедлителем,— сказал он, поднимаясь с колен.

7

Все три пиротехника замерли на своих местах.

Значит, вот она какая бомба, с которой им придется работать!

— Штучка...— пробормотал один из них, зябко поеживаясь и искоса взглянув на яму.

— В первый раз, что ли? — сказал другой.— Попытаемся сделать так, чтобы не тикало.

Третий решительно шагнул к яме.

— Нужно копать.

— Да,— сказал Белавин.— Как можно быстрее добраться до ее головы. Иначе...

— Ясно!

Четыре саперные лопаты снова вошли в грунт, расширяя и углубляя яму.

Через десять минут хвост бомбы окопали со всех сторон. Показалась верхняя часть корпуса. Работать стало легче. Пошел влажный песок, а за ним глина. Она резалась лопатами почти без усилия. Влажные пласты аккуратно ложились на края ямы.

Расчет работал молча, быстро, и Белавин, в который уж раз, мысленно благодарил командира роты за этих спокойных ребят, умеющих открыто смотреть в лицо смерти.

Когда бомба показала из земли почти все свое холодное тело, Александр сказал:

— Хватит. Теперь я один. А вы — гоните траншею.

Пиротехники выбрались наверх и стали рыть канаву от воронки вдоль улицы.

8

Бомба лежала наклонно, почти на боку, головой в сторону арки Почтамта. Будто слепой бездушный металл сам нащупывал цель.

Александр снова прослушал стальное тело.

Взрыватель продолжал равномерно штамповать секунды. Сколько их осталось до взрыва? Сто? Пятьдесят? Десять?

Ленинградцам были знакомы бомбы, которые взрывались через час после падения. Некоторые срабатывали через десять, пятнадцать, тридцать минут. Но были и такие, которые лежали спокойно по нескольку суток.

Он снова взглянул на часы.

Стрелки показывали 0.20. Значит, уже наступило Седьмое ноября. Праздник. Бомба упала примерно в 22.15. Ее страшный механизм включился два часа назад. Два часа...

«Предположим, что механизм поставлен на три ча-

са,— подумал Белавин.— Они всегда ставят многочасовые взрыватели на какое-нибудь круглое время. Тогда у меня в запасе час. За этот час ребята должны прокопать метров пять-шесть траншеи. Неглубоко. Только чтобы ослабить почву в направлении взрыва. А я за этот час должен добраться до взрывателя и вывернуть его из корпуса бомбы или как-нибудь остановить часовой механизм...»

Он взял лопату и срезал пласт глины в направлении к голове бомбы. Еще один пласт. И еще.

...Только не давать воли нервам. Не сделать какого-нибудь лишнего движения... Спокойствие, точность и быстрота — вот что сейчас важнее всего. И не смотреть на часы.

Весь мир остался сейчас за стенками ямы. Мир тех, кто спит в темных тревожных комнатах, кто сидит в убежище. Мир ночных смен на заводах. Город. Запертые двери. Темные окна. Все позади. Впереди только бомба, нацеленная на арку Главного почтамта, и там, в самой узкой части ее,— взрыватель, который необходимо вынуть.

Еще несколько пластов глины отброшены в сторону.

Александр отложил лопату. Вынул из чехла нож. Концом лезвия начал расчищать вершину бомбы.

Синий свет переносной лампы отбрасывал черные причудливые тени. Тени ползли, прыгали, перекрывали друг друга. Иногда казалось, будто у него не одна рука, а несколько.

— Товарищ Белавин! — окликнули его сверху.

— Что?

— Мы начали глубоко только у воронки, а дальше берем все мельче. Чтобы взрыв пошел вроде бы в гору. Так дело быстрее. Правильно?

— Правильно, Груздев. Сколько сделали?

— Метров пятнадцать. Скоро кончим. А у вас как?

— Порядок. Главное — вы поторапливайтесь.

— Гоним.

Пиротехник ушел.

...Золотые ребята!

9

Нож черкнул по стали и ушел в глину.

Все!

Пальцы нащупали выступ взрывателя.

Вывернется? Кажется, он без секрета. Может, попробовать затяжным ключом?

Он вылез из ямы. Подошли пиротехники.

— Товарищ Белавин, у нас все.

— Спасибо,— сказал он.— Идите к машине. Отдыхайте.

— Мы? Зачем к машине? Мы не устали.

— Я приказываю!

— Ну что ж... Идемте, ребята. А вы?

— Попробую его вывернуть.

— Товарищ Белавин,— попросил Груздев.— Может быть, я вместе с вами?

— Нет! В таких случаях рискует только один. Идите!

10

Они не успели дойти до машины, которая стояла на улице Герцена. На полнеба полыхнула зарница.

Качнулась под ногами земля. Железный гром прокатился по крышам домов. Здания вокруг Исаакиевской площади отбросили его назад, и он вернулся, ослабленный, но все еще грозный.

И тишина.

— Это наша! — вскрикнул один из пиротехников, и они бросились со всех ног к арке Почтамта.

11

ПРИКАЗ № 573

Министра внутренних дел Союза ССР
город Москва *6 августа 1957 года*

В ночь с 6 на 7 ноября 1941 года, работая в составе пиротехнического расчета по ликвидации неразорвавшейся авиабомбы замедленного действия, рядовой войсковой части Н. БЕЛАВИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ проявил самоотверженный героический подвиг. Откапывая бомбу у самого здания Почтамта г. Ленинграда, пиротехники обнаружили, что в ней работает часовой механизм взрывателя. Чтобы спасти Почтамт от разрушения, нужно сделать направлен-

ный взрыв путем удлинения котлована по направлению улицы.

Зная, что бомба может взорваться в любую минуту, рядовой Белавин продолжал работу. В момент завершения работы последовал взрыв, от которого здание Почтамта не пострадало. Так, свято выполняя военную присягу, рядовой Белавин ценой своей жизни спас Почтамт от разрушения.

Указом Перезидиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу, проявленные при выполнении задания командования, рядовой Белавин А. Ф. посмертно награжден орденом Ленина.

ПРИКАЗЫВАЮ:

За проявленный самоотверженный героический подвиг рядового БЕЛАВИНА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА зачислить навечно в списки пиротехнической роты Краснознаменной войсковой части Н.

Министр внутренних дел СССР.

И сейчас колонны Исаакия несут на себе следы того взрыва. Проходя мимо собора со стороны улицы Союза связи, обрати внимание на северо-западный портал. Там, на высоте 10—12 метров, на зеркальном граните колонн ты заметишь несколько глубоких выбоин, шрамов.

Остановись.

И вспомни рядового пиротехнической роты Н-ской войсковой части Александра Белавина, одного из славных солдат, защищавших Ленинград в трудные годы Великой Отечественной войны.

ВСЕВОЛОД АЗАРОВ

* * *

Сосуд из глины влагой разволнуй.
Услышишь лепет губ, не только струй.
Чей это прах? Целую край и вздрогнул:
Почудилось, мне отдан поцелуй.

Омар Хайям

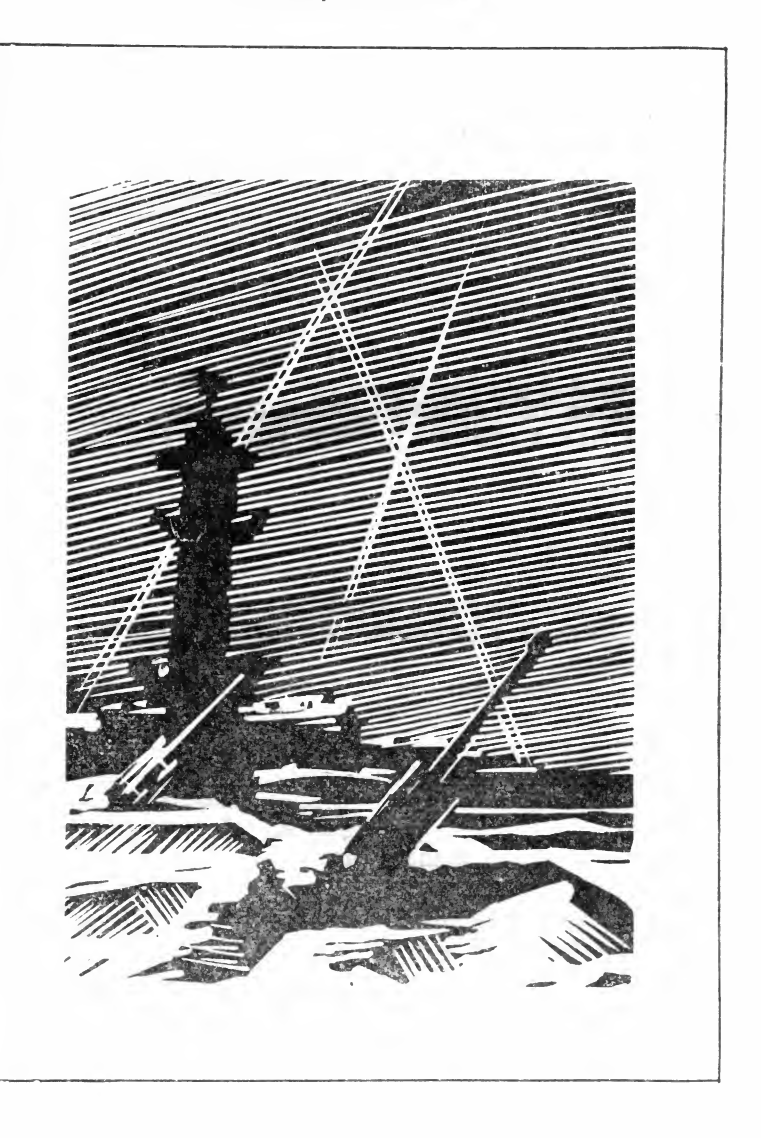
Читаем Хайяма в блокадную ночь в Ленинграде.
Слова «Рубайята» товарищ привез на войну.
И в холоде, в голоде, в смраде и огненном аде
Он трогает крепкими пальцами жизни струну.

Она так тонка, что уже оборваться готова,
И нам помогает сберечь ее древний мудрец,
И слово поэта, его обновленное слово
Готово собой защитить обнаженность сердец.

Неправда, что только и делали мы, что страдали,
Мы щедрыми были: делили огонь бытия
И верность любви сохраняли на смертном причале,
Откуда, разбитая, в жизнь уплывала ладья!

АНДРЕЙ УШИН

«Ленинград, 1942 год»



АНАТОЛИЙ БЕЛИНСКИЙ

Громозда

Рассказ

Он появился в партизанском отряде летом сорок третьего года — худенький босоногий мальчишка, одетый в какую-то рвань. Белокурая головенка его вся была покрыта струпьями, руки, изъязвленные чесоткой, кровоточили. Под толстым слоем грязи личико его казалось смуглым, на лице — голубые неулыбающиеся глаза. Через плечо у мальца висела на бечевке пустая холщовая сумка.

Командир подрывников Гриша Москаленко привел его ко мне и сказал:

— Командир, парень хочет с тобой поговорить.

Я сидел в землянке, составлял сводку боевых действий за месяц. Глянул на парнишку — лет ему семь, не больше. Какая причина привела его сюда?

Глядя на меня строгими глазами, мальчуган почесал ногу об ногу и спросил:

— Ты — Карцев?

— Ну, Карцев.

Он полез в свою торбу, достал оттуда лист бумаги, сложенный вчетверо, с оторванными уголками,— видно было, что бумагу не очень аккуратно сорвали со столба ли, со стены.

— Это про тебя написано? — спросил мальчуган, протягивая мне листок.

Я развернул его: это была немецкая листовка, в которой говорилось, что за голову партизанского командира Карцева, живого или мертвого, немецкое командование дает пять тысяч рейхсмарок, три пуда соли и дом в любом месте Идрицкой волости. Такие листовки мне уже приносили партизаны.

— Про тебя написано? — допытывался мальчуган, и голубые глаза его глядели на меня не мигая.

— Про меня.

Тут на его лице впервые появилось что-то похожее на волнение, даже глаза вдруг закосили.

— Я хочу в твой отряд, партизаном,— заявил он.

— Как тебя зовут? — спросил я его.

— Громозда.

— А по-настоящему?

Он пожал плечами:

— Меня все так зовут.

По его выговору я догадывался, что паренек — белорус.

— А где ж твои отец да мать?

Мальчуган отвернулся, ответил, не глядя на меня:

— Нету батька. И матки тоже нету.

Гриша Москаленко, что молчал до сих пор, вмешался в разговор:

— Говорит, фашисты деревню сожгли, а мужиков и баб с ребятишками всех расстреляли. Один он спасся.

— Какую деревню?

Паренек молчал, а Москаленко охотно объяснил:

— Он сам не знает. Я спрашивал, так выходит, что где-то возле Езерища. Месяц скитается один.

Я внимательно посмотрел еще раз на мальчика:

— Что же ты, Громозда, умеешь делать?

Он вскинул на меня неулыбчивые глаза и ответил:

— Петь умею и фашистов ругать.

Я подумал и сказал:

— Надо тебя, Громозда, сперва помыть, почистить, одеть, а тогда уж решим, что с тобой делать.

Вызвал к себе нашего фельдшера и приказал:

— Парня привести в надлежащий вид, он чесоточный.

— Ну что ж, натрем сейчас толу — будем лечить,— ответил фельдшер.

С медикаментами у нас в то время туго было, чесотку мы лечили взрывчаткой.

Когда фельдшер увел мальчугана с собой, я снова принялся за сводку и скоро забыл про парнишку.

Часа два спустя, закончив работу, вышел из землянки и еще на пороге услышал громкий смех и тоненький ребячий голосок, который что-то пел. Возле бани толпилось человек двадцать партизан, а в их кругу стоял Громозда. Его успели уже вымыть и переодеть — на нем были солдатские шаровары, обрезанные до колен и кое-как ушитые в поясе, ситцевая рубашонка его уже была кем-то выстирана. И сам паренек весь посветлел после мытья: волосы — белые как лен, на лице оказалось бесчисленное множество конопушек. Все его бо-

лячки, язвы и ссадины были окрашены желтым толовым порошком.

Увидев меня, партизаны, улыбаясь, расступились. Кто-то подзадорил паренька:

— А ну, Громозда, давай еще!

Громозда, нисколько не смущаясь, стал притопывать ногами на одном месте и запел. Это, скорее, было не пение, а просто он тоненьким протяжным голоском проговорил частушку про фашистов. Частушка была хлесткая, забористая, партизаны прямо покатывались со смеху. Один Громозда не улыбался.

Я не знал, что сказать. Конечно, партизанский отряд — это партизанский отряд, тут в разговоре не всегда употребляют только учтивые выражения. Но слова частушки, которую пел Громозда, вряд ли были уместны в устах семилетнего паренька.

А Громозда запел уже новую частушку, все так же притопывая босыми пятками на одном месте. И все так же глаза его не улыбались. Эта вторая частушка была про то, как партизаны разгромили фашистов и те, убегая через болото, оказались все до единого без штанов.

— Ну, Громозда, ну, парень! — сквозь смех произнес Гриша Москаленко и тут же предложил: — Командир, а командир, оставим парня в отряде? Один он, пусть живет у нас...

Я и сам подумал: ты, Громозда, и не представляешь, какое большое дело делаешь — веселишь партизан, воспитываешь в них презрение и ненависть к фашистам.

Громозда остался у нас в отряде.

Вечером я сидел в штабной землянке у стола, изучал карту района. Жизнь партизан — особая жизнь. Отряд не может бездействовать, он должен уничтожать врагов. А чтобы успешно провести операцию против фашистов, нужно каждый раз тщательно готовить ее: правильно выбрать место нападения, продумать, как подойти незаметно, что предпринять, если фашисты обнаружат тебя или их окажется больше, чем ты ожидал. Да мало ли какие случайности могут произойти! И все надо предусмотреть заранее. Одним словом, хорошая подготовка операции — половина ее успеха.

И вот сижу я за картой. На столе в глиняной плошке фитилек горит, потрескивает. Вдруг вижу: спускается в землянку Громозда. Подошел к столу, сел, молчит. Молчу и я, жду. Тогда он и говорит:

— Товадищ командир, надо мне на задание идти!

— Ну, что ты, Громозда,— говорю ему,— посиди, отдохни немного. Наберешься сил, а там, может, и пошлем тебя на задание.

А сам думаю: какое тебе задание, парнишка ты мой!.. Ну еще помогать хозяйственникам, для кухни хворост собирать или там картошку чистить — куда ни шло!..

На другой вечер он снова ко мне пришел:

— Товарищ командир, мне пора на задание идти!

Я, конечно, снова отказал ему, дал какое-то пустяковое поручение по хозяйству. Больше он ко мне не подходил с просьбой о задании.

Мы в то время готовились к «рельсовой войне» против фашистов. Конечно, мы и раньше подрывали на железной дороге фашистские эшелоны. Но летом сорок третьего года пришел приказ: всем партизанским отрядам быть готовыми, чтоб в одну ночь вывести из строя всю железную дорогу, на много километров. Так что дел у меня в то время было много, и я забыл про Громозду. Вернее, не забыл, а просто не очень-то обращал внимание на то, где он и что делает. Знал только, что Громозда привязался к группе Гриши Москаленко, там его опекала Фрося Гришмановская, наш комсомольский секретарь.

Иду как-то по лагерю, вижу: сидят рядышком Гриша Москаленко и Громозда. Громозда просит Москаленко:

— Рассказал бы ты мне, Гришка, как эти поезда подрывают.

— Просто подрывают,— ответил Москаленко.— Видел когда-нибудь, как поезд по рельсам идет?

— Видел, сколько раз видел!

— Ну, так вот: поезд тяжелый, от него даже рельсы гнутся, когда он едет, такой тяжелый. А мы подкладываем под рельсы мину. Как фашистский эшелон подойдет, рельс прогнется, надавит на взрыватель, тут мина и шарахнет — будь здоров фашистский эшелончик!

Громозда слушал его внимательно.

— Фашисты, конечно, тоже не дураки,— продолжал Москаленко.— Как партизаны стали их взрывать, так они начали ездить медленно-медленно, пешком можно догнать. И перед каждым паровозом они теперь цепляют две железнодорожные платформы.

— Зачем цепляют?

— А затем, что наедет платформа на мину, мина взорвется, платформа — в воздух, а паровоз цел. Понял?

Громозда взволновался:

— Так и уйдут?

Москаленко снисходительно улыбнулся:

— От нас далеко не уйдут! У партизан тоже на плечах головы есть, мы на их хитрость тысячу своих хитростей придумаем. Ты как считаешь, что тяжелее — паровоз или платформа?

Громозда долго думал, потом сказал:

— Паровоз тяжелее. Он такой большой, черный...

— Ну вот,— одобрительно кивнул Москаленко,— значит, от паровоза рельсы гнутся больше, чем от платформы, так? Вот мы и установим мину поглубже, чтоб если платформа пройдет над миной, то ничего, а если паровоз наедет — тут мина и шарахнет! Понял?

Громозда помолчал-помолчал и сказал:

— Ты дай мне, Гришка, мину: я тоже хочу шарахнуть!..

Москаленко рассмеялся:

— Подрасти немного!

Прошло дней десять, а может, и больше, как вдруг передают мне наши разведчики, что видели на днях среди немцев на станции Идрица нашего Громозду. Я встревожился: мы собирались через день послать на операцию группу Москаленко, а ну как Громозда что-нибудь знает об этом да, может, расскажет кому?

— Где сейчас Громозда? — спросил я дневального.

— Где-то тут бегал,— отвечает.— Вон там, у озера, сидит на бревне.

Я хотел послать за пареньком, но раздумал и сам направился к озеру. Еще не доходя до бревна, на котором сидел Громозда, услышал его тоненький голосок, он пел какую-то песню. Я остановился, прислушался. Громозда, не видя меня, пел:

При дорожке, при дороженьке,
что идет обходом на Рязань,
в рубашонке сереньким
горошком
там лежит убитый партизан.
Кровь текла и красила рубашку,
призакрылись карие глаза.
Эх, зачем, веселый наш
Ивашечка,
ты пошел обходом на Рязань?..

Он замолчал, и я шагнул вперед. Увидев меня, он не поднялся, продолжал сидеть на бревне, свесив босые ноги прямо в воду. Я присел рядом с ним, только лицом

в противоположную сторону. Плечи наши соприкасались.

— Ну, что, Громозда, делаешь, как живешь? — спросил я его.

Он не ответил.

— Ты, говорят, вчера в Идрице был? — допытывался я.— Как ты туда попал?

Он вздохнул и сказал:

— На задание ходил.

— Кто ж тебя посылал на задание?

Он с беспокойством взглянул на меня и спросил:

— А вы не будете ругать его?

— Кого?

— Та Гришку Москаленка.

«Вот в чем дело!» — сообразил я наконец.

— Он тебя посылал в Идрицу?

— Гришка дал задание. А не дал бы — я б сам ушел! Вы Гришку не ругайте! Не будете ругать?

— Не буду,— пообещал я.— Только надо бы и меня спросить, я все же командир отряда.

— А вы не пустили бы. Я уже просил.

Громозда был прав. Я посидел с ним еще немного, потом возвратился в землянку, приказал найти Москаленко. Гришку не нашли, вместо него пришла Фрося Гришмановская.

— Где Москаленко?

— На складе, получает боеприпасы. Сейчас придет.

Я нахмурился.

— Что же вы с Гришкой мальца не жалеете, Фрося? Куда это годится, такого пацана подвергать опасности? Не ожидал я от тебя!

Фрося покраснела.

— Товарищ командир, он же сам пошел! То есть не сам, а сказал: «Не даете мне задания — сам уйду, убью какого-нибудь фашиста!» И пошел бы, пропал бы ни за что! Мы подумали-подумали и решили: пусть пойдет, что ли, в разведку — на него никто не подумает. И опасности все ж меньше...

Говорим мы с Фросей, а тут и Москаленко явился.

— До чего,— говорю,— товарищ Москаленко, дошел: пацана не жалеешь!..

— Евгений Васильевич! Товарищ командир! Да что ж, я сам не понимаю, что ли? Ну не удержать парня! Он знаете какой, Громозда? Вы ж видите — никогда

не улыбнется. У него одно в голове — фашистов надо бить!

— Ну ладно, был в разведке — и довольно! — говорю им.— Больше не посылайте, а то он еще захочет с вами на «железку» пойти, эшелон подрывать!..

И вдруг вижу: мои подрывники мнутся, друг с другом переглядываются.

— Что вы? — спрашиваю.

Гришка отвечает:

— Он, товарищ командир, уже ходил с нами один раз... Но вы не думайте, мы его бережем! Мы его близко не подпускаем, чтоб не случилось чего. Потом, правда, посылали его потолкаться среди людей, узнать результаты взрыва. Принес точные сведения.

— Вы это бросьте,— говорю,— нечего рисковать мальчуганом. Больше ни на какие задания Громозду не брать!

— Есть не брать Громозду! — отозвался Москаленко.

Он со своими подрывниками ушел на задание в ночь. А утром кинулись искать Громозду — нет парня. С вечера был в отряде, возле кухни вертелся, потом видели, как пошел спать в землянку, а наутро и след простыл. Часовые клялись, что никто из лагеря без разрешения не уходил, и все ж Громозда исчез.

На другой день к вечеру вернулся с задания Москаленко со своими подрывниками, вижу: весь даже почернел. У Фроси глаза опухли от слез, третий подрывник, Серебряков, в глаза не смотрит.

— Командир,— докладывает Москаленко,— задание мы выполнили, пустили эшелон под откос. А только потеряли мы паренька, Громозду...

— Как потеряли? Громозду?!

Гриша мне и рассказал все по порядку.

Отправились они в путь. Не успели отойти километров пять, как их догнал Громозда. Они стали просить его, чтоб вернулся, приказывали ему, гнали от себя — не слушается. Сказал:

— Вы на задание идете, и я тоже иду на задание. Вы сами по себе, и я тоже иду один, без вас!

Пришлось взять его с собой. Так и пошли вместе. Шли долго, вышли к железной дороге. Место было разведано раньше: крутой поворот, высокая насыпь. Тут, если подорвать паровоз, весь эшелон кувыркнется, даже если идет медленно.

Почти к самому полотну железной дороги подходило ржаное поле. Лежа во ржи, партизаны видели, как медленно прошел по насыпи фашистский патруль — солдаты в касках, с автоматами на ремнях. Как только они скрылись за поворотом, Москаленко и Серебряков быстро выскочили на насыпь, установили мину и возвратились к Фросе и Громозде, которые ожидали их во ржи.

Послышался гул идущего поезда. Подрывники начали отходить — становилось светло, и здесь, во ржи, их могли заметить. Они успели выйти к опушке леса, когда на «железке» раздался взрыв. Отсюда, от опушки, не было видно того места, где они установили мину, однако, судя по взрывам, грохоту и скрежету металла, по треску выстрелов, эшелон они подорвали.

— Теперь дай бог ноги! — сказал молчаливый Серебряков.— Сейчас они из Идрицы подъедут, начнут прочесывать кругом.

— Начнут-то начнут,— возразил Москаленко,— но надо посмотреть, как сработала мина. Хоть издали глянуть. Вы, ребята, отходите к Чайкиному моху, а я гляну одним глазом — и сразу вас догоню.

Фрося с ним не согласилась:

— Не дело это, Гриша, одному оставаться. Или давайте все вместе, или совсем не ходи.

— Как так — не ходи? Я командиру должен сказать то, что видел собственными глазами, а не выдумывать. А я не видел, как там эшелон фашистский, может, он весь целый остался.

Пока спорили, Громозда бочком-бочком отошел в сторону, ближе к полю, а потом крикнул издали:

— Вы тут побудьте, я разведаю!

И исчез во ржи.

Подрывники опешили, потом Москаленко бросился вслед за мальчишкой:

— Громозда, стой! Громозда, не надо!

Но паренек его не слушал, голова его скрылась во ржи — он бежал к железной дороге, Москаленко ринулся вслед за ним. Он наверняка догнал бы мальчика, как вдруг над головой его свистнула пуля: со стороны железной дороги по ним стреляли фашисты. Москаленко успел заметить развороченное взрывом полотно дороги, дымящиеся покореженные вагоны и вдали — немецкую мотодрезину с солдатами. Оттуда, с дрезины, и стреляли из пулемета.

— Громозда, назад! — не своим голосом крикнул Москаленко.

Мальчик и сам наконец заметил, что по ним стреляют, упал в рожь, на четвереньках пополз назад, к опушке.

— Гриша! — окликнула Фрося.— Каратели! Обходят по большаку!

Москаленко оглянулся и увидел: вдали, на противоположном конце поля, медленно движется грузовая машина с фашистами. Еще минута — и она будет здесь, путь к отходу будет отрезан. А в этой ржи их переловят, как перепелов.

— Громозда, бегом! — крикнул Москаленко.

Но мальчик не откликнулся, его даже не было видно.

Москаленко вскочил и бросился туда, где еще минуту назад был Громозда,— мальчика там не было, только в глубь поля тянулся след примятой ржи: видно, мальчишка сбился с направления.

— Громозда! — еще раз окликнул Москаленко.

Остро и тонко свистнуло возле уха, фашистская очередь срезала прямо перед ним несколько колосков. Москаленко рухнул в хлеб, краем глаза успев заметить, что машина с фашистами уже близко. Оттуда, с машины, стрекотали автоматные очереди.

Медлить было нельзя — уже и так, кажется, было поздно. Надеясь, что фашисты, увлеченные погоней за ним, быть может, не заметят Громозду, Москаленко рванулся вперед, к лесу. Упал, снова вскочил. Вокруг свистели пули, но он успел добежать до опушки невредимым. Фрося и Серебряков открыли огонь по фашистской машине, немцы запрыгали с машины, развернулись в цепь. Партизаны перебежками, то и дело отстреливаясь, углублялись в лес, прочь от дороги.

Они ушли от карателей и к вечеру следующего дня вернулись в отряд, а где-то там, среди поля поспевающей ржи, окруженный фашистами, остался белоголовый паренек с голубыми неулыбающимися глазами.

Я молча слушал рассказ Москаленко. Я не мог обвинить его в том, что он сделал что-то не так. Он не был виноват, что Громозда не послушался. Но мальчик погиб.

А может, не погиб?

Я вызвал заместителя по разведке и приказал послать кого-нибудь в Идрицу: может, удастся узнать о судьбе мальчика.

Дня через два мне доложили, что в тот день каратели вели по улицам Идрицы окровавленного мальчишку, по приметам похожего на Громозду: лет семи, в солдатских шароварах. Но что с ним сделали фашисты — никто не знал. Скорей всего казнили, хотя никто не мог подтвердить этого.

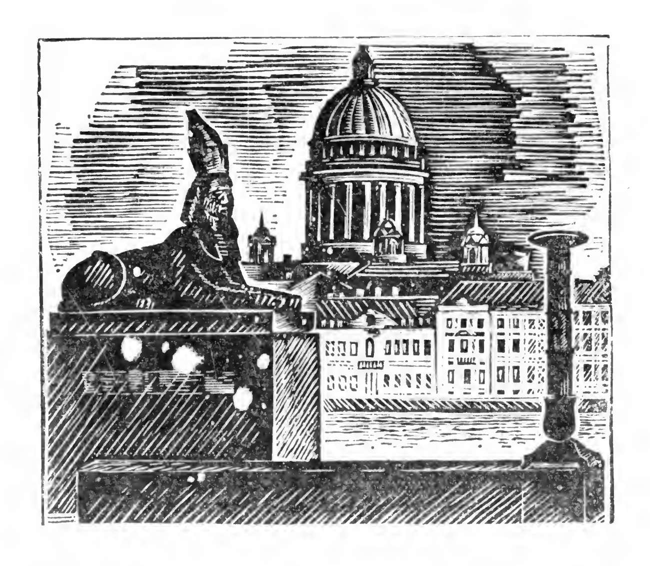
Партизанская жизнь всегда сопряжена с опасностью. Мы часто теряли в боях товарищей, но долго не хотелось верить, что Громозда погиб.

Иной раз сидишь у стола и вдруг почудится, что рядом стоит белоголовый парнишка со строгим взглядом. Стоит, молчит, а потом скажет:

— Командир, надо мне на задание идти...

НИКОЛАЙ КОФАНОВ

«Сфинкс»



ГЕРМАН ГОППЕ

Счастливый случай

Он произошел давным-давно
И остался навсегда со мною.
Испытать не каждому дано
Долгое везение такое.

Он последним мог бы стать вполне,
Если нет ни ада и ни рая.
Санитары знали:
                                    на войне
Даже невозможное бывает...

Он ко мне дорогу отыскал,
Он в меня вселился без наркоза.
Пулю извлекала из виска
Чудо-медсанбатовская проза...

Медицинской службы генерал
Обращался к белоснежной свите:
«Должен быть убитым наповал,
Но счастливый случай — посмотрите».

И студентки (некрасивых нет,
Нам одни красивые встречались)
Многоцветный излучали свет
Широко открытыми очами...

Сколько лет на удивленный взгляд
Отвечаю взглядом удивленным.
«А пора привыкнуть,— говорят,—
Ты — счастливым случаем клейменный».

Нет,
      к нему привыкнуть не могу,
Хоть и слышал —
                                      привыкают к счастью.
Я его от веток берегу,
Осторожно двигаясь сквозь чащу.

А в трамвае, как бы ни устал,
Головокружение не выдам.
Уступите, юноши, места
Менее счастливым инвалидам.

Жизнь, толкай меня со всех сторон,
Удивляй весенним медом почки.
Смерти мне бояться не резон,
Я такую получил отсрочку.

И когда мы встретимся опять,
Заявлю:
«Претензий не имею.
Большинству впервые умирать —
Это и обидней и труднее».

НИКОЛАЙ КОНЯЕВ

Мать павшего воина

Рассказ

Это случилось в сорок первом, особенно щедром на славянскую кровь году.

Серые клочья предутреннего света еще дрожали в верхушках деревьев, и зябкой сыростью тянуло с полей,— там, в синеватых сумерках, грозно гудели моторы чужих машин.

Остатки кавбригады и трех пехотных полков ждали, таясь в лесу, часа прорыва.

И вот, так медленно, что замирало сердце, выкатилась из-за верхушек деревьев ракета, и сразу все побежали в поле навстречу железному гулу, и падали, и больше уже не вставали.

Вместе со всеми бежал и младший лейтенант Сергей Кузнецов, кричал «ура!» и размахивал пистолетом и вдруг словно бы оступился, пошатнулся, ступил вперед и тяжело повалился набок.

Он почувствовал только, как укололась о сухую стерню рука,— и все, темнота сомкнулась над ним.

«Протоптать мне-ко дороженьку да пройти мне-ко тропиночку да ко свому рожену дитятку, на круту-то складену могилушку. Я пришла, горюша-горькая, на великий-то на праздничек, на большое поминаньице. Как прошло да прокатилося тридцать лет да тридцать зимушек — крепко спишь, не пробуждаешься, с сладким сном не расставаешься. Ноженьки-то на дороженьке, рученьки-то у сердеченька... Как мне жить-то оповадиться? Не увижу я, горюшица...»

Тетка Лиза Кузнецова всхлипнула и смолкла, только дрожали еще губы, полные несказанных, горьких слов. Прижимаясь морщинистой щекой к траве, тетка Лиза замерла — ясный покой охватил ее, и страшно было пошевелиться, нарушить его.

Тихо было на кладбище. В высокой траве жарко гудели пчелы, да легкий ветерок шуршал в верхушках

кладбищенских берез, а больше ни звука, даже птицы куда-то попрятались и замолчали.

Неизвестное время прошло.

Солнце очнулось наконец от полуденной дремоты и, медленно перевалившись через зенит, поползло по небосклону вниз. Сразу подул низовой ветер. Закричали, заголосили в деревьях птицы. Очнулась и тетка Лиза.

«Идти пора,— подумала она,— нагостилась...» И поднялась, стряхивая налипшие на подол травинки.

Заботливо потрогала рукой черную рамку с фотографией, прибитую к деревянному обелиску, и, прошептав: «Вот и свиделись, ясненький...» — вздохнула и побрела, не оглядываясь, с кладбища.

Тетку Лизу любили в поселке за ее острый язык, за добродушный, незлобный характер. Работала она много лет на пристани перронным матросом, ходила вся в якорях и рассказывала бабам в ларьке, что положили ее в матросы, увидав, что она баба ядовитая.

Вначале, конечно, тетка Лиза побаивалась новой работы, а потом привыкла, «ококорилась» и план по перронным билетам выполняла на сто, а иногда и на двести процентов — перронные билеты нужно было покупать, чтобы попасть на пришедший теплоход. Брали их встречающие да еще парни, которым хотелось выпить пива в буфете.

На этой должности тетка Лиза и добралась до пенсии. А как вышла на отдых, задумываться стала. Все время, хоть в очереди в ларьке стояла, хоть на огороде копошилась, думала она неотступно о сыне своем, сгинувшем во время войны в неведомых краях.

И однажды в глухую осеннюю темень озарение пришло тетке Лизе. Догадалась она, что в братской могиле на поселковом кладбище не солдаты безвестные лежат, а Сереженька ее любимый, единственный...

Всю зиму эта мысль из головы не шла.

А только распогодилось, только пообсохла земля, собралась тетка Лиза на кладбище и портрет сыновний с собою взяла. Посмотрела там на могилку — ее, ее Сереженька здесь лежит! — и прибила портрет к фанерному обелиску.

Поплакала тогда, полежала на могилке и будто и оттаяла вся. Вернулась в поселок притихшая, успокоенная, стала дальше жить, в спокое жизнь доживать...

Но спустя неделю, как раз на Девятое мая, ходили на могилку школьники, и весть о поступке Лизы разнеслась по поселку.

Член сельсовета Павлина Михеевна — она преподавала в школе историю и каждый праздник говорила на могиле речи — первая воспротивилась Лизиному самоуправству.

— Непорядок это,— сказала она, возвращая Лизе фотографию сына.— Тут солдаты неизвестные похоронены, а если все могилы усыновлять начнут, так что же тогда получится? Как мы школьников тогда воспитывать будем?

Лиза пыталась ей рассказать про свое озарение, объясняла, что ведь не сама она это выдумала, а, видно, бог ее надоумил, но этим только сильнее рассердила Павлину Михеевну.

— Вы мне пропаганду баптистскую не разводите! — взвизгнула она, словно подстегнутая вожжой, и, хлопнув дверью, ушла, а тетка Лиза долго еще ругала ее.

— Ишь рассельсоветилась! — ворчала она.— Старая дева...

Настоящая война тогда началась.

Даже председатель сельсовета вызывал к себе тетку Лизу.

— Понимаешь,— говорил он, постукивая граненым карандашом по столу, это могила неизвестного солдата. Не-из-вест-но-го... Понимаешь? А если бы твоего сына здесь похоронили, так бы и написали, что, дескать, Кузнецов Сергей Александрович здесь похоронен. Согласна?

— Да ведь не знает никто,— плакала тетка Лиза.— Не знают, что сын мой здесь лежит, вот и пишут они, что неизвестного...

Она поправила выбившиеся из-под платка волосы и, доверительно перегнувшись через стол к председателю, сказала:

— По моим-то соображениям, дак сходится здесь все. Попросился он у начальников поселок свой воевать, вот и погиб тут в бою.

Председатель сельсовета снова стучал карандашом по столу и сердито хмурился — тетку Лизу он знал с детства и обижать ему ее не хотелось.

— Как же неизвестного? — твердила тетка Лиза.— Там сыночек мой. А насчет народа дак зря говоришь. Мне с сыном прятаться нечего. Он худа не делал, не таким рóстила... Он за Родину воевал.

— Ну, знаешь! — вспылил председатель.— Не хочешь по-хорошему, дак мы и в милицию дело передать можем.

— А ты меня не пугай! — вставая, проговорила тетка Лиза.— Я у фрицев в лагерю три года сидела. Пуганая я. Сумею за сыночка своего постоять.

— Портрет не отдадим,— сказал председатель.— В печке спалим.

И, заметив, как сжалась при этих словах тетка Лиза, добавил мрачно:

— Только попробуй повесь еще.

Загоревала тетка Лиза, запечалилась. Дни и ночи напролет сидела у выщербленного стола и все думала.

— Да ты рехнешься так, тета! — говорил ей квартирант, бездомный шофер Яша.— Ну, хочешь, я тебе письмо напишу в Верховный Совет, а?

— Напиши! — обрадовалась тетка Лиза.— Напиши, милой!

Тут же и сел Яша за стол и долго, неловко сжимая волосатыми пальцами карандашик, рисовал корявые буковки. Потом попил чаю, запечатал письмо в конверт и отдал его тетке Лизе.

И только опустила она конверт в почтовый ящик на ларьке, словно тяжесть у нее с плеч спала. Ожила вся, повеселела. Правда, причитала еще, но уже без прежней горечи,— надеяться стала. Да и Яша теперь опекал ее. Не давал разойтись.

— Ты бы, тета,— советовал он,— повеселей как плакала.

— Дак и плачей-то таких нету, Яшенька...

— Ну?! — удивился тот и покачал своей кудрявой головой.— А я вон в кино видел, там девку отдают замуж, так там весело плачут, словно частушки поют.

— Ну-у...— говорила тетка Лиза.— Да у нас и моды-то такой не было. Надо было замуж бежать, пока брали.

И, вспоминая то далекое, чудное время, говорила, тихонько посмеиваясь:

— Мой-то с армии тогда только пришел. Вот ваша хороша девушка и глядит: гимнастерка-то у него зелена, надо этого парня себе присвоить. Лето мы с ним погуляли, а осенью и расписались в сельсовете. До плаксы ли было?

Она вздохнула грустно и прижала уголок косынки к губам.

— А чего, тета? — шевеля босыми пальцами, чтобы раздразнить щенка Арбузика, спросил Яша.— Жалко небось молодости-то?

— Да ну! — махнула рукой снова повеселевшая тетка Лиза.

— Значит, не жалко?

— Да ведь и ничего бы старой-то жить,— тетка Лиза тихонечко улыбнулась.— А вот ведь в огороде уже не придет никто покопаться. Я соседу, бывало, закричу: приди, дескать, погостить к соседке, а он смеется только: поздно спохватилась, бабушка...

И она смотрела улыбаясь, как, урча и тявкая, бросался глупый Арбузик на Яшину ногу.

— Ну вот, как робята неразумные...

Скоро пришла казенная бумага с гербами.

В ней сообщалось, что письмо Елизаветы Петровны Кузнецовой передано через Министерство обороны СССР в районный военный комиссариат для установления личности захороненных в могиле солдат.

Яша долго матерился, стучал кулаком по столу, а потом ушел и вернулся только к вечеру — пьяный и горестный.

Он сел у выщербленного кухонного стола и заплакал.

— Найду я его могилу, тета! — говорил он.— Верь мне — разыщу!

Тетка Лиза сидела рядом и поглаживала Яшу по голове.

— Чего разыскивать-то? — приговаривала она.— Тут и похоронен мой Сереженька...

Казенная бумага окончательно укрепила ее в этой мысли.

— А за меня не боись,— говорила она.— Я и у немцев себя в обиду не давала...

И, перебирая жесткие Яшины волосы, снова рассказывала она о своей невеселой жизни:

— Вначале фрицы все говорили: мы вам не друзья и вы нам не друзья, а раз война, дак жить как-то надо. А как согнали всех в лагерь, так совсем худо стало. Ко мне все немец старый приставал. Хватал за места неуказанные и лопотал: «Давай шпать, матушка!» Ну, я терпела, а потом как закричу на его: «Ах ты дурак старый! Сам себя удивляешь! Вот расскажу вашему политруку, а он и зашлет тебя на фронт. Убьют ведь дурака с пулемета».

— Ой, тета! — захохотал повеселевший Яша.— Ой, не могу. Насмешила ты. Да как он понять-то мог? Да я и в кино про эти лагеря видывал. Никакой бы политрук тебя не спас.

— Ну, я не знаю тогда,— пожала плечами тетка Лиза.— Уж не ведаю, как он разобрал, а только то, что если полезет еще, то я так ему суну, это он очень хорошо почувствовал. Да ведь и что? У меня, чай, муж был не из-за угла кирпичом убитый, а он пустяки такие говорил.

А наутро тетка Лиза снова пошла на кладбище и снова прибила на обелиске сыновний портрет, и снова Павлина Михеевна сняла его, и много еще разного было в поселке, и успел подрасти Арбузик, и...

Белый дым стлался над остывающим полем. Сергей открыл глаза и удивился тишине вокруг. Времени словно бы не было. Только высоко в холодноватом осеннем небе плыли белые облака.

Сергей с трудом поднял голову...

К нему приближался высокий улыбающийся немец с пистолетом в руке.

— Капут, Ваня! — весело подмигнув, сказал немец, и в лицо ударило желтым пахучим свинцом.

Так он умер, Кузнецов С. А., младший лейтенант Красной Армии, двадцать третьего года рождения.

Он умер, не зная, что небольшой группе кавалеристов все же удалось прорваться и, теряя убитых и раненых, уйти на восток.

...Поднялась, стряхивая на подол налипшие травинки. Заботливо потрогала рукой черную рамку с фотографией, прибитую к фанерному обелиску, и прошептала: «Вот и свиделись, ясненький...— вздохнула и пошла, не оглядываясь, с кладбища.— Спи спокойно. Никто тебя больше не тронет! Спи».

Тетка Лиза шла по кладбищенской дороге и все вспоминала, все думала о враге своем бывшем — о сельсоветихе Павлине Михеевне.

«Вишь, как все,— горестно поджимала она губы.— Прибралась женщина. А ведь и не старая была... Тоже хорошего-то не видывала. Прохолостовала всю жизнь».

И вздыхала тетка Лиза. Нет, чтобы ей, старухе, помереть, так вот молодые прибираются...

А дома уже ждали ее.

На завалинке понурившись сидела мать Павлины Михеевны, Лизина сверстница бабка Луша.

Рядом, высунув язык, валялся на траве Арбузик, а в окне над бабкой Лушей сидел Яша. Курил папиросу и сердито шуршал газетой.

— Ты чего гостью-то в дом не зовешь? — развязывая платок, спросила его тетка Лиза.

— Сердится он на меня...— вздохнула старуха. Кончиком косынки вытерла заслезившиеся глаза и добавила: — Дочке-то сороковины завтра сполняются.

Всплеснула руками тетка Лиза. Летело время, летело...

— Ты приди поплакать-то...— попросила бабка Луша.

— Приду.

Яша в своем окне со злостью скомкал газету и швырнул ее во двор, где на газетный комок сразу же накинулся Арбузик и погнал его к калитке.

— Эх, тета! — сказал Яша.— Да ведь она...

Тетка Лиза подняла к нему глаза.

— Не судья я,— строго сказала она.— Не судья. Плакальщица.

...Они долго сидели в тот вечер на крылечке, прислушиваясь к песням,— на краю поселка гуляли свадьбу. Было тихо. Ясно.

Да, жизнь... жизнь... Такая вот жизнь...

— А жила-то каково, тета?

— Да ведь по-разному жила,— вздыхая, ответила тетка Лиза.— И хорошо жила.

— А вздыхаешь тогда чего?

— Да ведь прожита жизнь-то, Яшенька. Прожита...

Тетка Лиза проснулась на рассвете, словно бы окликнули. Долго лежала в постели прислушиваясь. Наконец догадалась — это изнутри позвали ее.

Встала тогда, вынула из комода чистую рубаху, переоделась. Задержалась еще у окна, окидывая придирчивым взглядом нехитрое хозяйство, но все и там было в порядке: аккуратная поленница, окученные грядки картошки...

Вздохнула тетка Лиза, что не сдержала обещания,

не поплакала на сороковинах, но уже и печалиться некогда стало — снова окликнули ее. Перекрестилась тетка Лиза и легла в постель.

Недолго пришлось ждать.

Прибыло света в комнате, вошел и сел у изголовья архангел с трубой.

И заиграл. Только почему-то не религиозное, а Гимн Советского Союза.

Подивилась тетка Лиза. Только кончалась уже ниточка, померк свет, удивляться некогда стало. Вытянулась тетка Лиза на постели и умерла...

Солнечно было в комнате, тихо. Только бормотал что-то архангельским голосом репродуктор на стенке. Было две минуты седьмого.

На кладбище, в веселой березовой роще, могила. Под жестяной звездой лежат здесь безвестные солдаты, но на коричневой тумбочке фотография.

А чуть наискосок — свежий бугорок...

Здесь и похоронили тетку Лизу.

Квартирант Яша хотел на могиле сказать речь.

— Спи, матерь! — проговорил он, и кончились у него слова. Махнул рукой и, комкая в кулаке кепку, двинулся прочь.

МАЙЯ БОРИСОВА

Теплый июль

Чтоб эти веси взглядом приласкать,
чтобы коснуться их душой и телом,
спуститься надо к озеру
за делом:
набрать воды, белье прополоскать.
Занятию ты будешь —
в чем и суть! —
сладчайшей постепенностью обязан.
Сначала не вглядеться,
так, взглянуть,
не подымая головы, вполглаза.
Вот камышина, как дуга...
Рядком —
надломленная.
Вместе с отраженьем
они похожи на изображенье
округлой рыбы
с острым плавником.
А после можно взгляд чуть-чуть поднять,
совсем чуть-чуть,
чтоб только видны стали
озерная натянутая гладь
и берега с ольховыми кустами.
Пойдешь обратно — думай о своем.
Но где бы тебя мысли ни носили,
им все равно преградой — темно-синий,
весь в островерхих елях
окоем.
И так видны, до малой травки вплоть,
и так близки сердечно, вот что важно,
зеленая
земная эта плоть,
изогнутая вольно и вальяжно,
и облака, что стадом сбились в угол,
и луг в гудящей, пестрой кутерьме,

и рдеющий,
как раскаленный уголь,
кирпичный храм на правильном холме.
Таким покоем вдруг омоет душу,
глаза таким восторгом опалит,
что вздох счастливый,
точно шар воздушный,
покинет грудь и в небо воспарит.
Земля родная, мать...
А мы — всё дети,
всё край подола держим в пятерне...
И жить без этой близости на свете,
конечно, можно,
но вчерне. Вчерне!

ВАЛЕНТИНА ЧУДАКОВА

Похвальное слово солдатской бане

Рассказ

Светлой памяти
Михаила Михайловича Зощенко
посвящается

Фронтовые бани неоднократно воспеты художественной литературой и в прозе и в поэзии. Вспомним-ка «Василия Теркина»:

...Пар бодает в потолок.
Ну-ка, с ходу на полок!
. . . .
Нет, куда, куда, куда там,
Хоть кому, кому, кому
Браться париться с солдатом,—
Даже черту самому!

Лучше и не придумаешь. А только хочется и мне — пехотинцу — сказать похвальное слово солдатской бане. Да не той, что в плановом порядке помыва личного состава подъезжала почти к переднему краю на машине, с дезкамерой на прицепе. Ну ее к аллаху, такую баню! Летом еще терпимо. А поздней осенью и зимой — упаси и помилуй!

Банная брезентовая палатка, с таким же предбанником, разумеется, не отапливалась. И никакого пола ни тут ни там не было. Вот и мойся: из душевой воронки хлещет крутой кипяток, а под ногами колючие еловые ветки на талом снегу. Не столько моешься, сколько пляшешь.

К тому же банщик и дезинфектор всегда спешат, ссылаясь на плотный график своей службы. А на самом деле просто малодушничают. Фашисты хлещут из пушек и минометов неприцельно по ближним нашим тылам, а служащим банно-прачечного отряда кажется, что снаряды и мины «берут в вилку» именно их кочующий объект. Вот и спешат смотать удочки. И что же получается? Одевайся намыленный. А в предбаннике теснота несусветная и холодрыга — зуб на зуб не попадает. Одна отрада: обмундирование после прожарки выдается с пылу с жару.

Тут уж не приходится разбираться, что чье; расхватывается и надевается. А потом — кросс на передний край. Да какой! Пожилые молодых перегоняют. И только в теплых землянках солдаты переодеваются сызнова при забористой беззлобной перепалке.

— Матвей, разуй глазенапы: с чего ты мои штаны напялил?

— А на них написано, что твои?

— Да на твоих же заплатки на колене! А на моих... на этом самом...

— А на тебе в таком случае чьи? А мои где?

Ротная санитарка Варя в такой бане никогда не мылась. Посмеивалась: «У нас в Сибири расскажи — бабы от хохота животы надорвут!»

Да и я была уверена, что в такую баню солдат загоняет только строжайший приказ.

Да, мои однополчане-сибиряки понимали толк в банном деле! Они обожали собственные баньки по старорусскому обычаю: с раскаленной каменкой, с веничком, с сухим парком. Чтобы все честь по чести. Вот уж настоящая услада солдатскому телу и душе, «жарами жаренной и морозами печенной». Как дорвется солдат до такого рая — парится до смертной истомы, до третьего обморока. А исхлестав себя веником вдоль, поперек и крест-накрест — бултых в свежевыпавший снежок. Покатается хорошенько и опять на полок! После такой бани человек словно заново рождается — всю неделю по траншее гоголем ходит.

В наступлении, разумеется, было не до бань. А как застрянет пехота на промежуточном рубеже или встанет на короткую передышку в лесу прифронтовом, вот тут перво-наперво и возникает банный вопрос.

В зимнем наступлении гнала наша сибирская дивизия фашистов почти до самого Дорогобужа. Дальнейшему продвижению помешал ледоход на реке Осьме. Тут мы и встали в позиционную оборону. Река протекала как раз по нейтральной полосе, а на правом фланге батальона круто в наши тылы поворачивала. Вот тут-то на речной излучине, недосягаемой для прицельного артогня, и решено было в спешном порядке соорудить парную батальонную баню по всем правилам обычая. Прорабом был назначен самый старый пулеметчик моего взвода — дед Бахвалов, отменный специалист банного дела. Работа была выполнена не тяп-ляп: баньку

срубили из сосновых хлыстов сухостоя по-сибирски — «в лапу». Сам комбат объявил деду Бахвалову благодарность в приказе и по этому же поводу предоставил моим пулеметчикам мыться первыми.

Стояла ранняя весна. Листочки на березах едва проклюнулись, так что полуголые ветки, по моему мнению, совсем не годились для банных веников. Но дед из этих розог собственноручно навязал их целую кучу, а на мое критическое замечание ответил кратко: «Сибиряку в самую плепорцию».

В баню мы должны были отправиться во время фрицевского обеда, когда на переднем крае обычно устанавливалось почти полное затишье. На нашем участке обороны хозяином был командир первой стрелковой роты, которую мой пулеметный взвод поддерживал огнем. Он, человек решительный и славный, разрешил мне не снимать с позиции «максимы» и поставил к ним охрану из числа дегтяревцев. Ребята мои сразу повеселели и, как только вылезли из траншеи, загорланили свою любимую:

Ты подумала, Маруся,
Что погиб я на вой-не-е
И зарыты мои кости
В чужедальней стороне...

На крутом берегу Осьмы, в заросли орешника, в знойном мареве томилась довольно вместительная банька. Ее прожаренные стены, казалось, звонко гудели, из круглой жестяной трубы попыхивал сытый дымок.

А рядом, на поляне, на растянутой плащ-палатке лежала куча солдатского добра: нижнее белье, брусочки мыла по норме, летнее обмундирование х/б, сапоги яловые и американские ботинки — «гады на гусеничном ходу», полотенца и чего-чего тут не было. А над кучей этого добра, как Кощей над златом, раскрылатился наш ротный старшина Максим Нефедов, по меткому солдатскому прозвищу — Макс-растратчик. И писарь-очкарик при нем в помощниках.

Дед Бахвалов, выбрав веник поменьше, протянул мне с поклоном:

— Попарьтесь-ка, товарищ взводный, во славу, пока мы тут от старшины шурум-бурум примем.

Поблагодарив, я нерешительно вошла в предбанник. Осторожно заглянула в парилку, да так и отскочила к самому порогу: раскаленная струя воздуха едва не сбила меня с ног. Солдаты мои захохотали. А я сказала:

— Нет уж, сержант Бахвалов, что-то меня не одолевает желание изжариться заживо. Помоюсь после вас, без пара.

Солдаты с веселым гомоном повалили в баню. Дед Бахвалов на всех получил у старшины полотенца, мыло и белье. Все остальное Максим пытался всучить мне разом, не разбирая номеров и размеров. Я решительно отказалась:

— Как же это можно без примерки?

Старшина полез в бутылку:

— Баба она и есть баба! Что ж вы у меня одни, что ли? Мне еще надо два взвода мыть!

— Сам ты баба! — осадила я Макса-растратчика и повернулась к нему спиной.

Он еще долго ворчал, изливая жалобу писарю:

— Гляди, Иваныч, на эту ершиху! На козе не подъедешь. Ну что ты будешь делать?

— А ничего,— невозмутимо отозвался очкарик.— Не к спеху целовать Стеху.

На том и свара кончилась.

Ох уж наш товарищ старшина!.. Это штучка с дрючкой. Наши отношения не сложились с первого дня. Я, как только его увидела, сразу решила: жулик! Разговаривая, в глаза не смотрит! И не ошиблась. Казалось бы, чем поживиться у солдата переднего края? Все у нас по строжайшей норме, а рай и ад — бесплатные. Но Макс и тут, по выражению деда Бахвалова, «охулки на руку не кладет», то есть обжимает солдата по мелочам. Да и внешне несимпатичен: щекастый, мурластый, толстоносый, при животике, а ворот гимнастерки на зашеине не сходится. Другого подобного сдобнягу в пехоте и не встретишь. С первого же дня Макс повадился не выдавать на мою долю порцию водки. Наверняка, прохиндей, прицелился: постесняется же девчонка по такому поводу жаловаться!

Если бы дело касалось только меня — и черт бы с ним! Но посыпались солдатские жалобы: старшина то пайку хлеба уменьшит, то махорки недосыплет, то водки недольет. А при выплате денежного довольствия солдатские копейки в свою пользу округляет!

Обратилась я с жалобой к своему непосредственному начальству — и напрасно. Командир нашей пулеметной роты капитан Ухватов не трус и, кажется, дело свое знает. А жулика покрывает по непонятной причине: то

ли не хочет сор из избы выносить, то ли характера не имеет. Вот что он мне сказал:

— Был на твоем месте взводным мужик. И жалоб не было. Да и сейчас твои коллеги Федька Рубль и Андрюшка Аносов не жалуются. А ты свару бабью разводишь!

А я-то своим солдатам что должна сказать?! Обратиться через голову к самому комбату? Нельзя же, в самом деле, солдатские жалобы оставить без внимания!..

Характер у нашего комбата — кремень. Всякая вина виновата. Ну а если скажет: «А не прислать ли тебе няньку, мать-командирша?»

Вот раз иду после ночной вахты по траншее, а навстречу мне старшина — новые обмотки взвода Федора Рубля несет, повесив их, как ожерелья, на свою завидную шею. Поздоровалась я и спрашиваю напрямик:

— Долго будете жульничать?

Максим так и взвился:

— Еще чего?! Кляузы собираете? Они наговорят — только уши развесь. Да господи боже ты мой!..

— Бог тут ни при чем,— перебиваю,— с сегодняшнего дня самолично все буду перевешивать вот на этой самой штуковине,— да и показываю старшине пулеметные весы, коими натяжение возвратной пружины проверяется.

Макс послал меня подальше. Я не стерпела и, каюсь, замахнулась весами:

— Ах ты гад рябый!

А он втянул голову в плечи и в бега ударился! Этакий-то бегемот. Стою я и хохочу. А перед ночной вахтой меня вызвал комбат, поставил по команде «смирно» и давай «душу вынать»:

— Ты что же это себе позволяешь?! Если думаешь, что женщине...

Я стою и только глазами моргаю — ничего не понимаю!

Оказывается, комбату пожаловался на меня Максим: «Налетела пигалица и пистолет в рыло. Убью, говорит». Ну не сволочуга ли?

Достала я из полевой сумки весы, надела колечко на мизинец, покачала их у комбата перед глазами, да и спрашиваю:

— Как думаете, можно вот этой фиговинкой нашего старшину убить?

— Да, мудрено,— говорит комбат.

Тут я ему все и выложила как на духу. Жалобы на старшину сразу прекратились. Комбат и не таких строптивцев умел укрощать. С тех пор Макс меня стал ненавидеть лютой ненавистью. Даже и не здоровается. Ну а мне-то что?

Прошел час времени, но из бани еще никто не выходил. Появился мой командир капитан Ухватов, с прошлогодним веником под мышкой (запасливый!).

Потом Федор Рубль привел половину своего взвода. А мои всё парились. Старшина Максим потерял всякое терпение. Рванул дверь — заперто изнутри! Он обошел баньку вокруг, заглянул в подслеповатое оконце и доложил командиру роты:

— Ни лешего не видно. Угорели они там, что ли?

Капитан Ухватов запетушился и ко мне:

— Пора и честь знать! Выгоняй своих нахалов!

Я возмутилась:

— «Выгоняй!» Да вы что? Они же...

Банная дверь распахнулась настежь. На улицу вылетел пулеметчик Попсуевич с белыми ошалелыми глазами, красный как рак, мокрый, в одних подштанниках. Бултыхнулся в речку с крутояра. Остальные продолжали мыться. Федор Рубль тоже заворчал. А Максим вовсе рассвирепел:

— Я их сейчас попарю! Неделю чесаться будут!

Он выбрал из кучи рабочие брезентовые рукавицы, куда-то ненадолго отлучился и вернулся с огромным букетом лесной крапивы-стрекавы. Проворно разделся до кальсон, натянул на бритую голову пилотку, как чепчик, на самые уши и, грузный, белотелый, волосатый, косолапо нырнул в банное раскаленное нутро.

Из парилки донесся истошный визг, потом хохот, и все стихло.

Через десять минут старшина Максим не без посторонней помощи вывалился из предбанника и упал лицом в молодую траву. Но это был уже не наш наглый и дородный старшина, а его бренные распаренные и исхлестанные до багровых полос останки. Он глухо стонал.

— Все. Испекся,— равнодушно заметил писарь.

Командир роты, наклонясь над пострадавшим, участливо спросил:

— Что с тобой, старшина? Угорел?

— Б-б-бандиты! Они м-м-меня...

— Побили, что ли?

— П-п-па-рили в д-д-двадцать веников!..

Капитан Ухватов взвизгнул совсем по-женски и с хохотом повалился на траву. Ребята Федора Рубля тоже хохотали во все глотки.

Федор, вытирая выступившие от смеха слезы, выкрикивал:

— Товарищ волк знает, кого кушать! Ах молодцы братья-славяне. Вот это баня! — И наказывал мне: — Афина Паллада, не забудь благодарность перед строем объявить!

Давно это было, а, как вспомню, и по сей день смешно. Да, что ни говори, а солдатские фронтовые бани вполне заслуживают похвального слова.

РИЗА ХАЛИД

Не кровь, а чистая роса

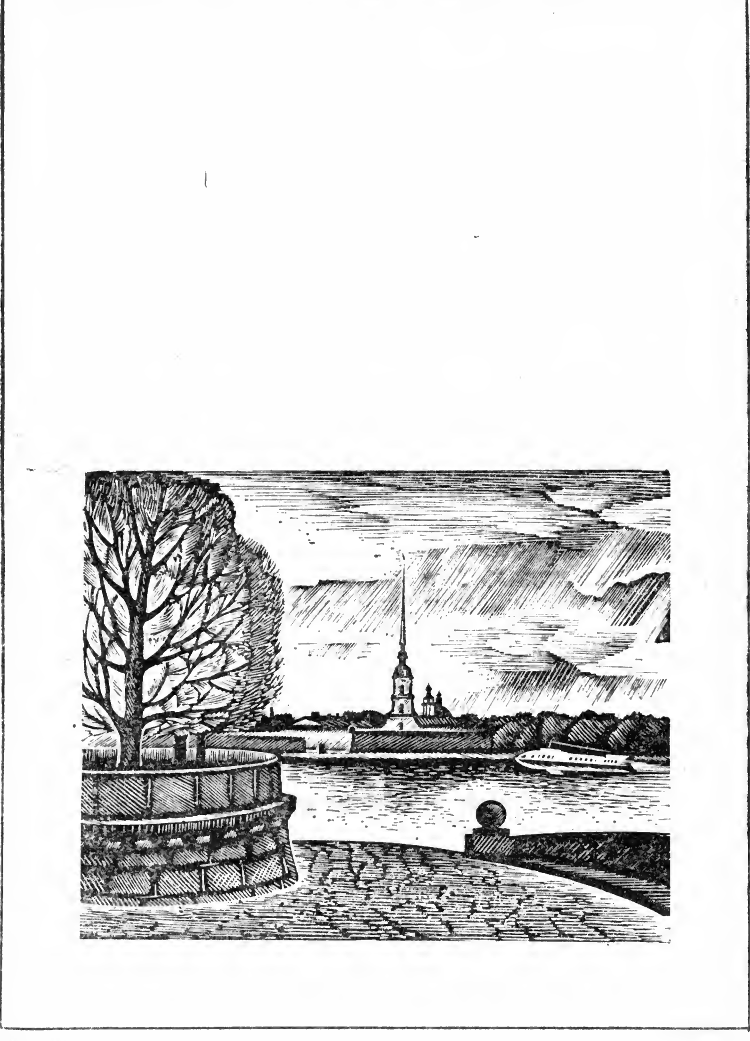
Я шел по берегу реки —
Катилась медленно река,
И думы были высоки,
Как надо мною облака.
Плыл смоляной сосновый дух,
В ветвях зеленых зяблик пел.
И, радостью наполнен, вдруг
Я петь о счастье захотел.
И я шептал уже слова
О свадьбе, где меня так ждут!
Был ветер мягок, как трава,
Свивали волны солнце в жгут.
...Но мир качнулся надо мной,
И небо сделалось седым,
И солнце тусклою луной
Мерцало сквозь горячий дым.
Лицом уткнувшийся в траву,
Едва глаза открыл тогда...
С тех пор одним, одним живу —
Чтоб не пришла опять беда.

Чтоб слово МИР светилось, как
Влюбленных светятся глаза,
Чтобы дрожала на цветах
Не кровь, а чистая роса!

Перевел с крымско-татарского А. Аквилев

НИКОЛАЙ КОФАНОВ

«Петропавловская крепость»



ВЛАДИМИР САВИЦКИЙ

Политрук

Рассказ

Г. А. Сергееву

Я был несколько старше тех, кто отправлялся в военкомат прямо с выпускного вечера, и моя жизнь сложилась так, что первым взрослым, за которым мне захотелось пойти до конца, стал для меня не отец, не старший брат и не школьный учитель, а политрук нашей роты Петр Иванович, столяр из небольшого старинного русского городка, что севернее Москвы.

В жизни отца не оказалось ничего, что могло бы захватить его сына, включая и будничную профессию экономиста, о которой сын к тому же ровно ничего не знал. Старшего брата у меня не было; с двоюродным братом Володей, погибшим под Курском в 1943-м, я крепко дружил и часто ему завидовал: он лихо играл в волейбол, хорошо учился, нравился девочкам; но Володя, мой одногодок, не мог стать одновременно и моим героем — для этого он должен был быть по крайней мере на несколько лет старше. В школе нас учили по преимуществу женщины, да и я, признаться, не был увлечен ни одним предметом настолько, чтобы увлечься заодно и тем, кто его преподавал. Вот разве няня — но няня была частью меня самого, а кто же пророк в своем отечестве?

Неуверенным почерком поздно овладевшего грамотой человека Петр Иванович написал мне рекомендацию в партию, и сделал это с полным правом: именно он, мой политрук, а не кто другой, за четыре долгих военных года воспитал во мне необходимую каждому истинному гражданину способность видеть свой долг не только в том, что ты обязан, но и в том, что ты в силах для общества свершить.

Разница может получиться и небольшая, а может и весьма существенная — у кого как.

С Петром Ивановичем мы повстречались вскоре после того, как началась Великая Отечественная война.

Утро 22 июня застало наш полк в лагерях под Ри-

гой, давно уже готовившейся к столкновению,— для горожан близкий конфликт отнюдь не был тайной. Несколько дней спустя те из нас, кто уцелел, собрались в Пскове; там, на площади перед древним собором, слушали мы по радио выступление Верховного Главнокомандующего.

В Пскове же полк был переформирован, из его состава выделили несколько мобильных рот связи, в одну из которых, командиром отделения, попал и я.

Перезнакомиться хоть сколько-нибудь основательно у личного состава нашей роты не было в те дни возможности. Жили мы вразброс, штаб роты чуть ли не ежедневно менял местоположение; круглые сутки линейщики восстанавливали разрушения линий связи на новых и новых немалых участках, спать почти не приходилось, дни и ночи сливались в одну нескончаемую ленту.

Я получил список солдат своего отделения, кое-какое имущество, представился командиру взвода — в дальнейшем мы поддерживали связь главным образом по телефону,— видел несколько раз издали командира роты, запомнил его зычный голос, полюбовался высокой, ладной фигурой, перетянутой бесчисленными ремнями и ремешочками (предмет моих тайных вожделений), отлично знал кладовщика, снабжавшего нас продуктами, и больше, пожалуй, никого.

Политрук ни разу за время отступления в моем отделении не побывал, заезжал только к командиру взвода, да и то раза два-три, а мы были, в сущности, предоставлены самим себе. Правда, взвод у нас получился крепкий, с заданиями справлялся, несмотря на то, что протяженность линий связи, сохранность которых мы должны были обеспечивать, достигала часто сотни километров. Скорее всего именно поэтому Петр Иванович и не беспокоился особенно о нас. Были участки послабее, потревожнее, каждый день, каждый час менялась обстановка — возникали новые, непредвиденные, сложнейшие обстоятельства, требовавшие пристального его внимания, его присутствия где-то в другом месте.

На будничные же мелочи времени не оставалось совершенно. Самолеты противника непрерывно висели в воздухе — какими желанными казались нам низкая облачность и дождь! — и до сих пор запах травы, уткнувшись в которую мы лежали под бомбами, вызывает во мне чувство унижения. По неопытности мы не понимали тогда, что по кольцу новехоньких «юнкерсов», пикирую-

щих, завывая сиренами, прямо на тебя, есть смысл вести огонь из трехлинейной винтовки образца тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого года.

Наконец вся наша рота собралась в Новгороде. Тут я впервые с начала войны чуть-чуть отоспался, привел в порядок обмундирование, сменил белье, впервые выкупался в Волхове.

Наши части сдали врагу древний город, предмет вековых вожделений западных меченосцев, но отошли мы совсем недалеко, и дальше уже — ни шагу. Будни стали более организованными, и я, оглядевшись, сразу же ощутил присутствие человека с тремя кубиками в петлице — политрука нашей роты.

Да и трудно было не ощутить — без него не начиналось ни одно серьезное дело; и обстоятельства моего первого с ним близкого знакомства были необычными.

Вечером, в день последних боев за Новгород, Петр Иванович, захватив трех солдат и меня, грешного, отправился вывозить ценное по тогдашним временам оборудование местного узла связи. Он спокойно мог этого не делать — приказа никто не давал,— но полагал, что мы обязаны сделать все, что в наших силах, для спасения имущества, что это наш долг.

Он категорически настаивал на своем, вопреки возражениям командира роты, не желавшего рисковать одной из трех своих автомашин, не хотевшего дать политруку лишний случай проявить инициативу и уж никак не склонного без крайней необходимости подвергать опасности самого себя.

— Поезжай ты,— предложил ему Петр Иванович.

— Рисковать людьми и машиной — без приказа? Не имею полного права.

— Получи приказ,— пожал плечами политрук.

— Никого нет, я звонил, ты же знаешь... Да и на черта нам это имущество?!

— Сам отдай приказ, ты командир роты.

— Именно потому, что я командир, я не могу взять на себя такую ответственность!

— Тогда считай, что ее взял на себя я. Сержант! — это относилось уже ко мне.— Готовьте машину, людей и захватите побольше веревок.

Невольно подслушав обрывок разговора, я был, по правде говоря, на стороне командира роты: к чему лезть на рожон? Вникнуть в подлинный смысл их столкнове-

ния я не мог, многие простейшие жизненные формулы были мне еще непонятны.

И мы отправились.

Петр Иванович грустно напевал что-то, высунувшись в окно кабины, мы, рассевшись по бортам, обменивались вполголоса краткими, но выразительными фразами: приказ вновь тащиться в город, в котором шел бой, особенного энтузиазма ни у кого не вызвал. Наша машина была единственной, ехавшей на запад, все живое двигалось нам навстречу,— за дни отступления мы научились хорошо понимать, что это значит. Добро бы еще предстояло что-нибудь этакое, красиво-героическое — лихой налет, что ли,— но вывозить брошенное кем-то имущество...

Смеркалось, город словно вымер, добрая треть деревянных домишек заволховской части была в огне; снаряды рвались все настойчивее, отчетливо слышались не только пулеметные очереди, но и винтовочная трескотня; мост, кажется, тоже горел, но через него нам, слава богу, переезжать было не нужно. Тут бы зарыться в землю, забраться в погреб да отстреливаться понемногу, как весь честной народ, а мы, подъехав наконец к узлу связи, получили приказание аккуратно демонтировать оборудование, ни в коем случае не повредив, сносить его вниз и тщательно грузить на машину.

Мы ринулись в здание, надеясь, что этого проклятого оборудования окажется не так уж много, но с первого взгляда поняли, какими наивными были наши надежды.

Петр Иванович вразвалочку вошел в дом вслед за нами и, не обращая внимания на нашу торопливость, нервозность, суету, на наши возгласы и ругань, попросту стал работать наравне со всеми. Сноровисто орудовал кусачками, отверткой, небольшим ломиком, снимал телеграфные аппараты, коммутаторы, еще какие-то таинственные агрегаты — в полутьме матово светились их медные части; неторопливо сносил свою добычу по скрипучей деревянной лестнице со второго этажа, казавшегося нам местом особенно опасным, во двор; с помощью водителя Лени бережно, подложив сена, укладывал аппаратуру в кузов, успевая поправить, подвинуть, обезопасить от тряски и то, что кое-как побросали туда мы.

Воркотню солдат и мои, похожие на вопли, отрывистые рапорты: «Все ценное уже снято!», «Рессоры прогнулись!», «Пора ехать, товарищ политрук, все уже ушли!»— он встречал едва приметной улыбкой и гово-

рил, не повышая голоса, тоном каким-то просительным даже:

— Ну вот, еще разок сходим и все.

И мы ходили, ходили, ходили, пока не загорелось от прямого попадания соседнее с почтой здание — в нашем вылетели стекла,— а на машине действительно не оставалось уже никакого места.

Все так же хладнокровно — несмотря на отчаянную обстановку, меня разбирало любопытство: выдержка это, усилие воли или природное хладнокровие — политрук собрал в большую брезентовую сумку весь инструмент, и тот, которым работали мы, и в изобилии разбросанный повсюду, внимательно, словно сожалея о чем-то, оглядел помещение, лестницу, кладовые и только после этого сказал шоферу, давно уже включившему мотор:

— Ну, что ж... давай, Лень... только не шибко... Мостовая — сам видел какая, да воронки еще...

Он усадил в кабину солдата, тяжело зашибшего при погрузке руку, двух других каким-то чудом уместил в кузове, затем кивнул мне:

— А мы на подножках, сержант.

Так и возвращались: он возле шофера, всячески его сдерживая, но и помогая маневрировать в темноте — фары мы не включали, и дорогу освещало только пламя пожарищ,— я с другой стороны; время от времени я не выдерживал, просовывал в кабину голову и тихонько просил Леньку поддать — тот только таращил глаза.

Ничего, добрались, сдали имущество дежурному по узлу связи («Хоть бы для себя старались!» — в десятый раз подумал я) и завалились спать. Нам, кажется, даже ужина не оставили.

Хотите верьте, хотите нет, но успешное выполнение нами этой весьма скромной операции окончательно помогло мне нащупать почву в зыбком хаосе первых недель войны. Телефонный разговор с матерью обострил чувство ответственности, заставил собраться, призвал к активному сопротивлению,— теперь его возможность была доказана личным примером политрука, а я приобрел собственный опыт, убеждающий, как известно, сильнее всего.

В поведении Петра Ивановича меня поразило не только его хладнокровие и мужество — мужеством было буквально пронизано все вокруг,— но главным образом его хозяйское отношение к делу, особенно неожиданное в

дни, когда мы отступали, когда наше положение выглядело отчаянным.

Неожиданное — и желанное. Оглядываясь назад, я думаю, что с двадцать второго июня я каждый день трепетно ждал — не чуда, а появления рядом со мной именно такого, уверенного в наших общих силах, в нашей непобедимости человека, чьи поступки хоть как-то соответствовали бы воспитанному в нас представлению о быстрой победе в грядущей войне. Того, кто воплотил бы наяву ставшие уже тогда легендарными заветы гражданской.

Наяву. Здесь. В этом окопе. Под этим городом.

Рядом со мной.

Вероятно, именно поэтому все в Петре Ивановиче казалось мне особенно привлекательным — даже естественность, с которой он подверг опасности наши жизни, выполняя приказ своей совести. А уж то, как запросто, наравне со всеми и как умело он работал, было для меня попросту откровением: не забудьте, за год службы в мирное время я успел привыкнуть к тому, что командир только командует. Петр Иванович даже голоса ни разу не повысил. Он мог разрешить машине уехать чуть раньше или чуть позже, с полным грузом или с почти полным, и это было то единственное, в чем проявилась его власть, его право командира. Политрук так использовал это право, что не только согласно уставу, но и по существу, по самому жесткому моральному счету оно казалось мне неоспоримым.

В полковой школе нас учили: главная задача — тщательно выполнить приказ; мы усвоили это превосходно. Сам того не заметив, я поддался заманчивой возможности снять с себя ответственность за все, что не касалось непосредственно меня, нашего взвода, нашей роты. Так просто: выполнил быстренько приказ — и совесть чиста. В тот ненастный вечер Петр Иванович наглядно доказал мне, что далеко не все решается единожды и для всех отданным приказом, что многое, чрезвычайно многое зависит и от позиции, от поступков, от нравственной силы или слабости одного человека. Доказал — и как бы вновь вручил мне нелегкий груз ответственности за то, чем и как живет мой народ.

И так было не только со мной одним. Наша рота не могла бы стать одной из лучших частей связи и прикрывать, раз за разом, самые тяжелые и ответственные направления, руководствуясь только громогласными, час-

то суматошными и путаными приказами своего командира. Недалекий строевик, он плохо знал порученное нам специальное дело,— бездна разверзлась предо мной, когда я понял, что он знает связь еще хуже, чем я, учившийся каждой мелочи у своих солдат, ветеранов финской; нас же обучали в мирное время только строить новые линии, а ремонтировать огромные разрушения уже существующих мы обучены не были,— люди быстро раскусили, что командир не знает дела, подшучивали над ним за глаза, и это не могло не приглушать их собственную инициативу.

Но их вел за собой политрук, изо дня в день воскрешавший в каждом уверенность в своих силах.

Месяца через полтора или два мне удалось нащупать еще одну точку опоры. Она не имела той психологической глубины, того масштаба, той духовной закалки, какую мне дали разговор с матерью и встреча с политруком, но обладала своей особой прочностью и была по-своему необходимой каждому солдату. Я имею в виду выдачу нам поздней осенью новехонького зимнего обмундирования. «Ого! — восхитился я, намерзшийся всю прошлую зиму на занятиях в поле в одной шинелишке.— Ого! Полушубок, валенки, ватные брюки, телогрейка, шапка-ушанка, теплые варежки, портянки... Это же совсем другое дело... Так воевать можно...»

Самым важным и здесь было не то, что теплые вещи должны были предохранить нас от морозов, а то, что о нас своевременно позаботились.

Может создаться впечатление, что, высоко оценивая личный пример и личные качества руководителя, я не признаю дисциплины, не вижу в ней смысла, а это решительно неверно.

Напротив. Уже вскоре после призыва я понял, что дисциплина в армии необходима, что без нее армия существовать не может,— а что без армии России не быть, я твердо знаю еще с тех времен, как восьми лет от роду прочел «Севастопольского мальчика», свою первую книжку про оборону Севастополя.

Затем я обнаружил, к собственному удивлению, что дисциплина, в сущности, не такая уж обременительная штука. Еще Джек Лондон воспел излюбленный спорт

австралийцев — катанье на досках на могучих волнах морского прибоя, которые сами несут тебя несколько километров, надо только правильно выбрать волну. Так и с дисциплиной: достаточно встать на нужную волну, и дело сразу пойдет на лад. Как ни странно, быть аккуратным и подтянутым так же просто — или так же сложно,— как быть вечным неряхой.

Встать на волну... Едва ли не самым мучительным в первые месяцы солдатской службы был для нас подъем. И не только потому, что происходил он непривычно рано. Нам отводили на подъем неправдоподобно мало времени, а жили мы в колоссальном помещении старых казачьих казарм и спали на двухэтажных кроватях. Подгоняемые младшими командирами, мы очень мешали друг дружке, создавалась нервная обстановка, особенно неприятная после того, как тебе только что снилось нечто домашнее, уютное, ласковое. Суета, окрики, ругань, шуточки,— а ведь надо было мгновенно натянуть брюки, гимнастерку, намотать не очень-то привычные для горожан портянки и, главное, обмотки, змеей ускользавшие из рук. Один из курсантов, человек небольшого роста и повышенной исполнительности, спавший на верхней кровати, наловчился попадать в штаны на лету — прыгая с верхотуры на пол...

Так вот, оказалось, что всю эту мучительную суету можно преодолеть до смешного просто. Достаточно было проснуться минут на пять раньше побудки, и ты успевал очухаться, спокойненько одеться и даже сходить перед зарядкой в туалет, а потом первым стать в строй, что ценилось высоко и могло очень пригодиться при какой-нибудь неурядице, приключившейся с тобой позже. Правда, вставать до побудки запрещалось, но в огромной казарме, сплошь заставленной двухъярусными спальными сооружениями, было легко ускользнуть от бдительного ока дежурного. А если даже это и не удавалось, было несравненно проще пережить подъем, встретив его неспящим.

Как просыпаться точно? Сперва с помощью дневалящих сегодня приятелей, потом можно привыкнуть и просыпаться самому, почти без промаха.

Встать на волну... Не прилаживаться, не подделываться под погоду, не отыскивать уютное местечко, «непыльную» работенку — оседлать стихию, прочно закрепиться, определить свое место в общем движении и общем строю. При известной изворотливости не так уж и

сложно пристроиться кладовщиком, или писарем, или еще кем-то в этом роде — в армейской ли, в гражданской ли жизни. Стоит ли игра свеч — вот вопрос! Ради весьма иллюзорного временного благополучия избегать суровых будней, формирующих твой характер, рискуя привыкнуть всю жизнь оставаться на подхвате?

Некоторое время после призыва я ужасно завидовал «аппаратчикам», изучавшим телеграфное дело в теплых классах, в то время как нас выгоняли на мороз, далеко за город. Потом я стал находить своеобразную прелесть в возвращении в казарму после изнурительного дня — словно домой! А когда пошли наконец весенние погоды, мы сразу оказались в неизмеримо более благоприятных условиях, чем наши товарищи, напряженно долбившие морзянку и матчасть в духоте, на глазах у начальства всех рангов. Именно тогда понял я, что чем скорее преодолеешь главную трудность, тем скорее отделаешься от трудностей вообще: все остальные покажутся тебе мелкими временными трудностями.

Ну, а потом, когда я сам стал командовать, я тем более не мог не понимать и не ценить дисциплины. Однако только на фронте я научился отличать дисциплинированных, но в то же время инициативных солдат от безликих исполнителей, прикрывающих дисциплинированностью беспомощность, неумение или нежелание сделать самостоятельно хоть один шаг; война вообще многое проявляет в людях.

Отличать подлинное от мнимого настойчиво и бескомпромиссно учил меня наш политрук.

Человек он был не из видных. Небольшого роста, светловолосый, голубоглазый, сухонький, он одевался строго по форме и всегда очень скромно — за исключением сапог. Я не видел на нем других сапог, кроме хромовых; как литые сидели они на его небольшой, аккуратной ноге. Когда положение на фронте стабилизировалось и все хозяйство нашей роты надолго разместилось в небольшой валдайской деревушке, он разыскал среди солдат бывшего деревенского сапожника, раздобыл для него комплект инструмента (штатного сапожника нам не полагалось, но Петр Иванович умел ладить даже с интендантами) и проследил за тем, чтобы Алексеича разместили в теплом и просторном помещении. Вскоре выяснилось: сделано это было не только потому, что политрук любил хорошие сапоги и понимал, как важно, чтобы у солдат, отхаживавших вдоль линии десятки километров,

были сухие ноги,— возле нашего сапожника, днем чинившего бесконечные ботинки, а вечерами тачавшего сапоги для счастливцев, сумевших раздобыть крой, как-то сам по себе образовался ротный клуб.

Меньше десяти — двенадцати человек там никогда не собиралось, обычно значительно больше. Частенько ни о чем серьезном речи не шло: охотничьи рассказы, анекдоты, байки, красочные описания былых побед над слабо защищенными женскими сердцами и, разумеется, фронтовая летопись сменяли друг друга. Субординации — никакой: важно было не звание рассказчика, а количество боевых наград или нашивок за ранения на его гимнастерке, умелая речь, едкая шутка, знание жизни...

Долгие вечера, наполненные, казалось бы, одной болтовней, давали нам дружеское тепло и подобие уюта, давали нам передышку,— как это много на войне, объяснять не надо.

Наш маленький клуб навещал и Петр Иванович. Он ничего не навязывал собравшимся, не нарушал доверительного тона беседы, умел хорошо слушать, похвалить ядреную шутку, раскатисто рассмеяться вместе со всеми и сам охотно и красноречиво выкладывал, в очередь с другими ораторами, различные были и небылицы, которые помнили чуть ли не с детства.

Начинать серьезный разговор он любил с недоумения. Достанет из планшетки сложенную в шестнадцать раз газету, тщательно развернет, хлопнет по листу ладонью, посетует на то, что события в мире происходят уже вовсе невразумительные, и станет читать облюбованную заранее заметку, медленно, врастяжку, не всегда правильно выговаривая мудреные, иностранного происхождения слова. Кончив читать, обведет всех хитроватым взглядом и обратится к кому-нибудь с просьбой растолковать прочитанное или хотя бы высказать свою точку зрения. Тот примется отнекиваться, попытается отшутиться, да не тут-то было: Петр Иванович не отстанет от бедняги, пока не вытянет из него хоть несколько слов,— в крайнем случае тут он и свой командирский авторитет приложит, деликатно, но все же... Особенно робко высказывались обычно солдаты постарше, призванные из запаса, некоторые едва умели читать и писать; послушав «папашу», кто-нибудь из завзятых остряков, обожающих поразглагольствовать, ввернет шуточку, затем в беседу включится кто-нибудь помоложе, побой-

чее, с ним заспорит другой, третий, после чего завязывается общая дискуссия — до глубокой ночи.

Политруку только этого и надо.

Он никогда или почти никогда не проводил обязательных политинформаций, передоверив это нехитрое дело замполиту, гордившемуся своей «подкованностью», а также командирам взводов. Сам же стремился помочь людям высказаться, облегчить душу, проверить свои раздумья в откровенной дружеской беседе,— во время наших посиделок политрук никогда не прерывал говорившего и вообще старался ничем не выделяться среди шумевших в накуренной клетушке солдат. Правда, когда он входил, все вставали, но, в сущности, и это отличием не было: люди вставали не столько по обязанности — чтобы приветствовать старшего по званию,— сколько из симпатии и уважения к Петру Ивановичу. Надо было быть бревном, чтобы не почувствовать этого, да и сам политрук держался так, что каждый понимал: он не протестует против внешних знаков почтительности, ибо все мы на военной службе, где так положено.

У меня было впечатление, что Петр Иванович лишь в силу этой условности и носит военную форму, что на самом деле он никакой не командир, не армейский начальник, а просто призван представлять Советскую власть — ее мудрость, ее справедливость, ее демократизм — в условиях военного времени. Представлять и в нашей части, и в той местности, где мы в данный момент находились. В деревнях он охотно помогал мирным жителям, если таковые имелись, а заметив на нашей вечерней беседе крестьян — они не меньше солдат нуждались и в сапожнике, и в дружеском участии,— обращался по преимуществу к ним. Он считал, что коммунист должен иметь мужество отвечать за все происходящее, и никогда не уклонялся от заковыристых вопросов, которые так любят задавать в сельской местности с самым невинным видом; в первые месяцы войны таких вопросов было предостаточно.

Случалось, наши беседы заканчивала гармошка:

Полюбила лейтенанта,
а попался рядовой,
распустил свои обмотки,
я запуталась ногой...

Пели песни, а то и танцевали, если на огонек забредали местные девчата, кто-нибудь из госпиталя, с поле-

вой почты, с поста воздушного наблюдения, наши телефонистки, телеграфистки с узла связи. Пока гармонист — мне часто приходилось выступать в этой роли: от рояля до «хромки» всего один шаг, как оказалось,— пока гармонист жарил польки и тустепы, все шло гладко, каждый думал сам за себя и устраивался как мог. Когда же начинал зарождаться общий танец — «русский», «цыганочка», «барыня»,— без Петра Ивановича дело шло обычно туго, а он, как на грех, не умел танцевать.

Будучи твердо уверен, однако, что политрук должен уметь решительно все, и зная по опыту: его дело только начать,— он никогда не отказывался. Выходил на круг, старательно приглаживая двумя руками начинавшие редеть, но все же упрямо топорщившиеся волосы, затем так же, двумя руками, расправлял складки на гимнастерке; оставив одну руку на поясе и вроде как подбоченясь, смущенно улыбался — извините, дескать, как могу,— почему-то откашливался и принимался бочком-бочком подпрыгивать на месте в такт музыке, смешно дрыгая ногами. Не торопясь, он продвигался к центру круга, и, когда непосвященные думали, что вот теперь-то он и разойдется, Петр Иванович круто сворачивал к заранее намеченной жертве — осечек не бывало, он всегда доподлинно знал, кто умеет плясать,— подмигивал разгадавшему его хитрость солдату, подпрыгивал перед ним несколько раз, что означало приглашение на танец, затем освобождал ему место, а сам смешивался с толпой и долго отфыркивался где-нибудь в углу. Его дело было сделано: общая пляска началась.

Понимал ли он, что пляска обладает удивительным свойством сплачивать людей — хоть прямо в бой,— или действовал инстинктивно? Первый раз я увидел его пляшущим в невыносимо тяжелый день, в перерыв между двумя массированными налетами немецкой авиации на наш участок. Шел дождь, голова Петра Ивановича была перевязана после только что полученной контузии, на лице смазанная йодом большая царапина, само лицо напряжено до крайности, а он, окруженный бойцами, сосредоточенно и долго плясал, неожиданно тяжело и звонко топоча по мокрой траве своими маленькими ножками в измазанных глиной изящных хромовых сапогах.

Этот день запомнился мне и по другой причине. Когда утром, во время первого налета, мы бросились восстанавливать разрушения, к участку моего отделения подъехал Петр Иванович и, желая выяснить обстановку,

приказал мне вызвать ближайший узел связи по нашему аварийному телефону, подключенному прямо к линии. Разговаривая, он стоял выпрямившись во весь рост, хоть немцы продолжали бомбить и обстреливать из пулеметов скопление орудий, машин, повозок на дороге и нас заодно. Ему было бы спокойнее присесть на землю, а то и оттащить аппарат в придорожную канаву и укрыться там самому,— длина провода вполне позволяла это.

Твердо зная из виденного много раз «Чапаева», что командир не должен лезть на рожон и что ему можно об этом напомнить, я подбежал к Петру Ивановичу и предложил перенести телефон. Он едва заметно улыбнулся, покачал головой и, продолжая кричать в трубку, показал глазами наверх. Сперва я подумал, что он имеет в виду вражеские самолеты, и с обычной для юности назидательностью собирался ответить, что именно потому я и предлагаю... Потом поднял голову и понял, что политрук показывал на одного из бойцов: стоя на столбе, он закреплял на изоляторе металлический провод.

Он был метра на три ближе к самолетам, утюжившим дорогу на бреющем полете, он никуда не мог укрыться от пуль, а упади рядом бомба, его непременно сбросило бы взрывной волной или прошило осколками — от фугаски они раскаленным веером идут вверх. Повиснув в воздухе на монтерских когтях и поясе, он там работал.

Все это я прекрасно знал и раньше и не мог не знать, ибо сам неоднократно точно так же под обстрелом торчал на столбе. Но я не умел соотнести самочувствие человека там, наверху, с тем, что делает в это время его командир, считал, что, если все мы на столбах, а командир в кювете, это нормально: зачем же еще одному рисковать собой, когда он может не делать этого?

Начиная с того дня или того часа я старался не отделять свою судьбу от судьбы солдат моего отделения, потом взвода. Это получалось у меня не всегда, а если получалось, то, как правило, далеко не так органично, как у политрука. Но я заметил, что каждый раз, как мне нечто подобное удавалось, возрастало доверие и уважение ко мне солдат,— значит, и я мог более спокойно на них положиться. Взвод обслуживал бесконечно долгую трассу, люди жили разбросанными вдоль всей линии группками,— без взаимного доверия мы не смогли бы ничего.

—

Но политрук умел не только доверять людям. Он обучал нас и великому искусству заботиться о других, своих товарищах, своих подчиненных,— помогать им, поощрять их, заботиться о большом и малом, и всегда всерьез, как если бы речь шла о близком человеке. Тем и запомнились многим воевавшим военные годы, что тогда вдруг оказались ненужными необычайно опасные для подлинного гуманизма грани, в том числе грань между своим, родным и чужим, быть может самая опасная из всех.

Сколько перевидал я командиров, да и политработников, привычно прикрывавших уставной заботливостью глубочайшее равнодушие к судьбе своих подчиненных. Петр Иванович, не переносивший ни малейшей фальсификации — здесь тоже сказывалась его рабочая закалка,— настойчиво стремился дойти до сердца каждого солдата. И был прав: ничто так не побуждает к самоотдаче, как устойчивость внутреннего мира.

Если командир нашей роты не различал одиночек в отлично выровнявшемся строю отделения или взвода и не стремился к этому, если он воспринимал подразделение лишь как единицу, способную или неспособную выполнить данное задание, политрук ни на секунду не забывал, что и первое, и второе, и третье отделение состоит из людей, у каждого из которых — свое имя и своя судьба.

Сколько раз на летучках в штабе краска стыда заливала лицо очередного командира взвода, понятия не имевшего о том, что у одного из его солдат скончалась на родине мать, или убили где-то на другом фронте брата или сына, или... Политрук, находивший время сообщить об этом и призвать всех командиров быть к солдатам особо внимательными, постепенно приучил нас считать беду каждого общей бедой.

Он старался обязательно лично побеседовать с людьми, прибывшими к нам на пополнение, побеседовать неторопливо и обстоятельно и сделать все, что в его силах, чтобы новички побыстрее почувствовали себя дома и овладели спецификой нашей боевой работы. Он принимал и устраивал первых девушек-телефонисток, налаживал их быт, помогал, как мог, войти в армейское житье, был их исповедником, когда чувствовал в этом необходимость, не забывал подсказывать кое-что и нам, мальчишкам-командирам, в подчинении у которых неожидан-

но оказались существа, вносившие в военные будни полузабытый аромат мирного времени.

Он всегда был с теми, кто оказывался на наиболее ответственном, наиболее опасном участке.

На фронте полное затишье, ничто не предвещает перемен, а политрук ни с того ни с сего звонит с отдаленного контрольного поста твоего взвода, где он, оказывается, находится уже чуть ли не сутки, запретив сержанту доложить тебе о его приезде.

— Давай-ка посоветуемся, взводный,— говорит Петр Иванович своим тихим, с легкой хрипотцой голосом.— Как ты думаешь, не стоит ли нам с тобой...

Ты слушаешь, а самому боязно, что он найдет там — уже нашел, конечно!— какие-то недоделки и упущения...

...и начинаешь лихорадочно соображать, какие меры следует принять, чтобы укрепить это направление и организовать работу так, чтобы вырваться туда самому...

...и чувство уверенности за тот, очевидно становящийся главным, участок, радостное чувство уверенности охватывает тебя: словно подставив плечо под тяжкую ношу, политрук добровольно разделяет с тобой ответственность, видя на месте многое, чего тебе за пятьдесят километров разглядеть невозможно.

А ответственность у нас, в связи высокого подчинения, была немалая, и разделить ее со старшим товарищем было ох как приятно. Правда, связь с Генеральным штабом обеспечивали специальные линии, так называемые «ВЧ», и специальные подразделения, но и командующий фронтом обладал властью вполне достаточной, чтобы сурово покарать нерадивого офицера, по вине которого оказалась нарушенной стройная система связи сверху донизу.

На моей памяти наш политрук ни разу не поколебался взять на себя ответственность и за выполнение боевой задачи, и если судьба солдата или офицера его роты требовала экстренных решений. Он шел подчас даже на то, чтобы в случае исключительном использовать наше положение отдельной роты и отпустить человека на несколько дней домой— разумеется, только когда обстановка на нашем участке фронта позволяла это.

Он дал краткосрочный отпуск и мне в ноябре сорок второго года, чтобы съездить к тяжело заболевшей после первой блокадной зимы матери в осажденный Ленинград; отпуск был оформлен как командировка, иначе никто не пустил бы меня на последний буксир, старательно

тыкавшийся то носом, то бортами в метавшиеся по Ладоге льдины. Причем Петр Иванович не только сразу же, не колеблясь, согласился отпустить меня, когда представилась оказия — в то время он исполнял обязанности командира роты,— не только вызвал тут же кладовщика и попросил его учесть, куда я еду, но первым принес мне свой офицерский доппаек и свой табак на десять дней вперед, а курильщик он был страстный.

Главное, он сделал это вовсе не потому, что мы были с ним особенно близки,— отношения между нами были самые обыкновенные; он сделал бы это для каждого командира, каждого солдата.

Не следует только думать, что он был добреньким: с людьми недобросовестными, подхалимами, любителями легкой жизни он бывал суров. Командир роты, накричав на нерадивого, мог тут же забыть его проступок — достаточно было прикинуться усердным. Никогда не кричавший на подчиненных, политрук не скоро прощал недобросовестность или просто небрежность, не говоря о малейшем нарушении воинского долга,— в этом он как-то неожиданно солидаризировался... с моей матерью. Добрый и сердечный человек, он верил людям, но уж если кто обманывал его доверие...

В сложной боевой обстановке, в дни нашего первого, неумелого еще наступления, один из шоферов, любимчик командира роты, отказался везти солдат на разрушенный артиллерией врага участок. Правда, у шофера на самом колене вскочил огромный фурункул и каждый раз, выжимая педаль, он вскрикивал от резкой боли, но ни второй машины, ни другого водителя не было. Ему был отдан приказ, он отказался его выполнить, ребята потащились по бревенчатому «паркету» пешком, сгибаясь под тяжестью нескольких бухт проводов, арматуры, инструмента, и связь дали с солидным опозданием.

И все же главное, почему политрук настоял на передаче дела в трибунал, заключалось, я уверен, вот в чем: разрушенный участок находился в зоне интенсивного обстрела, а шофер был уже не единожды уличен в трусости. Петр Иванович не верил ему и был неумолим, хотя командир роты пытался отвести удар от своего «личного водителя».

Неумолим... Это он-то, так болевший душой за каждого, кого мы теряли.

Еще в сорок первом году случилась у нас история, которой суждено было заполнить самую трагическую страницу в летописи нашей маленькой части.

Если под Новгородом противник был остановлен, то севернее он продолжал продвигаться вперед, и наступил день, когда оказалась утерянной связь с нашим соседом справа. Было предложено немедля послать взвод связистов на двух машинах — восстановить проводную связь. Предполагалось, что вся операция пройдет в полосе армейского тыла; собирались чуть ли не по тревоге, поехали налегке, вооружение было обычное: карабины, ручные гранаты, один или два ручных пулемета.

Я так хорошо знаю все это потому, что взвод был выделен наш. Он был полностью укомплектован, командовал им опытный офицер, участник финской, помощником командира был тот самый сержант Власов, который так толково воспитывал нас в полковой школе и с которым Петр Иванович, никогда не имевший своих любимчиков и не жаловавший чужих, был в дружеских отношениях.

Политрук лично проверил и напутствовал взвод перед отправкой, и, помню, мне не то чтобы завидно, а как-то грустно стало, когда он пожал Власову на прощанье руку, а мне не пожал.

Проехав немного по шоссе Москва — Ленинград, мы свернули на живописно вьющийся вдоль Мсты проселок; узкий, пыльный, он и сейчас обозначен на карте такой тонкой полоской, что ехать по нему нет никакой охоты.

К середине дня мы наткнулись на брошенную гражданскими связистами деревенскую почту и обнаружили, что на участке до нашего узла связь работает нормально. С той стороны трубку почти сразу взял Петр Иванович. О чем он говорил с командиром взвода, я не знаю, но, кончив разговор, лейтенант собрал младших командиров и объявил, что взвод без остановки следует дальше, здесь же будет оставлен первый промежуточный контрольный пост — сержант и два солдата.

Внимательно и как-то задумчиво окинув нас взглядом, он исподлобья взглянул на меня, представлявшего собой весьма колоритную фигуру: меня уже третий день трясла лихорадка, подцепленная в приволховских болотах, ходил я злой, небритый, кутался в наброшенную на плечи шинель.

— Вот ты и оставайся, Вася, занимай оборону,— после небольшой паузы сказал лейтенант.

Торчать в пустой деревне, ничего не зная о противнике, смертельно не хотелось — я уже побывал в таком положении. Было боязно отрываться от товарищей, не хотелось оставлять, хоть и временно, свое отделение. Спорить, однако, не приходилось, лейтенант этого терпеть не мог, да и я, честно говоря, тоже.

— Есть,— пробурчал я мрачно.

Казалось, командир взвода разделял мои сомнения и тоже считал, что, оставляя нас здесь, подвергает большой опасности; давая мне, уже наедине, последние указания, он был словоохотлив и мягок, чего за ним не водилось. Он даже стал объяснять, почему никак нельзя увеличить численность нашего поста, хотя я его, конечно же, об этом не спрашивал.

Все так же мрачно я произнес фамилии двух солдат, которым надлежало остаться. Мы сняли с машины телефонный аппарат, кое-какой инструмент, карабины, вещмешки, попрощались с ребятами и побрели в дом, а они уехали.

У входа на почту я обернулся.

Целая жизнь прожита с того дня, а я до сих пор вижу на фоне заката облако пыли от первой машины и облупленный задний борт второй; над бортом возвышаются какие-то фигуры, лиц я уже не помню.

Больше о наших товарищах никто ничего не слыхал. Никто из связистов Северо-Западного, Волховского и даже Ленинградского фронтов не мог ответить на продолжавшиеся не одну неделю наши расспросы. А спрашивали мы всех подряд, и знают связисты все на свете.

Первые часы они время от времени подключались к линии, и я, немедленно докладывая об этом в штаб, всякий раз обнаруживал на другом конце провода политрука. Но вот связь с ними прекратилась, и тогда Петр Иванович стал теребить нас. Что могли мы ответить?

Один из нас безотлучно сидел у телефона; не полагаясь на аппарат — при плохом состоянии проводов сигнал мог сработать совсем неслышно,— мы то и дело подносили трубку к уху, нажимали клапан и слушали, слушали линию.

Линия молчала.

Наступил вечер, стемнело. Мы притащили дров, затопили печку, закрылись, приперли какой-то рухлядью дверь и сидели с коптилкой у телефона — трое юношей, вооруженных карабинами. Нам было жутко одним в брошенной деревне, нас угнетала мысль о случившейся

с товарищами беде, мы были потрясены тем, как случайно избежали их участи мы сами.

Избежали? А что, если противник сейчас, по этой самой дороге... Мы не могли бы оказать серьезного сопротивления, но не могли и оставить свой пост. Единственным островком надежды оставался все тот же телефон — там, в штабе, на другом конце провода, у другого такого же телефона неотлучно находился наш политрук.

Как рассказывали потом ребята, Петр Иванович не выпускал трубки из рук. Он перезвонил всем своим друзьям, непосредственным начальникам в штабах и политотделах, поднял ночью самого начсвязи фронта, имя которого мы все избегали произносить, он дозвонился не только до штаба армии, действовавшей на нашем правом фланге, но чуть ли не до командира полка, находившегося где-то на том направлении, куда двигался наш взвод...

Он просил, он требовал, он умолял сделать что-нибудь для людей, посланных им на задание. Обстановка была такой, что, искренне того желая, взводу никто помочь не мог.

Так продолжалось еще день и еще ночь. Мы обжились на почте, осмелели, накопали картошки, а он все требовал от нас регулярно включаться в линию, подбадривал. Спал ли он вообще в эти черные часы?

На третьи сутки он приехал за нами на полуторке, бледный, осунувшийся, постаревший, злой. Прервал мой рапорт, сам включился в линию и долго вслушивался в ее безмолвие, потом положил трубку и сидел молча, одинокий, несчастный, курил и о чем-то своем думал...

А потом мы уехали из этой деревни, сдав почту со всем оборудованием взводу связи передислоцировавшейся сюда части.

Когда не осталось больше сомнений в том, что наши товарищи или погибли, или попали в плен, и был отдан приказ считать их пропавшими без вести, нам пришлось сообщить об этом их семьям. В каждый конверт — я собственноручно их клеил, мы не хотели посылать треугольники,— в каждый конверт кроме официального извещения легло написанное Петром Ивановичем письмо, не очень гладкое по оборотам, но необычайно конкретное, не казенное, искреннее.

Он писал эти письма медленно, по ночам.

Несколько ночей подряд.

Я очень надеюсь, что внуки сержанта Власова еще берегут письма политрука. Хотя — как знать...

И в дальнейшем Петр Иванович по возможности сам писал родным погибшего товарища, величая их по имени и отчеству, если таковые были известны; на многие письма он получал ответы.

Так понимал свой долг наш современник, надевший военную форму, чтобы вести за собой сотню людей, бесконечно разных по возрасту, образованию, социальному положению, также надевших гимнастерки и взявших в руки оружие, чтобы защищать свою родину от врага. Сотня — много это, мало ли?

Так понимал свою задачу политического руководителя — ибо так расшифровывается короткое слово «политрук» — человек, за которым мне в молодости хотелось пойти до конца.

МИХАИЛ ДУДИН

* * *

Что-то страшное в мире творится,
Что-то в мире от мира таится,
Мир в тревоге не спит по ночам,
И гордец человеческий — разум,
Словно робот, послушный
приказам,
Продолжает служить палачам.

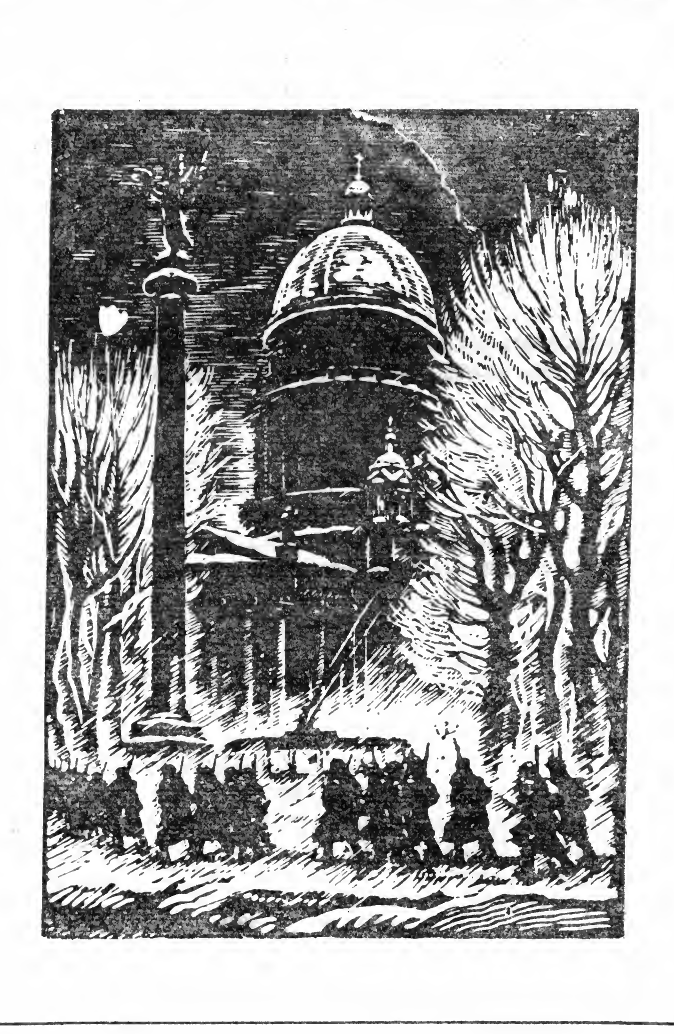
Может, скорость мечту укачала,
Может, спутало время начала,
По дорогам познанья спеша,
Может, вправду достигла
предела,
В философии общего дела
Разуверясь, живая душа.

Что-то в мире случилось такое,
Что забыл человек о покое,
О делах, подтверждающих речь,
И всеобщий закон беспокойства
Растерял благородные свойства
Человеческий праздник беречь.

Но издревле доныне на свете —
Перед Прошлым с Грядущим
в ответе —
Человек человеку родня.
И воистину распри и войны
Мы, как боги, оставить достойны
За порогом вчерашнего дня.

СОЛОМОН ЮДОВИН

«Блокадный Ленинград»



ЭЛЬМАР ГРИН

У Крутых Порогов

Рассказ финского гостя

Я у вас еще не бывал. Приехал в первый раз. От нас трудно ехать. Это север. Не самый крайний, но все-таки север. Выбираться приходится много дней. Сперва на лошади. Потом автобусом. Потом поезд и опять автобус. Глухое место. Вода нашей крутой реки Юрккя-Йоки уходит к вам, в Белое море. Не прямо уходит, а сперва проскакивает сквозь некоторые другие реки и озера. Я не знаю, в каком виде она приходит к вам, но у нас она ведет себя буйно: прыгает, крутится, пенится, ревет, и голос ее разносится на три километра вокруг.

Особенно сердито ведет она себя у Крутых Порогов. Там несколько спадов, разделенных выступами гранита. Они разрезают падающую воду на отдельные струи, которые тут же опять смыкаются, устремляясь далее вниз, а там ударяются о другие выступы и снова дробятся, поднимая брызги, окунаясь в пену и кувыркаясь так и этак среди камней, пока не вырываются наконец из этих каменных загородок на гладкий простор, откуда дальше на восток уносится уже единым тугим потоком.

Такой же сердитой была наша река и двадцать пять лет назад, когда вы вернули себе перешеек. Нам тогда предложили в работники заморенных лагерем русских военнопленных. Их надо было успеть подкормить, чтобы передать вашим властям в нормальном виде. Однако в нашей деревне только один Антти Хирвонен смог взять себе на прокормление работника. Остальные три двора отказались.

Но и Хирвонен прогадал. Он выбрал себе парня высокого роста, полагая, наверно, что у высокого больше силы. А парень оказался несильным. Кроме того, он слегка прихрамывал. Оказывается, у него обе ноги были прострелены из финского автомата и одна пуля задела кость. Таким его и подобрали наши санитары в сорок первом.

И работы крестьянской он совсем не знал, хотя и скрыл от Хирвонена, боясь быть отправленным обратно

в лагерь. Пришлось Хирвонену учить его и косить, и пахать, и лошадей запрягать. Все это он с готовностью воспринимал и выполнял, хотя давалось оно ему трудно. К тому же первое время он страдал животом. Кормил его Хирвонен, правда, не бог весть чем. Картошка, черный хлеб, рыба. Но все равно и такая еда вредила первое время желудку, в котором три года было пусто. Я видел, как он корчился иногда, уткнувшись головой в борозду на пашне, в то время как обе лошади уходили от него с плугом куда-нибудь в овес или рожь. Видел, как он ронял косу или грабли на заболоченной луговине среди кустарников и сгибался пополам, раскачиваясь из стороны в сторону подобно маятнику.

И Марьятта это видела. От ее рысьих глаз ничто не могло укрыться. Она везде поспевала на своих тонких, быстрых ногах. Я спросил ее:

— Видала, как этот рюсся корчился там, на болоте?

Она ответила:

— Видала. Ну и что?

— Как ну и что? Пусть корчится. Так ему и надо.

— Почему так ему и надо?

— Потому, что это рюсся — наш исконный враг.

— Ах, наш исконный враг? А-а! А я и не знала. Хорошо, что ты меня просветил.

Сказала так и убежала, мелькая дырявыми сандаликами. Она всегда больше бегала, чем ходила. И разговаривала тоже только так. По-другому не умела. Крутясь постоянно среди мальчишек, она и сама была похожа на мальчишку: узкая в бедрах, обтянутых короткой серой юбкой, тонкая, гибкая и сильная. Как-то раз Яло Хирвонен вздумал высмеять ее длинную зеленую кофту, перешитую из материнской, так потом две недели ходил в синяках и царапинах. А было ему, как и ей, тринадцать, и среди приятелей-школьников он умел постоять за себя.

Она и мне тоже не раз грозила трепкой в ответ на какую-нибудь мою насмешку. Но я был на полтора года старше и не боялся ее кулаков и ногтей. А после того как я на ее глазах перебрался через пороги, она перестала мне грозиться. Она только сказала:

— Ты просто спятил. Не смей никогда этого повторять!

Ее особенно напугал тот момент, когда я, дойдя до середины, погрузился в воду по горло и меня понесло стремниной на каменный выступ. А я знал об этом зара-

нее. До нее я проделал это два раза, обвязавшись веревкой, другой конец которой был привязан за куст. И Яло стоял на берегу, отпуская понемногу веревку и готовый вытащить меня на берег в любую минуту. Все было просто. Я не раздевался и не разувался. А в руках у меня был багор. В трех местах он помогал мне прыгнуть с камня на камень. А там, где меня подхватывало течение, ноги мои касались твердой каменной плоскости. Марьятте казалось, что я попал в беду, а я спокойно скользил по этой плоскости до выступа, зная, что от выступа достану багром соседний камень и пересеку струю, которая обдаст меня не выше пояса. А дальше к левому берегу водовороты только с виду казались опасными. В иных из них вода едва доходила мне до колен.

Но Марьятта недолго питала ко мне уважение за этот подвиг. С появлением в нашей деревне русского военнопленного оно постепенно из нее повыдохлось. Такие они непостоянные, эти женщины. Старшая дочь Хирвонена Лайна тоже повела себя довольно странно с появлением в их доме этого русского. При других она отворачивалась от него с надменным видом. Подавая ему на кухне еду, она прямо-таки кидала перед ним на стол хлеб и ложку, а тарелку с картошкой или супом ставила так, что едва не раскалывала ее пополам. Но когда ей казалось, что ее никто не видит, она стояла за крыльцом или колодезным срубом и подолгу смотрела на русского, пока он делал что-нибудь по двору: колол дрова, носил из погреба картошку в кормовую кухню для свиней или выгребал навоз из коровника.

Она была не из красавиц, но здоровая и сильная девушка. От отца к ней перешли широкие скулы, а от матери — голубые глаза и желтые волосы, которые она постригала и завивала, придавая им пышность. По примеру матери она привыкла поджимать сердито губы, что тоже не прибавляло ей красоты. А была она по возрасту уже невестой. И где-то на фронте воевал ее жених. Воевал с такими, как этот русский, которого она обязана была ненавидеть.

А русский выправился в конце концов. И когда Хирвонен сел на свою жатку, то и он уже в полную силу работал в поле, помогая его жене и дочери вязать в снопы рожь, ячмень, овес и убирать их в бабки. Потом хозяин дал ему работу в саду. У него когда-то было тридцать яблонь, с которых он уже раз пять снимал урожай. Но две суровые военные зимы сгубили половину яблонь, и

он велел своему работнику выкорчевать их и распилить на дрова.

Этим и занимался у него русский в конце августа и в сентябре. Погода в августе стояла ясная. Грело солнце. И я впервые увидел, как русский стянул через голову свою застиранную почти добела гимнастерку и остался в одних солдатских брюках и опорках, зашнурованных бечевкой.

Да, нельзя сказать, чтобы мускулы особенно выделялись на его теле. Был он, правда, в меру плечистый, статный, и лицо имел продолговатое, с прямым носом и крупными серыми глазами, смотревшими на все вокруг внимательно и настороженно. А его темно-русые волосы, отрастая день за днем, так загустились, что даже я мог бы им позавидовать, если иметь в виду, что мои волосы не лежали так ровно и плотно, а вечно разваливались на все стороны, пока мать не укорачивала их своими ножницами.

Но его мускулам я не завидовал. И как ни старательно действовал он лопатой, топором или пилой-ножовкой, однако крестьянская работа была явно не по нему. Это скоро подтвердили его товарищи по лагерю, работавшие у крестьян соседней деревни. Они сказали, что до войны он был певцом в театре.

Узнав об этом, Хирвонен усмехнулся и покачал головой. Не повезло ему с даровым работником. В один из вечеров после этого у него гостили родители жены, приехавшие из соседней губернии. Заодно он пригласил моего дядю Ээро, с которым был в приятелях с молодых лет. Большой и грузный дядя Ээро — старший брат моего отца — побывал в свое время везде на свете, даже в России, и понемногу говорил на полдюжине языков. Его маленький домик стоял недалеко от нас, заслоненный домиком и конюшней Марьятты. Он жил там с женой и невесткой, у которой был двухлетний сын. Как и мой отец, он не обзаводился большим хозяйством и работал с моим отцом и своим сыном в лесу на участке одного северного акционерного общества. А пока его сын и мой отец были на войне, он брал в лес меня.

Как-то раз я спросил его на пути в лес:

— Дядя Ээро, а мы скоро русских победим?

Он ответил:

— Скоро. Как только они немцев побьют.

Я засмеялся. Он всегда как-то странно шутил, мой огромный спокойный дядя Ээро, хотя сам не смеялся.

Можно было подумать, что его лицо не приспособлено для смеха. Казалось, будто мешают этому две глубокие складки, отделявшие его задубелые щеки от носа и рта. Они накрепко пробороздили его лицо сверху вниз, охватывая с двух сторон гладковыбритый, квадратный подбородок, и казалось, что их затверделость не позволяла рту растягиваться в улыбке. Зато в его светло-карих глазах, так много повидавших, таились доброта и смех.

А засмеялся я потому, что в то время наступали везде немцы, а не русские. И было смешно представить все наоборот. Посмеявшись, я сказал:

— А как же мы победим без немцев?

Он ответил:

— А так и победим. Уйдем из Восточной Карелии — и победа будет за нами.

Я сделал вид, что удивился:

— Разве так? А наш учитель истории совсем другое говорил.

Он кивнул:

— Знаю вашего учителя истории. Личность весьма уважаемая в определенных кругах. Жаль только, что он сам не покажет нашим солдатам, как им дойти до Урала.

— Но с немцами мы дойдем хоть куда!

— Дойдем. Уже дошли. Но как назад уйдем?

— А зачем назад?

— А затем, что таков закон истории. Из России всегда приходится потом уходить. И даже поторапливаться.

— А мы не уйдем назад.

— Попросят. Они это умеют.

И дядя Ээро ткнул рукоятью топора в направлении востока. Я не совсем его понял, торопясь рядом с ним по моховым кочкам на лесные делянки и делая по два шага в своих коротких сапогах там, где его тяжелые, курносые сапоги делали один.

У Хирвонена в тот вечер за столом кроме баклаги ячменного пива была выпита бутылка разбавленного спирта. А в пьяном виде Хирвонен становился злым и придирчивым. Вспомнив о русском работнике, он велел дочери позвать его. Лайна сходила в кормовую кухню, где тот варил в котле картошку и брюкву для свиней. Открыв дверь, она сказала: «Эй!» и указала большим пальцем на дом. Когда он предстал перед пирующими, хозяин потребовал:

— Ты, говорят, певец-артист. А ну-ка спой нам что-нибудь свое, веселое.

Тот не понял и стоял молча, обводя взглядом лица сидевших за столом и стараясь не смотреть на еду. Хирвонен обратился к Ээро:

— Переведи ему.

Ээро не очень охотно перевел. Однако русский продолжал молчать. Постояв еще немного, он повернулся к двери. Но Хирвонен преградил ему дорогу, требуя свое:

— Нет, ты спой! Тебя тут пригрели, работу дали, кормят. А ты в благодарность и спеть не желаешь? Пой, тебе говорят!

Но русский молчал, разглядывая внимательно лицо хозяина своими серыми запавшими глазами. А лицо хозяина было крупное, широкое, плохо выбритое, и темные глаза на этом лице сверкали яростью при свете закатного солнца. Его злило, что непослушание русского работника проявилось при гостях, и за это он готов был разорвать его. И хотя был он ростом ниже русского, но казался зато вдвое шире его в своем новом темно-синем пиджаке, у которого портной, следуя моде, подбил вдобавок плечи ватой. Силы у него было много, у Антти Хирвонена, который все перепробовал у себя в хозяйстве на скупой земле Севера. Несмотря на изрядную проседь в темных волосах, он мог бы сломать этого замученного лагерем русского одной рукой, если бы захотел. Но он только кричал на него и грозился, брызгая слюной сквозь желтые от табака зубы:

— Если ты сейчас не запоешь, так я тебя завтра же отправлю обратно в лагерь! Так и знай! Ээро, переведи ему.

Но Ээро не перевел. Вместо этого он сказал Хирвонену примирительно:

— Ладно уж тебе. Оставь его. Ты бы лучше одежду ему сменил.

Но тот вскричал:

— Одежду? Еще чего не хватало! Откуда я ему возьму одежду? От сына? Может, он там, на фронте стрелял в моего сына. Может, это из-за него мой сын месяц в госпитале провалялся. А теперь я буду его одежду врагу дарить? Ну уж нет! Довольно того, что я ему полотенце дал и мыла кусок, да еще бритву доверяю. В лагере он и этого не имел.

В тот вечер они забыли его накормить, занятые гостями. А он об этом не напомнил. Тем не менее на следующий день он опять с тем же старанием разделывал на дрова мертвые яблони своего хозяина. Когда я вернул-

ся перед вечером из леса, он обрубал корни очередной яблони у самого забора, отделявшего наш огород от сада Хирвонена. Забор этот был сделан из косо уложенных толстых жердей и тянулся мимо дома Марьятты и мимо дома дяди Ээро. Все владения Хирвонена охватывал этот плотный забор, даже маленький заболоченный лесок, в котором белоголовый Яло пас до сенокосной поры своих и наших коров.

Через этот забор я увидел, что русский опять работал без рубашки и что солнце изрядно нажгло за день его спину и плечи. Озорная мысль пришла мне в голову. Зачерпнув у колодца воды, я подкрался к забору и выплеснул ее на обожженную спину русского.

Он вздрогнул, выпрямился и посмотрел вокруг. Увидав меня, улыбнулся. Но я показал ему язык, и он перестал улыбаться. Не нуждался я в его улыбке. Он был моим смертельным врагом уже многие сотни лет. Это нам очень обстоятельно разъяснили в нашем старшем классе. Подняв между грядок палку, я запустил ее через забор и попал ему по ногам. Но он даже не оглянулся, продолжая выдирать из земли ствол яблони. Как раз в ту минуту моя мать вышла на двор покормить куриц. Увидав мою проделку, она укоризненно покачала головой. Если бы не мать, я запустил бы в него еще чем-нибудь.

На следующий день он опять работал там же и к вечеру уже приканчивал последнюю яблоню из тех, что росли возле нашего огорода. Напротив этого места к забору подступал наш малинник. Я постоял немного в его зарослях, глядя на то, как он отхватывает ножовкой от высохшей яблони кусок за куском. Его согнутая голая спина, обожженная солнцем, блестела от пота.

Я поискал глазами возле себя какую-нибудь палку, но вместо палки увидел нашего серого кота Мики. Где-то тут у него была, наверно, лазейка в заборе. Видя, что я смотрю на него, он мяукнул и потерся боком о мой сапог. И опять озорная мысль пришла мне в голову. Я поднял кота и бросил его через забор на голую спину русского. Тот вздрогнул. Еще бы не вздрогнуть, когда четыре когтистые лапы впились в его чувствительную от ожогов солнца кожу, оставив на ней кровавые отметины. Выпустив из рук пилу, он поймал кота, однако наказывать его не стал. Наоборот, он принялся его гладить и даже сказал что-то тихо по-русски. Мики — предательская душа — зажмурился от удовольствия, не понимая, что его

гладит враг, и в ответ на ласку русского потерся мордочкой о его впалую щеку.

Русский осторожно опустил его на землю и снова взялся за пилу, так и не повернув ко мне головы. Я обернулся и увидел Марьятту. Она стояла там, где забор в две жердины разделяли наши дворы, и, конечно, видела все. Была она в легкой блузке, заправленной в ту же тесную серую юбку. Подойдя к ней, я заметил, что она опять недовольна чем-то. В зеленых глазах у нее так и кипело что-то затаенное, готовое вот-вот прорваться. А темные волосы над ее круглым лицом, тронутые рыжим цветом, взметнулись на все стороны как бы от вихря. Держась руками за верхнюю жердь забора и выпятив нижнюю губу, она ждала моих слов. Я сказал:

— Видала, как я его, этого рюссю? Здорово, верно?

И она сказала в ответ:

— Дурак.

Сказала и убежала, мелькая загорелыми икрами. Такое непонятное творилось почему-то с ней в те дни.

Когда русский окреп, он понемногу стал выходить за пределы усадьбы Хирвонена в свободное от работы время. И тянуло его все больше к порогам, шум которых день и ночь висел над нашей маленькой деревней. Первое время он простаивал неподалеку на пустыре среди мелкой поросли ольхи, рябины и березы, ловя ухом отдаленные сердитые звуки потока. А в одно из воскресений направился прямо туда.

Выйдя из мелкого леса к реке, он долго стоял на ее крутом берегу, глядя на широкое буйство ревущих каскадов. На нем была все та же светло-бурая гимнастерка, заправленная в солдатские брюки, которые от колен книзу плотно обтягивали его длинные ноги. И те же опорки были на нем с веревочными шнурками, надетые поверх носков, сшитых им самим из белой тряпки. Ничего не прибавил Хирвонен к его одежде, кроме пары нижнего белья.

Но его, как видно, мало заботила одежда. Не о ней он думал, глядя на стремительный бег воды, с таким упорством пробивающий себе путь сквозь гранитные преграды. Наглядевшись вдоволь на ее падение и клокотание среди камней, он повернулся лицом к востоку, куда устремлялась эта вода, пройдя пороги.

Я подошел к нему сзади. Он не оглянулся. Рев порогов заглушал мои шаги. Я зашел спереди, чтобы увидеть его лицо. Он заметил меня, скосив глаза книзу, и узнал,

конечно, но тут же отвел взгляд, снова устремив его вдаль, вслед убегающему на восток потоку.

И странное дело: мне показалось, что рот его шевелился. Он, кажется, говорил что-то. Что он такое говорил и кому? Я подошел к нему ближе, заглядывая снизу в его лицо, обращенное через мою голову вдаль. Нет, он не говорил. Он пел. Я прислушался, подойдя к нему вплотную. Да, он пел что-то протяжное и не очень веселое. Меня он больше не замечал, как будто меня тут и не было. Низкие, басовитые звуки выкатывались из его горла, вливаясь в рев порогов. В этих звуках были слова — для меня непонятные. Я приложил ухо к его груди. Она вся содрогалась от распиравших его звуков. Да, он, пожалуй, действительно был когда-то певцом. Голос его гремел не менее громко, чем голоса порогов. Я отошел от него на несколько шагов и снова прислушался... Да, как ни громко орали пороги, но его голос все-таки выделялся среди их рева. Такой силы он постепенно набрался за последнее время.

Но меня он почему-то не удостаивал взглядом. Конечно, я мог бы опять запустить в него палкой или камнем и тем самым привлечь к себе его внимание. Но у меня мелькнула другая мысль. Я замахал перед ним руками и крикнул:

— Эй, ты! Посмотри, как я сейчас пороги буду переходить! Понимаешь? Перейду поперек эту реку отсюда туда! Вон в том месте! Сейчас увидишь!

Я как можно яснее показал ему руками, откуда и куда пойду. И, думая, что он следил за моими знаками и понял их, я побежал за багром, спрятанным в кустарнике. Но, подойдя с багром к тому месту, где мне надлежало войти в воду между двумя перекатами, я увидел, что русский не смотрит на меня. Он как стоял там, на выступе, обратясь лицом вслед убегающей воде, так и продолжал стоять. И он все еще пел там, наверху, расправив грудь, запрокинув назад голову и разведя в стороны руки, сжатые в кулаки. А меня он, стало быть, не видел и не слышал.

Я опять заорал, чтобы заставить его обернуться, и даже готов был броситься к нему и ткнуть в спину багром, но в это время заметил подскакивающую над ольховыми кустарниками темно-рыжую голову Марьятты. Она ехала верхом на лошади с отдаленной луговины, где та с утра паслась на привязи. Увидев нас, она попридержала лошадь, пустив ее шагом, и я отошел от русского.

А ну их к черту всех! Я кинул багор в кусты и отправился домой.

После этого я больше не ходил к порогам вслед за русским. Зато он повадился туда едва ли не каждый вечер, даже в сумерки. Но недолго пришлось ему там упражнять свое горло. Явились к нам представители военных властей и забрали у Хирвонена дарового работника, чтобы передать его русским властям.

И все пошло по-старому. Только Лайна Хирвонен стала какая-то злая. Она огрызалась в разговоре с родителями, шлепала без причины свою маленькую сестренку, пинала ногой собаку, швыряла на землю ведра и даже плакала иногда украдкой. Ей теперь самой приходилось выгонять коров на пастбище вместо Яло, которого увезли в школу-интернат за пять километров. Но и с коровами она тоже обходилась теперь не очень ласково. И было это непонятно. С чего бы ей злиться? Ненавистный русский, которого ей приходилось кормить, избавил ее от этой заботы. Он ушел с ее глаз навсегда, сказав на прощанье очень вежливо: «Киитос, Лайна». И не было у нее никакой причины для той досады, какую она проявляла.

Марьятту пока еще не увезли в школу. Из армии в отпуск приехал ее старший брат, и она осталась дома, чтобы помогать ему прессовать сено, заготовленное для продажи. Целыми днями работал у них на дворе прессовальный станок. Брат набивал форму сеном, она погоняла лошадь, стягивая сено в брикеты, а отец отсекал проволоку и складывал брикеты в скирду.

Со мной Марьятта почему-то не разговаривала последнее время, хотя я тоже не уехал в школу, ожидая из армии отца. А пока что помогал дяде Ээро на работе в лесу. С ним всегда было интересно поговорить на пути туда и обратно. Я как-то спросил:

— А что, дядя Ээро, мы теперь совсем ушли из Восточной Карелии?

И он ответил:

— А как же иначе?

— И никогда больше не попробуем ее снова забрать?

— Будем надеяться, что никогда.

— А почему?

— А потому, что с русскими лучше не ввязываться в драку. Гораздо полезнее жить с ними в мире.

— Разве они такие хорошие?

— Что значит «хорошие»? Они как и все. Хорошие, когда не дерутся.

— А этот, с простреленными ногами, который у Хирвонена работал, какой уж там хороший: на некоторых он даже смотреть не захотел, когда уходил.

Дядя Ээро усмехнулся:

— Ну, значит, насолили они ему, наверное, эти некоторые.

— Ах так...

— Именно так. Ведь у каждого человека есть своя гордость, свое достоинство. Вот у нас, например, сейчас всеобщее возмущение вызывает наглое поведение наших союзников.

— Каких союзников?

— Да немцев, конечно, с которыми ты до Урала собирался дойти. Мы предложили им тихо и мирно убраться с нашей земли, поскольку заключили с русскими перемирие. А они не желают убираться и ведут себя у нас на севере уже не как союзники, а как враги: стреляют в наших солдат, жгут наши дома. Из города Рованиеми пришлось их прямо с боем вышибать, чтобы не дать им его совсем разрушить. Вот как повернулось дело. Мы-то думали, что они у нас временные гости, а они, оказывается, готовились утвердиться в Суоми надолго как завоеватели и властители. Но какой финн согласится быть у иноземца под сапогом? С нами у них такое не выйдет. Верно я говорю?

Я кивнул и сказал: «Да, да», хотя в моей голове это трудно укладывалось. В школе я слыхал от учителя о немцах совсем другое. Но дядя Ээро, конечно, лучше знал, что, где и как. И, когда мы пришли в лес, он предупредил других лесорубов о том, что в низовьях реки появился отряд немецких мотоциклистов. Они были когда-то прикомандированы к одной нашей прифронтовой дивизии для связи, а теперь пробираются в Лапландию к своему штабу возле Хямяря-Тунтури. Дороги туда они не знают и ориентируются только по радио. Пробовали достать проводника в Мугкаярви, но никто не захотел им услуживать. Так и укатили ни с чем.

Но дядя Ээро ошибся на этот раз. Немцы не укатили. У низовья им не удалось переправиться через реку, и, продвигаясь по ее берегу вверх, они добрались до нас. Их было десятка два, а при них — мотоциклы, ручные пулеметы, автоматы и две походные радиостанции. Это все я высмотрел, сидя на заборе Хирвонена, пока они располагались рядом, на пустыре, и ели консервы с хлебом, запивая чем-то из фляг и термосов. И белобрысый

Яло, приехавший на этот воскресный день домой из школы, тоже глазел на них со своего двора. Да и сам Хирвонен, стоя на крыльце, старался понять, что им здесь было нужно.

Видела их также Марьятта, сидя на верхней жерди своего забора. Холодная погода заставила ее опять надеть зеленую материнскую кофту, а на ноги натянуть шерстяные чулки и ботинки. Помня, что она последнее время не желала со мной разговаривать, я тоже не лез к ней с разговорами и даже не смотрел на нее, оборотясь лицом к немцам.

Трое из них в коротких, теплых куртках подошли к забору недалеко от меня, и один, самый рослый и упитанный, спросил у Хирвонена по-фински, не знает ли он, где тут есть переправа через реку. И не успел Хирвонен ответить, как его сынок Яло крикнул, указывая на меня:

— А вон Рауно знает, где ее можно перейти!

Здоровенный немец, говоривший по-фински, в один миг оказался возле меня:

— Ты Рауно? А ну-ка, Рауно, едем с нами! Покажешь брод. Быстро! Нам некогда.

Он стянул меня с забора и бросил в коляску своего мотоцикла, сказав при этом по-немецки что-то двум другим. Те оседлали второй мотоцикл, и мы понеслись напрямик, без дороги, подпрыгивая на камнях и кочках и виляя среди кустарников и мелколесья. На берегу они остановились. Здоровенный немецкий финн вытянул меня из коляски и, перекрывая гул порогов, крикнул мне в ухо:

— Показывай! Быстро!

Я осмотрелся, пытаясь понять, чего они от меня хотели. Понять это было нетрудно, конечно. Они хотели, чтобы я спустился по каменистому склону берега вниз и показал место, где можно перейти реку вброд. Но я не торопился это сделать, несмотря на их нетерпение. Я просто не знал, следует мне это делать или нет. На глаза мои попался тот каменистый выступ, на котором всего неделю назад стоял русский. Все еще не зная, что делать, я двинулся к этому выступу и встал на знакомое место, обратясь лицом в ту сторону, куда убегала в пене и брызгах сердито ревущая финская вода. А они, все трое, полные нетерпения, приблизили ко мне свои лица, ожидая моих слов. Но каких слов? Не собирался я им говорить никаких слов. Слова дяди Ээро о завоевателях и властителях вспомнились мне, и я молчал.

Здоровенный немецкий финн потряс перед моим ли-

цом ладонями, словно говоря: «Ну что же ты?» Он повел вопросительно руками сперва в одну сторону, потом в другую, как бы спрашивая: «Где этот переход через реку? Выше или ниже? Говори скорей! Не тяни! Некогда нам!» Но я стоял, как стоял, ничего ему не отвечая. Так русский стоял передо мной в то время, когда я пытался понять, о чем он поет, и лез к нему и тормошил его, а он меня даже не видел и пел что-то свое, русское, глядя на свой восток.

Немецкий финн опять что-то прокричал мне в лицо сердитое, но тут его отстранил другой немец — должно быть, офицер, судя по фуражке с кокардой. Засунув руку за отвороты куртки, он достал бумажник и вынул оттуда несколько финских кредиток по 25 марок каждая. Деньги были совсем новенькие. Он поднес их к моему лицу и выразительно кивнул вбок, в направлении реки.

Но я теперь уже твердо знал, что ничего для них не сделаю. Слова дяди Ээро крепко сидели в моей голове. Я стоял, откинув назад голову и как бы не видя ни немца, ни его денег. Правда, это у меня плохо получалось, потому что он был на голову выше меня. Это легко было делать русскому перед такой козявкой, как я. И все-таки я силился принять такую осанку, будто взираю на этого немца сверху вниз. А он, видя мое упрямство, снова аккуратно упрятал в бумажник финские кредитки, а бумажник засунул в карман. Освободив таким образом руки, он хлестнул меня слева и справа по щекам.

Тут у меня все окончательно стало на свое место. Я уже не задумывался над тем, что и как мне делать. Все делалось внутри меня само собой. Я запел. Под моими ногами гневно ревела, ударяясь о камни, бурливая вода. А я стоял над ней, обратясь лицом в ту сторону, куда она убегала, и пел нашу северную финскую песню:

Есть на грани Севера суровая земля!
Это поле давних сражений...

Немецкий офицер отступил от меня в сторону, уступая место немецкому финну. А тот с проклятьем сгреб меня за отвороты пиджака и так тряхнул, что песня вмиг пресеклась у меня в горле. Но я сразу же запел новую:

Я в сердце страны родился
И вырос в темном бору...

Тогда он хватил меня кулаком по лицу, и я покатился на землю. Хорошо, что хватил он меня правым кулаком, а не левым. От его левого кулака я полетел бы прямо в кипящий водоворот. И едва я упал, как надо мной ока-

залась Марьятта. Откуда она тут взялась? И она крикнула мне в ухо:

— Рауно! А ты перебеги! Нарочно перебеги реку! Тебе это ничего не стоит, а им все равно за тобой не пройти.

Разъяренный немецкий финн снова пытался меня схватить. Но с какой бы стороны ни протягивалась ко мне его рука, она неизменно натыкалась на зеленую кофточку Марьятты. И когда он, уже совсем рассвирепев, схватил ее за эту кофточку и приподнял, чтобы отбросить в сторону, перед ним появился ее брат с вилами в руках.

Он вез из отдаленного сарая к себе на двор воз сена для прессовки, прихватив попутно от леса дядю Ээро. Тот лежал на возу и с высоты воза увидел, через кустарник, что у реки творится неладное.

При виде финского солдата, вооруженного вилами, второй мотоциклист снял с плеча автомат, а офицер потянулся рукой к пистолету. Правда, Калле отвел руку с вилами немного назад, выслушивая объяснения немецкого финна. Но это выглядело так, будто он замахнулся, чтобы удар вилами, нацеленный в живот немецкого финна, получился сильнее. А тут вдобавок подоспел огромный и грузный дядя Ээро со своим неизменным топором на длинной рукояти. И это еще больше насторожило немцев. Но топор дяди Ээро вел себя мирно. Поставив его перед собой обухом к земле, дядя Ээро спокойно выслушал то, что ему кричал на ухо Калле, а потом указал офицеру направление вверх по реке и крикнул ему на ухо по-немецки примерно такое:

— Там, в трех километрах отсюда, у следующей деревни есть мост через эту речку.

И на этом все кончилось. Офицер выкрикнул какую-то команду, и они укатили на своих мотоциклах назад. Им некогда было с нами возиться. Они торопились. И они сразу же снялись с места, оставив нашу маленькую деревню в покое.

Это все очень давнее. Теперь и я не тот, и Марьятта не та. И дети у нас с ней не такие, какими тогда были мы. И он тоже, конечно, не тот. Но где он? Разве мыслимо найти его здесь, на ваших русских просторах? И все-таки хотелось бы его увидеть. И чтобы он тоже взглянул на меня. И может быть, улыбнулся бы мне, как тогда. А я бы ему сказал... Но что мог бы я ему сказать? Что я тоже пел там потом? А зачем ему это? Но я сказал бы ему, что никогда не кинет мой сын палкой в его сына. В этом я мог бы заверить его со всей твердостью.

ОЛЕГ ПОЧТЕННЫЙ

«Здесь начиналась Дорога жизни...»



ВИКТОР МАКСИМОВ

Фамилия

И куда б мы ни заехали —
в каждой веси на пути,
в Свебодзине и в Сулехуве,—
я хотел ее найти.
Среди тех — по камню золотом,
негасимых в дождь и снег,
среди тех — резцом и молотом
в память врубленных навек,
бывших молниями-громами,
превращенных в тишину,
и приметную и скромную
я искал ее одну.
Где столбец на «К» был высечен,
там искал среди других...
Ковалевых было — тысячи,
Комаровых тоже тысячи,
Кочерыгин был и Кочетов,—
не нашел я Кочерги...
Мне затею эту подали
письма друга одного:
где-то здесь, на бывшем Одере,
пал в бою отец его.
Кашу ел отец солдатскую,
на плече винтовку нес.
Где-то здесь в могилу братскую
поховал его обоз...
Он с улыбкою нетающей
канул в местные снега.

Сын остался на Полтавщине —
мой товарищ, Кочерга.
...Рос в отца крестьянской силищей,
рос — и вырос наконец
Кочерга Василь Васильевич
(тоже Вася, как отец!).

И, примите во внимание,
вырос аж до старшины!..

Мы служили с ним в Германии,
дети той, большой войны.
Вместе пели песни бодрые —
он басил, я дребезжал —
рядом с нынешнею Одрою,
где отец его лежал.
Звал Василь себя по отчеству,
гнул частушки под гармонь —
смейся, коль смеяться хочется,
но фамилию не тронь!..
У стола со строгой скатертью
не для красного словца
клялся он, вступая в партию,
быть похожим на отца,
украинкою рожденного
на Полтавщине, в селе,
сталью крупповской сраженного,
в польской спящего земле,
честно голову сложившего
на виду Европы всей,
ни себя не посрамившего,
ни фамилии своей!..

И куда б мы ни заехали —
в каждой веси на пути,
в Свебодзине и в Сулехуве,—
я хотел ее найти.
Думал я, не будет сложностей
с ней, чудной, среди других...
Куприных я встретил множество,
Козаковых — тоже множество,
Кочемасов был и Курочкин,—
не нашел я Кочерги...
Но вы знаете, доныне я
не забыл задумки той,
стал он видеться мне — в инее,
камень с нашею звездой.
Нет покоя мне теперь уже,
пока сам, дыханьем тих,
не смахну рукою бережной
иней с букв тех золотых!

ИВАН ВИНОГРАДОВ

Человек—для жизни

Из повести «Немая атака»

Примерно с такой программой собрались в сорок третьем году в Ленинграде, в Доме офицеров, десятка три военных людей. В наших командировках было написано: «...направляется на совещание молодых писателей-фронтовиков». Многие приехали прямо с передовой. У многих вся творческая биография состояла из названий двух-трех опубликованных во фронтовой печати рассказов или стихотворений. Но это не сильно смущало делегатов. Считалось, что все у нас впереди. Считалось, что мы, военное поколение, еще скажем свое слово — дайте только срок. (Теперь, много лет спустя, я могу лишь добавить к этому, что ни одно поколение ничего не должно откладывать на потом и не просить сроку.)

Как добрые молодые дикари, ходили мы по богатым гостиным Дома офицеров, дивились электрическому свету и ковровым дорожкам, таращили глаза на картины и люстры, как-нибудь незаметно ухитрялись погладить рукой бархатную обивку кресел. Но, разумеется, и виду не подавали, что чему-то удивляемся.

— Ничего хоромы,— скажет кто-нибудь из будущих великих и конечно же не будет долго раздумывать, куда ступить своими коваными сапожищами — на ковер или на паркет.

Потом в курилке он будет говорить о литературе. И если вам повезет, если вы попадете к разгару дискуссии, то сможете услышать красивые слова: «певцы, атак», «трубадуры солдатской дружбы», «летописцы войны»...

— И все-таки, друзья мои, даже такая война — лишь эпизод в жизни народа.

Это уже началось совещание, и это говорит Николай Семенович Тихонов, руководитель совещания.

Я сразу весь насторожился... и с ходу воспротивился его словам. Они мне показались почти кощунственными. Он говорит «эпизод», а перед моими глазами вдруг возни-

кают наши траншеи под Красным Бором, которые два дня назад засыпала, заровняла немецкая артиллерия. Из-под земли тянется чья-то рука... Я вижу, как по дну колпинского противотанкового рва ползет солдат и за ним тащится, держась только на сухожилиях, как ботинок на шнурке, оторванная ступня. «Где тут санчасть, братцы? Ногу оторвало, понимаешь ли...»— говорит он почти ровным голосом, и от этого спокойствия ледяной холод бежит по спине. Еще я слышу голоса: кричат люди на горящем катере, который плывет вниз по Неве от Ивановского пятачка. Катер горит с кормы, на нем рвутся патроны. Люди повисли на бортах. Огонь отжимает их к носу. Вот кто-то падает в воду, и крик его тонет в сизой Неве...

Как же так, Николай Семенович? Разве все это и вообще вся наша жизнь вот здесь, в блокаде, о которой вы сами так мужественно пишете,— разве это можно считать эпизодом?

А Николай Семенович спокойно продолжает:

— Человек рождается для жизни, а не для войны. В его сердце, в крови, во всем существе заложена неистощимая страсть к созиданию, к труду — не к разрушению. Все, что он делает,— все во имя жизни. И воюет он тоже с думой о мире. Не так-то уж хочется ему убивать. Вы только прислушайтесь, о чем говорят в минуту затишья ваши товарищи по окопу.

Я пробую прислушаться. И вначале слышу совсем не то, о чем ведет речь наш руководитель. В моих ушах звучит рассказ разведчика Афанасия Булкина:

— Подползли мы к немецкой проволоке — тихо. Ползем дальше — там блиндаж, и народу в нем, судя по голосам, немало. Ну, д-дали и мы им! Все гранаты, что с собой были, туда бросили. Визг там поднялся, как все равно в женской бане...

Я перебрасываюсь в другое место и в другой день. Вижу и слышу небритого краснощекого украинца Гринько. Он жалеет разрушенный Днепрогэс:

— Така ж красива була сыла! И вот нэма той сылы.

— Восстановим! — говорит ему ленинградец Кустов.— Опять поедем, как в первый раз, всем миром и сделаем новый Днепрогэс, не хуже старого. Главное — немца добить, а там мы — эх как развернемся!

И — о том же — Тихонов:

— Рано или поздно война окончится. Настанет мир, и мы с вами снова будем строить, пахать, писать сти-

хи — словом, заниматься всем тем, ради чего живет человек на земле. Сегодняшним тяжелым трудом мы приближаем это время... А теперь позвольте мне сразу перейти к разбору ваших работ.

Он взял со стола не слишком большую пачку наших рукописей, то сшитых нитками, то сколотых булавками, раскрыл самую верхнюю.

— Один из товарищей так начал свой рассказ: «Этот человек был рожден для войны...» Далее автор не без знания дела описывает, как замечательно умеет сапер Никонов разрушать мосты и всякие другие сооружения, с каким удовольствием идет он, бывший строитель, на такие дела... Позвольте, друзья мои, не поверить этому!..

«Так вот оно в чем дело!» — наконец-то догадался я. И мне становится почти весело.

Я еще сопротивлялся и что-то отстаивал, чего-то не принимал. Формула «война — эпизод» еще не устраивала меня. Но я уже знал, что никогда больше не напишу: «Он был рожден для войны».

УТРО НЕВСКОЙ ДУБРОВКИ

В первый и во второй годы войны здесь так гудела земля, что мы слышали ее жалобы из-под самого Колпина, за многие-многие километры. Довольно долго действовала тут переправа, несохранившийся памятник солдатского мужества. По ней шли и шли наши войска на пятачок за Неву... И почти никто не припомнит, чтобы солдаты возвращались обратно. Разве что ранеными.

Весной, во время ледохода, пятачок оказался отрезанным от своих. Несколько дней там умирали в неравных боях стрелковые роты.

А теперь, в январе сорок четвертого, здесь стоит какая-то невоенная тишина. В рождественском лесу между пустыми солдатскими землянками — расчищенные дорожки. Кое-где остались даже печки и рядом с ними — небольшой запасец духмяных сосновых дров. С елки сыплется тонко просеянный снежок, и тебе так и хочется посмотреть: не белка ли там прыгает?

Ходить на задания было легко и удобно: через лес к траншеям (они тянулись по-над берегом, сухие, песчаные, обжитые,— прямо дом родной!), а там по протоптанным спускам — на лед. Уже во вторую ночь мы поставили четырнадцать тысяч противопехотных мин — настоящий рекорд! Поставили и вернулись в теплые землянки, под

рождественские ели, в лесную тишину. Вернулись без единого раненого.

14 января солдатский телеграф принес весть о начале нашего большого наступления с «малой», ораниенбаумской земли. Навострив уши, мы и впрямь уловили, расслышали в залесной ленинградской дали знакомое гудение боя. На следующий день двинулись наши и от Пулкова. Двинулись на юг. И нам сразу стал ясен смысл сплошного минирования невского льда. В случае удачи и глубокого прорыва наших войск над всей мгинской группировкой немцев нависла бы угроза окружения. Куда же бросятся они, если попадут в котел? Могут и сюда, на север, на соединение с финнами.

Тихие трудовые ночи превратились в боевые. Мы стали усиливать свое саперное боевое охранение, вынося на лед даже ручные пулеметы. Каждая наша мина становилась часовым, заменяющим солдата, который ушел, по-видимому, туда (в здешних траншеях совсем не густо осталось народу).

Проходила ночь за ночью. И вот однажды утром — здесь никак не обойдешься без слова «вдруг» — ворвался в нашу теплую и сонную землянку ошалелый человек. Оттолкнул дневального, затряс первого попавшегося под руку, зашумел на весь лес:

— Что вы тут спите, трам-тара-рам! Немец ушел! Ушел, фриц проклятый, трам-тара-рам!

Мы повскакали со своих сосновых нар, почему-то сразу поверив в эту невероятную весть,— и на берег. Верно: люди ходят в открытую, и никто по ним не стреляет. Некоторые подбежали уже к самым нашим минам.

— Куда вы лезете? — кричат им с берега.— Жизнь надоела?

Но радость имеет крылья — это уж точно. Несколько человек прошли через минное поле и не подорвались. Мы бегом туда... и не сразу, не без труда отыскиваем свои мины. Одна из них стояла прямо на той тропинке, по которой прошли несколько бойцов. Все до единого, не видя ее, перешагнули через нее.

Потом мы шагаем по белому, чистому, еще вчера такому недоступному полотну Невы. Нам жутко и радостно. А уж просторно-то! Бежать хочется. И мы прибавляем ходу. Идем веселые, беззаботные, перекликаемся на ходу. Только наши автоматы непроизвольно, по привычке, нацеливаются на противоположный берег, все время таращат туда свои черные глазки.

Под самым берегом мы проверяем, нет ли немецких мин, потом видим проложенную немцами тропинку (они здесь ходили зачем-то к Неве — может быть, за водой). Лезем по ней вверх. Отбрасываем в сторону рогатку. Поднимаемся на самую высокую точку — на бруствер передней — и пустой! — немецкой траншеи.

— Елки ваши зеленые! — слышу я рядом с собой удивленно-восторженное.

Это капитан Брещинский, наш замкомбата, капитан Елки Зеленые, как называют его в батальоне. Он маленький, тощий, но, возвысившись над «немецким» берегом, кажется рослым, красивым. Он — как Суворов на каком-то отвоеванном редуте. И несильный голос его звучит басовито-мужественно:

— Елки ваши зеленые!

А я ничего не могу сказать. Я только могу смотреть. И как-то не могу наглядеться на эту заневскую даль, так широко открывшуюся перед нами, на дорогу, уходящую и зовущую в эту даль, на лесок, темнеющий за дорогой. Я вдруг становлюсь малым ребенком, который все видит, всему дивится, но ничего не может сказать, потому что еще не знает слов.

Мы прыгаем через траншеи, бежим по этой пропахшей чужим духом, но пронзительно родной земле, исполосованной рубцами окопов, дышащей русским морозцем. Бежим и радуемся той легкости, с которой можно сегодня «отбирать» у немца землю. Здесь теперь как в толстовской сказке: сколько обежишь за день — все твое! Так быстрей же вперед!

Выбегаем запыхавшись на дорогу. Она хорошо уезжена, по ней совсем недавно прошли машины и повозки. На снегу, кажется, еще не остыли следы врага. И наши пехотинцы начинают организовываться для преследования. Их командир становится посреди дороги, за ним в затылок — сразу четверо в ряд, еще четверо, еще и еще по четыре человека. Нарастает, накапливается колонна, Вперед быстрым шагом уходит разведка с радиостанцией.

— До встречи в Берлине, саперы! — кричит кто-то из колонны.

— До встречи, елки ваши зеленые!

Они уходят, и остается пустая печальная земля.

Ни песен, ни жалоб, ни освобожденных людей...

Вот когда мне захотелось говорить, кричать, звать. Теперь уже нашлись бы слова, но перехватило горло...

В этот же день мы уехали строить переправу через реку Тосну, которую нам не удалось навести ни осенью сорок первого, ни летом сорок второго.

Начинался наш обратный, наш трудный, наш радостный путь от Ленинграда.

ЛИСТОВКИ

Эльбинг сопротивлялся отчаянно и, может быть, отважно, хотя мы и не применяем этого слова, когда говорим о врагах. Немцев можно понять: падет Эльбинг — будет отрезана вся их восточно-прусская группировка, вместе с далеким отсюда Кенигсбергом.

Город уже несколько дней горит и дымит; по ночам над ним тускло тлеет постоянное неколыхающееся зарево. Мы остановились в трех километрах от него, на хуторе, и днем ходим в полки за свежими заметками, а вечером смотрим на зарево и слушаем, как там перекатывается огромная бочка, наполненная камнями. Гром и гул не стихают ни на час. Часто бьет по городу немецкая корабельная артиллерия.

Сегодня утро 5 февраля. Мы идем с Григорием Ивановичем Мельниковым в штурмующие город батальоны за новостями для газеты и говорим о том, как все это уже надоело и как хорошо бы заняться сейчас какой-нибудь мирной работой. Хотя бы и журналистикой, но — мирной.

Нам встречаются знакомые и незнакомые — чаще незнакомые — люди и говорят разное: одни — что на окраинах ведется «партизанская война» мелких групп, другие вообще не советуют идти — все там пока что непонятно и опасно. Рассказывают, что у нас неважно с подвозом боеприпасов. Однако над нашими головами в спокойном, почти парадном строю проходят одна за другой шестерки и восьмерки наших штурмовиков — и от них передается на землю хорошая уверенность. Они-то, во всяком случае, летят с полным боезапасом. У них есть чем воевать...

Вот они по-птичьи наклоняют свои головы, словно собираясь кого-то клюнуть, и впрямь начинают «клевать» — выпускают из-под крыльев эрэсы. Продолжая снижаться, бьют с нарастающей злостью из пулеметов. Это страшно. Пожалуй, страшнее, чем было нам под Ленинградом осенью сорок первого года, когда «мессер-

шмитты» гонялись за одиночками. Страшнее потому, что у немцев не было и нет эрэсов.

Одна восьмерка отштурмовалась, и на смену ей подошла другая. Вторую сменила третья...

— Психологический этюд,— говорит Григорий Иванович, соображая что-то про себя. Может быть, он уже придумал заголовок и начинает сочинять в голове очередную зарисовку?

А погода стоит солнечная, безморозная, ласковая, нас даже размаривает от этого ранневесеннего тепла и сияния. Идти туда, в пекло, не хочется, а вернуться невозможно. Вот мы и топаем по разбитой дороге, то разговаривая, то надолго умолкая.

В штурмовке получился перерыв, и стало вроде бы совсем тихо. Стали слышны звуки простого наземного боя. Над дорогой же появилась пара «мессершмиттов». Откуда они взялись, где обретались, пока наши штурмовики работали,— непонятно. Скорей всего, выжидали где-нибудь на малых высотах.

Сейчас они идут на порядочной высоте, и с земли, да еще после стремительных заходов наших штурмовиков, кажется, что они летят очень медленно. Не проявляют никаких агрессивных намерений... Впрочем, начинают что-то сбрасывать. Но не бомбы.

Мы остановились, приглядываемся. Немцы бросали на нас листовки...

Помню, под Ленинградом у нас существовал закон: не поднимать немецких листовок. Не замечать их. Втаптывать в грязь или в снег — и не видеть, хотя любопытство у нас тогда было острее, чем когда-либо... Теперь же мы остановились и откровенно поджидали, пока облачко цветных — зеленых и красных — листовок приземлится. Было просто забавно: о чем они могут теперь писать? К чему призывать?

— Уж не предлагают ли они нам с тобой сдаться в плен? — усмехнулся Григорий Иванович.

— Они могут!

И действительно: в упавшей на дорогу листовке советским солдатам предлагалось переходить на немецкую сторону и вступать в «русскую освободительную армию» генерала Власова. На сей раз — о чудо! — немецкие пропагандисты нашли даже какие-то хвалебно-льстивые слова о России, о русском народе, его боевых качествах.

— Вот мы и сподобились,— посмеялся Григорий Иванович, бросая скомканную листовку на дорогу.

Мы пошли дальше, посмеиваясь и слегка злорадствуя: фашист, мол, и есть фашист. Его уже просто-напросто добивают, а он, как заведенный, все еще пытается что-то предлагать, чем-то соблазнять победителя, надеясь хоть у кого-то посеять сомнения, а может, и отколоть от Советской власти. И это накануне своего полного поражения!

Мы поочередно изрекали что-нибудь насчет нелепых стараний фашистских пропагандистов и от души веселились. И это была счастливая пора, потому что нам тогда и в голову не приходило, что какие-то «родственники» этих пропагандистов будут заниматься тем же самым и двадцать и тридцать лет спустя.

В НОЧЬ НА ДЕВЯТОЕ

Мы сидели в эту ночь перед своим стареньким радиоприемником, который назывался, помнится, так: 6-ПБ-11. Он служил газете «На разгром врага» чуть ли не с самого начала войны и был настоящим дивизионным ветераном. В 1944 году между Ленинградом и Любанью немцы разбомбили штабной эшелон. Тогда у редакции не осталось ни печатной машины, ни наборных касс, а этот радиоприемник нашли в высокой густой траве под откосом. Попробовали включить. Раздался привычный щелчок, потом послышалось нарастающее шуршание в эфире и наконец — однообразный, педантичной-деловой голос знакомого всем газетчикам диктора:

— Новое, новое... От Советского информбюро...

Всю войну приемник был настроен на станцию, которая передавала для газет свежие новости. Поэтому и после контузии он продолжал свою привычную службу. Его опять взяли с собой.

В Германии мы встретили отличные приемники — разные там сверкающие полировкой «филипсы», настоящие радиомашины. Кое-кому захотелось «перейти на новую технику», и прежде всего нашему секретарю, любившему все блестящее. Но редактор оставался тверд и непреклонен, как и подобает редактору. Он ни за что не хотел расстаться с приемником-ветераном. И ветеран неутомимо выдавал нам «новое-новое» до самой победы, в то время как великолепные «филипсы» смущенно молчали — в городах не было электроэнергии.

В ту ночь весь мир уже говорил о победе, но Москва почему-то еще молчала. А мы только Москве беспреко-

словно верили и только ее сообщения ждали. Становилось даже как-то тревожно: все говорят, а мы молчим. Что это может означать? Уж не мудрят ли чего-нибудь наши союзнички?

Но вот сообщила о полной победе и Москва. И что тут началось! Мы обнимались, прыгали, едва сдерживая слезы,— и все это молча, без слов, чтобы не помешать приему по радио: секретарь записывал в это время приказ Верховного Главнокомандующего для газеты. Я не знаю, существуют ли еще у каких-нибудь племен такие танцы: ошалевшие от радости глаза, беззвучно открытые рты, самые невероятные гримасы и позы — и ни единого возгласа.

Потом у нас началась лихорадочная работа. Наборщики, продолжая слегка приплясывать, набирали приказ, наш новый редактор, Тимофей Тимофеевич Шпирный, сам менял в печатной машине краску для красного аншлага — «Победа, товарищи, победа!» И очень активно мешал работе «толкач» из политотдела, говоривший при этом вполне справедливые слова:

— Войска ждут газету. Как вы не понимаете этого?.. Быстрее давайте! Ну что тут вам мешает?

— Не что, а кто! — разозлился наконец редактор.

После полуночи, сдав полосы печатнику Лене Завгороднему, мы снова подсели к радиоприемнику. Секретарь лихо крутил ручку настройки, и мы слышали то английскую, то французскую, то немецкую речь. Мы очень мало, а если честно сказать, то почти ничего не понимали из этих передач, однако слушали с наслаждением. И за это дикторы радовали нас время от времени общепонятными и восхитительными словами: «Виктория»... «Совьетик»... «Москау»...

Услышав такое, мы с достоинством усмехались: то-то же! Не забывайте, господа! «Совьетик», «Москау»...

И опять крутил секретарь ручку, и опять мы слушали то свою, то чужую речь о великой победе, и опять принимались исполнять пляску племени победителей.

Ближе к рассвету в эфире осталась одна музыка — марши, песни, симфонии, фокстроты. Откуда-то пробивались могучие ритмы Чайковского, а рядом работала станция, передававшая ночную, баюкающую и мяукающую музыку, и у нас как-то не было возражений против такого соседства. Затем в нашу накуренную комнату врывается чистый и свежий, как утро на взморье, женский го-

лос. Он ликует и страдает на одном-единственном звуке «а-а-а-а» — и, боже, как много рассказывает! Как плачет о павших! Как славит победивших! Как зовет домой...

Эфир кипел музыкой, в мире начинался огромный, вселенский праздник, какого, я думаю, до того дня не знавало человечество. Я думаю, не бывало еще в мире такого праздника, который справляло бы сразу столько людей. Ведь даже немцы, которые стояли в этот день перед всем миром побитые и виноватые,— втайне, в глубине души, радовались. У них могли теперь появиться надежды. Они были еще совсем юные, тихие и робкие, легкоуязвимые, но зато это были человеческие надежды.

Мир пел, играл, плясал и никак не хотел ложиться спать. И за нашими окнами тоже не спали. Солдаты пускали в небо ракеты, стреляли вверх трассирующими пулями, кричали «ура!», смеялись. Зенитчики неожиданно напугали всех своими залпами. Неужели налет авиации? Но небо было чистым. Отныне и надолго. Зенитчики просто салютовали Победе.

Не могли усидеть дома и жители этого польского с немецким названием городка — Картхауз. Поляки угощали наших бойцов из каких-то заветных бутылочек, что-то кричали, пытались подпевать русским песням и притоптывали в такт сумбурной музыке многолюдья, дудели в какие-то зычные трубы.

Все смешалось в радости.

Все ритмы и мелодии мира переплелись между собой.

Все языки и наречия слились в несколько прекрасных слов:

— Победа!

— Виктория!

— Совьетик!

— Москва!

Ну а я от себя добавлял сюда еще и «Ленинград». Тоже очень хорошее слово.

ЗДРАВСТВУЙ, МИР!

Война и впрямь кончилась.

Когда мы отправились спозаранку в дорогу, все вокруг нас пребывало уже в совершенно новом, пока еще непривычном и немного неестественном состоянии. Раньше, когда бы ни выехал, всегда услышишь отдаленное или не очень отдаленое погромыхивание, над дорогой нет-нет да пролетят самолеты, а им вдогонку раздраженно прокудахтают зенитки; впереди, над горизонтом,

увидишь дымок или несколько дымков, ну а на самой дороге и днем и ночью нескончаемое движение: машины, пушки, танки, пехота, беженцы. Сегодня же — тишина. Всеобщий покой. Ни на земле, ни в небе — ни выстрела, ни дымка. Все отгремело и отгорело. Дорога пустая до самого горизонта, такого же чистого, как в день сотворения мира, и только правая сторона асфальта отличается от левой: справа он сильно потемнел и даже слегка прогнулся, вдавился в землю под тяжестью тех великих грузов, что прокатились безвозвратно к фронту.

Сегодня отдыхали дороги, отдыхал весь мир.

Люди, столько лет подряд не спавшие с безоглядным спокойствием, сегодня, пожалуй, не проснутся до полудня. А может, и того позже... А может, и раньше обычного встанут. Кто знает? Ведь ни у кого нет подобного опыта. Никто еще не просыпался в такое, как сегодняшнее, утро. Победы такой еще не бывало...

Впереди город Штольц. Знаменит ли он чем-нибудь сам по себе, я не слышал, но построен оригинально — в долине между холмами. Откуда ни подойдешь к нему, откуда ни подъедешь — сразу видишь город весь как на ладони, весь открытый, чистенький, будто свеженаписанный маслом.

В России такого не встретишь — русским любезнее широкие горизонты. Обязательно взобрались бы на холмы. Хотя бы одним крылом города. Хотя бы церквушкой или часовенкой.

А тут все иное, свое, устоявшееся, со своей древней, может быть от средних веков сохранившейся густо-красной черепицей, с острыми стрелками кирх, проткнувшими плотное тело города и в нем застрявшими, с густой зеленью садов, тоже как будто давней, перенесенной со старых полотен. А вот над нею и из нее произросло уже нечто совершенно новое, свежее, майское,— алый лепесток флага. Отметка Победы.

Нашей дивизии в Штольце не оказалось, и мы, ни на минуту не задерживаясь, привычно торопясь, едем дальше, как будто впереди все еще что-то совершается и нам надо поспеть, нельзя прозевать.

В последние две-три недели дивизия несколько отстала от общей большой войны. Пройдя с тяжелыми боями через древний красивый Гданьск, наши полки достигли его восточной окраины, потом еще дальше продвинулись на восток, к Висле. Вся дельта Вислы оказалась затопленной, и где-то там, за водами, спряталась недобитая

группировка немецких войск. Вряд ли она была большой и сильной, однако и наши полки изрядно поредели, устали: Гданьск давался очень трудно. И вот началась «война на водах». Пехота сидела на островках и в полузатопленных деревнях, к которым подходили незатопленные, высоко поднятые дороги. Противотанковые пушки стояли прямо на дорогах, а пушкари сидели на обочинах, за деревьями и проклинали все на свете. Всюду сырость. Обсушиться негде. Стоячая вода начинала загнивать. А тут еще часть наших сил сняли, отправив куда-то севернее Берлина, и немцы, видимо, прознав об этом, заметно активизировались. У них оказалось много снарядов, и пехоты было теперь больше, чем у нас. Участились контратаки. В одном месте наши попали даже в окружение; выходили по воде и вышли далеко не все — погиб друг нашей редакции, полковой политработник Кардаш.

Стояли серые-серые дни.

Временами, правда, проглядывало солнце, и тогда все вокруг мгновенно преображалось, весь этот край становился ярко-серебряным. Солнечный свет разбивался об алмазную поверхность широкой неподвижной воды, дробился на мелкие кусочки, колюче искрился, плясал на воде бликами, лез в глаза отовсюду: сверху, снизу, с боков и спереди. От солнца начинали светиться молодой зеленью немногие островки. От чистого неба в душах людей тоже возникала какая-то голубиная сизая синь... Но ненадолго! Спрячется солнце — и возвращается прежнее. Большая тяжелая тоска. Серая стоячая вода.

Все вмиг переменилось, когда получили приказ спешно двинуться на запад, вдоль побережья Балтийского моря, севернее уже взятого нашими Берлина. Редакционный шофер Бойцов, раненный под Гданьском в ногу, веселее заковылял вокруг своего трофейного «круппа» и конечно же не собирался уступать руль кому-либо другому.

— Одна-то нога у меня совсем здоровая! — говорил он.

И вот мы поехали.

Самая памятная остановка была в городе Картхаузе, который поляки именовали уже по-своему — Картузы. На многих зданиях новые, польские вывески: «Воеводство», «Комитет Польской партии роботничей в Картузах» и даже «Колониальварен» — магазинчики. Торговля, пока частная, разворачивается стремительно; не было только табаку. Не было его и у нас.

По городу с достоинством — с винтовкой за спиной и с паненкой под руку — расхаживали польские жолнеры. Нам было завидно, мы пытались острить, но жизнь есть жизнь. Эти парни уже дома, главная историческая задача для них решена. У нас — другое. Нам еще надо кое-что дорешить и здесь, на Западе, и там, за спиной, на Дальнем Востоке...

К нашей большой, очень заметной машине подошла маленькая девушка с яркой, будто нарочно прорисованной сединой в черных как смоль волосах.

— Страстуй,— произнесла она как-то неуверенно.

Мы стали объясняться на том международном славянско-немецком языке, который теперь в ходу, и узнали, что девушка была в лагере, освобождена русскими и хотела бы поехать в Россию, чтобы там работать. Мы сказали, что ей надо возвращаться домой, а прежде всего обратиться к коменданту. Она сказала, что понимает это,— «ферштеен, ферштеен». Мы спрашиваем, что же ей нужно от нас. Она говорит уже совсем понятно:

— Немножко хлеба.

У нас в машине хлеба не оказалось, и я сбегал к соседям-почтовикам, забрал у них все, что было — полторы буханки,— и отдал девушке. Она буквально задохнулась:

— Ой! Ой!.. Спасибо!

Уходила, беспрерывно оглядываясь, и каждый раз, оглянувшись, кланялась.

Потом мимо нас прошагал целый взвод молодых разноплеменных полонянок в брючках и с узелками. Седая девушка показывала своим товаркам на меня, и они поворачивались, как по команде «равняйсь!», что-то кричали и улыбались.

Сколько улыбок, сколько радости!

Это было в канун Дня Победы...

Но что это я все о вчерашнем, все о минувшем?! Ведь сегодняшнее лучше всего. Сегодня нет войны — и лучше этого не бывает на земле ничего. «Здравствуй, мир!» — полагается кричать сегодня во все горло, как кричалось вчера. Победа и мир!..

Но сегодня почему-то уже не получается, и эти громкие слова произносятся лишь в тишине души: «Здравствуй... мир...»

И снова что-то вспоминается вчерашнее, вплетаясь в сегодняшнюю радость, и, может быть, только поэтому она — радость.

Не спугнуть бы ее лишней громкостью...

ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ

Душа человеческая

На нем и волос не осталось,
понятие цвета лица
сменила сплошная усталость —
предвестник земного конца.
Свело ревматически руки,
беззуб, пустотел его рот.
Ну, что старику до науки,
что-де осчастливит народ...
Зачем ему атомный поезд,
а также — полет на Луну,
когда он в могиле по пояс,
когда он у смерти в плену?
Но дед граблевидной рукою
внучонка ведет на проспект,
но дед перед вечным покоем
следит за полетом ракет,
но дед посещает музеи,
и дед без претензии рад,
что внук его зоркий глазеет,
что хрупает внук виноград,
что кто-то с улыбкой до уха
несет для кого-то цветы,
что волосы красит старуха,
желая достичь красоты,
что яблок базарятся груды,
что пляшут в Неве корабли,
что будут другие — но будут! —
дышать кислородом Земли.

ОЛЕГ ПОЧТЕННЫЙ

«Зимний Ленинград»



ИЛЬЯ МИКСОН

Красные сны

Путевой очерк

В красном сне,
в красном сне,
в красном сне бегут
солдаты,
те, с которыми когда-то
был убит я на войне...

Григорий Поженян

Мореходы не любят Северного моря. Каверзное, агрессивное, опасное: банки, отмели, узкости, туманы, штормы.

Темной февральской ночью в самолете, который переносил меня через всю страну, из Ленинграда во Владивосток, к теплоходу «Ватутино», я читал о Немецком море, как называли его во времена Станюковича, в рассказе «Гибель «Ястреба»:

«Довольно даже подлое это море, вашскобродие! Волна какая-то шальная... И видал я, по своему матросскому званию, всякие моря и окияны, а хуже этого нет морей...».

Нам повезло: в последний день мая, когда теплоход «Ватутино» подходил к западногерманскому порту Бремерхафен, было тихо и спокойно. Низкая облачность придавила серо-зеленое море, и оно смиренно расступалось под форштевнем.

Справа и слева по курсу — всюду на песчаных островках и мелях торчали предостерегающие маяки. Башни из темно-бордового кирпича, будки на стальных сваях, похожие на сторожевые вышки с прожекторами и пулеметами.

Мы шли по фарватеру Везера под прицелом маяков, будто под конвоем.

Наверное, я воспринимал все по-солдатски потому, что в последний раз был в Германии фронтовиком. Но выражение лица вахтенного матроса Михаила Яковлева тоже было не таким, как на подходе к Сиднею или Флиссингену, хотя Миша не мог помнить войну. А я о войне ничего не могу забыть. Память войны высечена в сердце,

как в граните. Но это живая память: с муками, любовью, тревогами. Она срабатывает миной замедленного действия в самых неожиданных местах далеко от бывших окопов. Оживает на традиционных сборах однополчан, опаляет на чужих континентах среди друзей и врагов. Старых и новых. Две трети человечества родилось после сорок пятого. А мир сейчас неспокоен и зыбок. И предать забвению прошлое — предать будущее.

За плечами людского рода — пятнадцать тысяч войн. Только вторая мировая стоила пятьдесят шесть миллионов жизней. Третью навряд ли пережить и земному шару, но там, за океаном, самообольщаются, будто укрылись на другой планете.

На автострадах США гибнет больше, чем осталось американских солдат на полях Европы и Азии за пять лет войны.

Одна американская бомба испепелила в Хиросиме 330 тысяч японцев. Потерь мирного населения Соединенных Штатов Америки кровавая статистика второй мировой войны не зарегистрировала. Германский фашизм истребил в Польше 2 500 000 безоружных людей, в Югославии — 1 300 000, во Франции — 270 000, в СССР — 6 000 000. В США не заклеивали окон бумажными крестами, не извлекали останков своих детей из-под развалин домов, уничтоженных снарядами и бомбами. Там, за океаном, не было Хатыни, Лидице, Орадура, Ковентри. Не было Бабьего Яра и Освенцима. Как им понять нас?

Они хотят наживаться, наживаться, наживаться.

В венах австралийца электромонтера Виктора Гражуля, бездетного, женатого на англичанке, течет русская, литовская, польская кровь. Показывая мне свой скромный домик на окраине Мельбурна, Гражуль сказал: «У меня нет ничего лишнего. И в банке — только на докторов. Зачем мне быть самым богатым на кладбище?!»

Толстосумы алчут быть самыми богатыми за счет погостов других стран и народов. Как в прежние времена, когда еще не было ни водородных бомб, ни нейтронных устройств, ни орбитальных ракет космического радиуса действия. Реставрируются изъеденные молью доктрины, выдвигаются новые «теории» неизбежности и даже необходимости третьей мировой войны. Современные каннибалы лихо закладывают в ЭВМ перфорированные карты с алгоритмами стратегических планов и невозмутимо сообщают будущим жертвам: «Ничего страшного!»

Сотрудники Гудзоновского института напечатали в журнале «Форин полиси» статью «Победа возможна». Разумеется, победа над СССР. И совсем, оказывается, не дорого! Для США каких-то двадцать миллионов солдат. «Если убьют 20 миллионов американцев, останутся еще 200 миллионов».

Электронно-вычислительной машине безразлично, какую операцию отработать: сложить, вычесть, извлечь корень. Отнять от 220 число 20 или 200. Не моргнув неоновым глазом, машина выдаст и сплошные нули. Но те, кто составляет программы, о чем они думают?

В Ленинграде, в Доме писателя имени В. Маяковского, встретились литераторы и зарубежные гости. Вопросы и ответы. Конечно, и о войне и мире. Слова, цифры. Все так привыкли к абстрактным символам...

И я предложил попробовать хотя бы мысленно ощутить физический смысл математической абстракции:

— В СССР до войны насчитывалось около двухсот миллионов человек. Сто девяносто три миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч по переписи 1939 года. Погибло двадцать миллионов, каждый десятый. Давайте прикинем в этом зале...

Все заерзали, зашевелились, стремясь угадать свой порядковый номер. Но с какого края считать?

Собрать бы в Белом доме весь конгресс, администрацию, пентагоновцев, сотрудников Гудзоновского института. С женами, детьми, внуками. И задать бы им эту задачку. Что им приснится ночью?

В Одессе, на улице Пастера, есть мемориальная доска с именами бессмертных героев обороны. Уже потом, спустя годы, узнали, что трое моряков-разведчиков остались в живых. Среди них — Поженян Г. М. За время войны его дважды посмертно представляли к боевым орденам. И моему другу поэту Григорию Михайловичу Поженяну до сих пор снятся красные сны. Ему и всем нам, бывшим фронтовикам. У нас есть дети, внуки.

— Дед,— призналась мне внучка. Она училась тогда в первом классе и смотрела уже передачи не только для «самых маленьких».— Дед,— сказала она,— знаешь, чего я больше всего боюсь? Я боюсь, что они нападут на нас и я не успею вырасти.

Мы не можем не думать о будущем, не имеем права забыть прошедшее.

Излюбленными темами разговоров на фронте были две: «Вот до войны...» и «Вот после войны...» О самой войне что говорить: вот она, не расстаемся с ней ни днем ни ночью. Потому, наверное, в моем куцем дневничке никаких живописных подробностей:

«22.10.42. Работали весь день, стволы перегрелись. «Юнкерсы» с утра до вечера. В Сталинграде уже почти нечему гореть. Тяжело ранен Каштелян, убит Ж. С.»

Почему лишь заглавные буквы, инициалы? Ничего не могу сказать. А Каштеляна явственно вижу. Невысокий, крепкий, всегда выбритый до синевы. И последнюю встречу помню. Он лежит на мокрой от дождя и крови плащ-палатке, под дырчатой сенью орудийной маскировочной сети. Под ногами палые листья, голые дубы вокруг. В дождливой темени осветительные ракеты как тусклые фонари. Белое лицо светится ярче, звездно мерцают влажные черные глаза.

Каштеляна ранило еще днем, но раньше никак не вынести было. Не донесли бы, не дошли. Командир батареи Бабич приказал санинструктору Буслаеву доложить по радио, успели или нет передать лейтенанта докторам. Бабичу, как и всем нам, казалось, что главное при ранении — дожить до операционного стола...

«14.10.44. Был на НП у Бабича. Застал там Володю Ракова и Алхимова. Обрадовались встрече. Бабич сообщил по секрету, что Володю Алхимова представили к Герою. Договорились собраться послезавтра. Наши НП совсем близко».

Через два дня, 16 октября, началось генеральное наступление на Восточную Пруссию. Передовой наблюдательный пункт дивизиона — я, разведчик Ларин и радист Шкель перемещались с пехотой. Даже помню фамилию командира батальона — Румянцев.

В километре за границей неожиданно сошлись с группой Бабича. Он, Раков, Алхимов, несколько солдат. Постояли немного, поговорили, счастливо посмеялись над Ваней Бабичем: «А ты бубнил, что не дойдешь до Берлина!»

Расстались. Мне надо было на Лаукен, влево. Бабич зашагал прямо, впереди своей группы. Через несколько сот метров напоролись на минное поле. Ленинградец Раков погиб на месте, Бабича и Алхимова увезли в госпиталь, в Вильнюс. Бабич не выдержал операции...

В красных снах бегут и бегут солдаты, те, кто не вернулись. Воскрешаю, как могу, имена друзей и товари-

щей. В большинстве моих рассказов — подлинные события и настоящие имена. Но Ваню Бабича и в сочинении не сумел представить мертвым. Оттого несколько изменил фамилию — Бабичев. Остальное в рассказе «На всю жизнь» все, как было тогда, в Сталинграде. Как помню.

Когда на штурманском столе появилась очередная карта с надписью «Северное море. Побережье Германии, подходы к Эльбе и Везеру», я сначала прочел не «подходы», а «подступы». По-военному. Третий помощник капитана поправил:

— Не подступы, а подходы.

Вежливо и назидательно, будто я назвал подволок по-сухопутному — потолком.

Мы подходили к Бремерхафену с грузом австралийской шерсти для Федеративной Республики Германии.

Показались низкие зеленые берега. Слева поднимались все выше и выше над водой и деревьями стрелы портовых кранов и мачты теплоходов. По правому борту, на полуострове Бутъядинген, высилась гигантская труба нового химкомбината; ядовито-белый дым надвое рассекал серое небо.

Совсем рядом торчала скала с железобетонными обломками некогда грозного дота, взорванного в сорок пятом. Пушки и пулеметы сторожили не только подходы к Бремерхафену, но и вход в реку Везер, ведущую в Бремен. А там, на Везере, в двадцати восьми километрах вниз по течению от города, находилась база подводных лодок. Мрачное сооружение, в которое вплывали субмарины с уже пустыми торпедными аппаратами. Сооружение это, без окон и дверей, с плоским перекрытием толщиною восемь метров, стоит, запущенное, но неприкосновенное, до сих пор. Лишь узкая намывная полоска отделяет черный прямоугольный вход от воды.

Бывшую базу подводных лодок я видел не однажды, но позже, в других рейсах, на других судах. И проехал на автомашине от Бремерхафена до Бремена по отличной автомагистрали, которая способна служить взлетно-посадочной полосой для реактивных самолетов. В шестьдесят девятом еще не было этой дороги-аэродрома.

Два буксира бойко протащили «Ватутино» мимо американского танкера, перекачивавшего в береговые емкости свои горючие запасы, круто развернули нас и подвели к шлюзу — воротам в закрытые внутренние гавани.

В серое небо целились ракетные шпили кирх и подкалиберные снаряды водонапорных башен. Все виделось глазами солдата.

Мы ошвартовались в Кайзерхафен-III. У противоположной стенки грузилось судно из Кантона, а в соседней гавани с палубы транспортного корабля «Робин Гуд» (корабль военно-морских сил Соединенных Штатов) съезжали на понтонный причал зеленые джипы с белыми армейскими звездами, крытые грузовики, специальные автопогрузчики, седельные тягачи для ракетных тележек. Борт о борт с «Робин Гудом» опорожнял трюмы от военного груза западногерманский транспорт «Гендрих Фиссер». Еще шла война на земле Вьетнама. Но и через пять, десять, двенадцать лет — и сегодня я вижу такое во многих портах Европы. Ведь до сих пор то тут, то там гремят выстрелы и взрываются бомбы. Словно и не кончалась вторая мировая война. А нам из-за океана уже открыто грозят третьей...

Красные сны, красные сны, они и сейчас, сегодня, не дают покоя. Не потому, что мы слабы и беззащитны или напуганы на всю жизнь. Мы тревожимся о будущем, хотим мира на земле — прочного, надежного мира. И Родина делает для этого все возможное, все, чтобы оправдать наши надежды.

ВЛАДИСЛАВ ШОШИН

* * *

Я выхожу, распахнут и доверчив,
Передо мною — тысяча дорог.
И угасают маленькие смерчи,
И, обессилев, падают у ног.

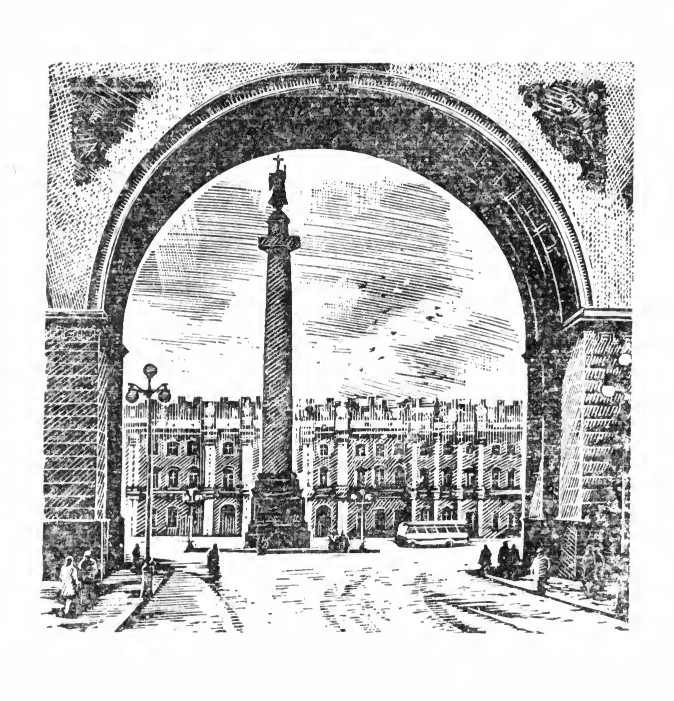
Вдали встают разгневанные тучи,
От слез людских, как море, солоны,
Но подымает голос гимн могучий
На белом гребне радиоволны.

Страна моя! Высок сыновний жребий
Твой видеть свет в любой кромешной мгле.
Страна моя! Ты знала тучи в небе
И красные пожары — на земле.

Но каждый день с тобою внове встречи,
И каждый день тобой любуюсь я.
Я в путь иду, спокоен и доверчив,
Любая из дорог моих — твоя!

АНДРЕЙ УШИН

«Дворцовая площадь»



ИВАН ДЕМЬЯНОВ

Солдатская подушка

Рассказ

Светлой памяти матери —
Марии Эрастовны Демьяновой

В 1941 году в городе Волховстрое-2, на Земляной улице, стояли неказистые деревянные бараки — общежитие Волховского алюминиевого завода имени С. М. Кирова.

Тетя Паша, уборщица нашего общежития, она же по совместительству и завхоз, заменяла нам родную мать.

Только потом станет понятным: есть мать — значит, ты самый богатый человек на земле!.. Тогда еще этой святой истины не знали... Сменив постельное белье, тетя Паша принесла большую охапку новых подушек. Мы их в тот же вечер окрестили «скрипачами». Они были туго набиты «деревянным пухом» — сосновыми стружками. Такие ароматные подушки, что сразу напомнили лес... Но, как только станешь повертывать голову на такой подушке, она обязательно заскрипит, застонет, и, пока ее не утрамбуешь как следует, разговорчивой остается!.. А одна подушка — у тети Паши, вот эта, о которой пишу, была пуховая, «молчаливая».

Ясно помню, как тетя Паша перебросила ее с руки на руку и мне подает.

— А эта,— говорит,— бригадиру!

Я смутился:

— Тетя Паша! Старички есть в бригаде, им и отдай! А я и на кулаке усну!

Но «старички» (самому старшему — тридцать один год) запротестовали:

— Кому первому подали, тот пусть и спит на ней — невесту во сне высматривает!

Тетя Паша улыбнулась.

— Правильно постановили! — И, лукаво посмотрев на всех, добавила: — Во сне одно дело, а наяву — другое! Надо, сыночки вы мои, и наяву в девичью сторону не забывать поглядывать! Девчата волховские — что зорьки майские!

Ко мне тетя Паша относилась особенно хорошо —

и это за то, видимо, что в нашей бригаде никто не пил, как говорила она, «до сногсшибательства». И правда, в бригаде был свой неписаный, но железный закон: ежели в праздник и хлебнул «огнедышащего» — по половице пройди! Наступил на соседнюю — стоп — полосатый столб!.. Словом, границу в этом деле знали неплохо, и ее не переходил никто.

Проспал я ночь на «барской» подушке (ее тоже так сразу прозвали), открываю глаза и снова плотно смыкаю веки — на меня в упор солнце смотрит, а июньский ветерок все шире и шире раздвигает занавеси, играет с ними.

День воскресный — не на работу, не торопились.

— Ну, бригадир, видел невесту во сне? — спросил кто-то, потягиваясь.

И я стал своей бригаде сон рассказывать, что на «барской» подушке видел. Все повернулись лицом ко мне — и подушки их хором запели.

— Загадал я, ребята, ложась на «барскую», так: если я в этом, тысяча девятьсот сорок первом, году невесту найду, то мне она приснится...

— Кто приснился?! — пропищал самый любопытный в бригаде Вася-рыжик.

Но ответить мне ему так и не пришлось. В общежитие не вошла, а вихрем влетела растрепанная тетя Паша, такой ее еще никто не видел; хватаясь обеими руками за голову, она закричала:

— Включайте радио, включайте!!! Нет, не включайте — там, там вой... вой... на!!!

* * *

Когда стали уходить на войну, тетя Паша остановила меня у порога:

— Знаешь ли, Ваня, где ты сегодня спать-то будешь? Один ветер знает! А подушка маленькая, пуховая, сунь ее в свой вещмешок — пустой он у тебя, хоть еще ноченьку голова твоя поспит по-человечески. Мама-то твоя в Питере, так я замест ее провожу тебя на войну, в пламя-полымя!

Из добрых глаз тети Паши выкатились две слезинки и обожгли мне руку. А тетя Паша быстро-быстро заталкивала в мой уже видавший виды вещмешок «барскую» подушку.

Я не захотел обижать тетю Пашу — дал ей заполнить мой тощий вещмешок подушкой (пополнел сра-

зу!). «Ну что же, потом выброшу «барскую», как отойду подальше,— подумал я.— Не подушкой же фашистов бить!..» Тетя Паша поцеловала меня в лоб, перекрестила, и я запылил по Земляной улице к месту назначения. А тетя Паша катилась катышком со мной рядом и почти шептала:

— Так светло и ясно. Солнышка-то всем хватит! Смотри, Ваня, Волхов-то какой синеокий! Зачем война-то, убийство зачем?!

А над нами все выше и выше поднимались белые голуби, они стремились к такому же, как и они, белому облачку — может, думали, что это не облако, а большая белокрылая стая голубей-сородичей купается в теплом июньском небе... А мне казалось, что понесли голуби слова тети Паши, чтобы услышал их весь мир: «Солнышка-то всем хватит! Зачем война-то, убийство зачем?!» Но, видимо, не дано было далеко улететь добрым словам душевного простого человека. Вскорости из-за белых облаков стала выныривать черная смерть — вражьи бомбардировщики.

Этот день выдался таким суетливым, что о «барской» подушке вспомнил я только в три часа ночи, когда устраивался спать под кустом. Под голову я положил вещмешок, не развязывая его,— и так мягко!

К моему изголовью кто-то еще причалил:

— Что у тебя за поросенок? Дай-ка и я приткну голову...

Ранним, еще синеликим утром «барскую» подушку мне тоже выбрасывать не захотелось. «Подожду с этим,— решил я,— может, сегодня лишнюю ночь сослужит «барская» службу добрую!» А кроме этого, в ней еще была частица тепла тети Пашиной душевности. Так осиротевшая без нас в пустых бараках, что-то она теперь делает? — на миг вспомнил я о тете Паше.

И подушка пригодилась не только в последующую ночь, но и в другие ночи многих, многих военных и мирных лет!.. Она и до сих пор еще служит мне!

Впоследствии надо мной посменвались однополчане:

— Кто на войну с пушкой, а Ваня — с подушкой!

И конечно, рано или поздно расстаться бы с ней пришлось. Но помог неожиданный случай. И действительно — «всесилен случай — жизнь хрупка»,— вспомнились мне стихи Некрасова. Что случай могуч, я убеждался в этом не раз.

Через древнюю русскую реку Волхов необходимо было соорудить паромную переправу на случай, если фашисты разбомбят мост. А я был мастером сращивания стальных тросов. Научил меня этому белобородый старик — бывший матрос русско-японской войны, гремевшей еще в тысяча девятьсот четвертом!..

Пока я возился с переправой, наша часть перебазировалась в неизвестном направлении. Началась бомбежка — гудело небо, стонала земля, посылая раскаленные струи прицельного огня в небо, и мнилось порой, что не люди, а земля и небо ведут между собой невиданное доселе сражение! Я посмотрел на все четыре стороны, выбрал одну и зашагал в центр города. «Может, о своих что узнаю»,— подумал я и в это самое время увидел стоящую на дороге автомашину. Подошел к ней — никого! Ездить я немного умел: несколько раз приходилось поколесить по двору гаража — мой друг шофер Костя Игнатов более длинные рейсы делать мне не разрешал... И вот в этот исторический для меня момент, когда я стоял в раздумье у ЗИС-5, ко мне подошли, а вернее, как из-под земли выросли трое военных.

— Рулить можешь? — властно спросил один из них, видимо, старший по чину.— У нас шофера осколком убило. А рейс срочный.

Я ответил честно:

— По гаражу вокруг бензобочек кружил, и то только вперед ездить умею, а назад подавать машину еще не научился.

Другой военный, меньше чином, но выше всех ростом, гаркнул:

— Вперед умеешь ездить — и хорошо: вперед и надо! А назад зачем? Ты что — так-перетак...— добавил он,— отступать, драпать думаешь?! — И покосился на мой вещмешок.— Эва сухариками запасся!..

Я, было, хотел сказать, что там не сухари, а подушка, но смолчал и, пожалуй, правильно поступил...

— Довези нас хотя бы до гаража! — попросил добрым голосом третий военный.— Нам сказали, что он здесь где-то недалеко.

И эта просьба подействовала на меня больше всего. Я решился доехать до гаража на третьей, а может, даже и на четвертой скорости — друг мне разрешал ездить только на первой и второй... а тут такая возможность!!! Доехать до гаража — это значит пересечь несколько улиц — дело для меня не из легких, но заманчивое!

— Поехали! — глухо выдохнул я, сунул свой вещмешок, наполненный только мякотью пуха, в кабину и, крепко сжав руками баранку, нажал на стартер.

Машина зашумела, громко чихнула, будто гриппозная, но все же завелась! А когда задрожала, стала живой, я так перепугался, что у самого ноги и руки тряслись, хотелось выпрыгнуть из кабины и бежать куда глаза глядят, только подальше от машины и от дороги. Но делать нечего: взялся за гуж — не говори, что не дюж!

Вещевой мешок со своей подушкой я привалил к левому боку, если, думаю, падать будем в канаву, что слева, все мягче удар будет, а ежели справа — справа тучный военный! С этими невеселыми мыслями я включил скорость. Глаза сами закрылись от волнения и страха. Машина тронулась, словно споткнувшись на первом шагу,— она не поехала, а запрыгала вперед, дергаясь и ковыляя из стороны в сторону по злосчастной дороге.

Теперь глаза мои лезли из орбит — веки раскрылись еще шире, когда я увидел, что незвано-непрошено толстый дорожный столб словно обрел резвые ножки, быстро бежал к машине — к центру радиатора... Я резко вывернул руль — со столбом разминулись. С рычанием шестеренок была включена третья скорость...

— Ты куда?! — испуганным голосом закричал один из самых первых моих пассажиров.

— В гараж! — зло бросил я и круто повернул руль влево.

Машина заторопилась теперь к противоположному столбу, словно он ее в гости позвал! Я предвидел, что «поцелуй» машины с таким столбиком — дело роковое! И стал крутить руль. Машина кривулями и зигзагами устремилась вперед. К счастью, дорога была свободна...

Военный, малость успокоившись, резюмировал уже мягким голосом:

— Ты, парень, того, хватил изрядно. Но ничего, ничего — крепись, с кем не бывает!..

И я крепился — все мое тело походило на туго стянутый морской узел. А на дороге каждый столб, как магнит, притягивал мою железную автомашину. По моим горящим щекам катился пот. Но из дырочки, пробитой осколком в стекле, прямо мне в лоб лился ручеек прохлады...

С этого сверхнапряженного короткого пути и началась нелегкая длинная-длинная (почти по всем фронтам) моя фронтовая дорога — до самой Победы!-

Ездить и подавать назад я научился в пути и, наездив уже много сотен километров, получил права водителя — стал законным шофером. А кабина превратилась в мой быстролетящий дом, по которому не единожды была выпущена воющая смерть и с земли и с неба, отчего не раз пострадали и борта и кабина. А подушка — подушка нисколько мне не мешала; наоборот, положив ее на колени, я превращал ее в стол — ставил на нее горячий котелок, а ночью (если удавалось поспать) я клал «барскую» под голову, не развязывая вещмешка, и спал, сложившись перочинным ножичком... А если хорошая погода — ноги можно было вытянуть в боковое окно кабины, опустив для этой цели стекло. Была возможность, конечно, открыть и дверцу, но тогда ноги свешивались — затекали... Многие шоферы мне стали завидовать: «Война, а он, как у тещи в гостях, на подушке нежится!» А кое-кто задумчиво рассуждал: «Вообще-то не мешало бы предложить Главнокомандованию выдавать военным шоферам вот такие небольшие подушечки с вещмешками: шоферы лучше отдохнут на подушке, свежее голова будет! Они не помешали бы и другим родам войск, но с ними там возни много, груз лишний, а тут бросил в кабину — помеха ли?! — сел на нее — поехали!..»

Бывало и такое — попадались старые, разбитые автомашины, из сиденья которых торчали концы проволоки... И тут меня выручала подушка!

В одну из гудящих буранных ночей седой ладожской трассы, скупо освещенной подслеповатой бледной луной, впереди идущая автомашина вдруг на глазах растаяла — на ее месте среди белесых льдов появился черный круг воды... Пришлось надавить на все тормоза — ручные и ножные; продвинувшись метров пять юзом, машина остановилась.

К моей кабине подвели человека — трудно было определить, к какому полу он принадлежит,— только острый нос торчал из одеяла.

— Возьмите в кабину! Пропадает человек!.. Валенок его в полынье остался,— быстро говорили мне.

И тут выручила подушка: все мокрое с ноги пассажира-подкидыша — прочь! Ногу — на подушку! Концами подушки обернули-спеленали ногу, стянули брючным ремнем — получился пуховой бот. Доехали до бере-

га, а потом и до теплостенной уютной избы — и пальцы блокаднику не поморозили!

Но больше всего выручала меня подушка, когда надо было делать перетяжку подшипников мотора. Зимой и осенью приходилось лежать под брюхом машины на спине на холодных плитах или просто на снегу. Я никогда, как другие, не заболевал ни гриппом, ни пневмонией, не посещал меня и радикулит (не болела поясница — «задний мост», по-шоферски) — под моей спиной была «барская»: и тепло и мягко. Одалживал я свою подушку и товарищам-однополчанам, когда кто-либо из них на ремонт становился, под машину лез — спиной шар земной согревать ложился! А такое бывало нередким явлением.

Пламя войны разгоралось. Гитлеровцы все яростнее ломились в глубины нашей Родины. Они уже под самой Волгой. Горячо было и на Калининском фронте — на Ржевском направлении. Здесь часто приходилось возить тяжелораненых. Однажды трое суток без перерыва гремел военный гром. Бас охрипших пушек закладывал уши. После этой земной грозы в мой кузов положили раненых — везти из-подо Ржева их надо было в полуразрушенный Торжок. А дорога — «мама» не выговоришь!..

Здесь тети Пашин подарок оказал мне еще бо̀льшую услугу. Помню, в кабину ко мне посадили летчика. Нижней губы и части подбородка у него не было — осколком срезало! Он написал мне записку, чтобы я курил и дышал на него махорочным дымом. Он с жадностью глотал его — марлевая повязка краснела, летчик, морщась, поправлял ее и снова втягивал в себя продымленный воздух... Так в дороге мы и курили — одной затяжкой наслаждаясь двое!

Вдруг на полном ходу автомашины летчик открыл дверцу кабины — хотел выброситься...С большим трудом, как говорится, чудом мне удалось ухватить летчика за ворот гимнастерки.

— Не прыгай без парашюта! — зло сказал я.

Тогда мой непоседливый пассажир начал неистово биться затылком о кабину. Я понимал его душевный шторм. «Причины, конечно, к этому есть»,— подумал я. И, проклиная войну, привязал потерявшего душевное равновесие человека к решетке заднего стекла кабины и ручке дверцы, положив предварительно под голову летчика свою подушку. Вскоре тяжелораненый как-то обмяк, забылся и даже уснул. Ехать я старался побыстрее,

но как можно осторожнее, каждую выбоину, по возможности, объезжал.

Другим рейсом и в другое время я снова вез раненых по этой же дороге. Сена взять было негде, и одному бойцу на пахучие сосновые ветки, наломанные мной в пути, я положил под голову «барскую». Его голова сразу почувствовала ласку пуха — не открывая глаз, он тягуче произнес: «Спа-си-бо... ма-ма!..» Вот тут я только в полную меру оценил подарок тети Паши. И от себя сказал ей тоже спасибо. А этого молоденького солдатика с пуха моей подушки сразу же принял холодный пух приволжской земли...

В годы войны нас, шоферов, часто перебрасывали из одной части в другую. Перебазировали и с участка на участок. И с одного фронта на другой.

В 1943 году в заснеженных лесах под Торжком организовалась 1-я автомобильная бригада Ставки Верховного Главнокомандования (СВГК). Лучших из лучших водителей, и обязательно с десятилетним стажем, стали отбирать в разных автобатальонах и посылать в эту новорождающуюся часть. Работа этой боевой единице предстояла серьезная, нужно было американские автомашины, получаемые по ленд-лизу, перегонять из Ирана по коварной заоблачной Военно-Грузинской дороге на фронт! Особенно опасна эта дорога была весной: с грохотом сползали с вершин гор многолетние снега и камни и, все сметая на своем пути, летели в Дарьяльское ущелье; огромные каменные глыбы догоняли друг друга в воздухе — и тогда многометровые сгустки огня с треском и гулом низвергались в пропасть, словно разгневанная гора плевалась пламенем на бешеные седогорбые волны Терека. Естественно, что на эту дорогу отсеивали шоферов не через решето, а через сито! На вопрос при отборе: «Какой у тебя водительский стаж?» — я тогда отшутился: «Опытный стаж!» Отбирающий шоферов ушел. А я снова, лежа на «барской» под машиной, подтягивал гайки. А моложе моего стажа, пожалуй, на всех фронтах не было. Мой ответ: «Опытный стаж»,— видимо, понят был как стаж десятилетний. И поверили мне, даже в права не заглянув, и зачислили в 28-й автополк 1-й автомобильной бригады Ставки Верховного Главнокомандования (об этом я тогда еще не знал). А когда перед строем назвали мою фамилию и скоман-

довали: «Три шага вперед!» — мне было уже известно, куда и зачем мы едем, растерялся: такая дорожка не для меня,— сказал, что у меня стаж «не опытный», и хотел все объяснить, но представитель новой части подмигнул мне: «А ты шутник. Ну что ж, нам свои Теркины нужны: дорога длинная будет!» Я хотел что-то сказать еще, но другой командир властно скомандовал: «Отставить разговорчики!» Так со своей подушкой и «опытным стажем» я поехал из-подо Ржева в Иран за американскими автомашинами!

И вот наступил срок — мы прибыли. Там и произошел несчастный случай с моей подушкой. Переправившись через пограничную реку Аракс в иранскую Джульфу, мы сделали привал. Машины нам подгоняли и сдавали негры, и мы занялись, пользуясь недолгой передышкой, изучением английского языка, чтобы при приемке автомашин меньше затрачивалось времени. Необходимо было знать те слова, которые крайне нужны в этих случаях: названия гаечных ключей, запасных деталей и комплектов, которые выдавались к машинам той или иной марки, а также противобуксовочных цепей.

Автомашины мы получали разных марок: «студебеккеры», «шевроле», «интернационали» «виллисы», «додж — три четверти»; были и «королевские» английские автомашины (руль с правой стороны), это для нас создавало большое неудобство: непривычное дело — управлять машиной, сидя на правой стороне кабины...

Когда закончился «урок» английского языка — преподавал его помпотех полка (он его немного знал и делился своими скудными знаниями с нами),— я встал с подушки, на которой сидел на «уроке», а ветер словно этого и дожидался: схватил мою подушку и завертел ее вместе с красной иранской пылью и покатил в погранречку Аракс — в быстроскачущий, седой от пены поток. Подушку спасли тогда сменившиеся иранские пограничники. Еще секунда — и ее поглотили бы вздыбленные, верткие волны. Сушилась подушка недолго — иранское солнце знойное.

В первом рейсе мне досталась огромная автомашина «интернациональ» — «интер», так прозвали ее водители. Командир роты, зная мой «опытный стаж» и Военно-Грузинскую дорогу, хотел как-то освободить меня от вождения этой машины-махины через гребень Кавказских гор, но приказ поступил строгий: «Всем до единого человека в полку — за руль». Даже некоторые повара

были приобщены к этому. В нашем 28-м автополку не было ни одного человека, кто бы не имел водительских прав. На «интере» сиденье, по сравнению с ЗИС-5, было низким. Подушка сразу исправила положение, а это много значило. Может быть, тот, кто не хотел считаться с этим, в первом же необкатанном рейсе на такой «дорожке», как Военно-Грузинская, и уехал в бездонье Дарьяльской теснины или в заоблачное Севан-озеро, разлившееся меж гранитных скал на высоте тысяча девятьсот шестнадцать метров над уровнем моря. Как сейчас помню командира полка, машущего красным флажком,— торопитесь, мол, торопитесь! Уже вытянулись в колонну, рокоча, головные автомашины, а ротный, глядя в сторону, говорит мне:

— Видимо, придется пожертвовать этой автомашиной — держись, Демьянов, за землю, ежели падать будешь,— и уже серьезно, положив мне на плечо руку, добавил:— Смотри в оба, отца и мать забудь — одну дорогу помни!

Пожертвовать пришлось, и не одной автомашиной... Но, как ни странно, я все время оставался на дороге, а не за ее пределами. При въезде на пограничный мост моей первостепенной задачей было благополучно переехать мост и скрыться за поворотом советской Джульфы, а случись что, думал я, в виду иранской Джульфы, иранские пограничники и негры скорбно покачают головой: ну, скажут, и водители у них!.. Стало быть, не только себя посрамлю! Словом, скорее за мост и поворот, а там видно будет! Под «там» подразумевалась вся дорога, на которой в одной республике позавтракать и пообедать не приходилось. Завтракали в Азербайджане, обедали в Армении, под Ереваном, ужинали в Грузии или в Осетии... Но были рейсы и по более дальним маршрутам: Киев — Брест — Польша — Германия. И еще, впоследствии тоже в своих автомашинах, но на платформах — к Тихому океану, на новую войну — с Японией.

За один рейс из Ирана до Бреста гимнастерка на спине протиралась в тряпки, хотя спереди обмундирование было вполне еще приличным. Нас все время заставляли быть начеку перед преодолением Крестового перевала, но и до него одиннадцать автомашин с полным грузом — консервами и другими продуктами — вместе с водителями ушли навсегда с грозной дороги. Когда головной 28-й автополк, а за ним вся 1-я автобригада карабкалась на кавказское «небо», дорогу придавил плот-

ный, будто спрессованный, туман — не видно было даже пробки радиатора. Пробивались сквозь тучи. Каждый поворот — ступень выше! Эта замаскированная туманом дорога Главного Кавказского хребта со всевозможными поворотами и отрогами была для нас и школой мужества, и дорогой мастерства. Иногда страх, овладев шофером, делал тело деревянным, особенно руки и ноги, будто связывал тебя кто-то тонкими проволочками. Но усилием воли приходилось разрывать эти «проволочки» и работать руками и ногами, да как работать! Некоторые водители не могли вести машину по Военно-Грузинской, а вернее — через хребет Кавказа. Они садились в кабину и закрывали глаза. За руль брались, другие шоферы, выделенные специально для штурма неба. А за перевалом руль опять переходил в руки хозяина машины. Бывало и такое: уже поднявшись на верхние этажи дороги, кто-либо из шоферов срывался с них в преисподнюю Дарьяла или в буйную, скачущую внизу, словно белогривая кобылица, Куру!

Наша рота в полном составе взобралась на главный горб Кавказа. Оттуда начинался спуск, а это не легче подъема. При спуске также закладывало уши — шоферы временно глохли. На одном из поворотов, который впоследствии был назван «Тещиным языком», мое сердце на какое-то мгновенье замерло. («На меня упала машина! — мелькнула мысль.— Все!») Сильный удар о крышку кабины парализовал руки. Машина свернула к пропасти, а до нее — метр. Впрочем, до плохого всегда было близко. И я чуть-чуть не уехал «за нарзанчиком», на самой кромке бытия остановился...

Как выяснилось, на крышу моей кабины свалилось какое-то животное. С кабины оно тут же сползло в бездну. Сзади ехавший шофер сказал: «Теленок, наверное, а может, и дикий козел. Хвост мелькнул и ноги с копытами, а морду не разглядел...» Размышлять над этим долго не приходилось. Если сваливалась в Терек груженая автомашина, доставать было нечего. Терек и машину перемалывал, как жернов зернышко. И вот, когда уже был преодолен перевал и пройдено грозное Дарьяльское ущелье, или просто «Дарьюшка», как его именовали часто водители, машины пошли быстро. Я торжествовал победу! Обгоняя клокочущий Терек, автоколонны зеленым водопадом низвергались под склон, летели к городу Орджоникидзе. И вдруг моя машина рванулась к отвесному и еще высокому обрыву! Отдав всю силу рукам,

я старался отвернуть «интер» от гибели, было непонятно, почему он рвется только в одну сторону. Остановить машину удалось, не доезжая до смерти всего пять-семь сантиметров. Причиной этого было слетевшее переднее колесо (срезало футорки). Колесо прыгнуло в Терек. Такое было в нашем полку только один раз за всю его историю, то есть чтобы после такой аварии на Военно-Грузинской шофер оставался жив-здоров.

Когда подъехал помпотех, я открыл дверцу, чтобы впустить его, а сам хотел встать на противоположную подножку кабины. И лишь открыл вторую дверцу — дунул порывистый ущельный ветер, и моя подушка закувыркалась в Терек! Я успел только ахнуть.

— Да черт с ней,— выдавил помпотех, старший лейтенант Блохин.— Что ты ее провожаешь глазами? Моли бога, что сам не там. Ты, парень, не только, наверное, в рубашке родился, но и в трусиках!

Раза два моя подушка мелькнула и скрылась в мутных волнах гремящего Терека. Остановились мы в Орджоникидзе (бывшем Владикавказе) на лугу, под боком пехотной школы, на самом — теперь уже плоском — берегу Терека; он здесь не бежит, не прыгает с распущенной чалой гривой, как в горах, а словно бы идет шагом, будто устал и состарился... Здесь впервые за всю войну я лег спать без своей подушки. И не спалось — словно товарища потерял!

«Вот,— подумал я тогда, вздыхая и ворочаясь,— своя судьба есть не только у человека. Была она и у тети Пашиной подушки — суждено ей в Тереке захлебнуться». Я смотрел в бездонье кавказского темного неба; яркие, будто начищенные минувшими тысячелетиями, звезды, словно серебряные заклепки держали его высоко над неспокойной землей... И вдруг дверца моего «интера» распахнулась.

— Эй, Демьянов! — крикнул Сашка Иванов, я его узнал по голосу, но смолчал, разговаривать не хотелось.— Ты что спящим прикинулся? Бери, вот она, а то опять в Терек брошу!

Я приподнялся на локте, а Сашка в этот миг кинул в мою кабину что-то тяжелое, мокрое.

— Спасибом не отделаешься,— заявил Иванов.— Гусыню лови!

«Гусыня» — это значило литр местного ароматного вина.

— Подушку твою спас, еле ожила, искусственное дыхание ей делать пришлось.

Я вскочил, не веря его словам, включил свет и обеими руками схватил какую-то мокрятину... Повертел, рассмотрел: точно — она, подушка! А Сашка объяснял:

— Поехал я машину мыть в Терек, к сдаче готовить. (В Беслане мы сдавали машины другим частям, а сами вновь ехали в Иран.) Утром, думаю, посплю,— говорил Сашка,— когда вы мыть будете. Да и свободнее сейчас. Смотрю, в свете фар два валуна спокойно полеживают, а один — дышит! Ногой надавил на него — мягкий валун. Потянул и понял — это же наша «барская»! Мы, стало быть, на машинах, а она вплавь за нами. Ну, увидела свой полк на берегу и причалила. Что же, она, думаешь, свою часть не знает?

Я расцеловал подушку и Сашку.

— Ты хоть губы вытри! — буркнул Сашка.— А то меня после подушки точно теленок лизнул! — И вытер щеку рукавом.

Как можно все-таки привыкать к вещам! Но эта подушка уже не была вещью — она была своеобразным фронтовым товарищем, другом. О ней знал весь 28-й автомобильный полк, и не только он.

Через месяц наш батальон находился двое суток в казармах. Я был в наряде. На подушке спал писарь батальона — Гоша Горшков. Проснувшись, он заявил:

— Вот это сон я на «барской» видел — всю родню она мне показала, чай пил дома с пирогами! А потом поспал в новой горнице. Мы дом перед войной построили, над самой матушкой Волгой стоит, что в зеркало в нее смотрится. Ну вот, Лена мне и говорит: «Поедешь опять в свой полк — оставь нам эту подушечку, что ты привез». Я во сне с «барской» там был. «Оставь,— говорит жена,— этот пуховичок! Я его в новую наволочку обряжу и поверх всех своих подушек положу — пусть о коротком свидании с тобой напоминает! И война, глядишь, скорее кончится!» А я отвечаю: «Нельзя, Леночка, это наша солдатская подушка. Мы на ней по очереди спим и всех своих родных видим. Шоферы запротестуют, ежели я здесь этот пуховичок оставлю. И сам тебя тоже не увижу во сне. Ясно?»

А старшина реплику:

— От замены наволочки на «барской» война не кончается, Демьянову не так давно десятую выдал, а конца войны, хоть с Казбека смотри, не видно!

Война, между прочим, кончилась, когда старшина выдал мне восемнадцатую наволочку. Да одну без него получил. Но о девятнадцатой — после. Вечером писарь Горшков, затянувшись шипучим дымом елецкой махорки, предложил:

— Ребята, давайте подушку, именуемую ныне «барская», переименуем в «солдатскую». Ну какая она «барская»?! Не звучит!

Предложение всем понравилось. Ведь по причине «не звучит» переименовали город Пропойск в Славгород!

Шоферы — народ веселый! Любят и могут шутить, но и горевать тоже.

Врагом номер один был для нас Крестовый перевал — Главгора, или Гробгора, как его называли кратко шоферы — последнее название не без смысла.

Лишь наступала весна — и лавины снега сползали с поднебесья и увлекали за собой все новые и новые снежно-каменные массы. Горы шли в наступление и запирали дорогу на многоэтажный каменный замок! Начиналась борьба со стихией. Спрессованный столетиями снег приходилось рубить, долбить, пилить пилой и взрывать. В результате получались снежные коридоры. Их стены высились в отдельных местах до пятнадцати — двадцати метров. К тому же эти коридоры были узкие, местами за их стены задевали борта автомашины, вызывая большие осыпи. Вот за что и называли Крестовый перевал Гробгорой. Двадцатиметровая высота коридора — это высота четырехэтажного здания! Такие участки коридора назывались «Пронеси, господи!». Там, на вершинах голубоватых ото льда и снега коридоров, на фоне неба похаживали дозорные солдаты: ежели начинался горный обвал, ,они выстрелами извещали нас о грозящей опасности. «Сигнал бедствия», или, как его именовали водители, «Спасайся кто как может!». Но пользы большой в силу обстоятельств принести они не могли. Потому что идущим друг за другом автомашинам прятаться было некуда. А горные обвалы быстроногие! Иногда ледяные стены коридора под напором их «тылов» — напирающего сзади снега — смыкались, как гигантские клещи, и машины раздавливались, как орешки, и все летело в Дарьяльскую пропасть. Стометровые холмы-горы вырастали потом над погребенными автомашинами! Однажды при многочасовом нечеловеческом труде солдатам удалось откопать, вырвать из плена четырнадцать автомашин нашего батальона.

Эти четырнадцать автомашин «студебеккеров» не снесло обвалом в Терек только благодаря тому, что над ними нависла скала — гранитный козырек. Их только замуровало... В одной из машин был я. Хорошо помню первые минуты, проведенные в плену у обвала.

В кабине мгновенно наступила ночь, сдавленные дверцы жалобно пискнули, их ручки не шевелились. Наступила гробовая тишина, лишь изредка потрескивали в клещах обвала железные кости автомашины.

Страх сдавил горло. Часто и гулко застучало сердце. Застучало в висках.

Горы, люди, война — все куда-то ушло, исчезло.

Лежал я, говорят, на своей солдатской подушке, закусив ее угол. Кто-то тыкал мне в нос длинные иголки. «Да это же нашатырь, а не иголки,— сказала, склонившись надо мной, мать,— теперь я у вас в полку помпотехом работаю. Ну просыпайся, Ванюша, а то ужин остынет!..»

И я проснулся...

Бегут, бегут машины по перекрученной дороге Дарьяла. Глаза закрываются сами, а страх не дает им закрыться — ведь в темноте нет воздуха, ветра! А машины бегут, бегут. Кажется, что красные угольки стоп-сигналов все ярче раздувает на поворотах ветер. Сидел я не за рулем, а пассажиром!.. Везли нас, откопанных, в госпиталь.

В госпитале у всех было по одной подушке, а у меня две. Одна из них моя, солдатская. Старшая сестра сказала:

— Друзья упросили взять эту подушку — скорее, говорят, больной поправится. Она, значит, ваша «сослуживица»? — И улыбнулась.— Мы ей наволочку только сменили, старая-то слишком чумазая была! (Это и есть девятнадцатая наволочка.)

Победа нас застала в Беслане, на Кавказе. 9 мая 1945 года утром кто-то выдернул у меня из-под правого уха подушку и подбросил ее вверх:

— По-бе-да!!!

Я сперва ничего не понял, а потом не поверил — сон это, может, на солдатской подушке — она же не любит войну, как говорил Сашка. Но моя подушка взлетела вме-

сте со шляпами высоко-высоко в воздух — ПОБЕДА!!! (Вместо пилоток мы носили зеленые шляпы. Эта моя шляпа сейчас в городе Пушкине в литмузее 408-й школы.)

Я наконец понял: правда — победа!!! И голова от этого долгожданного слова закружилась, как от хмельного. Победа — одно это слово вмещает в себя много понятий. Победа — это мир, дом, радость, счастье! Всего и не перечтешь!

И есть ли что дороже мира? Полностью его оценить могут только люди, познавшие войну.

На моей машине соорудили трибуну, под конец торжественного митинга взошел на нее и я.

Но для выражения радости не находилось слов. Я потоптался в кузове «студебеккера», соскочил на землю, выхватил из кабины солдатскую подушку и влез на трибуну снова.

— Ребята, товарищи командиры! Желаю вам скорейшего возвращения к матерям и невестам, а женатым — к женам на мягкие пуховые подушки, на двуспальные кровати, вы заслужили и нежность и ласку!.. А кто не женат, пусть женится — невест хватит,— пошутил я под конец,— это не хлеб, не по карточкам их получать... Салют! — И, зубами разорвав угол наволочки солдатской подушки, я захватил горсть пуха и подбросил его над головами воинов...— Ура!

— Урр-а-а!! — раскатилось над площадью луга, который был уже зеленее фуражек пограничников.— Урр-а-а!!

И в этот миг над горами Кавказа загрохотал весенний, веселый майский гром. Казалось, что само небо радовалось нашей победе и вместе с нами гремело «Ура!» над родной израненной землей, салютуя золотом молний весне и миру!..

СЕМЕН БОТВИННИК

* * *

Все доброе выстоит в мире:
горевшие трижды сады,
и сказки,
и синие шири,
и вечная песня воды.

Пылают костры на планете,
мой век не считает смертей,
но вечно останутся дети
и книги для этих детей.

Сгорит —
но останется с нами
и снова взметнется весной
березы зеленое знамя
и ветер тревоги земной.

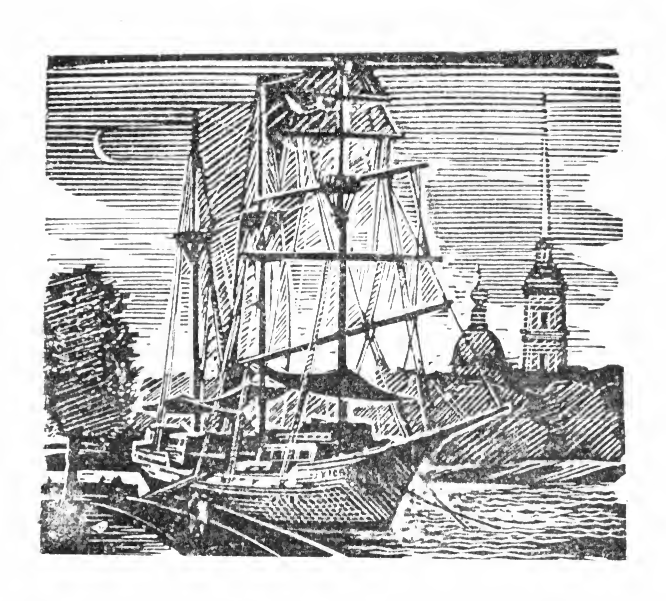
Не стих еще грохот орудий,
и тучи ползут тяжело —
но выживут,
выстоят люди,
не кончатся свет и тепло!

И звезды, дрожащие зыбко,
и дальних селений огни,
и женщины милой улыбка —
вовек не погаснут они.

Вовек не окончиться чуду:
как море, гремит бытие...
Мы, люди, встречаем повсюду
земное бессмертье свое.

АНДРЕЙ УШИН

«Кронверк»



ДАНИИЛ АЛЬ

Человек с часами

Рассказ

Дело было в феврале сорок второго. В самое лютое время блокады. Часть, в которой служил старший лейтенант Капитонов, стояла под Пулковом. В тот день его отпустили домой проведать мать и сестру, от которых давно не было известий.

Капитонов шел пешком по Международному проспекту * и не узнавал Ленинграда. По свету — над городом был яркий день, а по безмолвию — глубокая ночь.

Заледеневшими, безжизненными скалами стоят дома. По пустынным улицам метет поземка. Снегом занесены подворотни и подъезды. Кривые стежки пересекают мостовые, тянутся по панелям. Вдоль домов медленно передвигаются редкие пешеходы. Человеческой речи не слышно. Обессилевшие молча оседают на снег и не просят о помощи. Мало у кого хватает сил поднять упавшего.

Несколько раз останавливался он возле пожаров. Дома не полыхают, а подолгу тлеют и чадят, как сырые головешки. Их и не пытаются гасить. Нет воды. Да и как проехать по улицам пожарным машинам?

Капитонов был потрясен увиденным. Разумом он понимал, что живы ленинградские заводы и фабрики, что на них ремонтируют танки, точат снаряды и мины, шьют для фронта теплые вещи... Он понимал, что многие люди сидят по своим квартирам, стараясь без крайней надобности не расходовать силы и не выходить на мороз... Но эта мертвая тишина улиц, эти безжизненные дома... Капитонов не раз ловил себя на том, что идет слишком медленно, и ускорял шаг. Но стоило ему погрузиться в тяжкие думы о родном городе, о судьбе своих близких — его шаги снова становились медленными, будто мысли и в самом деле обладали пригибающей тяжестью.

Так и брел он — то убыстряя шаг, то медленно. Не раз помогал подняться осевшим на снег людям. Не раз

* Ныне — Московский проспект.

впрягался в салазки с мертвецом и тихо шел рядом с молчаливым родственником или соседом умершего, пока тот не останавливался, чтобы отдохнуть. Тогда Капитонов шел дальше. Ждать он не мог.

На Загородном, ближе к Владимирской площади, людей было больше. Неподалеку был Кузнечный рынок. Теперь он стал толкучкой. Там можно было выменять какую-либо ценную вещь на кусок хлеба, на дуранду или плитку столярного клея.

На площади, возле аптеки, кто-то тронул Капитонова за рукав.

— Товарищ старший лейтенант...

Капитонов остановился. Перед ним стоял невысокий мужчина лет сорока, в шапке-ушанке и в теплом полупальто. Мужчина смотрел на Капитонова большими глазами, то и дело переводя взгляд на вещмешок.

— Слушаю вас.

— Товарищ старший лейтенант,— быстро заговорил прохожий,— возьмите часы. Замечательная машина. Золотая. Павел Буре.

С этими словами он отогнул рукав.

В довоенной юности у Капитонова было две заветные мечты: велосипед и наручные часы. Первая так и не осуществилась. Ну а часы он в студенческие годы приобрел. Большие, карманные, переделанные, по тогдашнему обыкновению, на наручные. Они неплохо служили ему до сих пор. Но он не забыл, что они не настоящие наручные. Может быть, поэтому на его лице отразилось мимолетное волнение и даже колебание. Прохожий это заметил и теперь уже более настойчиво взял Капитонова за рукав.

— Зайдемте сюда, в парадную.

Они поднялись на один пролет к подоконнику.

Часы были и в самом деле замечательные. Продолговатый золотой корпус чуть прогнут, чтобы плотно ложиться на руку. На сером, дымчатом циферблате блестели золотые стрелки, а вокруг него чернели римские цифры. Только цифры «шесть» и «двенадцать» были рубиново-красными.

О таких часах Капитонов никогда и не мечтал, потому что таких никогда не видел.

— Послушайте, какой ход,— сказал прохожий,— вы только послушайте! — В его голосе звучал неподдельный восторг.

Капитонов приложил часы к уху. Звук, который он

услышал, был неожиданным. В нем совсем не чувствовалось металла. Казалось, в маленьком холодном корпусе билось что-то живое. Капитонов вспомнил, как, положив голову на грудь жены, перед ее отъездом в эвакуацию, долго вслушивался в биение ее сердца. Конечно, ход этих часов не биение сердца. Но все-таки напоминал его. И поэтому Капитонов слушал и слушал, не в силах опустить руку.

— Напрасно вы сомневаетесь,— сказал прохожий.— У них отличный ход. Идут абсолютно точно.

И тут он заговорил быстро, словно боясь, что не успеет сообщить Капитонову нечто очень важное:

— От отца мне достались. Он был крупный инженер. Бывал за границей. Купил эти часы в Париже. Мне подарил, когда я институт кончил. Я тоже инженер. Храню их, как память об отце. И сам их полюбил. Не знаю даже, как без них буду жить... Обойдусь, конечно... Дочка бы осталась жива. Жена недавно умерла. И вот несчастье опять. Воспаление легких у дочки. Врач сказал — нужен гусиный жир. Где уж тут! Хоть какого-нибудь достать. Сала или масла. А если правду сказать... Вам скажу правду. Себе не говорю. Умирает она, моя девочка. Семнадцать лет ей. Красивая. Даже теперь красивая. Маленькая надежда все-таки у меня есть... Извините, что я к вам пристал... На толкучку идти боюсь. Вырвут часы и ничего не дадут. Бывает... Прошу вас — возьмите часы. Очень вас прошу.

— Что вы за них хотите? — спросил Капитонов, возвращая часы владельцу.

— Что дадите. У вас, наверное, тоже есть близкие в городе.

— Мать и сестра... Если живы.

— Живы. Будем надеяться... Я понимаю — то, что вы дадите мне, вы отнимете у них. Смотрите сами. Что можете. Масла немного. Если есть. В конце концов — все будет благом. Смотрите сами.

Капитонов снял с плеч вещмешок и развязал его.

«Легко сказать — смотрите сами»,— подумал он.

Только несколько недель назад фронт начали хорошо снабжать. Заработала Ладожская дорога. Тогда впервые он получил казавшийся сказочным командирский паек — мясные консервы, сгущенное молоко, галеты, солидный брусок масла. С тех пор он получал такой паек еще три раза. Но за все время почти ни к чему не притронулся.

Это было не просто. Несмотря на то что хлеба стали давать больше и приварок стал гуще, аппетит оставался волчьим. Сказывались месяцы недоедания. Да и жизнь в промерзших землянках, в железной стуже окопов требовала много калорий. Теперь только он догадался, что слово «искушение» происходит от «кусать» и «кушать»... Обо всем этом Капитонов невольно вспомнил сейчас, выкладывая на подоконник банки консервов, сгущенку и масло.

Прохожий как завороженный смотрел на продукты.

— Что дадите. Что дадите. За все скажу спасибо...

Он вынул из кармана полупальто небольшой серый мешок и растянул вдетую в него тесемку.

Капитонов не сразу понял, почему этот неказистый мешок, залитый чернилами, с красной вышивкой на боку, напомнил ему что-то очень далекое и вместе с тем очень близкое. Но тут же он сообразил, что это мешок для галош, который обязаны были иметь младшие школьники.

Он вспомнил, сколько переживаний было связано у него самого с таким же вот мешком... На нем он впервые в жизни, со старанием и чувством ответственности, выводил свою фамилию. Ужасно он тогда написал ее химическим карандашом на мокрой материи. Криво, неровно. Все расплылось... А сколько было неприятностей с этими мешками! То их забывали дома. То вместо своего в раздевалке получали чужой. То они и вовсе пропадали... В четвертом классе он устроил дома бунт против галошного мешка: «Хватит! Не девчонка же я. И вообще уже не маленький!»

Капитонов взял мешок в руки и прочел аккуратно вышитую надпись: «Валя К. 4 «а». 1936 год».

— Что дадите. Я никакой цены не назначаю,— повторил прохожий.

— Дам вам половину того, что есть. Больше не могу,— сказал Капитонов.

— Половину?! — Прохожий, как показалось Капитонову, покачнулся.— Нет, нет... Это много. Что вы?!

Капитонов, не отвечая, положил в мешок прохожего банку сгущенки, банку мясных консервов, буханку хлеба. Затем он вынул из ножен, висевших у ремня, нож и разрезал пополам порцию масла. Только сегодня утром он сам спрессовал его из брусков своего пайка. Добавив к этому пару горстей галет, он затянул тесемку и протянул мешок прохожему. Тот крепко прижал его к себе.

— Много это. Много,— повторил он.— Я не ожидал, что столько... Правда, часы хорошие. Вы не пожалеете...

Прохожий протянул часы Капитонову.

— Часы оставьте у себя. У меня есть часы. И ходят они неплохо.

Капитонов стал спускаться с лестницы.

Прохожий молча пошел за ним. Внизу он бочком прошмыгнул мимо Капитонова в приоткрытую, вмерзшую в сугроб дверь подъезда и побежал.

Когда Капитонов вышел на улицу, он увидел спину своего недавнего собеседника. Бежал тот с трудом, еле-еле, но бежал. Перед самым углом прохожий оглянулся. Через мгновение он скрылся за поворотом. Капитонов пожал плечами и пошел своей дорогой к Невскому. Теперь ему было недалеко идти. Литейный проспект просматривался отсюда, от угла Невского, насквозь, до самого Литейного моста. Капитонов еще не мог различить свой дом там, впереди, с левой стороны. Но он уже как бы видел его, он ощущал его в строю других домов проспекта. Во всяком случае, он уже знал теперь, что его дом цел. Тем острее охватило его беспокойство за своих близких. Как там они? Живы ли? Мать ведь очень плоха. Может быть, ее уже нет, а сестра не решается написать об этом?

На середине заметенного снегом Невского его снова кто-то осторожно тронул за рукав. Капитонов увидел того же прохожего.

— Извините. Ради бога, извините. Мозги, видно, тоже худеют от голода. Помутилось вот в голове. Решил, что вы хотите меня забрать.

— Куда забрать? — не понял Капитонов.

— Ну, арестовать, что ли. За спекуляцию часами. Я же говорю, помутилось в мозгах... Потом очнулся. Одумался. Еле догнал вас. Извините. Как я мог так подумать?! Сам не пойму.

— Не за что извиняться. Идите домой. Ждет ведь вас дочь.

— Сейчас пойду. Мне недалеко... Только прошу вас, очень прошу... Лучше всего — если бы взяли вы часы. Но я понял — вы не возьмете... Дайте мне адрес вашей матери. Мне он нужен...

— Зачем?

— Не знаю. Пока не знаю, зачем именно... Но если не дадите, пойду за вами — узнаю, где она живет.

Капитонов расстегнул полевую сумку, вынул послед-

нее письмо из дома и оторвал от конверта полоску с обратным адресом.

— Вот, возьмите...

Следующий раз Капитонова отпустили домой через два месяца. Теперь он ехал по городу на трамвае. Ехал и не мог нарадоваться тому, что пошел в Ленинграде трамвай. Радовался его веселым, бодрым звонкам. В них звучало что-то весеннее, задорное. Да ведь не зря и раздавались звонки. На улицах было много пешеходов. Вдоль всего маршрута трудились женщины. Одеты они были все по-разному — кто в телогрейках, кто в зимних пальто с меховыми воротниками... Платки, шляпы, армейские шапки-ушанки. Женщины скалывали ломами лед, сгребали снег и, впрягшись тройками и четверками в большие фанерные щиты, стаскивали сколотый лед и снег к берегам рек и каналов. Слышались громкие голоса и смех.

Трамвай несколько раз останавливался из-за артобстрела. Пассажиры вбегали в ближайшие подворотни и подъезды. С воем пролетали снаряды. Враг тоже знал, что жизнь вернулась на улицы осажденного им города.

И дома, в их комнате, стало теперь совсем иначе.

Маскировочная штора поднята. С окна сняты подушки и одеяла. А на кухне идет вода.

Мать и сестра, хотя и ходят по квартире в ватниках, в теплых платках и в перчатках, выглядят совсем не так, как в том страшном феврале. Тогда он застал их полуживыми, почерневшими, замотанными в бесчисленные одежки. Они говорили только о еде, не верили, что сумеют выжить. Мать передвигалась по комнате, держась за стены, за холодную трубу буржуйки, протянутую к окну, за уцелевшую мебель... Теперь все это было позади.

Окидывая взглядом посветлевшую комнату, Капитонов вдруг заметил на буфете знакомый серый мешок с красной вышивкой. Он взял его в руки и прочитал: «Валя К. 4 «а». 1936 год».

— Мама, откуда здесь этот мешок?

— То есть как откуда? — удивилась мать.— Я думала, ты знаешь... Приходил тут с месяц назад один человек. Принес этот мешок, полный отрубей. Сказал, что это от тебя. Мы обрадовались. Время еще было такое тяжелое! Очень нам пригодились тогда эти отруби.

— А больше он ничего не говорил? О себе, о дочке?

— О дочке? Нет, не говорил. Я поняла, что он одинокий... Насчет мешка этого был разговор. Мы хотели пересыпать отруби и отдать ему мешок. А он сказал — не надо, пусть, мол, останется вашему сыну на память.

Капитонов взял в руки мешок, расправил его и молча смотрел на красные ровные буквы вышивки...

— Обещал, что еще к нам придет,— добавила сестра.— Но больше не приходил.

— Как его зовут-то? Что за человек? — спросила мать.— Мы тогда его и не спросили...

— И я не спросил,— ответил Капитонов.— Какой-то человек... Ленинградец... Встретились однажды на улице...

ТАМАРА НИКИТИНА

* * *

Моя сгорела кукла
 в Ленинграде
В тот черный год, ослепший от огня.
Ребячий сон
Был навсегда украден
Не только у меня...
И в год Победы,
С юностью в соседстве,
Наверное, поэтому вдвойне
Грустило незабывчивое детство
О кукле,
Пострадавшей на войне.

Светло, трудолюбиво, увлеченно
Живет моя семья.
С неистребимой нежностью девчонки
К игрушкам сына прикасаюсь я.
В них милое ребячество хранится —
Забытая волшебная страна!..
Я счастлива, что сыну не приснится
Война.

МИХАИЛ ПАНИН

У стен Костылевки

Рассказ

Теперь его портрет висит в краеведческом музее. Уже после войны отыскали где-то групповой любительский снимок, вырезали Семена, увеличили. И хотя художник-ретушер изредно потрудился, стараясь придать значительность простецкой Семеновой физиономии, навел черным брови, подрисовал пиджак и галстук, все же он выглядит на портрете так, словно только что вынырнул из воды — незрячий, с вытянутой тонкой шеей, со спущенными на лоб бесцветными, спутанными волосами.

Году в пятьдесят втором — пятьдесят третьем зачастили в Костылевку из города должностные лица. Вызывали в бригадную контору мужиков, баб, знавших при жизни Дупелева Семена, интересовались, записывали обо всем: какой он был, Семен, какую должность справлял в колхозе, любил ли труд свой и не водилось ли за ним и раньше каких-нибудь героических поступков.

А был Семен всего-навсего пастух, и костылевцы, припоминая, в лад городским смущенно кивали: мол, все верно, пастух он был лучший в деревне, а может, и во всем районе, за что в сороковом году правление колхоза премировало его первым томом «Истории гражданской войны в СССР». В общественной жизни был активен и в праздники первым вывешивал над избой красный флаг. Скотину любил, и скотина его тоже, надо полагать, уважала. Что касается подвигов, то кто-то вспомнил, как однажды Семен спас, вытащил за волосы из реки учительницу Татьяну Матвеевну, деликатно умолчав при этом, что сам же едва и не утопил учителку, поднырнув под нее с игривым умыслом.

И только бабка Крестюха, дальняя и единственная в деревне родственница Семена — был Семен пришлый, ярославский,— говорила, не стесняясь важных городских персон:

— Какой там герой! Чего врать-то... Самого себя сроду защитить не умел. Душа добрая была, что правда, то правда, а вот характеру ему господь не дал.

Я много раз слышал эту историю в детстве. В голодное время, сразу после войны, мать с осени отправляла меня в деревню к бабке,— там хоть картошки всегда хватало, и там я две зимы ходил в школу в соседнее большое село. Синими ранними вечерами, возвращаясь домой с уроков, мы, ребятишки, старались как можно дальше обходить торчащий из снега добротный дубовый крест у самой дороги, могилу Семена, а если обойти было нельзя, снег был глубок, мы, притихнув, рысью одолевали страшное место, но каждый раз кто-нибудь не выдерживал, срывался на галоп и вся компания неслась, страшась глянуть в сторону, до первых дымящих трубами изб Костылевки.

Мне было в ту пору восемь лет, и в Костылевке я впервые увидел кладбище. Мне растолковали, зачем оно, и я напугался на многие годы. Но деревенские дети очень рано познают реальность человеческого предела, там кладбище всегда где-то рядом, за гробом идут всей деревней, от мала до велика, стоят над могилой, когда в нее опускают на полотенцах гроб, и дети каждый раз во всех подробностях прослеживают последний путь человека. И вот эти-то мои умудренные деревенские сверстники тащили меня всякий раз прочь от Семеновой одинокой могилы. «Ты ведь не знаешь,— пугали они,— не знаешь!» И страшным шепотом, оглядываясь по сторонам, рассказывали, что собственными ушами слышали, как мертвый Дупель зовет по ночам своих малолетних ребятишек.

Наслушавшись такого, я ночью, лежа на теплой печке, всматривался тайком в ледяную, тихую жуть за окном. Темно в избе, привычно скребутся в чулане мыши, чадит лампадка в переднем углу, а на улице от луны, от снега ясность, как днем, и ни души на дороге. Лают собаки в разных концах — лениво, на всякий случай, потом вдруг все разом, в кучу за кем-то невидимым, грызут, гонят по деревне, все ближе, ближе, и вот сейчас, сейчас...

— Бабушка! Бабушка!

— Что, милок? — положит мне на плечо она свою теплую, шершавую ладонь.

— Дупель ходит, слышишь?

— Какой Дупель?

— А тот, которого убили.

— Свят-свят! — бабка закрестится, перекрестит меня, укроет половчей дерюжкой.— Спи, дурачок,— но сама

долго еще ворочается, вздыхает, а если собаки особенно уж злобствуют, слезет с печки, подойдет к окну, к дверям, потрогает запоры.

В другой раз бабка сама принималась рассказывать о Семене, о том, как он жил и как убили его.

— Такой безобидный был чудик, царство небесное, таким всегда в раю есть место.

— А почему чудик, бабушка?

Судя по тому, как бабка задумывалась всякий раз над этим вопросом, она и сама не знала почему.

— А кто его теперь знает. И то сказать: что взять с мужика, если он калека, пастух неграмотный, бобыль многодетный. Каждый видел себя перед ним сильным да умным. За то и любили...

И бабка, пожалуй, была права. Судите сами. Был Семен от рождения сухорук, правая рука висела плетью. И хотя левой рукой он владел в совершенстве, делая иногда то, чего иной и двумя не сможет, расписаться не умел и изредка, когда в этом случалась нужда, ставил вместо подписи робкий крестик. Отчего получилось так, что он, живой и любознательный, не закончил и четырех классов, никто не знал, он поселился в Костылевке в тридцать шестом году уже семейным мужиком, имея пять человек детей. За год перед тем, продав избу, корову и бросив остальное нехитрое хозяйство в своей родной ярославской деревне, Семен с женой и ребятишками всем гамузом подались на Кавказ. Жила в душе Семена любовь к дальним странам.

Но денег путешественникам хватило лишь до Ростова, и одному богу известно, как и на какие шиши Семен полгода со своим табором пробирался обратно. Костылевка приглянулась ему. По слухам, название свое деревня получила в те далекие и славные времена, когда князь Дмитрий Донской, возвращаясь с Куликовской битвы, потерял в этих местах свой костыль.

— Надо же, какое историческое место! — удивился Семен и навсегда остался в Костылевке.

Еще через год Семен овдовел. Его тихая, работящая жена, возвращаясь однажды из города, наступила в сумерках на оборванный электрический провод, и Семен в двадцать восемь лет остался бобылем с шестью ребятишками мал мала меньше, в избе-развалюхе, пустовавшей еще до него лет десять, гол, кое-как перебивался из года в год, благо картошка да огурцы в тех местах родят отменно.

Но при всем при том был Семен самый веселый человек в деревне. Вставал и ложился с прибауткой, частушки сочинял на все случаи жизни. И вот эта его непокорность судьбе удивляла односельчан. «Детей шесть душ наколупал Дупель, ребята хлеба досыта не едят, а он знай дудит на своей дудке. Зачем было на свет пускать, если так-то...»

— Ничего, пусть живут,— случалось, опечалится Семен, но быстро отгонит кручину. Пусть живут! Жизнь — счастье. Как люди этого не понимают? Дети вырастут, выучатся, станут инженерами, военными, врачами, разлетятся во все концы, увидят дальние страны, прекрасные города, все то, чем обделила его, калеку, слепая судьба. И дети не забудут своего доброго отца, его скупую ласку и посильный хлеб. Он, старый, будет жить у них, то у одного, то у другого, в чистоте, в достатке, и много радости еще впереди. Жизнь добра.

Так он говорил всем. И все над ним смеялись. И жалели горемыку. Иной раз какая-нибудь жалостливая соседка забежит к нему с куском ветчины в тряпице для сирот, увидит, как дружно и весело управляется вокруг чугуна с картошкой белоголовая замурзанная компания, и остановится растерянно в дверях.

— Я вот, Сема, мясца принесла ребятам, сироты горемычные,— всплакнет неуверенно.

— А мы, тетка, мяса не едим,— нарезая тонкими ломтями хлеб и оделяя каждого щепоткой соли, моргнет детям Семен,— от него, от мяса-то, спичек потом не напасешься, в зубах чтоб ковырять...

А то, бывало, сходит в сельпо за солью, за спичками, за всякой мелочью, и никогда не забудет ребятам гостинец принести, всегда, между прочим, один и тот же: семь длинных конфетин в хрустящей пестрой бумажке с бахромой. Шесть штук сразу раздаст, по одной каждому, а седьмую... На то, как и кому Семен вручал седьмую конфету, сбегались глядеть со всей деревни.

При всем честном народе Семен усаживался нога на ногу на завалину, держа конфету за ухом, как папироску, сворачивал не спеша цигарку одной рукой, закуривал. Ребятишки его тем временем тащили на улицу лавку и строились перед отцом по ранжиру, на правом фланге старшая, одиннадцатилетняя Нюрка, на левом — трехгодовалый пузатый Пашка в одной куцей рубашонке, без штанов. Затем Семен, критическим взглядом окинув братию, отделял хворостинкой от строя девок, Нюрку с Зин-

кой, сомнительно глядел на малыша, чесал за ухом и наконец делал знак — представление начиналось. Один за одним, сменяя друг друга, Василий, Гришка, Сергей и Пашка проворно карабкались на лавку и скороговоркой выкладывали все, что у них заготовлено было на этот случай. Седьмая конфета предназначалась победителю в соревновании, самому знающему из четырех Семеновых сыновей, тому из них, который скажет самый складный матерок...

Впрочем, это уже было похоже на досужий вымысел, потому что многие утверждали как раз обратное: за каждое принесенное с улицы ругательство Семен незамедлительно снимал провинившемуся штаны, брал хворостину и таким старым способом внушал сыновьям уважение к чистоте русской речи. И еще он почему-то считал, что матерщинников не берут в Красную Армию...

А Красная Армия, наряду с дальними странами, была еще одна неизменная его любовь. Если он и жалел о чемнибудь, то только об одном — что не привелось ему, как другим, молодым и сильным, шагать в солдатском строю. Он знал множество военных песен, новых и старых, и обучал петь их свою мелюзгу. В праздники он надевал самую дорогую вещь, имевшуюся в его хозяйстве,— пилотку с красной звездой. А когда началась финская война, Семен несколько раз ходил в город, с безумной надеждой кружил вокруг военкомата и потом уверял всех, что со дня на день ждет вызова в Москву, в Главный штаб.

И еще много всякого рассказывали о Семене в Костылевке. Где правда, где вымысел? Спустя много лет я однажды увидел его портрет в музее, и давняя история открылась мне совсем иным, истинным своим, высоким смыслом.

А история такова.

В самых последних числах октября сорок первого года передовые разведотряды немецкой армии захватили Н.— небольшой, ничем не знаменитый городишко на югозападе Рязанской области. Немцы пробыли в нем всего два дня. За эти два дня они взорвали в городе почти все каменные дома, старинную церковь на базарной площади, расстреляли в городском саду двадцать пять комсомольцев, в основном школьников из старших классов, и дотла сожгли несколько деревень в округе. На третий день немцев вышибли из города моряки Тихоокеанского флота, прибывшие оборонять Москву. Морская пехота

выгружалась из эшелонов на соседней с Н. узловой станции и, в пеших порядках одолев до города двадцать километров, с ходу устремлялась в бой. Черные, молчаливые колонны моряков, покачивая штыками над головой, не останавливаясь, шли и шли весь день мимо Костылевки, и бабы, старики да ребятишки, только и оставшиеся к тому времени в деревне, дивились из окон такому множеству молодых, сильных мужчин и втихомолку крестили их,— сохрани, господи, неужто и эти не остановят немца?

Но все это было лишь на третий день. А до того в Костылевке два дня с часу на час ждали немцев, до города было всего десять верст.

О том, что немцы уже в городе, в Костылевке узнали поздним вечером — догадались по огромному дымному зареву в той стороне. Горели подожженные местными комсомольцами пристанционные склады. Вся деревня от мала и до велика высыпала на улицу, смотрела на пожар, голосили старухи, причитая, как на похоронах, молча теребили бороды старики, носились из конца в конец мальчишки, вопили на всю деревню: «Герма́н, герма́н идет!» Потом все попрятались. Улица опустела, и даже собаки, чуя беду, притихли в своих закутках. Все сидели по домам, притушив огни и занавесив окна, снимали со стен плакаты, портреты героев гражданской войны, вытаскивали из рамок под божницами фотографии сыновей, родственников, снятых в военной форме, иные жгли, другие прятали подальше в укромные места. Единственный в деревне представитель власти, оставшаяся с начала войны за бригадира Катюха Гришина, молодая партийная баба, пригнала в темноте к своему дому телегу, посадила в нее старуху мать, двоих ребятишек и, нахлестывая изо всех сил лошадь, уехала к родственникам в соседний район. Никто не спал в ту ночь.

А утром по деревне пошел Семен Дупель. В вытертом домотканом армячишке, туго подпоясанном куском веревки, с двустволкой за спиной и с шелковой алой повязкой «Красная гвардия» на рукаве. Повязку эту Семен аккуратно вырезал из толстой красивой книжки о гражданской войне, которой его премировали за ударный труд. И хотя город по-прежнему горел, клубился в той стороне черный дым и вот-вот должны были показаться на бугре немецкие танки, Семен был спокоен и как-то по-особенному торжественно важен. Широко и твердо, хозяином вышагивал он по деревне на своих длинных,

тощих ногах, солидно здоровался с бабами, стариками, озадаченно уступавшими ему дорогу. Он был серьезен — впервые, может, быть, с тех пор, как похоронил жену,— но, скосив взгляд на повязку с золотыми буквами, самодовольно ухмылялся: знай наших... За ним гурьбой, глядя во все глаза на такого важного своего отца, бежали пятеро его ребятишек, с гордостью оглядываясь по сторонам, тащили по очереди на руках шестого, закутанного в овчину трехлетнего Пашку.

В конце единственной деревенской улицы Семен важно подошел к куче баб, толпившихся у колодца, и, выставив повидней повязку, заявил:

— Вот, бабоньки, взял власть в свои руки! Что пригорюнились?

— А чему радоваться, Сема, немец идет.

— Ничего, не в первый раз. Должны остановить — Куликово поле рядом. Эх, мать честная! — Семен поглядел на свою мертвую, прихваченную к поясу руку, отвел глаза, прищурился на далекое зарево над бугром и улыбнулся каким-то своим тайным мыслям.

— Счас, надо думать, войска подходить начнут. Войска,— продолжал он, доставая из-за пазухи кисет и бумажку,— антиллерия, пехота, танки... авиация,— любовно выговаривал он мудреные военные слова.— Эх, мать честная!

— Какие войска, Дупель? Ты что мелешь?

— Какие? Ясно какие! У которых звезды на лбу! Красная Армия — вот какие!

Бабы, не слушая его, расходились. Какая там Красная Армия — немцы, сказывают, Москву взяли...

— Ну и черт с вами! — кричал вслед им Семен.— Не понимаете ни хрена в военной стратегии!

А стратегия эта, в представлении Семена, состояла в том, что, отступая и заманивая таким порядком противника в глубину России, в ее бесконечные пространства, в леса, в болота, в снега и непролазные грязи, Красная Армия до последней возможности отстаивала каждый город, каждое село и каждую деревню на своем пути. И если вчера немец занял Н., то Красная Армия, отступая по большаку, вот-вот должна была появиться с той стороны, где горел город, и занять оборонительные позиции на околице Костылевки... А уж в то, что Костылевку будут защищать особенно упорно, Семен верил свято, верил, имея в виду не столько славное историческое прошлое деревни, сколько особо выгодное, по

его мнению, ее стратегическое положение. Дело в том, что восемнадцать дворов Костылевки были рассыпаны в беспорядке у подножия пологого глинистого бугра и дорога из города лежала через самую его вершину. С одной стороны бугор обтекала хотя и узкая, но глубокая речка, в которой на памяти стариков перетонуло пропасть народу и по той причине представлявшая серьезную преграду для неприятельских войск. С другой стороны бугра тянулась до самого города широкая, извилистая лощина. Так что, имея позиции у самых дворов Костылевки, можно было прицельным ружейно-пулеметным огнем уничтожать неприятеля волну за волной по мере того, как он будет появляться на взгорке...

— Тебя бы, Сема, в Москву, поучить генералов,— невесело посмеивались над ним.— А то все заманиваем, заманиваем, куда дальше,— может, и армии уже никакой нету...

— Как же! Нету! Да если вы хотите знать!..— Семен таинственно понижал голос, желая всей душой сказать нечто исключительно важное, известное во всем Советском Союзе только ему да еще двум-трем начальникам в Генеральном штабе, не считая, конечно, главнокомандующего.— Если вы хотите знать...— но, смерив скептически собеседника, решал до поры попридержать тайну и только махал рукой.— Ладно-ладно, вот появятся войска, пехота, антиллерия, тогда помянёте мои слова. Помянё-ёте!

Так и ходил он по дворам, разъяснял всем свою стратегию. И хотя никто не принимал всерьез его болтовню, все же от слов о Красной Армии, о войсках, о пехоте с артиллерией и авиацией и о предстоящей великой победе становилось легче на душе и хотелось верить, что будет-таки эта победа рано или поздно, и есть, в конце концов, Красная Армия, и пехота, и танки, и что еще там. Ведь уходили куда-то из дома мужья, сыновья и братья. Может, и впрямь подойдут еще свои.

Но часам к двум пополудни мальчишки сбегали на бугор и в точности установили, что никаких войск, ни наших, ни немецких, сколько видно глазу, не наблюдается. А только в стороне от города, ближе к Костылевке, стало сильно что-то дымить за Киселевским лесом и что это, скорей всего, немец зажег Свинушинскую слободу. А до Свинушек от Костылевки хорошим шагом полтора часа ходу.

Семен сам сходил на бугор и долго смотрел из-под руки на дальние пожары. Не то что ни одного русского

солдата — ни единой живой души не было вокруг, ни в поле, ни на дороге. Холмистая голая равнина простиралась до самого горизонта, и там, где сливалось с землей белесое осеннее небо, клубились ленивые, неслышные дымы. Нет, видно, не все еще понимал он в высшей стратегии войны. Какой-то такой неизвестный ему маневр задумали в Верховном штабе. Что ж, сверху видней, в Москве головы большие сидят, там карты, и весь театр военных действий у них как на ладони. А он что, никто его не учил стратегии, сам, как Буденный, до всего допер. Теперь, надо думать, в сложившейся обстановке войска от станции через Казенный лес выйдут на Костылевку. Тоже неплохо! И, возвратясь уже в сумерках в деревню, Семен опять побежал по избам разъяснять хитрый замысел Верховного командования.

Ночью в деревне опять не спали. Сидели впотьмах, боясь зажечь лампу, прислушивались, шептались по углам. Только Семен всю ночь ходил с ружьем из конца в конец по деревне, стучал в колотушку, подходил к темным окнам, заглядывал: «Как там, в штаны еще не наложили?» Пару раз к нему выбегала старшая его, Нюрка, приносила ему поесть горячих картошек. Подкрепившись, Семен принимался петь: «Она моя, ента-ента, голубая в косе лента!..» Заслышав песню, за стенами переставали шептаться, переглядывались, старухи поспешно крестились: накличет беду ненормальный, и беззвучно смеялись.

Утром, только-только рассвело, побежали по дворам Дупелевы ребятишки: «Выходи, народ, папанька на сходку кличет!» Собралась у Семеновой избы чуть ли не вся деревня: что-то новое придумал Сема. А Семен выставил на улицу скамейку, накрыл ее линялым красным сатином от праздничного флага... Сверху, для пущей важности, положил газету «Труд». И стал говорить.

Вначале, пока он, размахивая здоровой рукой, доказывал, что Красная Армия уже на подходе, называл точное количество пехотных, танковых и авиационных формирований, брошенных Ставкой на защиту особо выгодных рубежей, клялся, что знает такое, такое знает,— его все же слушали. Но когда Семен подошел к сути, к самому главному, ради чего и собрал ни свет ни заря всю деревню, народ молча стал расходиться. Суть же его соображений заключалась в том, что для полного и окончательного разгрома немецких войск под Костылевкой необходимо было сейчас же, немедля, начинать всей де-

ревней фортификационные работы, с тем чтобы войска пришли не на голое место.

— Подойдет пехота, а у нас все готово, окопчики в полный профиль! Получай, Красная Армия, подмогу от трудового крестьянства!

Когда он закончил говорить, перед ним в нерешительности топталось пять-шесть баб, да и те повернулись было дать тягу, но Семен пригрозил, что за уклонение от оборонных работ будет самолично отбирать растасканные по дворам колхозное сено и инвентарь. Угроза подействовала, и, выстроив баб да еще с десяток мальчишек, увязавшихся за матерями, Семен повел команду на бригадный двор, вручил всем лопаты, ломы, и к полудню на северной, обращенной к городу околице Костылевки закипела работа.

Но кипение это происходило в основном за счет ребячьего энтузиазма да веселой и бестолковой суеты самого Семена. Бабий же состав без всякого воодушевления тюкал ломами твердую уже землю, тоскливо поглядывая в сторону своих дворов, и на чем свет стоит честил самозванное начальство. В конце концов бабы, выкопав несколько ямок в три-четыре штыка, побросали лопаты и разошлись по домам,— срамота одна. За бабами вскорости разбежались и мальчишки. И Семен со своими Нюркой, Гришкой, Серегой, Ванькой, Зинкой и Пашкой остались за околицей одни. Семен молча, то и дело вытирая плечом мокрое лицо, долбил и долбил ломом, а ребята, суетясь, как муравьи, ведром выбирали наружу землю. И уже в сумерках отрыли они кое-как шагах в пяти от дороги за невысоким бугорком яму величиной с могилу, но неглубокую, так что, когда Семен спрыгнул в нее, она была ему чуть выше пояса.

Закончив работу, он вылез из ямы и долго оглядывался по сторонам. Темнела невдалеке деревня черными избами без огней, тянулись до горизонта пустые, унылые поля с редкими стогами тут и там, чернел дальний лес, белела дорога, извилисто убегавшая за бугор. Нигде ни звука. Не слышно было топота спешащей пехоты, не слышно танков и артиллерии, и Семен понурясь побрел в деревню.

Утро третьего дня занималось ясное, с густым, обильным инеем на траве, на стогах, на соломенных и тесовых крышах, с прозрачным тонким ледком на дороге, с ровными струями дымов из труб. Все искрилось и блестело вокруг, и солнце обещало не уходить с неба до самой темноты.

И костылевцы, измученные неизвестностью и ожиданием, глядя на эту ясность, нарядность и нерушимый порядок в природе, повеселели. Явилась незамедлительно надежда, что все вчерашние страхи пустые, и хоть война, и никуда от нее не деться, все же она, даст бог, не придвинется вплотную к родным стенам.

К тому же оказалось вдруг, что дым, клубившийся два дня и две ночи над городом, исчез, словно его и не было никогда. Все смотрели в ту сторону, ничего не понимая. Побежали к колодцу бабы послушать, что говорят, отвести душу. Может, и вправду все еще обойдется.

Но побежавшие на бугор мальчишки быстро-быстро прибежали обратно.

— Едут! Едут! Немцы едут!..

И вмиг улица опустела. Деревня как вымерла, притаилась, костылевцы метались за стенами своих жилищ, громыхали щеколдами, зачем-то тушили огонь в печках. Брошенная в своих загородках, требуя пищи, тупо и безразлично надрывалась скотина.

Бабка Крестюха как раз собиралась лезть в подпол прятать завернутый в мешковину портрет племянника, подполковника, снятого в военном, когда с улицы, пропустив вперед себя всю свою братию, согнувшись, вошел Семен. Ребята были одеты как в дорогу, во все теплое, в валенках, в подпоясанных зипунках и с узелками. Семен с ружьем, с красной повязкой, но, против обыкновения, какой-то сосредоточенный и смирный.

— Вот, бабка,— подталкивая сбившихся в кучу детей, виновато улыбнулся он.— Присмотри за ними, если что... А я того-этого,— он неопределенно махнул рукой,— я пойду.

Крестюха, ничего не понимая, моргала, сидя на полу и свесив в подпол ноги. Дети покорно прошли вперед и, держа перед собой узелки, выстроились у стенки.

— Они у меня смирные, бабка, едят мало. Картошки у нас в подполе на всю зиму хватит, соль, мыло есть. Ты не серчай.— Он неловко погладил по волосам самого младшего, Пашку.— Нюрка уже большая, приглядит за мелюзгой. Не серчай, бабушка.

Он надел шапку и, растерянно улыбаясь, пятясь, медленно вышел в сени. Хлопнула наружная дверь. Опомнясь, Крестюха выскочила за ним на улицу, но он уже был далеко, уходил прочь широкими, решительными шагами.

— Сема! Сема! Воротись, Сема! — заголосила бабка.

Семен обернулся, на ходу сдернул с плеча ружье и высоко поднял его над головой.

— Ничего, бабушка, не горюй! — крикнул он.— Я отобьюсь, вот увидишь! Я отобью-усь!..

...На фотографии Семен выглядит старше своих лет. Он насуплен и суров, преисполненный важности момента, но в углах губ таится едва сдерживаемая простецкая улыбка. Скорее всего перед камерой заезжего фотографа стояли в три-четыре ряда молодые деревенские парни и самые ушлые лихо дымили папиросками в первом ряду. В центре, развернув меха, устроился гармонист. Семен притулился сзади, прибежал от своего стада в последний момент и страшно боялся, что̀ его не будет видно...

Едва Семен успел выбежать за околицу и вскочить в свой отрытый с вечера окоп, на бугре показался безносый зеленый грузовик, битком набитый солдатами в рогатых касках. Всего одна-единственная машина. Чуть приспустившись с бугра к деревне, грузовик замедлил ход и остановился. Из кабины вылез офицер в длинной шинели, в каске, прошел вперед и стал рассматривать в бинокль пустынную, притаившуюся Костылевку.

Деревня лежала перед ним в километре, неказистая и беззащитная, два-три десятка приземистых домишек без оград и садов, рассыпанных в две неровные цепочки у подножия холма. За деревней, огибая ее, блестела уже тронутая первым льдом речка. За речкой белели просторные заиндевевшие луга с разбросанными кое-где одинокими островерхими стогами. Еще дальше чернел у горизонта молчаливый густой лесок. Унылая, однообразная сторона.

Немец опустил бинокль и, обернувшись, что-то скомандовал своим. Солдаты попрыгали на дороги и, развернувшись в цепь, пошли на Костылевку.

Пройдя половину пути до первых изб, немцы остановились. Вперед выбежали два солдата, поставили пулемет и легли возле него на землю. Утреннюю тишину распорола длинная сухая очередь, затем еще одна и еще... Но пули просвистели высоко над деревенскими крышами, лишь кое-где повыщербив кирпичные трубы.

Вряд ли немцев насторожило что-нибудь. Стреляли на всякий случай, для острастки, хорошо понимая, что некому защитить глухую, крошечную деревушку. Ничего не боялись они. Только смутила их на какое-то мгновение даль без конца и без края, открывшаяся за Костылевкой. Громко перекликаясь, немцы снова двинулись

вперед. Офицер шел по дороге в середине цепи, курил, положив свободную руку на кобуру пистолета.

Все это время Семен стоял на коленях в своем окопе, пригнув голову к животу, и, когда немцы ударили из пулемета, они были от него в ста шагах. Когда пулемет умолк, он приподнял голову и увидел совсем рядом лица чужих солдат, черные стволы автоматов, услышал гортанный, нерусский говор, смех. Цепь надвигалась на него, и не было уже пути назад. Ближе всех к нему шел офицер, молодой, высокий, в блестящих сапогах, в перчатках, с большим револьвером на животе. Шел легко и спокойно, как по своей земле, улыбался, с удовольствием вдыхая пряный воздух осенней деревни, пахнущий горелой ботвой с огородов, подтаявшим навозом, прелой соломой с крыш. Он был счастливый, этот немец: смерть поджидала его в двух шагах, за маленьким бугорком на ровном месте, но, щадя, ничем не выдавала себя до последней минуты..

Семен подпустил цепь почти вплотную, и, когда уже слышно стало дыхание и шорох мерзлой травы над головой, он встал, скособочившись, неловко придерживая ружье плечом недействующей руки, и, прежде чем умер, разрезанный очередями автоматов, успел дважды выстрелить, из двух стволов.

Немцы залегли и открыли бешеную стрельбу по деревне. Строчили по окнам, по наглухо запертым дверям, по крышам и сеновалам, по всем местам, где мог притаиться вооруженный враг. У крайних изб одна за другой рвались гранаты. Деревня отвечала лишь слабым перезвоном падавших на землю стекол, да в хлевах, взаперти, ревела испуганная скотина.

Потом все смолкло. И, приготовясь к самому худшему, костылевцы долго не решались выглянуть наружу. А когда выглянули, немцев нигде не было видно. Висела в воздухе пороховая патронная гарь, дымилась на краю деревни сырая солома на крыше колхозного амбара, а по дороге со стороны станции, торопясь, подходил к Костылевке отряд моряков.

И тогда все, и молодые, и старые, и дети, побежали за деревню, туда, где на влажной, оттаявшей земле, раскинув руки, лежал мертвый единственный ее защитник.

Народ плотным кольцом обступил Семена, и кто-то закрыл ему глаза, сложил на груди руки.

Мимо спешили по дороге морские отряды. Один отряд остановился. Комиссар в кожаном реглане подошел к толпе, и толпа молча расступилась перед ним. Комиссар склонился над Семеном, поднял с земли стальную немецкую каску и, выпрямившись, обвел взглядом людей.

— Чей он?

Толпа колыхнулась и вытолкнула на середину стайку сгрудившихся, цепляющихся друг за друга ребятишек. Вперед вышла русая строгая девочка и, приподняв худые плечи, замерла перед комиссаром.

— Наш...

Матросы похоронили Семена по-солдатски, завернув его в плащ-палатку, опустили в окоп у дороги. Грянул ружейный залп, и отряд, сверкая штыками, ушел вперед. Потом уже старики поставили на могиле крепкий дубовый крест.

Детей Семеновых вскоре отвезли на станцию, в детский дом, и о них никто больше не слышал в деревне. А лет двенадцать спустя, когда страна принялась разыскивать безвестных своих героев, вместо креста у дороги поставили обелиск со звездой — в память о том, что на этом месте в сорок первом году колхозник Дупелев Семен Тимофеевич пал смертью храбрых.

АНАТОЛИЙ КРАСНОВ

* * *

Здесь почвы окопный распил,
Развалины старого дота.
Случайно привал я разбил,
Где насмерть стояла пехота.

Раскопок я тут не веду,
Я здесь не в туристском набеге...
Есть память,
там все на виду,
Как в лаве,
застывшей навеки.

Раздор, как беда иль вина,
Страшней от его повторенья:
Все больше преступна война,
Все сладостней муки творенья.

Нет, мир наш не будет забыт,
Дойдут до иных поколений
Не доты —
свидетельства битв,
А книги —
следы размышлений.

А думали мы о любви,
О чести, труде и Отчизне,
И мы говорили:
«Живи!» —
Всему,
что рождалось для жизни.

АНДРЕЙ УШИН

«Март»



МИХАИЛ ДЕМИДЕНКО

Замшевые туфли

Рассказ

1

У Зиновия не было глаз. У Николая глаза были, но не было рук.

Зиновий родом из Сибири, с Тырети. Когда он сидел на табуретке и сосредоточенно слушал последние известия с фронта о том, что наши войска подходят к Берлину, казалось, что это сидит зрячий человек и, прикрыв глаза, вспоминает танковый полк, ребят... Зиновий был на редкость молчалив. Он все время мерз — странное состояние для коренного сибиряка. Видно, когда горел в танке, с тех пор он никак не может согреться. Не грел даже красный американский комбинезон на обезьяньем меху, весь в застежках, с огромным пушистым воротником.

Родиной Николая был Ростов-на-Дону. Николай высокий, черный. Слеплен из нервов. Ходил, хватал культями кружку, молоток, табакерку, масленку для оружейного масла. На культях по разрезу — вроде как два огромных пальца. Пальцы были слабыми, непослушными. Все падало на пол.

Зиновий молча, запрокинув голову, шарил руками по полу, находил оброненное, так же молча ставил вещи на место.

Зиновий был невозмутим. Николай открыт для всех ветров — воротник расстегнут, брюки — тоже. Просить Зиновия о мелочах... Николай просто не обращал внимания на подобные мелочи. Он кипел, бушевал, громко и горестно сожалел, что не может сейчас быть в Германии, отомстить фашистам за погибшую в Ростове родню, за слепого друга, за себя...

Они были очень не похожи друг на друга — слепой и безрукий. Одно было у них общее — оба были инвалидами войны. Звали войну Отечественной.

Так и жили всегда вместе. И в баню, и в собес, и на вечеринку — иногда приглашали — ходили вместе.

Зиновий садился в угол. Танцевать он не умел. Долго настраивал гитару. Играл, забыв обо всем. Пел и дерз-

кие, и двусмысленные песни, которые пели беспризорники по сибирским поездам.

Слепому шел двадцать третий год...

Николай танцевал. Женщины водили его в танце. Все-таки мужик, все-таки с ним лучше танцевать, чем с подругой. Тело у Николая было жилистое, чуткое...

Безрукому шел двадцать второй год.

Иногда друзьям перепадала и женская ласка. Находились вдовые солдатки, согласные взять к себе в мужья, разлучить по семьям.

Но друзья нужны были друг другу. Их объединяло большее, чем любовь. Их свели горе, раны. А раны болели, и кто не испытал этой боли, плохо понимает ее.

И еще одно — у них была общая тайна. Звали эту тайну Ритой.

Рите исполнилось семнадцать.

2

Зимовали друзья в подвале разбитого дома. Как могли, подштукатурили, навесили дверь, пробили дымоход... Жить можно было. По сути, человеку очень мало требуется. Правда, в оттепель с потолка капало.

Когда Рита приходила в гости, Зиновий переставал мерзнуть. Шел за дровами, затапливал буржуйку. Он уверенно находил что нужно и не сидел сиднем на табуретке, уйдя в свой мир без света и красок.

Николай умудрялся сам застегнуть пуговицы, не метался как угорелый, роняя все, что попадалось на пути.

Кормили гостью деликатесами — омлетом, тушенкой, доставали к чаю карамель «Рекорд»: ребята отоваривались по литеру «А».

— Откуда у вас столько вкусного? — удивлялась Рита. Она любила сладкое и не скрывала этого. Девушка работала на оборонном заводе формовщицей, набивала формы для корпусов «лимонок». Она до тонкости знала все системы ручных гранат: наших, немецких, итальянских, американских, английских, но на вкус не могла отличить «Раковую шейку» от ириски.

Рита очень любила сладкое...

Разогревшись от чая, сдергивала с головы серый платок, как непомерный груз сбрасывала.

Война пожалела Риту, обошла стороной, не опалила, если не считать коронки из нержавеющей стали на переднем здоровом зубе. Фикса придавала Ритиной улыбке

этакую трын-травинку, будто была она медсестрой в батальоне морской пехоты.

Николай отходил к двери, издалека любовался самым что ни на есть совершенным на земле — молодой красивой девчонкой. Ее не уродовали даже промасленный ватник, суконные брюки и валенки с чунями из старых автопокрышек.

Зиновий слушал голос Риты. Он догадывался, что она хороша. Друзья никогда не откровенничали о ней.

Только с Ритой Зиновий становился разговорчивым. О чем только он не говорил с ней! О том, что самый первый цветок — подснежник, самое благородное дерево — кедр, а в Москве есть царь-колокол. Жаль, никто не слышал его баса, гудел бы, наверное, на всю Москву...

В один из вечеров Рита рассказала, что к ее подруге Зинке Прохоровой приезжал знакомый летчик. Жил пять дней. Потом уехал на фронт.

— Он Зинке патефон подарил и десять немецких пластинок. Танго и вальсы... Танцевали! Летчик меня пригласил. Я ему сапоги чунями оттоптала. Мы его на вокзал провожали. Теперь поезда не теплушки, а настоящие, с полками и окнами. Так бы и поехала. Если уехать далеко-далеко, там жизнь другая? Как вы думаете, ребята?

— Наверное,— сказал неопределенно безрукий.

— Везде она одинаковая...— сказал глухо слепой.

На этом разговор о Зинке и закончился, но через некоторое время Рита прибежала к друзьям возбужденная и восторженная.

— Мальчишки, что я видела!

— Что видела?

— Зинке посылка из Германии пришла, а в ней туфли. Настоящие! На каблуках! Лаковые. Нога в них... совсем другая.

Рита сбросила стопудовые валенки, показала, какое положение бывает у ноги, когда на них лаковые туфли.

Николай смотрел не моргая. Зиновий присел, дотронулся... Пальцы у него дрожали, точно бабочки порхали.

Когда Рита ушла, ребята легли спать. Зиновий зажег карбидку, сделанную из снарядных гильз. Ему-то света не требовалось, но друг не мог заснуть в темноте.

Они улеглись на костлявые обгорелые кровати, принесенные с развалин. Накрылись шинелями. Сон не шел. Николай ворочался, что делать не полагалось,— укры-

вать и подсовывать под бока госпитальные одеяла, натягивать сползающие шинели мог лишь Зиновий. Ему нужно было встать, чтобы помочь другу, а он мерз, хотя и спал в меховых брюках от комбинезона.

Славный был комбинезон — ни у кого в городе такого не имелось, летный, американский. Единственный комбинезон на целый город. Когда кого-нибудь из ребят уводила в гости вдовая солдатка, «жених» надевал куртку с отложным воротником. Он был неотразим... Вещь была добротная, фасонистая.

— Странно устроены женщины,— не вытерпев, заговорил Зиновий.— Дома, города прахом пошли. Электричества нет, топлива, водопровод не работает — привыкла. А увидела туфли — разучилась говорить от зависти.

— Это не зависть.— Николай смотрел в каменный потолок.— Нашей Рите семнадцать лет. Я точно знаю, что пройдет время — и города отстроятся. По улицам пойдут трамваи, а то и троллейбусы. Магазины будут на каждом углу. Честно! А в них какие хочешь туфли, даже босоножки. Но нашей Рите будет уже не семнадцать. И может так случиться, что туфли ей будут совсем ни к чему. Дочка ее будет в них щеголять по набережной, а в садах будут играть духовые оркестры...

Ребята помолчали. Каждый попытался представить себе, какая это будет жизнь во вновь построенных городах. Свет в карбидке угасал — кончилась вода, перезаряжать не имело смысла.

— А Рита красивая? — спросил осторожно слепой.

— Так бы и обнял! — горячо ответил безрукий.

— Понятно, почему ей захотелось пофасонить. А знаешь что...— Зиновий понизил голос до шепота.— Я ей сошью туфли! Точно! Такие, каких ни у кого нет и не будет! Ахнут все! Только кожу надо. Для верха — мягкую, нежную. А подошву — крепкую, не резиновую, из спиртовой кожи. Между стелечками — бересты, для скрипу, чтоб поскрипывали, как сапожки.

— Ты ей еще портупею нацепи и котелок навесь, чтобы позвякивал,— не согласился Николай.

Зиновий размышлял:

— Ну ладно. Мы ей без скрипу! Мы ей подарок. Пусть ходит как именинница! Будут ей туфли! Это я тебе говорю.

8

Мороз перевалил за двадцать градусов. Терпеть бы можно, да ветерок наскакивал, дух захватывало, а по лицу точно гвоздиками ударяло.

Шли друзья споро. Николай был за поводыря. Пришли на базар. Сюда сходились все пути. Базар был желудком голодного города, базар был портным, базар — плотник, базар — барыга, базар — шутник, базар — обида... Сотни здесь не считали, рубли пересчитывали, копейки забывали. Сюда приходили в теплом пальто, уходили в рваном ватнике, но с буханкой хлеба на груди; сюда несли серьги матери, уносили горшок коровьего масла. Сюда шли, если грустно. А если загулял... тоже сюда. Пивных не было. Был базар.

Знакомые инвалиды, те, которые могли привозить из деревень махорку и продавать по тридцать рублей стакан, насыпали друзьям курева. Торговки газетами свернули им по цигарке. Крикливые бабы с обжорки, где ряды уставлены завернутыми в одеяла чугунками со щами, вареной картошкой, догоняли их, совали в карманы червонцы, шматки сала, сахар... Просто люди, покупатели, а не завсегдатаи базара, сторонились, уступали дорогу и тоже совали, совали, делились последним, отдавали последнее. Нет! Это было не подаяние! Не милостыня! Нет! Это было вроде: «Здравствуйте, сыночки! А моего-то не видели? Где мой-то? Живой или тоже вот идет с дружком, и кто кого ведет? Сын ли дружка? Или друг сына? Примите, сыночки, подарок, примите! Не побрезгуйте!»

И Зиновий с Николаем знали, что бесполезно отказываться, бесполезно начинать разговор, а то соберется толпа и бабы будут выть в голос:

— Родные! Родные!

Друзья пришли на толчок.

Толчком называли то место, где торговали не продуктами, а кирзовыми сапогами, обмотками, трофейными часами, зажигалками, пробовали на звон — цел ли стакан (стаканы были большой редкостью), торговались до хрипоты за целую строительную доску, пахнущую лесом. Двое парнишек в вытертых английских шинелях сперли где-то кошку (в городе была тьма крыс), просили за кошку пятьсот рублей (и отдашь — кошка необходима). Торговались из-за куска оконного стекла, из-за железной скобы, топора...

Но кожи не было.

Друзья пошли вдоль рядов старьевщиков. На разостланных мешках лежали ржавые замки, помятые примуса, выпрямленные гвозди, довоенная сношенная обувь...

Ребята присаживались на корточки. Николай высматривал дырявые женские туфли, просил показать. Зиновий ощупывал рвань, точно ювелирное изделие. Рассуждал неохотно вслух:

— Низ подрезать — верх оголится, сбоку порвано... Можно, но явно не то. И старая, ломкая. Тришкин кафтан получается. Хозяин, а покрепче ничего нет?

— Нам нужно сделать произведение искусства, понимаешь? — говорил Николай.

— Хватит дурака валять! — устало обижался хозяин.— Произведение им! Что я, рожу, что ли? Шутки шутят... Идите, ребята, не дурите.

— Не шутки, отец,— вздыхал Николай.— Темный ты! Нам нужно сделать, чтоб как хрустальные башмачки у Золушки. Чтоб как у принцессы.

— Нет у меня для всяких...— злился торговец и добавлял в сердцах такое, что Николаю не хотелось продолжать разговор. Ругался хозяин не от злости, а от бедности своей.

За калеками увязалась странная фигура. В морском черном бушлате, голова повязана казацким башлыком. Это был старый, посиневший от холода еврей с сосульками на заросших щеках. Он продавал колесо от детского велосипеда и блестящий, как шлем пожарника, барометр. Барометр никому не был нужен. Старик это понимал, не предлагал его, но, видно, продать больше было нечего, а есть хотелось... Он ходил за компанию. Останавливался позади ребят, сунув барометр под мышку, грел руки в трехпалых солдатских перчатках. Вначале молчал, затем вступил в разговор:

— Что вы им рассказываете? Они забыли, какие книжки читают детям. Это очень грустно. У меня была скрипка. Так ее стопили в теплушке.

Старик не утерпел, присел рядом с Зиновием, нетерпеливо потребовал у старьевщика:

— Ну-ка покажи мне вон ту шваль! Дай сюда! Вы удивитесь — я сапожник. Все кавалеры Одессы поили меня в ресторанах за свой счет. Я знаю, какие бывают принцессы.

Но даже старый сапожник не мог найти ничего подходящего.

Кожи не было.

Ребята и старик отошли к ларькам. Зиновий расстегнул карман комбинезона, достал бумагу, махорки. Закурили. Старик курил с хрипом, глядя грустно на огонек цигарки. Он сказал:

— Я могу дать бесплатный совет — идите домой. Из кожи теперь шьют не туфли, а костюмы вроде вашего. Я знаю... Я проездом через ваш город. И мне негде ночевать.

— Идем к нам! — предложил Николай.

— Я вас буду стеснять.

— Что ты, папаша.— Николай сплюнул размокшую цигарку.— Все мы здесь проездом.

— Тронули! — скомандовал Зиновий.

Они пошли с базара через пустырь по тропке, вытоптанной в снегу. Шли цепочкой. Первым Николай. За ним, держась за его плечо, в ногу шел Зиновий. Последним — старик. Он говорил без конца — видно, хотел заплатить откровением за постой.

— Пробираюсь я не в Одессу. На полустанок. К большой коммунальной могиле. Я не сберег принцессы с Малой Арнаутской. Я не могу вернуться в Одессу. Ко мне придут кавалеры и спросят: «А где наша Соня? Где она?» Что я могу ответить? Я могу проклинать, рвать на себе волосы и грызть землю... Но что я мог сделать голыми руками с самолетами? У них были бомбы.

— Да брось, папаша, терзать себя,— отозвался вдруг слепой.— Я мог когда-то за сорок метров попасть белке в глаз... И тоже пострадавший.

— Вы горюете о женихах, а кто из них еще вернется? — зло сказал Николай.— Может, еще никто... Или как мы.

— Может,— согласился старик.— Но ведь и принцессы тоже нет.

— Она есть! Неправда! Мы тебе ее покажем...— заговорили наперебой друзья.

— А, понимаю,— грустно улыбнулся старик,— сказки не умирают. Умирают люди.

Ночевал он у ребят. Ел мало — стеснялся, боялся объесть приютивших его на ночь людей. А может, он просто привык довольствоваться крохами. Может быть...

Ушел старик утром. Тихо и незаметно. Казалось, что его и не было. Только на стене остался висеть барометр, круглый и блестящий, как шлем пожарника.

Колодку Зиновий вырезал из куска липы. Дерево было сухим, податливым. Зиновий лишь раз провел рукой по ноге Риты, когда она сбросила валенки и показывала, как красиво носить туфли на высоких каблуках, а теперь вспоминал все изгибы — плавный спуск к пальцам... Он сам удивлялся своей памяти. Чудеса!

Думал ли он, что может как бы видеть на ощупь, запоминать форму? Он открывал в себе что-то новое, необыкновенное. И это открытие радовало его. И еще одно... Эта маленькая победа делала будущее не таким пугающим.

А Николай мрачнел. Он тоже попытался отстрогать кусок дерева, да нож не удержал и культю распорол, как штыком.

Когда друг перевязывал рану полотенцем, Николай взорвался, закричал:

— Ты можешь, можешь! А я нет! У тебя руки есть, а у меня нет!

— Ты что... завидуешь?

Николай сплюнул. От смущения.

— Да нет,— сказал.— А вообще, завидно смотреть. Чего шаришь? Справа ножик. Правее. Двигай на меня. Стоп!

Зиновий поднял нож, завязал узел, вернулся к работе. И чем ближе к концу, тем медленнее резал липу и все чаще обращался за советом:

— Как волокна идут? Вдоль? Хуже... Можно заусенцу запороть. Осмотри целиком. Нигде не скособочил? Где подрезать? У косточки?

А дней через пять они уже не ссорились. Сидели плечо к плечу, потные, сосредоточенные. Николай положил культю на спину другу. И когда тот вел нож по колодке, снимая последнюю тонкую стружку, он нажимал на спину другу, и нож, как бы под его собственными руками, глубже врезался в дерево, а через сантиметр шел плавно, приглаживая.

Ни одна игра в детстве, ни одна самая задорная игра в юности так не увлекала друзей, как эта работа. И когда стало ясно, что если они не прекратят сию же минуту резать дальше, то будет явный перебор, ерунда, что будет не колодка для Ритиных туфель, а колодка ради самой колодки, изящная, но бесполезная поделка, вроде

модели яхты размером 1:100,— они отложили нож в сторону, обтерли лица, устроили перекур.

— Сробили на совесть! — добродушно сказал Зиновий. И улыбнулся.

— Я устал! — Николай·почесал культей грудь.— Ей-богу! Во смехота! Как дрова колол... Спина ноет от работы. До чего же приятно! Не болит... ноет... А что дальше? Теперь чего будем?

Следующей операцией была заготовка верхов. Это — если говорить языком технолога сапожной мастерской. Ну а если говорить, что на самом деле,— нужно было резать на заготовки низ от брюк комбинезона. Такой кожи не было на всю область, и не ищи — нет. Точно. Старик знал, что говорил.

Зиновий расстегнул замки, разложил брючины на кровати. Поежился. Холодновато с непривычки, тело пупырышками пошло. Взял нож, направил на ладони, как золингеновскую бритву. Отложил... Долго выверял, высчитывал, отмерял снизу, поглаживая мех, а потом вдруг махнул рукой и отхватил. Как зарезал. Почти по самое колено.

Была вещь! Нету вещи!

— А куда мех-то денешь? — Безрукий покосился на отхваченную брючину.

— Не печаль. Сделаю. И не такое делал. Лосину выделывал. Какой цвет будет, если соскоблить сверху краску?

— Аллах разберет... Кажись, коричневый.

— Битого стекла требуется.

— Чего придумал...

— Мех сниму. Вымочу кожу и сниму. Дубить не надо — и так дубленая. Осколочком стекла по верху... Осторожненько, чтобы не порезать. Понял? Осторожненько только...

— И будет замша?

— Туфтовая. Верх будет — пальчики оближешь. Это я тебе говорю. Надевай брюки. Твоя очередь носить.

Николай не возражал. Ему тоже хотелось пощеголять в коже. Он надел брюки. Зиновий застегнул молнии. Из сапога на левой ноге торчал клок нахальной обезьяньей шерсти.

Была вещь! Нету вещи!

5

Когда заготовки, как перчатки, облекли колодки, работа застопорилась — не было подошв. Думали, гадали... Ничего не придумали. Плюнули на все, взяли рюкзак, карточки, пошли для разрядки отовариваться в военторг.

Кончался март. Белые сугробы превратились в грязные веселые ручьи. В сухих закутках каменных коробок грелись на солнце серьезные мальчишки.

Магазин находился в здании, выстроенном в форме зубцов пилы — дань архитектурной моде тридцатых годов. Этот причудливый, сгоревший наполовину дом называли Гармошкой. Он стоял по соседству со стадионом.

Народу у прилавка было многовато. Ивалидам можно было бы и без очереди, но ребятам не хотелось пользоваться своим правом: рады были потолкаться, поговорить, послушать. Людей-то мало видели, разве на базаре да на медицинской комиссии, когда врачи поют одну и ту же песню: «Здоров! Здоров! Будешь здоров!»

Расплевывая лужи, к Гармошке подкатил «виллис». Прибыл какой-то майор в белых погонах. Пухленький, подвижной как живчик.

— Привет, привет, девочки!— Прошел в магазин. Шофер, сержант по званию, внес следом чемодан. Для продуктов.

Чемодан был кожаный. Из толстой кожи с огромными блестящими замками.

— Граждане,— точно извиняясь, сказал майор,— видите, на машине пришлось. Не для себя, для генерала стараюсь. Позвольте для генерала без очереди.

— Андрей Максимович, какие могут быть разговоры! — За прилавком появилась директор магазина. Она была довольно симпатичная. Сытая. Ее можно было бы даже назвать красивой, если бы не мазала так отчаянно рот яркой губной помадой.

Майор и женщина заворковали.

— Брешет, собака! — вдруг взбеленился Зиновий.— Нахал. Врет, как всегда.

— Братишка, ша! — осадил друга Николай.

— Он всю дорогу без очереди! — не унимался слепой.

— Говорю, молчи! У него чемодан.

— Так что чемодан? С чемоданом без очереди? — Зиновий ревностно относился к привилегиям инвалидов.

Он упрямо лез на скандал, чувствуя свою правоту и поддержку женщин в очереди.

— Кожа! — тихо произнес Николай.

— Где кожа?

— Чемодан кожаный.

— Ну да? — Зиновий завертел головой, точно хотел увидеть кожаный чемодан.

— Будет дело, чует мое сердце. Что-нибудь сообразим. Ты стой у дверей, а я с шофером потолкую.

Николай отвел друга к двери, посадил на скамейку, направился к сержанту.

Зиновий вслушался...

Сквозь гул доносился басок майора. Снисходительный, игривый...

— Что ты, Ниночка, мы с Верой просто друзья. Платоническая любовь. Знаешь, как у Чехова: «Что такое платоническая любовь? — Это любовь на плоту».

Ниночка:

— Ха-ха-ха... Придумаете.

Из очереди монотонно вылетают слова:

— Килограмм сахара переводится на восемьсот граммов сгущенки.

— По иждивенческим в конце месяца.

— Сыпь пшено в наволочку!

А вот голос Николая. Говорит просительно:

— Будь человеком! Сержант, будь человеком!

Другой голос. Сержанта. Сухой, как часового на КПП:

— Не могу, не проси. Не мое, товарища майора. Сам понимаешь...

Николай:

— Выручи, браток! Привезет еще твой майор трофей. Это не мы... Нас давно списали.

Сержант:

— Думаешь, мне жалко? Чудак, свое бы — я тебе ни слова... А тут-то не мое. Майора. Не проси, не могу!

Голоса женщин заглушают все звуки:

— В пятом селедку давали...

— Сгущенка... Молоко можно и на базаре купить. Теперь дешевое. Тридцать рублей.

Голоса:

— Не задерживайте продавца! После работы можете любезничать!

Резкий, переходящий в крик голос директора магазина:

— Я не обязана вас отоваривать! Стоите и стойте. Поговорить не дают.

Ее голос потонул в общем шуме. Опять Николай:

— Два литра спирту достану, браток.

— Иди ты со своим спиртом! Не мое! Понимаешь?

Басок майора точно забавляется возмущением очереди:

— Я не для себя... Неужели сам генерал должен приехать?

— Пускай жена приезжает!

— Он холостой... Никакого уважения к субординации.

Женщины примолкли: они понимали, что такое субординация, а может, удивились — холостой генерал, это в наше-то время?

Подошел Николай. Не один. Позвякивают подковки на сапогах сержанта. Мягко стукнул чемодан.

И Зиновий не утерпел, нагнулся, стал ощупывать кожу. Вот это да! Кожа была на все сто! Толстая, упругая... Даже не верилось. Из нее подметки лет двадцать носить, сносу не будет. Богатство! Пускай не двадцать, а года три сносу не будет. Точно! И такую кожу ставят на чемоданы!

Николай бубнил, не веря, что сможет уломать сержанта, но и не в силах примириться с мыслью, что упустит единственную возможность заполучить подметки.

— Будь человеком, может, сам вернешься, как и мы...

Зиновий выпрямился, сказал резко в лоб. Он говорил как равный равному, он не умел просить, при нужде он мог отнять...

— Слушай, паря, мы девчонке обувку делаем. Она нам никто. Девчонка никогда туфель не имела. Думаешь, для себя бы клянчили? Да подавись ты своим чемоданом!

Сержант оценил обращение, уже не пыжился, говорил на равных:

— Хочешь мою кирзу? Забирай!- Новая... Что, думаешь, за барахло воюю? Я, брат, с Волги службу начал, в Первой гвардейской.

— Кирзу мы и без тебя на тушенку выменяем.

Сержант вздохнул, спросил с недоверием:

— Врете небось?

— Честное комсомольское! — поклялся Николай.

Зиновий не терял достоинства:

— Ночами не спим, обмозговываем, как бы сробить

получше. Когда хочешь сделать добро — голова работает. Ты соображай: у нас на двоих — пара рук и пара глаз. Простая арифметика. Мы должны окончить работу. Иначе нам нельзя! Иначе худо будет нам... Иначе запьем. Понял? Иначе...

— Не шуми, как паникер. Что я, не понимаю, что я, без мозгов? — Шофер капитулировал.— Рюкзак оставь. Рюкзак дай! Идите, пока майор не спохватился, жмите на первой скорости.

— А как же ты? Что скажешь?

— А чего я? Я по описи чемодан не принимал. Выкрутимся. Ауфвидерзейн, до победы!

Он дружески хлопнул Зиновия по спине широкой ладонью.

Ребята вышли из магазина. Николай хотел побежать, но друг спотыкался, не мог пристроиться в ногу.

Свернули в первую развалину. Перелезли через обвалившиеся балки. Исцарапались. Выбрались на стадион. И полезли по рядам вниз, к полю. Зиновий падал, но не выпускал чемодана из рук. Николай оборачивался, торопил.

Когда-то на стадионе устраивались спортивные праздники. Трибуны заполняли тысячи болельщиков, по полю бегали футболисты.

Сейчас на поле проросли прутики-деревца, вместо ворот — мотки колючей проволоки, на восточной трибуне — огромная старая воронка от снаряда... А у раздевалки — двое калек с огромным кожаным чемоданом....

И пожалуй, ни у одного чемпиона не было такого счастливого лица, какие были у Зиновия и Николая. Друзья на глазок прикинули, сколько подметок можно выкроить из «трофея».

И цифра получилась неожиданная, астрономическая — пятьдесят штук. Кожаных, крепких, пахучих.

6

В развалинах, как в лесу, пересвистывались птицы. Воздух — густой, теплый — втекал в подвал через распахнутую дверь, и от этого еще сильнее пахло сиренью.

Рита сложила ладони лодочкой, точно боясь расплескать подарок. Она смотрела на туфли чуть-чуть испуганно:

— Это мне? Вы не шутите?

Николай улыбался, как улыбаются детям, когда с

получки приводят в «Мороженое». Богато улыбался, щедро...

Зиновий сидел на табуретке, кусал ногти... Он психовал. А чего? Чего распустил нервы? Наехало на парня.

Зиновий представлял этот день иначе. Ему казалось, что это будет день великого торжества, великой радости... Конечно, он был рад, что подарили девчонке к Первому мая ее мечту. Но на душе вдруг стало пустынно. Вот точно так бывает, когда идут последние экзамены, нервы подкручены до отказа, устал, а кончились экзамены — и вдруг ты ловишь себя на том, что не хочется уходить из школы, что теперь ты сам по себе, и долго еще у тебя не будет друзей таких родных, как одноклассники, может, и никогда не будет...

Зиновий дотянулся до колодок. Попытался вытащить сломанную березовую шпильку — не получилось ногти-то обгрыз.

Девушка села на кровать, торопясь, как по тревоге, разорвала шнурки на кожаных бутсах, отшвырнула их в угол. Надела туфли. Встала, любуясь. Прошлась...

Николай крякнул. Гляди!.. И та же блузка штопаная-перештопаная, юбчонка из солдатского сукна, перекрашенного в черный цвет, а девчонка другая. Девчонке главное — ноги чтоб были как на картинке. И прическа. И все! Она тогда будет стройной, гордой, величавой... Женщина должна быть гордой. Нельзя приземлять женщину, иначе жизнь будет серой... И мужики будут как поросята,— не будут умываться, не будут бриться, бородами обрастут, как лишаями.

— Пошли пройдемся! — сказала Рита. Она не могла в туфлях сидеть на месте.

Пошли гулять куда глаза глядят. Спустились по кривой улочке к реке. Улица называлась Площадь детей. Наверное, потому, что зимой здесь с Селивановой горы мчались, как тачанки, санки с ребятишками.

Санки тяжелые, подбитые железными полосами от кадушек. Управлять экипажем можно было лишь шестом. Шест тарахтел по мосткам, как прицеп у пятитонки. А летом к реке тянулись бесчисленные ватаги мальчишек. Рубашки они снимали, чтоб лупились от солнца спины. Рубашки повязывали фартуком спереди.

Здесь, в низине, чудом сохранились домишки. Деревянные, скрипучие. Хозяева прилаживали к воротам красные флаги — завтра будет демонстрация. Первая после освобождения города. Уже разучились ходить на

демонстрацию. Завтра выйдут. Народу поднакопилось. Вернулись из эвакуации, из плена. Эти еще покашливают и вздрагивают, если крикнуть: «Штейн ауф!»

Постояли у водокачки. По реке бежала лунная дорожка. Какие-то мальчишки, конечно, купались у разбитого яхт-клуба, выстроенного еще Петром Великим. С визгом прыгали с бережка, выскакивали пробками из ледяной воды и хвастались, кто сколько проплыл.

Пошли вверх, к центру.

На проспекте Революции была даже иллюминация. Светло. И лампочки разные. Рита шла между Зиновием и Николаем. Прохожие оборачивались. Николай ухмылялся. Подумать только — смотрят с завистью, что девчонка идет с двумя парнями. А чего? Они с Зиновием еще хоть куда... Самую красивую девушку отхватили.

Зиновий беспрерывно курил, молчал, как подбитый танк,— он же не видел, как на них поглядывали. Чудак!

Спросил:

— Не жмут?

Ответила:

— Не знаю. Не чувствую... Так хорошо! Пошли в сад? А? Там танцы... танцплощадку открыли. Пошли? А? Заглянем?

Вышли. Заплатили за вход.

В саду полумрак. На танцплощадке светло. Полным-полно пацанов. Хотят казаться мужчинами, поэтому развязные, ершатся, задираются, как петушки на птицеферме. Женщин много... Танцуют друг с другом, забыв о похоронах, о станках, о картошке...

В голосах людей, в воздухе, в запахах уцелевших кустов сирени — во всем чувствовалось, что вот-вот должна произойти перемена к лучшему, к мирному, к счастью. Войне были отсчитаны последние минуты. Все знали, что завтра-послезавтра умрет война. И тогда вступит в силу жизнь. Полновластная. Желанная.

Николай согнал со скамейки малолеток. Они обиделись не на шутку.

— Идите, идите! — пригрозил Николай.— А то схлопочете по шее.

Сели.

Рита осталась стоять. И сразу ее заметили. К краю низкого деревянного помоста для танцев подошли два офицера и мужчина в гимнастерке ЧШ с нашивками за ранения. Подвыпивший. И еще какой-то переросток, в

клешах шире, чем у моряков, в клифте, на голове кепочка с козырьком в два пальца. Руки и ноги длинные, лицо как пшеном обсыпано, в веснушках. Еще сил не набрался, мясом не оброс. И походка — заносит то в одну сторону, то в другую.

Борода моя, бородка,
До чего ж ты отросла...—

запел в репродукторе Утесов. Целое поколение таких вот нескладных пацанов выросло под его песни.

Офицеры подошли смело, не обращая внимания на Николая и Зиновия, стали приглашать Риту:

— Разрешите?

— Нет, нет! Я не могу! — сказала она.— Не могу!

Мужчина в ЧШ с нашивками за ранения захохотал, нырнул в толпу, через минуту повел в танце женщину лет тридцати. Помахал офицерам рукой.

А парнишка в клифте спустился с площадки, кивнул издалека девушке. Подойти ближе он постеснялся.

— Может быть, уйдем? — спросила грустно Рита.

— Иди, зовет! — сплюнул Николай, покосившись на парнишку.— Стоит, как на строевом смотре.

— Ты куда? — поднял голову Зиновий.

— Пускай развлекается.— Николай уставился в землю.— Иди, не топчись. На нее пикируют... Чего глядишь, иди, Рита, не обращай на нас внимания.

— Посидите немножко, я скоро...

И она ушла с пареньком.

На танцплощадке сменили пластинку. Тоненьким голоском запела певица:

Дядя Ваня, хороший и пригожий,
Дядя Ваня всех юношей моложе...

Прошло несколько дней, и по радио объявили, что окончилась война...

По темной аллее шли двое. Один впереди, другой следом, держась за плечо товарища. Шли они медленно, не в ногу.

ПАВЕЛ БУЛУШЕВ

На охоте

В разгар боя,
в злой перепалке,
вдруг три косули — вдоль по нейтралке.
Бегут косули,
бегут косули —
красавец папа, коза с козленком.
И свищут пули,
и рыщут пули
и перед ними, и им вдогонку.
Бегут косули в разгаре боя.
И шерстка дыбом,
как от мороза.
А пулеметы по-волчьи воют.
И нет спасенья. Пропали козы.
Пропали козы. Им нет спасенья.
Не бой здесь нынче,
здесь нынче бойня.
Огонь жестокий —
на истребленье,
косоприцельный и многослойный.
Но пулеметы вдруг без приказа
замолкли сразу,
все восемь разом.
Кружилин Колька стал всем примером:
отжал гашетку Кружилин первым.
И крикнул Колька:
«Ведь мы ж не волки!..» —
Все восемь разом за Колькой смолкли.
...Вчера загонщик
ко мне под пулю
в разгар охоты пригнал косулю.
Но из глубин десятилетий
вдруг встал меж елок сержант Кружилин.
И рядом вместе,
все восемь вместе,
что вместе боя не пережили.
И крикнул Колька:
«Ведь мы ж не волки!..»—
И опустил я
стволы
двустволки.

АНДРЕЙ УШИН

«Карельский перешеек»



РАДИЙ ПОГОДИН

Послевоенный суп

Рассказ

Танкисты оттянулись с фронта в деревушку, только вчера ставшую тылом. Снимали ботинки, окунали ноги в траву, как в воду, и подпрыгивали, обманутые травой, и охали, и хохотали,— трава щекотала и жгла их разопревшие в зимних портянках рыхлые ступни.

Стоят танки — тридцатьчетверки — на броне котелки и верхнее обмундирование, на стволах пушек — нательная бумазея. Ковыляют танкисты к колодцу — кожа у них зудит, требует мыла. Лупят себя танкисты по бокам и гогочут: от ногтей и от звучных ударов на белой коже красные сполохи.

Облепили танкисты колодец — ведра не вытащить. Бреются немецкими бритвами знаменитой фирмы «Золинген», глядятся в круглые девичьи зеркальца.

Одному танкисту стало невтерпеж дожидаться своей очереди на мытье, да и ведро у него было дырявое, он плюнул, закрутил полотенце на галифе по ремню и отправился искать ручей.

А земля такая живая, такая старательно-бесконечная.

В оставленные немцем окопы струйками натекает песок, он чудесно звенит, и в нем семена трав: черненькие, серенькие, рыжие, с хвостиками, с парашютами, с крючочками и просто так, в глянцевитой кожурке. Воронки на теле своем земля залила водой. И от влажного бока земли уже отделилось нечто такое, что оживает и даст жизнь быстросменяющимся поколениям.

Мальчишка сидел у ручья. Возле него копошили землю две сухогрудые курицы. Неподалеку кормился бесхвостый петух. Хвост он потерял в недавнем неравном бою, потому злобно сверкал неостывшим глазом и тут же, опечаленный и сконфуженный, стыдливо приседал перед курицами, что-то доказывая и обещая.

— Здорово, воин,— сказал мальчишке танкист.— Как тут у вас настроение по женской части?

Мальчишка то ли не понял, то ли нарочно промолчал.

— Я говорю, девки у вас веселые? — переспросил танкист.

Мальчишка поднялся, серьезный и сморщенный. Покачнулся на тонких ногах. Он был худ, худая одежда на нем, залатанная и все равно в дырах.

— Зачем тебе девки?

Танкист засмеялся:

— Побалакать с девками всегда интересно. Поспрашивать о том о сем. Короче говоря, девки есть девки.— И, чтобы укрепить свое взрослое положение над этим сопливым жидконогим шкетом, танкист щедро повел рукой и произнес добрым басом: — А ты гуляй, малый, гуляй. Теперь не опасно гулять.

— А я не гуляю. Я курей пасу.

Танкист воевал первый год. Поэтому все невоенное казалось ему незначительным, но тут зацепило его, словно он оцарапался обо что-то невидимое и невероятное.

— Делать тебе нечего. Курица червяков ест. Зачем их пасти? Пусть едят и клюют, что найдут.

Мальчишка отогнал куриц от ручья и сам отошел.

— Ты, может, меня боишься? — спросил танкист.

— Я не пугливый. А по деревне всякие люди ходят.

Танкист запунцовел от шеи и сухо крякнул, сообразив, что и в будущем потребуется ему сила и выдержка для разговоров с невоенным населением.

Петух косил на танкиста разбойничьим черным глазом — видать, лихой был когда-то; он шипел, и грозился, и отворачивал свой горемычный хвост, готовый, чуть что, уносить свое мясо и лётом, и скоком, и на рысях.

— Мужики, они все могут есть — хоть ворону съедят. А у Маруськи нашей и у Сережки Татьяниного ноги свело от рахита. Им яйца нужно есть куриные... Тамарку Сучалкину кашель бьет — ей молока бы...

Маленький был мальчишка, лет семи-восьми, но танкисту внезапно показалось, что перед ним либо старый совсем человек, либо бог, не поднявшийся во весь рост, не раздавшийся плечами в сажень, не накопивший зычного голоса от голодных пустых харчей и болезней.

Танкист подумал: «Война чертова».

— Хочешь, я тебя угощу? У меня в танке пайковый песок есть — сахарный.

Мальчишка кивнул: угости, мол, если не жалко. Ко-

гда танкист побежал через луговину к своей машине, мальчишка крикнул ему:

— Ты в бумажку мне нагреби. Мне терпеть будет легче, а то я его весь слижу с ладошки и другим не достанется.

Танкист принес мальчишке сахарного песку в газетном кульке. Сел рядом с ним подышать землей и весенними нежными травами.

— А батька где? — спросил он.

— На войне. Где же еще?

— Мамка?

— А в поле. Она с бабами пашет под рожь. Еще позалетошным годом, когда фашист наступал, ее председателем выбрали. У других баб ребятишки слабые — они их за юбку держат. А у нас я да Маруська. Маруська маленькая, а я не капризный, со мной свободно. Мамке деда Савельева дали в помощники. Ходить он совсем устарел. Он погоду костями чувствует. Говорит, когда пахать, когда сеять, когда картошку садить. Только ведь семян все равно мало...

Танкист втянул в себя густой утренний воздух, уже пропитавшийся запахом танков.

— Давай искупнемся. Я тебя мылом вымою.

— Я не грязный. Мы из золы щелок делаем — тоже моет. А у тебя духовитое мыло?

— Зачем? У меня мыло солдатское, серое, оно лучше духовитого трет.

Мальчишка вздохнул, вроде улыбнулся.

— У духовитого цвет вкусный. Я раз целую печатку украл у одного тут, у немца. Неразвернутую еще. Отворотил бумажку — лизнул даже. Вдруг сладкое. Маруська, так она его сразу в рот. Маленькая еще, глупая.

Танкист разделся, вошел в холодный ручей.

— Снимай одежду,— приказал он.— В ручей не лезь — промерзнешь. Я тебя стану поливать.

— Я не промерзну. Я привыкший.— Мальчишка скинул рубаху и штаны, полез в ручей спиной вперед — голубой, хрупкогрудый, ноги прямо из спинных костей, без круглых мальчишеских ягодиц, широко расставленные, и руки такие же — синюшные, ломкие и красные в пальцах.

Танкист высадил его обратно на берег.

— Совсем в тебе, парень, нету весу. Ни жирины. Холодная вода — простудит тебя такого насквозь.— Он плеснул на мальчишку из пригоршни, вторично зачер-

пнул воды, да и выпустил ее — впалый мальчишкин живот был изукрашен гнойными струпьями.

— Ты не боись. Это на мне не заразное.— Мальчишкины глаза заблестели обидой, в близкой глубине этих глаз остывало что-то и тонуло, тускнея.— Я живот картошкой спалил...

Танкист дохнул, будто кашлянул, будто захотелось ему очистить легкие от горького дыма. Принялся осторожно намыливать мальчишкины плечи.

— Уронил картошку?

— Зачем же ее ронять? Я пусторукий, что ли? Я картошку не выроню... Фронт еще вон где был, вон за тем бугром. Там деревня Засекино. Вы, наверно, по карте знаете. А в нашем Малявине было ихних обозов прорва, и автомобилей, и лошадей с телегами. А немцев самих! Дорога от них зеленая была — густо бежали. Вон где сейчас танк под деревом прячется, два немца картошку варили на костерке. Их кто-то крикнул. Они отлучились. Я картошку из котелка за пазуху...

— Ты что, сдурел?! — крикнул танкист, растерявшись.— Картошка-то с пылу!

— А если она с маслом?! У нее помереть какой дух. Плесни мне в глаза, мыло твое шибко щиплет.— Мальчишка глядел на танкиста спокойно и терпеливо.— Я под кустом с целью сидел — может, забудут чего, может, недоедят и остатки выбросят... Я тогда почти всю деревню пешком прошел. Бежать нельзя. У них — как бежишь — значит, украл.

Танкист месил мыло в руках.

— Все мыло зазря сомнешь. Давай я тебе спину натру.— Мальчишка наклонился, промыл глаза водой бегучей.— Я у немцев много чего покрал. Один раз даже апельсину украл.

— Ловили тебя?

— Ловили.

— Били?

— А как же. Меня много раз били... Я только харчи крал. Ребятишки маленькие: Маруська наша, и Сережка Татьянин, и Николай. Они как галчата — целый день рты открытые. И Володька был раненый — весь больной. А я над ними старший. Сейчас с ними дед Савельев сидит. Меня к другому делу приставили — курей пасу.

Мальчишка замолчал, устал натирать мускулистую, широченную танкистову спину, закашлялся, а когда отошло, прошептал:

— Теперь я, наверно, помру.

Танкист опять растерялся.

— Чего мелешь? За такие слова — по ушам.

Мальчишка поднял на него глаза, и в глазах его было тихое неназойливое прощение.

— А харчей нету. И украсть не у кого. У своих красть не станешь. Нельзя у своих красть.

Танкист мял мыло в кулаке, мял долго, пока между пальцами не поползло,— старался придумать подходящие к случаю слова. Наверно, только в эту минуту понял танкист, что и не жил еще, что жизни, как таковой, не знает и где ему, скороспелому, объяснить жизнь другим людям так, чтобы они поверили.

— Вам коров гонят и хлеб везут,— наконец сказал он.— Фронт отодвинется подальше — коровы и хлеб сюда прибудут.

— А если фронт надолго станет?.. Дед Савельев говорит — лопуховый корень есть можно. Он сам в плену питался, еще в ту войну.

Танкист вытер мальчишку вафельным неподрубленным полотенцем.

— Не людское дело лопух кушать. Я покумекаю, потолкую со старшиной — может, мы вас поддержим из своего пайка.

Мальчишка, торопясь, покрутил головой:

— Не-е... Вам нельзя тощать. Вам воевать нужно. А мы как-нибудь. Бабка Вера, она совсем старая, почти неживая уже, говорит, солодовая трава на болотах растет — лепешки из нее можно выпекать, она пыхтит, будто с закваской. Вы только быстрее воюйте, чтобы те коровы и тот хлеб к нам успели.— Теперь в мальчишкиных глазах, потемневших от долгой тоски, светилась надежда.

— Мы постараемся,— сказал танкист. Он засмеялся вдруг невеселым натянутым смехом.— А ты говоришь, не о чем мне с девками толковать. Потолковали бы, наверно, о том же самом... Зовут тебя как?

— Сенька.

На том они и расстались. Танкист отдал мальчишке обмылок, чтобы он вымыл свою команду: Маруську, и Сережку, и Николая. Танкист звал мальчишку поесть щей из солдатской кухни — мальчишка не пошел.

— Я сейчас при деле, мне нельзя отлучаться.

Курицы тягали червяков из влажной тихой земли. Петух бесхвостый, испугавшись танкистова шага, совсем

потерял голову и, вместо того чтобы бежать, бросился прямо танкисту под ноги.

— А ты, чертов дурак, куда прешь? — закричал на него танкист.

Петух окончательно осатанел, бросился курицу топтать, свалился и закричал диким криком, лежа на крыле,— крик этот был то ли исступленным рыданием, то ли кому-то грозил петух, то ли обещал.

Возле танков — может быть, запах кухни тому виной, может быть, петушиный крик — пригрезился танкисту дом сытый, с занавесками кружевными, веселая краснощекая девушка с высокой грудью и послевоенный наваристый суп с курятиной.

ГЕННАДИЙ МОРОЗОВ

Меты войны

Ушло это время,
　　　　　　　　　　　　　но след не истерся
из памяти
нашей живой,
багровым рубцом
　　　　　　　　　　　　　　он в судьбу нашу вросся,
тот огненный
след фронтовой.
Ты, время,
изгладить его не надейся.
Я видел —
не где-то вдали,
а рядом, под Токсовом,
в реденьком лесе
лоскут незажившей земли.
К нему подошел я,
глядел молчаливо.
Как черен он был и шершав!
Склонялась
над ним низкорослая ива
и стебли
поблекшие трав.
На миг показалось —
он выпачкан сажей...
Он, мертвый, казался живым.
Сестрой милосердья
лесная ромашка,
белея.
склонялась над ним.

ВЛАДИМИР НАСУЩЕНКО

«ФД»

Рассказ

У моста поезд притормозил. Мальчишка успел соскочить под насыпь. Было очень высоко прыгать с вагона, но он уже приноровился соскакивать на ходу и благополучно приземлился, ушибив локоть и ободрав щеку.

Он знал, что лучше сойти здесь, не доезжая до станции, где полно поездных охранников: сразу сцапают и отведут в детский приемник, откуда он бежал пять дней назад.

За эти дни он проехал семьсот километров — совсем неплохо. По его подсчетам, до Ленинграда оставалось три тысячи с небольшим. Там у него жила родная тетка, которая писала, что приедет за ним будущей весной. Но он не захотел ждать: война кончилась.

Он не сообразил прыгнуть после железнодорожного моста, не знал, что мост охраняется. Часовой не пустил на ту сторону.

Переправы тут не было — придется ночевать в степи.

Но прежде нужно было хорошенько вымыться: он ехал в вагоне с углем, глаза слезились от угольной пыли, в ушах полно грязи, на зубах тоже скрипел уголь. В таком виде появляться на станции не стоило: сразу попадешься.

На мальчишке был свитер, который он не снимал уже две недели, штаны с латками на коленях и заду. Он спустился по откосу к воде. Снял свитер, истлевшую рубашку и штаны, надетые на голое тело, без трусов. На ночь купаться не хотелось.

Вода была теплая. Он стал оттирать мелким песком руки, уши и лицо. С ободранной щеки потекла кровь, он быстро остановил ее испытанным средством — прилепил подорожник. Потом протер песком все тело. Ребра торчали, как у бездомной собаки, на спине были подозрительные струпья. Последнее время он много ходил босиком — пятки потрескались, подошвы стали твердыми, как копыта. Он спокойно мог бегать по стерне, не ощущая

колючек. Детдомовские ботинки он берег, надевал их только тогда, когда садился на товарняк.

А теперь фиг сядешь — кругом голая степь, переправы нет. Плавать он не умел.

Мальчишка вытащил из котомки пиджак с закатанными рукавами. Он был велик для него, но спасал от холода. Придется лечь в траве и дожидаться утра, а там видно будет. Последний сухарь он съел еще вчера, и в животе теперь было очень худо. Мальчик походил по низине и наконец нашел то, что искал. Это был дикий лук. Он сорвал несколько жестких стеблей, достал из котомки тряпицу с крупной ржавой солью и стал макать в нее лук и есть. Это была не еда, но все же лучше, чем ложиться с пустым желудком. Лук по вкусу напоминал настоящий, но был крепок, как трава.

Он поднялся наверх, ища теплую яму, чтобы улечься, и вдруг услышал:

— Эй, пацан, иди-ка сюда!

Мальчишка оглянулся и увидел человека, сидевшего у березового колка. В руках человека была белая курица, которую он ощипывал одной рукой, зажав курицу между колен.

Мальчишка приблизился на такое расстояние, чтобы можно было успеть удрать. Он не доверял взрослым, на то были свои причины.

— У тебя есть соль?

Мальчишка вытащил тряпицу с остатками соли, сделал шаг и остановился. Разглядывал сидящего. Это был мужчина в измятой шинели на острых плечах, на лохматой голове — фуражка с тусклым козырьком. Солнце освещало его багровое лицо, если «это» можно было назвать так. Нижней челюсти почти не было, лоб в синих пороховых пятнах, левый глаз неестественно торчал из орбиты и слезился. Он вытирал его рукавом. Инвалидов мальчишка встречал на больших станциях, на барахолках, у пивных, но такого не приходилось...

Мальчишка подошел ближе и бросил соль на землю.

— Возьми.

— А здорово ты летел вверх тормашками с поезда...— Человек закашлялся, пытаясь изобразить на своем лице смех. От этого он стал еще страшнее. Из рукава торчала раздвоенная культя.— Часовой не пустил?

Мальчишка кивнул.

— И меня. Сказал, что внизу ходит паром... Километ-

ров пять отсюда.— Инвалид махнул рукой на юг.— Сходи за топливом, пока я кончу.

Он стал дощипывать курицу, дуя на летевший пух.

Мальчишка пошел по тропе, выискивая коровьи лепешки, стал отдирать их. Лепешки хорошо высохли, были легкие и ничем не пахли.

Инвалид вытащил из сидора закопченный котелок, на котором было вырезано ножом: «Хрусталев».

— Тебя как зовут? — спросил инвалид, вытаскивая широкий нож с наборной ручкой.

— Тимоха...

— Я — Леша.

Уже темнело. В траве булькали перепела: «Спать пора, спать пора». Хрусталев сложил потрошки и курицу в котелок.

— Есть хочешь? — спросил.

— Еще как.

— И я, брат. Живот к позвоночнику прирос...— Он поддел палкой ручку котелка и повесил его над огнем.— Порядок в танковых частях. Откуда топаешь?

— Из Алтайского края.

— Ага,— сказал инвалид.— Далековато от этих мест...

— Я шел пешком до Карасука сто двадцать километров... Доехал до Татарска, потом на Омск кондуктор взял. Потом я сел не на тот поезд. Надо было на Тюмень...

— Географию плохо учил,— усмехнулся Хрусталев.

— Я по карте знаю. Просто сел не на тот поезд...

— Я тоже решил к дому податься. Хотя никто не ждет...

— Почему?

— Женка с дочкой под бомбой погибли. Брата в Германию угнали, пропал без вести. Мать не знаю где. Деревня из рук в руки переходила...

— Значит, ты сирота? — строго спросил мальчик.

— Вроде,— усмехнулся инвалид.— Я полтора года в госпитале отбухал. Выписался, деться некуда. А на родину тянет. Ты куда путь держишь?

Тимоха рассказал про Ленинград, как мать умерла от голода.

— Меня увезли через Ладогу. Но я ничего не помню, как ехал. Вообще целый год ничего не помнил...

За разговорами не заметили, как поспела курица. Ложка была одна. Хлебали по очереди, обжигаясь бульо-

ном. И пресная лепешка у инвалида нашлась. Как в сказке. Мальчишка ревниво следил, чтобы не пропустить очереди, когда напарник по забывчивости тянул лишние потрошки:

— Не по-честному...

— Во даешь. Курица чья? — посмеивался Хрусталев, но ложку отдавал. Полторы цыплячьи ноги оставили до утра.

Ночь была темная. У огня хорошо. Тимоха лег в яму калачиком, котомку с «генеральной» картой — под стриженую голову. И смотрел в черное небо, где с тихим гулом дымился Млечный Путь.

Хрусталев курил у тлеющего огня, бормоча под нос:

— Эх, босота. И что это за напасть — война, детей сиротить...

Крупная слеза выкатилась из его выпученного глаза. Он утер ее рукавом и тоже стал укладываться.

Утром мальчишку разбудил стук перепелов. Над сухой степью поднималось солнце.

— Дядя Леша, пора вставать.

— Пора.

Они встали, отряхнулись от пепла, травы, доели куриные лапы.

Хрусталев приставил руку ко лбу и посмотрел в сторону моста.

— Часовой другой — может, пустит? Где чертову переправу искать... Ты изобрази хромого. Двух калек небось пожалеет. Ать-два...

Часовой действительно был новенький. Лицо не такое свирепое, как у вчерашнего бойца. Он сдернул с плеча винтовку.

— Стой. Здесь запретная зона. Вы что, не видите?

Хрусталев остановился:

— Слушай, друг, нам нужно на ту сторону...

Тимоха с готовностью скорчил плаксивую гримасу:

— Дядя, пусти...

...На станции было шумно. Бегали люди. По рельсам катался визгливый маневровый паровик. Хрусталев пошел на вокзал в разведку. Мальчишка лег на бугре. Тут был небольшой тупик. Пропахшая мазутом трава лезла из-под шпал, рельсы были ржавые. У коновязи верблюды жевали жвачку. Шерсть с их боков висела клочьями. На Петропавловск прошел ходом поезд с зачехленными самоходками на длинных платформах. Паровоз серии «СО» со щелястым тендером вели женщины. Двери в

будку были открыты. И мальчишка успел заметить, как женщина бросила в топку уголь. Белое пламя осветило ее безумное лицо.

Из дежурки вышла старуха в грязном мужском пиджаке, взяла у стены совковую лопату и спустилась в канаву выбрасывать раскаленный шлак на поверхность.

Тимохе хотелось пить, встал и пошел туда.

— Слушайте, где здесь можно попить?

Старуха перестала скрежетать лопатой, подняла голову, серую от пыли. Пожалуй, ей было лет сорок, не больше. Просто она казалась такой древней из-за грязи.

— Э, милок, за водой на колонку иди или к колодцу,— женщина махнула рукой в степь, где стоял вагончик без колес.

Мальчишка перекинул котомку на другое плечо и направился к колодцу. Еле вытащил тяжелую бадью гнилой веревкой. Попил, помыл лицо и вылил воду в лоток.

Он заглянул через плетень, замазанный глиной от зимних ветров, где, сбившись в кучу, стояли тощие овцы. Их было штук семь—десять. Они с грохотом бросились в угол загона, сбивая друг друга. Овцы ждали отправки на мясокомбинат, и еды им никакой не было. Вагончик был на запоре. И мальчишка подумал, что овцы брошены на произвол судьбы, подохнут здесь без воды и жранья.

Вдруг из-за угла вышел метис в армяке, надетом на голое тело, и присвистнул:

— Ты-то мне и нужен. Поди сюда, малшык, я тебе что-то покажу...

Голос у человека был вкрадчивый, и мальчишка клюнул на удочку.

— Смотришь овечек, значит?

— Они пить хотят.

— Ишь ты какой заботливый. Надо тебя в помощники взять. Овцы избалованные, день и ночь пить давай. Я один измучился воду качать. А где твои приятели?

— Какие приятели?

— Те, что вчера овцу украли.

— Меня вчера здесь и не было.

— Рассказывай сказки. И ты был с ними.

— Честное слово, вы ошибае...

Мальчишка не договорил. Сторож выхватил из-за голенища кнут и ударил его изо всей силы. Тимоха икнул

и скорчился, потом упал. Сторож наносил удары с оттяжкой и приговаривал:

— Ворье несчастное. Я тебе покажу курдюк... Вчера не вышло, сегодня пришли подглядывать...

Тимоха лежал, дрожа горячим телом. Сторож наконец ушел. Тогда он встал и побрел к станции, размазывая по щекам бессильные слезы.

Хрусталев искал его.

— Ты где шляешься? Чего ревешь?

— Так,— Тимоха поднял воротник свитера.

— Ты не ври. Я, брат, не люблю вранья. Что случилось?

Мальчишка сбивчиво стал рассказывать про злого сторожа. Хрусталев хмуро выслушал, ворочая выпученным глазом.

— Это дело нельзя так оставить. Проучить надо негодяя. В милиции акт составим.

— Не пойду.

— Это что за новости?

— Меня в детдом отправят...

— А, черт! — плюнул Хрусталев и растерянно посмотрел в степь.

— Пошли.

— Куда?

— Не разговаривай,— он грубо толкнул мальчишку в спину и повел к загону.— Здесь, что ли? Постой.

Поднялся на ступеньку и рванул дверь.

Внутри вагончика послышался крик, шум, что-то упало тяжелое. Потом все стихло. Тяжело дыша, инвалид выкатился из дверей, держа в руках сломанный кнут, и бросил его в ковыль.

— Чего стонешь? Иди добавь! — заорал он и ударил ногой по стоявшему на крыльце ведру. Оно смялось, покатилось по валу.

— Не надо, дядя Леша,— испугался Тимоха, видя, что инвалид не в своем уме. Ходуном ходит.

— За ружье схватился. Я ему показал ружье. В контратаку не ходил, сволочь! Будь спок, я ему врезал.

Хрусталев немного успокоился, обнял мальчишку за плечи.

Пошли к тупику, где женщина махала лопатой.

— А если он в милицию заявит? — сомневался Тимоха, стараясь идти в ногу.

— Никогда не дрейфь, сынок. Держи хвост пистолетом...

На станцию вползал поезд.

В передних вагонах ехали военные. Они горохом посыпались из дверей, разминая ноги, пританцовывали. Вздернутые гимнастерки были аккуратно заправлены под ремни. Новые сапоги начищены до лоска. Солдаты были сытые, краснорожие, будто не с войны ехали. Радость уцелевшего так и сияла на физиономиях. Хрусталев повеселел и прицелился на солдата, какой постарше.

— Сухарика бы кинули. Я махры дам,— заторопился Хрусталев, с надеждой глядя на рябого ефрейтора.

— У нас целый ящик этого добра. И «Казбек» есть. Угощайся.

Хрусталев благоговейно взял одну папиросу, понюхал.

— Табак. Год не пробовал, как с госпиталя выписался.

— Бери еще. Где тебя зацепило? — Ефрейтор мотнул головой на культю, которую Хрусталев ненароком вынул из кармана.

— Под Сумами. Шестьдесят вторая...

— О, так мы из одного котла, почитай, лопали. Вот не ожидал!!! Не стесняйся...

Хрусталев взял еще две папиросины. Засунул за уши, по одной на каждую сторону, третью взял в зубы.

Солдат черкнул зажигалкой.

— Погодь, махорки дам и сухарей,— выскочил из пульмана, держа в подоле гимнастерки продукты.— Собрали энзе.

— Вот спасибочки,— Хрусталев подставил мешок.

Ефрейтор стал скидывать туда пачки махорки, две банки тушенки, кусок сала, ржаные сухари.

Водокачку уже отвели. Паровоз заревел. Лязгнули буфера. Солдаты свесились на поперечной доске в дверях, оттуда послышалось рыканье гармошки.

— Давай, батя, жми на родину. Мы еще погуляем...

Ефрейтор протянул руку и прыгнул в вагон. Хрусталев погрустнел:

— Не в ту степь едут, а то бы мы с тобой покатили за милую душу. Пошли жевать.

За будкой вагонников они повалились в бурьян. Хрусталев разрезал пополам сало и бо̀льшую часть отдал Тимохе.

— Спрячь — мало ли, разминемся.

Потом вскрыл американскую банку с жирным мясом и намазал им два сухаря.

— Ешь про запас.

Тимоха и инвалид дремали в тени. Холодные пауки бегали по их спящим лицам.

Когда мальчишка очнулся, Хрусталев разговаривал с женщиной. Она знала все новости по станции и поведала о своем житье-бытье. У нее было трое ребятишек, которых она изо всех сил кормила на зарплату по уборке путей.

— Слава богу, четыреста рублей дают...

— Мужик-то где? — задал вопрос неугомонный Хрусталев.

— Убит батька.

Хрусталев засопел носом и вытащил из мешка тушенку.

— На, матка, похлебку сваришь.

Женщина испуганно взяла банку. Кланяясь и отступая спиной к сторожке, приговаривала:

— Дай бог здоровья, добрый человек. Мои оборванцы сусликов наловчились ловить. Сварят и едят...

От моста послышался паровозный гудок.

— Никак наш идет?

Хрусталев повеселел, накинул шинелишку. Гулко ударил станционный колокол. Из низкого вокзала вышли милиционер и комендант.

— Постой, с комендантом поговорю.

Хрусталев сделал свирепое лицо и направился к старшему офицеру, держа правую руку у козырька.

Паровоз дохнул горячим железом. Заскрипели тормозные тяги. Пассажирский встал на первом пути. Проводники никого не пускали. Хрусталев влез на подножку, дубасил по стеклу. Комендант помахал рукой. Проводница нехотя открыла тамбур.

— Одного возьмите под мою ответственность,— крикнул капитан.

— Что у меня, резиновая плацкарта? Дыхнуть негде.

— Не рассуждать, инвалиду место найдете.

Заголосил свисток. Локомотив выбросил облако пара, и поезд тронулся. Тимоха рысью побежал рядом с вагоном, по опыту зная, что лучше обождать, пока поезд наберет скорость, никто не скинет на ходу. Ухватился за деревянную ручку и прыгнул. Ветер загудел в ушах. Вагон мягко покачивался. Солнце садилось в теплую степь.

Дверь вдруг открылась. Хрусталев собственной персоной:

— Давай под лавку, пока никто не видит!

В руке он держал железный ключ, которым отпер дверь. Запасливый был инвалид.

Тимоха нырнул ему под локоть. Полезли по чужим ногам. На верхних полках храпели мужики. Кричал ребенок. От духоты и спертого воздуха щипало глаза. Хрусталев очистил место под лавкой, сдвинув чей-то чувал.

— Сиди, не рыпайся.

Мальчишка втиснулся туда целиком и положил голову на котомку. Ехать было можно. Под стук колес задремал. Проснулся среди глубокой ночи. Терпеть не было сил. Добрался до туалета — дверь на защелке. Наверное, безбилетник, ехал с комфортом на стульчаке. Напасть. Хорошо, переходная площадка не заперта.

Ходовой ветер между вагонами закручивался винтами. Железо перекидного мостика визгливо ерзало. Зажмурившись, Тимоха долго брызгал на стальные буфера. Пригляделся. Ночь была на исходе. Придорожные кусты обволакивал серый туман. «Степь кончилась»,— подумал мальчишка, втягивая ноздрями запах хвои. Перед самой войной он жил на даче в сосновом бору и помнил этот изумительный запах...

В вагон идти не хотелось. Поезд остановился на глухом разъезде и снова пошел. В соседнем вагоне стукнула дверь, послышались громкие голоса. Шли ревизоры...

Тимоша испуганно сжался.

— Где это ты прицепился, мокрица? — удивилась железнодорожница, разглядывая его распухшее от ветра лицо.

— Дядя у меня в вагоне.

— У всех дяди, тети. Геть, хлопчик. Свалишься, потом отвечай.

— Не, я крепкий.

— Чтоб духу твоего не было. В пикет сдам.

Поезд уже остановился. Мальчишка спрыгнул на гравий и чуть не упал: ноги застыли и были как палки.

Здесь садились человек десять—пятнадцать.

— До Катайска, бриллиантовая.

— Мест нет. К бригадиру ступайте.

— Он сюда послал.

— Куда я посажу. За пазуху?

Проводница загородила могучим телом лазейки для зайцев и прочего дорожного мусора, стала пропускать самых шустрых.

Из раскрытого окна высунулся лохматый Хрусталев и нагло заорал:

— Тимоха, вали напропалую, через борт!

Мальчишка подпрыгнул и вцепился в протянутую дружескую руку.

— Ты куда пропал? Думал, сбежал...

— Я выходил, контроль вдруг. Я на подножке спрятался.

— Ну, даешь. Они тут шерстили... Давай есть.

Какой-то хмырь, спекулянт дефицитными иголками — рубль штука,— принес чайник воды и разрешил пить всем, чтобы не завидовали его богатству. Хрусталев выдул на шармака полчайника, даже спасибо не сказал, и передал мальчишке. Напились вволю.

Поезд тронулся, застучали колеса. Паровоз прицепили мощный: пер состав на совесть, дыму напустил полный вагон.

— Что они там, бараньим жиром топят? — кашлял Хрусталев простреленным в бою легким.— Контроль будет, так под сапоги хоронись...

Замытаренный ночной ездой, мальчишка задремал, голова свесилась на грудь, безвольно моталась. От сладости сна из его рта текла детская слюна. В последний раз мелькнула узкая Исеть. Поезд полез на возвышенность. Перед Свердловском народ зашумел, задвигался. Поезд встал. Хрусталев обождал, пока схлынет основной народ, и растолкал Тимоху. Поставил на ноги, тот даже не проснулся.

— Спишь, как лошадь, стоя. Хоть глаза открой.

Мальчишка пришел в себя, испуганно оглянулся.

— Куда они идут, контроль забрал?

— Приехали, горе луковое, поезд не идет дальше.

Надо было ехать в город, искать баню. Тимоха взопрел под пиджаком, тело чесалось. Но он боялся уйти с вокзала: вдруг дополнительный поезд дадут...

— В умывальнике уши протрем,— согласился Хрусталев, направляясь в туалет. Тут тоже была очередь. Инвалид вытащил из сидора обмылок, холщовую тряпку.

Мальчишка подставил под медный кран голову, целиком, затылок заломило от холода. Железнодорожная грязь плохо смывалась. Пришлось намыливаться еще раз.

В очереди зашумели:

— Баню устроили.

— Известно, шпана неприкаянная...

Хрусталев покосился выпученным глазом:

— Не вякай на сироту, желвак! А то я из тебя канифас-блок сделаю.

Инвалид протянул тряпку Тимохе.

— Пойду в парикмахерскую, жди у киоска.

Вышли в зал. У касс гомонились люди — сутками ждали билеты.

Тимоха сел на пол за пустым киоском и рассматривал на стене портрет маршала Жукова в парадном мундире. Мальчишка соскучился по книгам и читал все надписи подряд, глаза были зоркие. И время двигалось быстрее.

Хрусталев вышел побритый, благоухающий тройным одеколоном. Здоровой частью лица он был совсем не старый — лет тридцати пяти.

— Порядок в бронетанковых войсках. На Киров десять часов ждать. Охренеешь. Пойдем на товарную, чем черт не шутит, вдруг сядем...

На пятом пути осмотрщик менял изношенные тормозные колодки у хоппера. Хрусталев угостил рабочего последней папиросой, что берег за ухом вторые сутки. Тот раздобрился, показал на наливной поезд с прицепленным паровозом.

— Дуйте, если успеете.

Куда «дуть» — одни цистерны, прилепиться негде. Побежали к паровозу. Машинист и его помощник ходили около огромных колес мощной машины, мазали крейцкопфы. Дядьки были сухощавые, строгие.

Готовый к пробегу исполинский «ФД» пыхтел насосом, накачивая воздух в ресиверы.

Хрусталев почтительно подошел к бригаде, взял под козырек.

— Братки, возьмите на тендер. Хоть пару прогонов...

Запаренный машинист вытащил из-под кулисы седую голову и длинным молотком сдвинул фуражку с малиновым кантом на затылок.

— На паровозе не положено посторонним. Начальство греет. Да и негде. С тендера вас охрана сметет.

Дело не выгорело. Оставалось ждать кондуктора.

Машинист оглядел Тимоху слоновьими глазками и спросил:

— Твой, что ли?

— Сирота он, в Ленинград едет, домой. Бежал из детского приюта,— пошел напропалую Хрусталев.

— Ладно, шкета прихватим.

— Вот спасибо, выручили.— Хрусталев стал рыться в карманах гимнастерки и вытащил красный тридцатник, который хранился на черный день.

— Спрячь, никому не показывай! — рыкнул машинист.

Инвалид крякнул от смущения. Главный кондуктор шел к паровозу с жезлом:

— Поехали, господа механики.

Машинист проверил табличку с названием перегона и сказал:

— Серафим, посади фронтовика. У нас места нет, сам знаешь...

Кондуктор пошевелил моржовыми усами и буркнул:

— Иди на тормоз. Носа не высовывай, пока с сортировки выедем.

Хрусталев обрадованно затрусил к площадке. Оглянулся — сел ли мальчишка. «Господа» полезли в будку и посадили Тимоху на сиденье, слева от котла.

— Грей кости.

В будке было не продохнуть от пустынного жара. Пахло раскаленным маслом, перегретым паром. Тимоха таращил глаза на рычаги, начищенные трубки, манометры. С непривычки было боязно — впервые попал на живой паровоз. Не знал, на что и глядеть.

Тимоха обалдел от грохота и свиста. «ФД» летел на всех парах, Проскочили перевал, начался другой. Затаив дыхание, он внимательно следил за слаженной работой суровых машинистов. Нет, это была не работа, а что-то другое, чему нет названия!

Когда перевалили девятитысячный подъем, бригада немного отдышалась. Помощник вытирал мокрую голову полотенцем, пил из медного чайника воду и вдруг подмигнул Тимохе:

— Ну как, нравится паровоз?

— Еще как! Надо же! Скорость сто километров в час. С рельс соскочим! — восторженно закричал Тимоха, вцепившись в какую-то железяку.

— Не соскочим, не бойся,— ухмыльнулся помощник и крикнул машинисту: — Слышь, Петрович, что парень говорит?

— Что?

— Ему «ФД» по душе пришелся.

Машинист оскалил стальные зубы:

— Свой в доску. Механиком будет.

— Ага,— радостно согласился Тимоха, не понимая, почему машинисты развеселились, и подумал: жалко, что Хрусталев не видит этой прекрасной машины. Ему бы здесь тоже понравилось...

Помощник, все еще улыбаясь, вставил рычаг и стал качать колосники, проваливая нагоревший шлак в бункер. Потом ровнял жар и опять валил уголь в бушующее пламя.

Навстречу неслась станция. Кочегар Евстигнеев спустился по трапу и на бешеном ходу поймал жезл. Давали зеленую улицу. Машинист двинул регулятор на полную катушку.

— Господи, благослови...

Началась настоящая работа.

Мальчишку укачало. Его слабое тело сползло на мягком сиденье. Он положил голову на подлокотник, пахнущий мазутом и потом, и задремал крепко.

Даже не слышал, как поезд остановился на узловой станции. Здесь паровозы менялись.

Прежде чем отцепиться и катить в депо, машинист «ФД» слез на качающуюся землю, подошел к резервному паровозу, который должен был вести наливной состав дальше, и крикнул:

— Митрохин!

Из будки показался машинист, вытирая замасленные руки обтирочными концами:

— Здорово. Чего скажешь?

— Эстафет прими от меня.

— Какой такой эстафет?

— Понимаешь, малец тут у меня на левом крыле спит. В Питер едет. Возьми с собой и передай по кругу.

— Небось его кормить надо? Мы сами зубами щелкаем.

— Да я картох дам, на сухопарнике спечете.

— Коли так просишь, давай своего иждивенца.

— Договорились.

Машинист «ФД» облегченно вздохнул и пошел к своему длинному паровозу.

Уже темнело. Помощник включил турбодинамо. Свет от лобового прожектора слепил глаза машиниста.

СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ

Алена

Между надолб
и свежих воронок,
меж столбов из огня и свинца
проползал этот храбрый ребенок
навестить лейтенанта-отца.

Оставался на ржавых колючках
детской шубки оранжевый мех.
Эта девочка ползала лучше
батальонных разведчиков всех.

Прижимаясь к земле незаметно,
снег губами ловя на пути,
до отца целых три километра
нелегко было ей проползти...

Вот возникнет она из метели,
вот отец ее к сердцу прижмет
и, укутанный серой шинелью,
именной котелок принесет.

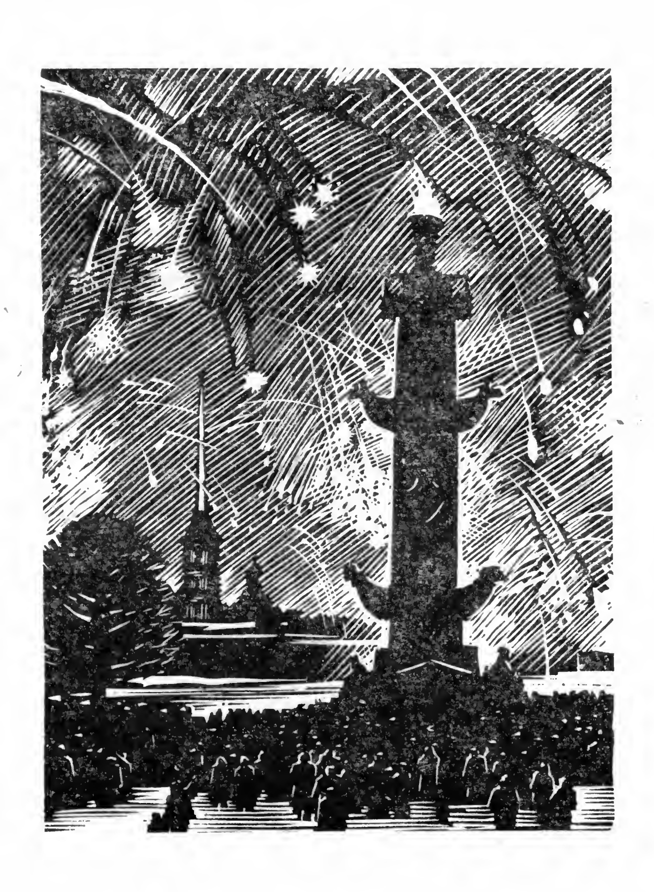
Там на донце
паек батальонный —
три картошины темных лежат.
«Это все для тебя — ешь, Алена».
Как ресницы ее задрожат...

Дальнобойный заухает молот,
и земля затрясется окрест.
Словно бешеный,
взвизгнет осколок —
ленинградская девочка ест.

Чуть живая мерцает коптилка,
бьет орудие в ближнем леске.
И пульсирует тонкая жилка
на таком беззащитном виске.

АНДРЕЙ УШИН

«9 мая»



МАРИЯ РОЛЬНИКАЙТЕ

М. Рольникайте четырнадцатилетней девочкой оказалась на оккупированной гитлеровцами территории, была узницей Вильнюсского гетто и двух концентрационных лагерей — Штрасденгофа и Штуттгофа. Ее записи того времени — книга «Я должна рассказать» переведена на 18 языков мира.

Предлагаемый отрывок из этой книги повествует о пребывании автора в последнем круге фашистского ада и освобождении из него Советской Армией.

Я должна рассказать

Из повести «Я должна рассказать»

Днем пришел одетый в черную форму эсэсовец. Начал отбирать более крепких. Поняв, что он отбирает для работы, все ринулись к нему с криком, что они здоровые и хотят работать. Сначала эсэсовец растерялся, но сразу опомнился, начал колотить направо и налево, отгоняя всех от себя. Но не мог справиться: жажда вырваться заглушила страх. Только вытащив револьвер, он разогнал нас.

Отобрав пятьсот женщин, он их увел. Я осталась тут.

В следующий раз я тоже попала в число отобранных и почувствовала себя почти счастливой — все-таки вырвусь!

Нас повели в баню, велели раздеться и впустили в большой предбанник. Войдя туда, мы обомлели: прямо на каменном полу сидели и даже лежали страшно изможденные и высохшие женщины, почти скелеты с безумными от страха глазами. Увидев за нашими спинами надзирательниц, женщины стали испуганно лепетать, что они здоровые, могут работать и просят их пожалеть. Тянули к нам руки, чтобы мы помогли им встать, тогда надзирательницы сами убедятся, что они еще могут работать...

Я шагнула, чтобы помочь сидящей вблизи женщине, но надзирательница отшвырнула меня назад.

Властно чеканя слова, она велит не поднимать паники — всех помоют и вернут в лагерь. Когда поправятся — смогут вернуться на работу. Мыться должны все без исключения: грязных в лагерь не пустят.

Нам она приказывает этих женщин раздеть и вести в соседнее помещение, под душ.

От страшного запаха меня мутит. Хочу снять с одной женщины платье, но она не может встать: ноги не держат. Пытаюсь поднять, но она так вскрикивает от боли, что я замираю. Что делать? Поглядываю на других. Оказывается, они мучаются не меньше меня. Надзирательницы дают нам ножницы: если нельзя снять одежду, надо разрезать.

Ножницы переходят из рук в руки. Получаю и я. Разрезаю платье. Под ним такая худоба, что даже страшно дотронуться. Кости прикрывает только высохшая морщинистая кожа.

Снять башмаки женщина вообще не позволяет — будет больно. Я обещаю верх разрезать, но она не дает дотронуться. Уже две недели не снимает башмаков, потому что отмороженные, гноящиеся ступни приклеились к материалу.

Что делать? Другие уже раздели нескольких, а я все еще не могу справиться с одной. Надзирательница это, видно, заметила. Подбежала, стукнула меня по голове и схватила несчастную за ногу. Та душераздирающе закричала. Смотрю: в руке надзирательницы башмаки с прилипшими к материалу кусками гниющего мяса. Меня затошнило. Надзирательница раскричалась, но я плохо понимала ее. Кажется, она кричала, что у меня слабые нервы, что я ничуть не лучше этих больных женщин...
Я бросилась раздевать следующую.

Тех, кто ходит, вводим, а лежащих носим и кладем под душ. Немного обмыв их, выносим назад, в холодный предбанник, и снова кладем на каменный пол. Полотенец нет. Несчастные стучат зубами. Мы тоже дрожим: бегаем мокрые из предбанника под душ и обратно.

Когда надзирательница отвернулась, я спросила у одной женщины, откуда она. Из Чехословакии. Врач. Привезли в Штуттгоф, а затем, как и нас, увезли на работу. Они рыли окопы. Работали, стоя по пояс в воде. Спали на земле. Когда обмороженные руки и ноги начали гноиться, вернули в лагерь. Рыть окопы повезли других. Их ждет та же участь.

Так вот куда на днях увезли партию женщин! А мы им завидовали...

Когда мы всех «выкупали», нас выгнали оттуда, дали продезинфицированные платья и повели назад, в барак. Уходя, мы слышали крики несчастных. Их, наверно, уже тащили. И конечно, не в лагерь...

Зачем же надо было издеваться, мыть?

Всю ночь я не сомкнула глаз. Передо мной все время стояло это страшное видение.

Время тянется очень медленно.

Жутко холодно. Какая мука по утрам и вечерам стоять на проверках! Бушует вьюга, дует холодный, насквозь пронизывающий ветер. А надо стоять в одних платьях и ждать, пока эсэсовцы соизволят прийти пересчитать нас. Каждое утро и вечер падает несколько женщин.

На днях одна не выдержала и бросилась на проволочную ограду.. Это единственный способ покончить жизнь самоубийством. Но женщину только сильно тряхнуло. Девушки предполагают, что постовой заметил и успел выключить ток. Узнав об этом, надзирательница сильно избила несчастную. Орала, что никто не имеет права так поступать: «Жизнь принадлежит господу богу!» А ведь осенью, когда мы работали в деревне, эта же надзирательница придумала такое воскресное «развлечение»: приходила после обеда вместе с другими надзирательницами, выбирала какую-нибудь слабую женщину и толкала ее на ограду. Между собой они бились об заклад: с которого раза заключенная повиснет на проволоке мертвой (иногда от тока только начинало трясти и отбрасывало).

Ужасно грязно. Воды не дают. Умывальни закрыты. Не перестает мучить страшная жажда. Так называемый суп, в котором лишь изредка попадается кусок гнилого листка капусты или шелухи сладковатой, мерзлой картошки, странно острый, будто в него всыпали перец. Он сушит, жжет рот, мы сосем грязный, вытоптанный снег. А ведь тут же, у барака, вырыта яма, заменяющая туалет. Досок, чтобы ее накрыть, не дают. Край скользкий. Одна женщина недавно упала в яму. Мы ее еле вытащили.

О наступлении Красной Армии ничего не слышно.

Пришло несколько офицеров. Стали нас осматривать. Мы обрадовались: наверно, возьмут на работу!

Началась страшная сумятица — каждая старается, чтобы ее выбрали. А эсэсовцы недовольно морщатся — все одинаково «дохлые». И хотя не очень придирчиво отбирали, все же взяли немногих.

Я оказалась среди отобранных. Может, на этот раз уже не поведут раздевать других и на самом деле повезут на работу?

Нас присоединили к большой группе, пригнанной из других бараков, сосчитали (всего тысяча) и повели в ту же баню, где мы недавно раздевали несчастных женщин. Может, скоро и нас привезут сюда в таком же состоянии?..

Померзнув под холодным душем, мы получили чистые рубахи, полосатые платья и такие же полосатые куртки. Записали наши номера и повели в какой-то недостроенный барак. Дверей нет, окна еще тоже не вставлены, ветер дует, заносит снег.

Когда стемнело, принесли рваные солдатские одеяла и платки. Объявили, что ночевать будем здесь же, в бараке. На работу повезут только завтра.

Пола нет, земля промерзшая, валяются куски досок, гвозди, но все равно надо лечь: стоять запрещается.

Ночь очень длинная. Холод сковал все суставы, заснуть нет никакой надежды. Хоть бы скорее утро! Пытаюсь представить себе, как будет выглядеть новый лагерь, что мы там будем делать. Если будем рыть окопы, надо будет стараться как-нибудь сохранить ноги. Может, найду там старую бумагу и оберну их? И обязательно каждый вечер буду снимать башмаки. Может, там суп будет лучше? Возможно, и воды дадут, наконец помоемся. Хуже, чем здесь, наверно не будет.

Как я могла здесь выдержать почти месяц? (Когда регистрировали, я видела, что на листе написано: «11 декабря».)

Послышалась обычная команда: «Aufstehen!» («Встать!»)

Тот же надзиратель проверил нас по списку и, убедившись, что все на месте, повел. Но, странно, не к воротам, а назад, к камере одежды. Велел отдать одеяла, куртки и платки. Кто медлил или осмеливался задать вопрос, получал по голове.

Нас привели обратно в тот же вонючий барак, из которого мы вчера вышли с такими надеждами...

Оказывается, нас не вывезли на работу потому, что в лагере началась эпидемия тифа. Карантин. Лагерь закрыт.

Эпидемия! Она схватит всех, невзирая ни на возраст, ни на вид. Тиф не разбирает... К тому же нас, конечно, не будут лечить. Может, даже нарочно заразили, чтобы мы вымерли. Не заболевают ли от этого страшного супа? Может, он такой острый не от перца?

Как уберечься? Как найти в себе силы не есть этот суп, нашу единственную пищу? Как научиться совсем-совсем ничего не есть, даже не сосать этот грязный снег?

Но поможет ли это?..

Кажется, я заболеваю. Голова тяжелая и гудит. Во время проверок меня поддерживают под руки, чтобы я не упала. Неужели это тиф?!

Я болела...

Женщины рассказывают, что в бреду я напевала какие-то песенки и страшно ругала гитлеровцев. Они даже не подозревали, что я знаю столько ругательных слов. Хорошо, что голос слабенький, да и гитлеровцы сюда больше не заходят — боятся заразиться. За такие слова пристрелили бы на месте.

А мне неловко, что я ругалась. Объясняю, что у нас в семье никто никогда... Папа — адвокат. Женщины улыбаются моим объяснениям...

Говорят, что я выкарабкалась. Переболела. А мне кажется, что они ошибаются. Это, наверно, было что-нибудь другое, еще не тиф. Ведь тиф — страшная болезнь! Я бы так просто, без лекарств, не выздоровела, ведь умирают более крепкие, чем я. Но женщины объясняют, что тиф как раз сокрушает крепкие, никогда не болевшие и поэтому не привыкшие бороться с болезнью организмы.

Знала бы мама, как спасли ее мучения со скарлатинами, желтухами и плевритами моего детства!..

Во двор умыться снегом ползу на четвереньках. Встать не могу — перед глазами расплываются зеленые круги.

Здесь настоящий лагерь смерти. Гитлеровцы уже не следят за порядком. Проверок нет: они боятся войти. Есть не дают. Даже так называемый суп получаем раз

в два-три дня. Иногда вместо него приносят по две мерзлые картофелинки. Хлеба мы уже давно не видели. А есть ужасно хочется: я начинаю выздоравливать.

Донимают вши. Уже не стесняясь, давим. Но, к сожалению, их не становится меньше.

Умерла красавица Рут. Начали гноиться ноги, потом руки. И вот она умерла... В последнее время уже не вставала. А ведь еще в Штрасденгофе она была такая красивая! Всегда бодрая, не поддающаяся плохому настроению. Как она верила, что мы дождемся свободы и что она встретится с мужем! Теперь ее, страшно распухшую, сунут в печь крематория. Все. Молодость, красота, жизнелюбие превратятся в пепел...

Кто-то уверяет, что уже Новый год. Слышал, как один постовой поздравлял с Новым годом надзирателя.

Значит, уже 1945-й... В этом году война наверняка кончится. Ведь гитлеровцев уже добивают. Но... Не зря говорят, что смертельно раненный зверь страшен вдвойне. Неужели мы будем его предсмертными жертвами? Не может быть! Зачем думать, что, отступая, обязательно уничтожат нас? А может, не успеют? И тогда мы будем свободны! Может, и мама с детьми в каком-нибудь лагере? Их тоже освободят. И папа вернется. А Мира уже будет ждать нас в Вильнюсе. Мы все встретимся в старой квартире. Я по утрам снова буду спешить в школу, Мира — в университет. Раечка с Рувиком тоже потопают в школу — ведь уже подросли...

Но когда это будет? И будет ли вообще?

Рая, с которой мы вместе работали у помещика, рассказывает, что слышала от разносчиков супа, будто ночью в крематории был пожар. Сгорела газовая камера. Предполагают, что кто-то поджег.

Нас это все равно не спасет.

Жуть! Я спала, уткнувшись в труп. Ночью я этого, конечно, не чувствовала. Было очень холодно, и я уткнулась в спину соседки. Руки подсунула ей под мышки. Кажется, она зашевелилась, прижимая их. А утром оказалось, что она мертва...

Пришла надзирательница. Велела всем, кто уже переболел, выстроиться. Думая, что будут отправлять на работу, пытались встать и больные. Но она сразу заметила обман.

Нас очень немного. Надзирательница отобрала восьмерых (в том числе и меня) и заявила, что мы будем «похоронной командой». До сих пор был большой беспорядок, умершие по нескольку дней лежали в бараках. Теперь мы обязаны умерших сразу раздеть, вырвать золотые зубы, вчетвером вынести и положить у дверей барака. По утрам и вечерам мимо будет проезжать лагерная похоронная команда и увозить трупы.

Не знаю, как я понесу других, если сама еле двигаюсь. В глазах рябит, ноги подкашиваются. Передвигаюсь, только держась за стену.

Подходим к одной женщине, которая умерла сегодня утром. Беру ее холодную ногу, но поднять не могу, хотя тело умершей совершенно высохшее; остальные уже поднимают, а я не в состоянии. Надзирательница дает мне пощечину и сует в руки ножницы и плоскогубцы: я должна буду раздевать и вырывать золотые зубы. Но если осмелюсь хоть один присвоить — отправлюсь вместе со своими пациентками к праотцам.

Покойную кладут к моим ногам. Смотрю — она, кажется, жива! Глаза открыты и как будто шевелятся! Но надзирательница торопит раздевать. Несмело дотрагиваюсь пальцем — холодная. Так почему такие глаза? Наконец догадываюсь, что в них отражается висящая под потолком лампочка, которую раскачивает ветер. Дрожащей рукой разрезаю платье. Приподнимаю, хочу раздеть, но тело не держится и валится назад, глухо ударяясь головой об пол. Я должна поддержать, прижать к себе. А тело такое холодное. Словно насмехаясь надо мной, покойница сверкает золотыми зубами. Что делать? Не могу я их вырвать! Оглянувшись, не видит ли надзирательница, быстро зажимаю плоскогубцами рот. Не станет же она проверять.

Но надзирательница все-таки заметила. Она так ударяет меня, что я падаю на труп. Вскакиваю. А она только этого и ждала — начинает колотить какой-то очень тяжелой палкой. И все метит в голову. Кажется, что голова треснет пополам, а надзирательница не перестает. На полу кровь...

Она избивала долго, пока сама не задохнулась.

Весь проход завален мертвецами. Их надо раздеть. Но я не могу, совсем не могу! Лучше буду носить, ползать из последних сил, но только не раздевать! Пусть кто-нибудь сжалится надо мной. Я не могу... Мне плохо... Очень плохо...

Раздевать стала другая.

Уходя, надзирательница открыла нам умывальню. Сказала, что можем помыться и здесь же спать. Но, к сожалению, воды нет. Только называется умывальней.

Пол каменный, холодно, но по крайней мере не так воняет. Женщины легли. Я бы тоже легла, но очень болит разбитая голова, не могу ее положить. Подперла лоб пальцами и сижу...

Очевидно, я все-таки задремала, потому что проснулась, дрожа от холода. Оказывается, мы насквозь мокрые: прямо на нас из так называемого душа льется ледяная вода.

Мы вбежали в барак. Узнав, что идет вода, все проснулись и бросились в умывальню. Но вода, словно заколдованная, перестала литься. Несколько женщин напились из лужиц, образовавшихся на полу, а другим и того не досталось.

В нашем бараке ежедневно умирают по сорок — шестьдесят женщин. У дверей постоянно лежат горы окаменевших, посиневших трупов. Приезжает телега, в которую впряжены заключенные. Двое мужчин берут за руки и за ноги высохшее, замерзшее тело, раскачивают его и забрасывают на груду таких же голых трупов.

Крематорий работает круглые сутки, около него навалены большие горы трупов: в лагере ежедневно умирает около тысячи человек.

Похоронщики привезли хорошую новость: фронт приближается!

Мужчин эвакуируют. Мы видели, как увели три группы. И эсэсовцев становится меньше. Очевидно, лагерь ликвидируют. Работоспособных выводят, а нас, наверно, сожгут вместе с бараками.

Женщин тоже будут эвакуировать.

Рано утром пришел надзиратель и заявил, что те, кто в состоянии идти пешком, должны быть готовы к уходу отсюда.

Я идти пешком не смогу...

Вот и конец. Когда свобода уже совсем близко, я окончательно выдохлась. Если бы у меня было хоть немножечко сил! Хоть капелька надежды, что поплетусь!

Под вечер тот же гитлеровец снова пришел и велел строиться. Все, кто только мог, покинули барак. Я оглянулась. В бараке остаются только трупы и те, кто не в силах даже сесть... Нет, я не останусь! Ни за что не останусь! Я пойду! Пусть будет что будет, но только не здесь! Только не лежать и не ждать, пока подожгут.

Пошатываясь выхожу. В бараке остается одна относительно здоровая женщина: она не хочет оставить умирающую подругу в ее последний час.

Нас выводят. Какой большой толпой мы сюда пришли и какой жалкой кучкой уходим... И все равно еще не на свободу.

Ночуем в том же бараке без окон, где однажды уже пришлось дрожать от холода.

Утром мы получили хлеб — треть буханочки. Предупредили, что этого должно хватить на три дня. Значит, столько будем в пути. Но неужели все время пешком? Только бы выдержать!

Вначале, когда я немного разошлась, я поверила было, что смогу идти, но вскоре ноги стали подгибаться. Казалось, что больше не смогу сделать ни одного шага. Но все-таки заставляла ноги делать этот шаг, потом еще один и снова несколько... Уговаривала себя, что, может, скоро уже разрешат отдохнуть. Обязательно надо выдержать до отдыха! Потом будет легче.

Я уже почти совсем падала, когда конвоиры наконец засвистели и велели сесть по обеим сторонам дороги, у рва. Я свалилась, закрыла глаза, но перед ними все равно мерцал грязный дорожный снег. Еле переводила дух. Не помогли ни снег, ни сосульки, которые я все время сосала.

Встать было еще труднее. Но женщины мне помогли.

Я не представляла себе, что выдержу до вечера.

Когда стало смеркаться, нас пригнали в какую-то

усадьбу. Одних закрыли в сарай, других загнали в хлев. Какое это счастье — лежать всю ночь, до самого утра! Я отломила кусок хлеба и, жуя, всплакнула: как хорошо, что я не осталась в лагере. Теперь меня уже, наверно, не было бы. А здесь я все-таки живая.

Осталось еще два дня...

Зря мы надеялись, что будем в дороге три дня. Дни прошли, а конца пути не видно. Идем и идем. Наверно, будут гнать до тех пор, пока не свалятся последние. Ежедневно в пути падает несколько женщин. Падают, и даже с помощью других не в состоянии подняться. Конвоир пускает очередь в голову, пинает ногой, и очередной труп скатывается в ров. Проходя мимо ближайшего села, конвоиры сообщают, что за несколько километров отсюда лежит труп, который надо закопать. Скоро потеплеет, может начаться эпидемия.

Сегодня мимо нас провели колонну советских военнопленных. Выглядят они ужасно — изголодавшиеся, желтые, высохшие. С каким сочувствием смотрели они на нас.

Я старалась не пропустить ни одного лица: может, среди них мой папа?

Меня уже ведут. Сама идти не в состоянии. Из последних сил стараюсь слишком не наваливаться на ведущих меня женщин, силюсь сама переставлять ноги. Но это невероятно трудно. Кроме всего прочего, затрудняет ходьбу прилипающий к деревянным подошвам снег.

Мы страшно голодаем: есть совсем не дают. Иногда какой-нибудь из хозяев, в сарай которого нас закрывают на ночь, дает для нас котел картошки. Получаем по одной или по две малюсенькие картофелинки и здесь же, в сарае, их проглатываем. А это так мало...

Мы научились распознавать заснеженные бункера, в которых зарыта на зиму картошка или свекла. Ни удары, ни даже выстрелы конвоиров не могут остановить голодных женщин — они набрасываются, окоченевшими руками разгребают снег, разрывают землю и расхватыва-

ют свеклу. Когда мы уходим, на вытоптанном снегу остается несколько убитых. В стынущих руках крепко зажата столь желанная свеколка.

Иногда и нам, кто не может бежать вместе со всеми, приносят свеколку или картофелинку. Но, к сожалению, бункера попадаются далеко не каждый день. Чтобы не так мучил голод, сосу снег и сосульки.

Я начала опухать. Та сторона, на которой ночью лежу (лежать на спине не удается: нет места), отекает, заплывает глаз, до полудня не могу его открыть. А на ноги даже смотреть страшно: они так распухли, что еле влезают в те большие мужские башмаки, в которые я когда-то запихивала столько бумаги. Боюсь, что в какое-нибудь утро я их совсем не всуну в башмаки. Но не идти же босиком по снегу! А не снимать не рискую. Будет как с теми, которых мы тогда мыли...

Конвоиры чем дальше, тем становятся злее. Очевидно, им уже тоже надоело тащиться, хотя они не устают: каждые несколько часов меняются — садятся на телеги, которые следуют сзади со всеми их вещами, и отдыхают. Нам же разрешают присесть всего один раз в день, на получасовом привале.

Ночью иногда слышны очень далекие глухие взрывы. Очевидно, там фронт. Но днем нас снова гонят дальше, и взрывов почти не слышно. А остаться здесь немыслимо. В пустом сарае не спрячешься, а если просто будешь лежать — значит, ослабла, и тебе всадят пулю в голову.

По шоссе тащимся не мы одни. Здесь растянулись длиннющие вереницы телег. Навалив свои вещи, посадив семьи, привязав коров и овец, немцы спешат на запад, подальше от фронта. Как странно, что мы, которые так ждем фронта, должны двигаться в одном направлении с ними. Но в противоположную сторону не повернешь: конвоиров много, они вооружены, их собаки свирепы, а мы — опухшие, еле живые, безоружные.

Мы уже целую неделю в Стрелентине. Это бывшее поместье. Хозяин на войне, хозяйка с детьми удрала в Берлин, а все добро разграбили соседи.

Нас держат запертыми в хлевах, а унтершарфюрер с нашей охраной живет в замке, запущенном, пустом и оскудевшем, белеющем одиноко на холме.

Есть почти не дают, только пол-литра так называемого супа — мутной водицы без соли.

Из хлевов нас выпускают только два раза в день. А чтобы не окоченеть, мы должны заниматься «спортом». По утрам и вечерам надзирательницы заставляют делать упражнения, а сами катаются со смеху от этого «спорта скелетов», как они прозвали наши жалкие попытки повторить за ними движения. Придравшись к какой-нибудь женщине, они вытаскивают ее перед строем и приказывают делать упражнения соло, а нас заставляют хохотать. Кто недостаточно искренне смеется — получает по голове.

Я уже еле переставляю ноги. На «спорт» меня поднимают и ведут. Надзирательницы не должны знать, что я уже в таком состоянии.

К сожалению, я не одна такая.

Всю вторую половину дня землю сотрясали взрывы.

Когда стемнело, конвоиры неожиданно велели строиться. Пойдем дальше. Ночью?! Значит, на расстрел... Так мы и не убежали от смерти.

Не пойду! Останусь. Чтобы гитлеровцы не заметили, притаюсь в уголке, пока не услышу, что кругом уже ходят наши. А если заметят... Что ж, все равно смерть, так пусть часом раньше.

Женщины уговаривают меня идти. Может, не на расстрел ведут, может, погонят дальше. Меня это уже не спасет — не дойду.

Все-таки меня вытащили. Не хотят оставить такую молодую на явную смерть. В темноте не видно будет, что они меня тащат, и, может, как-нибудь доплетусь.

Идти приказано очень тихо. Даже конвоирам запрещено разговаривать и курить. Собак они держат за ошейники и следят, чтобы те не лаяли. Почему такая таинственность?

Жуткая тишина. Взрывы, только что казавшиеся близкими, не слышны. К башмакам снова прилипло много снега. А ноги не слушаются, заплетаются. Я уже несколько раз падала, но женщины меня поднимают и тащат дальше. Неужели они не понимают, что это уже не поможет, что я уже совсем без сил и даже с их помощью не в состоянии двигаться? Я уже даже не дышу, а только хватаю воздух. Им и самим, видно, на этот раз намного труднее меня тащить: они очень часто

меняются. Просят меня держаться, не выскальзывать из их рук. Но я падаю. Ничего не могу поделать...

Все...

Лежу. Меня поднимают, но ноги уже больше не слушаются, я никак не могу побороть слабость. Женщины вынуждены отпустить мои руки: их гонят...

Они уходят... Все идут мимо меня...

Я закрываю глаза, чтобы не видеть, как конвоир выстрелит...

Кажется, я жива, только болит бок. Может, ранило? Выстрела не слышно было, и не очень болело. Но почему я лежу в кювете? Дорога пуста. Значит, все ушли... Да, еще слышны удаляющиеся шаги. Что тут произошло? Неужели промахнулся? Может быть. Раны нет. А может, не стрелял? Ведь не слышно было. Ну да! Как я сразу не догадалась, что конвоир только спихнул меня в канаву.

Как здесь красиво! Лес молчаливый, словно окаменевший. И снега много. Мягко... Хорошо и тихо...

Чей там голос?.. Неужели мне мерещится? Нет, шепчет... Женский голос. Спрашивает, жива ли я. Но мне трудно шевельнуть языком...

Голос снова спрашивает, жива ли я. Открываю один глаз: наверху, на шоссе, стоит женщина. Она велит вылезти. Лежать нельзя, потому что замерзну. Надо двигаться.

А если у меня больше нет сил двигаться, если даже разговаривать не могу?..

Оставила... По крайней мере будет спокойно.

Нет, вернулась назад. Принесла палку. Чего она хочет?

Чтобы я не уснула.

А я как раз хочу спать.

Она просит не валять дурака. Как раз теперь, когда свобода уже так близко, надо из последних сил стараться продержаться.

А у меня и этих последних больше нет.

Все равно надо держаться. Она до тех пор не отстанет от меня, пока я не вылезу из канавы. Хоть на четвереньках, хоть до самого утра карабкаться, но я должна выбраться. Она мне поможет. Принесет еще одну палку.

За лесом снова загремели взрывы. Может, наши на самом деле близко? Надо во что бы то ни стало встать!

Моя спасительница легла на живот и тащит меня за руки. Скольжу, падаю обратно и снова пробую вылез-

ти. Вконец измучившись, я кое-как выкарабкалась. Но стоять, оказывается, очень трудно. Пока я лежала, казалось, что набралась сил, но на самом деле слабость не прошла. Ноги не держат. Моя новая подруга подала мне палку и все-таки вытащила меня. Велела вцепиться ей в руку и хоть помаленьку двигаться, чтобы не замерзнуть.

Так и тащимся, взявшись за руки, опираясь на палки.

Мы одни на длинном, пустом шоссе. С обеих сторон нас обступает лес. Кажется, будто из-за каждого дерева кто-то смотрит на нас, следит.

Моей спутнице, очевидно, тоже страшно, поэтому она беспрестанно говорит. Она из Венгрии, учительница. Всю семью расстреляли — сначала родителей, потом мужа. Он был очень хороший. И родители были хорошие. Теперь она осталась одна. Совершенно одинокая. Даже не представляет себе, как сможет жить. А умирать не хочет. Поэтому она сейчас сделала вид, что ослабела: решила остаться и дождаться Красной Армии. Она слышала, как один конвоир передал другому приказ унтершарфюрера не стрелять, даже если кто упадет,— выстрел может их выдать.

Вдруг: «Hände hoch!» Поднимаем трясущиеся руки. Из лесу выбегает вооруженный гитлеровец с собакой. Он велит отдать оружие. Не поверив, что у нас его нет, обыскивает. Требует документы. Отвечаем, что у нас их нет, потому что мы из концентрационного лагеря, узников которого недавно провели по этой дороге. Нам стало плохо, и мы отстали, но теперь уже чувствуем себя совсем хорошо и догоняем.

Но гитлеровец ничего не хочет знать. Твердит, что мы русские шпионки, которых надо расстрелять. Уверяем, что мы действительно из лагеря,— разве шпионки стали бы ходить в такой одежде. А он свое: мы предательницы и ждем здесь русских.

Откуда-то появляется еще один гитлеровец. Оказывается, он знает о нашем лагере, который здесь действительно прошел и как будто остановился в деревне Хина.

Первый гитлеровец выводит из-за дерева спрятанный там велосипед, садится на него и велит нам следовать сзади. Предупреждает, чтобы мы не пытались бежать, потому что он отпустит собаку, которая нам перегрызет глотки.

Он едет, а мы стараемся не отстать. Мне опять не хватает дыхания, падаю... Но, услышав злое рычание

собаки, заставляю себя двигаться. Подруга меня поддерживает.

Наконец мы подходим к маленькому домику. Приказав собаке сторожить нас, гитлеровец входит в домик. Собака не спускает с нас глаз. Так и ждет, чтобы мы шевельнулись. И все, проклятая, смотрит на шею. Наверно, не одного человека загрызла насмерть...

Уже совсем рассвело. Неожиданно мы увидели подъезжающего на телеге конвоира нашего лагеря. Он избил нас и велел залезть на телегу. Я еле вскарабкалась.

Нас повезли через какую-то деревню. Пусто. Ни одной живой души. Ставни закрыты, двери заперты. Тишина. А может, люди еще спят?

За деревней открылись поля. Вдали возле большущего сарая много телег. Наверно, здесь и есть наш лагерь. Все начинается снова...

Страшно загремело. Один за другим послышались глухие взрывы. Сидевшая рядом с нами собака конвоира насторожилась. И видневшиеся у сарая гитлеровцы засуетились. Одни смотрят в небо, другие спорят между собой.

Подъезжаем. Что это? Конвоиры подкатывают к сараю бочки! Подожгут! Мы будем живыми гореть!..

Нас впускают в сарай. Там много женщин, не только из нашего лагеря. Тут, же прямо на земле, в смеси отрубей, сена и навоза, лежат умирающие и умершие. Им уже все равно...

Сказать или нет? Промолчу. Пусть не знают, будут спокойнее.

Нет, скажу. Хоть одной.

Шепчу эту страшную весть соседке слева. Но она меня, кажется, не поняла. Или не слышала — кругом гремят взрывы. Говорю другой. Та с криком бросается к щелке, смотрит. Но через щель ничего не видно — ни гитлеровцев, ни дыма. Ужас охватывает и многих других. Все начинают стучать, метаться. Но никто ничего не видит. Охранников нет.

Гудит... Приближается! Самолеты?

Меня трясут за плечи. Кто? Снова эта венгерка. Спрашивает, понимаю ли я по-польски. Говорит, что кто-то стучит в стену и говорит по-польски. Что он кричит?

Он кричит, что в деревне уже Красная Армия, а гитлеровцы удрали.

Может, провокация? Не надо отвечать.

Он кричит, стучит, а мы молчим.

Еще раз повторив, уходит.

Тихо... А может, гитлеровцы на самом деле испугались этих взрывов и удрали, оставив нас здесь одних?..

Снова гудит. Что-то приближается!

Почему такой шум? Почему все плачут? Куда они бегут? Ведь растопчут меня! Помогите встать, не оставляйте меня одну!

Никто не обращает на меня внимания. Хватаясь за голову, протягивая вперед руки, женщины бегут, что-то крича. Спотыкаются об умерших, падают, но тут же встают и бегут из сарая. А я не могу встать.

Рядом девушка не встает. Она мертва. Сейчас и я умру, если меня не поднимут.

За сараем слышны мужские голоса. Красноармейцы?! Неужели они?! Я хочу туда! К ним! Как встать?

В сарай вбегают красноармейцы. Они спешат к нам, ищут живых, помогают встать. Перед теми, кому их помощь уже не нужна, снимают шапки.

— Помочь, сестрица?

Меня поднимают, ставят, но я не могу двинуться, ноги дрожат. Два красноармейца сплетают руки, делают «стульчик» и, усадив меня, несут.

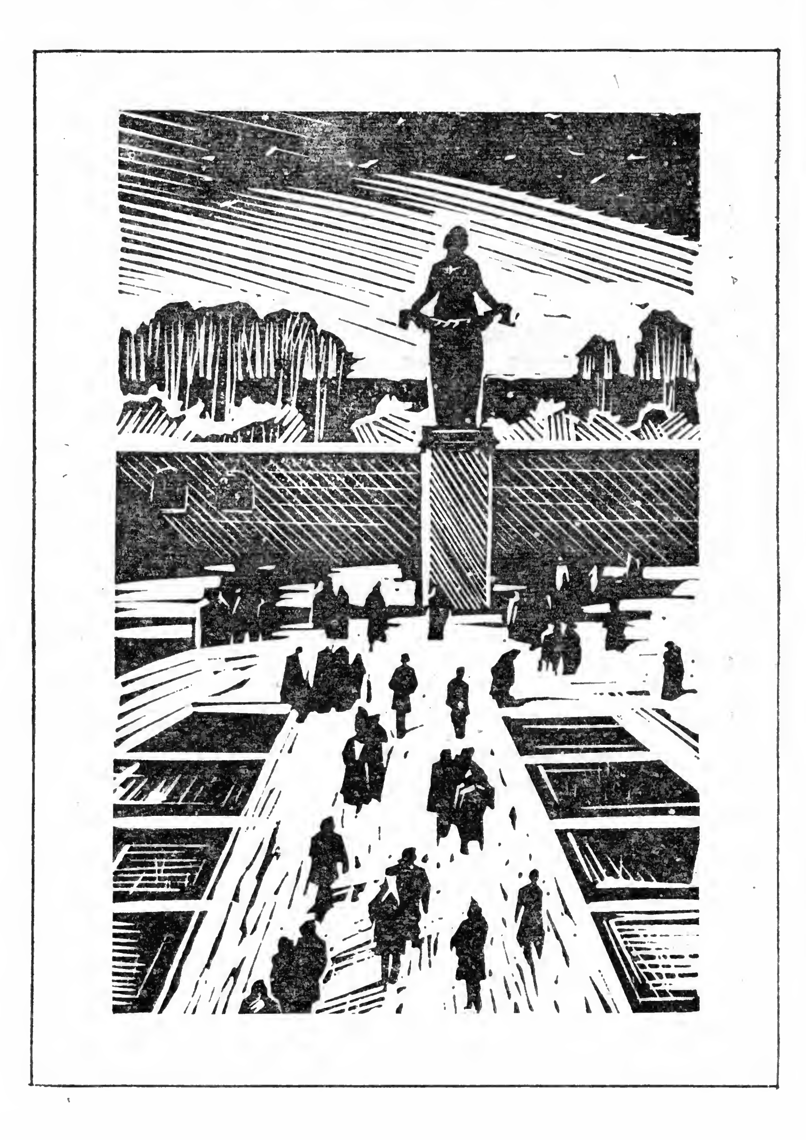
Из деревни к сараю мчатся санитарные машины, бегут красноармейцы. Один предлагает помочь нести, другой протягивает мне хлеб, третий отдает свои перчатки. А мне от их доброты так хорошо, что сами собой льются слезы. Бойцы утешают, успокаивают, а один вытаскивает носовой платок и, словно маленькой, утирает слезы.

— Не плачь, сестрица, мы тебя больше в обиду не дадим!

А на шапке блестит красная звездочка. Как давно я ее не видела!..

АНДРЕЙ УШИН

«Пискаревское мемориальное»



НАДЕЖДА ПОЛЯКОВА

Красные цветы

Двадцать семь тысяч —
Это приблизительно
И округленно —
Женщин,
детей,
стариков
и старух
В узкой,
песчаной,
а нынче зеленой
Балке Змиевской.
Не напрягаю слух,
Наоборот —
уши ладонями сжать бы!
Слышу их стоны
из-под земли...
Красные розы
на месте кровавой жатвы
От красной крови их
расцвели.
По ночам
из глубокой балки
Доносились стоны
До тесных рабочих кварталов
Оккупированного Ростова.
И кто-то
пробирался ползком,
Облизывая запекшиеся губы
Обкусанным
стучащими зубами
языком,
И звал терпеливо:
«Люба!.. Люба!..»
А утром его
прокалывали штыком
И кованым сапогом
сталкивали с обрыва...

Уже мертвые
падали
на его живого.
Предсмертная судорога
Пальцы сводила
в кулак.
«Господи!
Среди зверей
не бывает такого.
Почему же
среди людей —
так?!»

...А на Пискаревском кладбище
музыка из-под земли —
Из-под этих
чудовищных гряд
С указаньем блокадных дат.

Здесь покоятся родные мои:
Тетя Даша,
тетя Таня,
Сестры Вера и Валя,
Маленький племянник Боря
И бабушка
Настасья Филипповна —
Совсем по Достоевскому,
Но так ее звали.
К моим башмакам
Красные листья
прилипли,
Как знаки печали
и горя...
«Говорят,
здесь тысячи и тысячи
Погибших от голода
ленинградцев?» —
«Тысячью меньше,
тысячью больше...» —

Душно от равнодушья!

Ведь даже одна
Человеческая жизнь —
Это целый мир,

О котором плачут
Высокие звезды
В морозном небе
Длинными и сухими лучами...

Слово было в начале...

«Даже слез не пролить,
Вымерзли слезы-то,
милые...»
Детей,
разучившихся говорить,
Позабывших свои фамилии,
Вырывали
Из блокады,
Отправляли
В дальние дали,
Встречали
В Ишиме и в Краснодаре.

Я видела тетрадь,
Предназначенную для арифметики,
С именами детей,
не умевших играть,
Дичившихся тех,
кто хотел накормить
и согреть их,
Еще не понимавших,
Что Родина —
им единственная мать...
Одних привезли
и вычеркнули из тетради...
«Уж лучше бы там,
Со своею родней,
в Ленинграде...» —
И на вечные веки
Остался на кладбище
местном
Малый холмик,
Под которым
ребенок лежит
неизвестный...
Других,
повздыхав,
унесли сердобольные тети.

Назвали по-своему,
вынянчили...
Как вы сегодня живете?
Ребенок,
солдат,
Человек,
победивший блокады и войны,
На теплой планете людей,
Где опять неспокойно?
Рдеют на месте балок и рвов
Красные ливни
красных цветов.
Шапку сними,
зубы сожми,
стой!
Слышишь,
близких твоих —
из-под земли
стон?!

В ночной бессонной тишине
Он отзывается во мне:
— Не быть войне!
— Не быть войне!

ВАСИЛИЙ ЦЕХАНОВИЧ

Там, за белыми флагами

Рассказ

Сперва загорланили трубы, эти медные петухи военного лагеря, а потом уж не в лад закричали дежурные и дневальные:

— Первая рота, тревога!

— Вторая...

— Третья...

— Подъем!..

— Батальон, тревога, подъем!..

Тяжело вздохнули соломенные подушки и тюфяки, застонали сосновые нары. Забасили спросонья ворчливые, недовольные голоса. Торопливо, дробно зазвякали котелки, лопаты и каски. Палатки слетали с кольев и обвисали, никли как угасающие парашюты.

Я считался конно-связным, и командир послал меня (не помню уже зачем) на полковую конюшню. Выполнив поручение, я поспешил назад. Но роты на месте не было. Исчез весь полк. Далеко в глубине учебного поля играл духовой оркестр. На эту раннюю музыку шли, разминая колесами лагерную линейку, обозы тыловиков. Отфыркивались кони. Поскрипывали дощатые перегруженные повозки. Я окликнул ездового, с важностью восседавшего на высоких козлах последней подводы:

— Вы куда?

От избытка достоинства он даже не оглянулся.

— Туда же, куда и вы.

— Трудно ответить?

— Нетрудно.

— Ну и куда?

— Закудыкал! Куда же еще? На войну.

— Брось заливать!

— Да ты что?.. Сорвался с этого самого?.. Есть же приказ...

— Приказ?..

У меня развязалась обмотка. Наклонясь над ней, я топтался, отыскивая шнурок, и в спешке пытался вник-

нуть в смысл того, что услышал. Значит, на фронт. Ну что ж, к этому шло все дело. Закрепив потуже обмотку, я распрямился, встряхнулся и как бы другими глазами глянул на все вокруг. Или, может быть, все вокруг внезапно стало другим? Силуэты берез, их листья, падающие с ветвей, оседающие в тумане, как чаинки в крутом кипятке. Корявая от следов, исчерченная колесами лагерная линейка. Квадратный гриб на линейке, похожий на маленькую часовню. Удаляющаяся повозка, ездовой, гордо сидящий на покрытых брезентом козлах. И прямая, черная с прозеленью, студенисто отсвечивающая дорога.

Дорога? Какая дорога? Я покрутил головой и еще раз взглянул себе под ноги. Оставалось лишь удивляться. Под ногами был свеженакатанный, с промятинами от колес, сырой и мягкий проселок. Откуда он взялся? Я знал, что его никогда здесь не было. Здесь было учебное поле. Здесь была сибирская прерия, на редкость невозмутимая, выносливая земля. День и ночь ее утрамбовывали солдатские башмаки, терзали лопаты, укатывали железные траки танков. А она оставалась зеленой, оставалась самой собой. После дождей поднималась притоптанная трава, нежно кустились всходы на черствой изнанке дерна, заплывали, выравнивались танковые колеи.

Я брел по дороге, которой еще вчера вечером не было. Я недоверчиво брел по ней. А где-то там, впереди, упруго гремела музыка и латунные ножницы прожекторов кроили серое небо. Шли колонны. Шли взводы и роты, батареи и дивизионы. Шли батальоны, полки. Шла дивизия, наша Сибирская добровольческая дивизия, отправлявшаяся на фронт. И вдруг я понял — так вот оно что! — это был ее след. Дивизия шла по дремучей, вековой целине, а за ней — за ней тянулась дорога. Возникающая на глазах, новорожденная дорога. Она, как после дождя, казалась слегка грязноватой. Но это была не грязь. Это было что-то другое. Подметки, копыта, колеса истолкли до корней траву, которая тут росла, и пролитый ею сок покрыл колеи дороги. И пахла она по-особому. Так пахнет на утренней зорьке только что скошенный луг.

Колонны делали крюк. Сначала они уходили в белесый степной простор, потом одна за другой поворачивали налево, к оркестру и прожекторам. Все это едва угадывалось за далью и рваной мглой. Как суровая черная

нить, вереница колонн прошивала расползшийся холст тумана. Я кинулся наперерез им. Я кинулся вброд сквозь поле, затопленное росой, и вскоре вымок до пояса. Ботинки мои набухли, стали скользкими и тяжелыми, обмотки до онемения смяли, сдавили икры. Но мне было не до того. Я дрожал не столько от холода, сколько от необъяснимого, тревожного нетерпения поскорее пристать к своему полку, своей роте, своему взводу, своему отделению.

Прежде чем мне удалось это, глаз попутно успел уловить несколько новых подробностей. Я увидел прожекторные установки со слепящим электросварочным пламенем и дымком. Я увидел трубы оркестра в бликах этого пламени. Я увидел дощатый помост — трибуну в открытом поле и на ней командира дивизии, начальника политотдела и нескольких строгих штабных. А еще я увидел знамя — красиво провисшие складки шелкового полотнища в ртутном блеске росы. Под знаменем шли знаменосцы. Они продирались, проламывались сквозь травяные дебри. А где-то там, позади, замыкающие подразделения шагали уже по дороге — правда, слегка осклизлой, но хорошо утоптанной грунтовой дороге с плывущим над ней прохладным, сырым и обманчивым запахом сенокоса.

Было что-то вроде парада. Выставив иглы штыков, колонны под звуки марша шествовали мимо трибуны. Громоздились одна на другую зыбкие волны «ура!». Тесовый помост, казалось, качался на них, как плот. И я навсегда запомнил этот внезапный, будничный, поспешный парад на рассвете. И я навсегда запомнил дорогу, которую мы торили, перемалывая каблуками сентябрьский травостой.

Она была моей первой, самой первой военной дорогой. Сколько их было всего — это я не знаю. Может быть, сто или тысяча. Были асфальтовые и грунтовые, каменные и железные, санные и колесные, гужевые и пешие. Были проселки и магистрали, тропинки и большаки. С дзотами на перекрестках, с окопами на обочинах, с минами и фугасами, вкопанными в колеи. С запахами солярки, пота, пороха, гари, а иногда и крови. С дымом пожарищ. С песнями и командами, с ругательствами и пальбой. С фанерными созвездиями погостов ошую и одесную — с одной и другой стороны.

Много было дорог. Обо всех рассказать немыслимо. И все-таки, коль уж начал, расскажу еще об одной.

Дело было в конце войны. Наши войска громили прижатую к морю курляндскую группировку фашистов. В ту пору я был уже не связистом, а литературным сотрудником редакции «дивизионки». И вот однажды (а впрочем, это случалось частенько) тревожная ночь застала меня на передовых позициях. Надо было искать прибежища. Я пошатался, помыкался, ткнулся туда-сюда и в конце концов обосновался в одном из взводов, под угрюмым закоптелым накатом немецкого подбруствериого блиндажа.

Его называли немецким, потому что еще недавно, дня три-четыре назад, в нем жили немцы. Они-то и построили это подземное, не лишенное некоторых удобств фронтовое жилье. В нем были скамейки и нары, сколоченные из тонких осиновых жердочек. Стены укреплял лозниковый плетень, отчего блиндаж изнутри походил на грибную корзину.

Мне дали место на нарах. Я сразу уснул. Уснул, не снимая сапог и ремня на случай какой-нибудь неожиданности. Как-никак противник был рядом. Между его и нашими передовыми позициями простиралась нейтральная полоса чуть пошире обычной улицы. Помнится, редкая ночь обходилась без переполоха. Начался он и тут. Начался, как всегда, со стрельбы и гвалта, похожего на рассерженное гоготание гусиного стада. Сперва это гоготание прокатилось вверху, по траншее, потом низверглось в блиндаж.

Я привстал и протер глаза.

Нет, это не было сном. Снаружи пальба продолжалась. Не смолкали крики. Брезент, висевший у входа в укрытие, был сорван и втоптан в грязь. В потемках, слегка разбавленных мутным, дымящимся светом, как-то странно толклись, мельтешили человеческие фигуры. Кто, отчего, почему — невозможно было понять. Люди вцепились друг в друга. Люди мяли, душили друг друга. На фоне наружного шума улавливалось одышливое, сдавленное бормотание. Сапоги скользили на глине. Не то котелки, не то каски путались под ногами и звенели, как колокола.

Все это длилось мгновение. Я не успел дотянуться до кобуры пистолета, как люди там, у порога, разомкнули руки и с силой оттолкнулись один от другого. Кто-то с громким криком «Славяне!» выстрелил в потолок. Кто-то срывал плащ-палатки с просыпающихся солдат. Кто-то тащил меня за ноги. Я упирался. Я вдавливался

спиной в немецкий плетень. И все же меня заграбастали, сдавили железные клещи. В лицо мне ударило жарким паровозным паром дыхание этого человека.

— Кто тут?... Корреспондент?.. С победой тебя, бродяга!..

Он прочувствованно выругался и стал утираться шапкой. Потрясенный происходящим, я выбрался из блиндажа. В траншее творилась та же сумасшедшая неразбериха. С первого взгляда все это напоминало драку. Пулеметы и автоматы, гранаты и карабины мирно лежали на бруствере. А рядом шла безоружная веселая потасовка. Солдаты, как в рукопашной, с разбега набрасывались друг на друга, потеряв равновесие, падали, поднимались и снова схватывались. Я несколько раз оказывался в их опасных объятиях. В конце концов они утихомирились и, тяжело дыша, потянулись за табаком.

С каким-то особо пристальным, обновленным вниманием я наблюдал, как они доставали, развязывали и раскатывали кисеты, как свертывали самокрутки. Руки солдат подрагивали, просыпая табак. Подрагивали их губы. На все еще напряженных, как бы схваченных спазмой лицах удерживалось неподвижное, затвердевшее выражение радости и растерянности. По-видимому, и со мной делалось то же самое. И я был немножко чокнут. И от меня, наверное, отдавало слегка сумасшедшинкой, как ото всех остальных.

Артиллеристы-зенитчики, стоявшие за высотой, стреляли в чистое небо. Снаряды рвались, оставляя упругие шарики дыма, белые на голубом, набухающие, словно пончики на горячей сковороде. Солдаты, следя за работой этой небесной кухни, понемножку оттаивали. Их лица стали смягчаться, начали медно светиться из-под драных цигейковых шапок, нахлобученных вкривь и вкось. Не сразу заговорили онемевшие было рты. И, что характерно, прежде всего в ход пошли междометия:

— Ух ты!..

— Да!..

— Во дают!..

— Салютуют!..

— А мы-то, елки-моталки, собирались атаковать!..

— Что же дальше?

— Дальше — домой!

— Сказанул!

— Погоди.

— Не очень-то.

— Не сразу.
— А как же с немцами?..

Только тут я вспомнил о немцах и поглядел в их сторону. Поглядел и опять спрятал за бруствер голову. Было трудно освоиться с мыслью, что остерегаться нечего. Заставив себя распрямиться, я привстал на какой-то чурбак и оперся локтями на дощатую бровку траншеи. Прямо-таки не верилось, что можно вот так, без опаски, запросто, как с подоконника, глазеть на позиции немцев. Впрочем, некоторые из солдат поняли это раньше. Они выбрались из окопов и расхаживали в открытую, справляя свои дела.

Передо мной лежала нейтральная полоса. Шинельного цвета, изодранная минами и снарядами, она упиралась в опушку редкого хвойного леса. Во многих местах на опушке маячило что-то белое. Можно было подумать, что немцы устроили стирку и сушили белье, разбросав его по гибким кустам лозняка. Белье подсыхало. Немцев почему-то не было видно.

— Ушли?
— Похоже на то.
— Ушли и оставили?
— Да... Называется — белые флаги!..

Тот, с кем я разговаривал, разглядывал лес в бинокль. Я отдаленно знал его, этого человека. Помнится, у него была очень простая фамилия — не то Петров, не то Сидоров. Нет, кажется, все же Петров. Он был особист, контрразведчик, и, по-моему, славный малый. Овсяный чубчик над бровью. Доброе, чуточку шалое, улыбчивое лицо деревенского гармониста. Такие же, как на мне, ушанка из серой цигейки, задрипанный ватник с погонами старшего лейтенанта и пистолет в стандартной кожимитовой кобуре. Опустив бинокль, он лихо сдвинул шапку на лоб.

— Айда, поглядим?
— На что?
— На все. И на фрицев тоже.
— Да ну их к бесу.
— Ну, зря. Пошли. Поглядишь — напишешь...

Я думал, что он пошутил. Я думал, что все это были только слова. Но он уже выкарабкивался на бруствер. Следом за ним — что делать! — выкарабкался и я. Выкарабкался, признаться, без особого энтузиазма. Любопытство меня подталкивало, а боязнь тащила назад. Петров был куда решительней. Возможно, он выполнял

какое-нибудь деликатное и ответственное задание. Но не исключено, что это была его собственная инициатива. Не берусь объяснить. Одно только можно сказать: в то утро все казалось нам осуществимым, дозволенным и доступным. Перешагивая через мины и путаясь в красных от ржавчины колючках спирали Бруно, мы перешли нейтралку. То, на что накануне могло не хватить всей жизни, заняло пять минут.

Между сосновыми надолбами лежал сапер, погибший во время ночной неудачной вылазки разведгруппы. Он лежал, как бы слушая землю, а над ним в высоте погромыхивали снаряды зениток. С шипеньем и характерным шпоканием, как перезревшие стручья, лопались и рассыпались заряды ракет. В капризных, едва ощутимых токах прогревающегося воздуха покачивались немецкие флаги капитуляции — бывшая в употреблении бельевая драная бязь.

Вдоль переднего края противника, словно зловещая трещина, оставленная землетрясением, тянулась пустая траншея. Пройдя по ней до болотистой, заросшей лесом низины, мы обнаружили новенькую, почти совсем не затоптанную жердяную гать. Осторожно, с опаской, неторопливо Петров, а за ним и я двинулись по смолистым, упругим ребрам настила. Откуда-то из-за поворота послышались голоса. Мы застопорили. Навстречу нам — чах, чах, чах! — шла тяжелым шагом немецкая воинская колонна.

Меня бросило в жар. На мгновение я, словно в бреду, представил себе, как падаю, как примащиваюсь у подножия ближайшего дерева, как упираюсь плечом в приклад не то пулемета, не то ППШ, как оттягиваю рукоятку затвора и глазом поспешно ловлю прицел. Но пулемета не было и автомата не было. А если бы они были, что из того! Колонна — чах, чах, чах! — приближалась, и мы с Петровым невольно попятились на обочину, усыпанную щепой. Я мог ждать бог знает чего, но не того, что вышло.

Вышагивавшие перед строем три немца в длинных шинелях, в щегольски примятых фуражках, дойдя до нас, вдруг ударили каблуками в жерди настила и с каким-то особым вывертом, изысканно отдали честь. Кому? Наверное, нам?

Немцы шли. В их шеренгах не было сутолоки и неразберихи. Осколок разбитой армии, колонна отнюдь не выглядела расшатанной и бессильной. От нее слегка от-

давало сырым и душным теплом. И еще отдавало запахом, с которым я познакомился, ночуя в оставленных гитлеровцами окопах и блиндажах. Это был запах какого-то средства от насекомых.

Настил под колонной раскачивался и провисал, как гамак. Болото хрипло вздыхало. В согласованной поступи немцев, в их хорошо пробритых, гладких физиономиях и начищенных сапогах мне чудился скрытый вызов. Они прошли, а мы все еще стояли на зыбкой обочине и молча глядели им вслед. Потом мой напарник, закуривая, обронил два-три слова, обычных во фронтовом обиходе, но не укладывающихся на бумаге. Затянувшись, Петров повторил их. И все же я так и не понял, что он хотел сказать.

Я глядел на свои разбухшие, чудовищные кирзачи, на лоснящийся ватник, на стеганые, вздувшиеся на коленях, зашарпанные штаны. Я стал оттирать с них грязь. Петров был несколько чище, но и он занялся своей внешностью. Мы умылись пахнущей торфом красноватой водой, причесались, взбодрили наши ушанки и снова вышли на гать.

Лес, как и прежде, казался несколько мрачноватым. Но с вершин, обмакнутых в солнце, в глубину его все же просачивался скупой, рассеянный свет. Первое, что мы увидели, выйдя на противоположную, северную опушку, был склон небольшой высотки, похожей на каравай. По склону змеился свежий бурый рубец траншеи. Шагах в двадцати перед нами, за редким ивовым кустиком, темнел силуэт человека, ссутулившегося за нуждой. Он увидел нас, подхватился, тяжело шарахнулся в сторону, но, похоже, вспомнил о чем-то и с запоздалым достоинством повел в нашу сторону взглядом. Петров рассмеялся.

— Грех на душу. Переполохали фрица.

— Переполохали — ладно. Не шаркнул бы из автомата.

— Не шаркнет...

Мы по тропинке пошли в обход высоты. На том, другом ее скате было что-то вроде аула. Несколько новых землянок, крытых выцветшим дерном, лепились одна над другой. Над каждой курился дым. Полтора-два десятка немцев, стоя в затылок друг другу, перегораживали тропу. В шинелях и без шинелей, в пилотках и без пилоток, они выглядели пестро и далеко не воинственно. С некоторой опаской, но, впрочем, не без фасона, мы

обошли этот странный, непонятно зачем поставленный живой частокол. Обошли, перебрасываясь ленивыми, ничего не значащими словами, с видом усталых, скучающих, нелюбопытных патрульных. Немцы зашевелились, удивленно залопотали. Мне казалось, будто я кожей осязаю их колкие взгляды и как бы вновь продираюсь сквозь проволочное заграждение. Продираюсь, время от времени улавливая, как из сопровождающего нас невнятного говорка выпадают явно знакомые, но какие-то неуклюжие, переиначенные слова:

— Ифан... Рус... Ифан...

Потом меня неожиданно не то чтобы одурманил, а прямо-таки оглушил запах картошки с мясом. Только тут я заметил, что мы идем мимо кухни, и увидел белеющие в руках немцев алюминиевые котелки. Мы шли, а запах съестного тянулся следом за нами. Петров, как и я, не ужинал и не завтракал. Наши желудки требовали еды. Я достал из кармана резервный неполный кусок сухаря и, разломив его надвое, протянул половину Петрову. Он отвел мою руку:

— Не надо... Фиг с ним... Переживем...

Опять я его не понял. Что могло значить «фиг с ним» и что мы, по его мнению, должны были пережить? Постепенно меня охватывало какое-то нудное чувство. Апатия не апатия, а что-то вроде того. Не от голода, нет. Не знаю, как это объяснить. Все же день был необычайный. И, должно быть, я шел за Петровым не без некоторого интереса. Тянуло взглянуть на немцев: как они там, за своими белыми флагами? Было предчувствие чуда. А вышло все обыкновенно. Нет, в нас никто не стрелял. Нас никто не хватал за грудки. Но и выпить на брудершафт никто нам не предлагал. Чего же мы ждали? Что немцы извинятся за беспокойство, которое они причинили нам за четыре года войны?

Немцы не извинялись. Собираясь в плен, они замкнуто копались в своих телячьих, пегих, шерстью наружу, кое-где полысевших ранцах. Они ели, пили, курили, справляли всегдашние надобности. За аккуратной поленницей на свежих березовых чурках сидели солдаты, беспечно насвистывавшие, как скворцы. Это был хорошо согласованный художественный свист. Двое боролись, а третий крутился вокруг да около, сгибаясь дугой до земли. Босой ефрейтор стоял на охапке прелого сена возле другого ефрейтора, починявшего сапоги.

Нас никто не трогал. Мы тоже не трогали никого.

Правда, где-то между землянками пожилой сухопарый немец, встретясь со мной, выразительно уставился на меня и показал кулак. Я погрозил ему пальцем. Он усмехнулся и снова поднял свою колотушку. Только потом я подумал: «Как это понять? Как угрозу? Как неуклюжую шутку? А может быть, это было известное довоенное рот-фронтовское приветствие?»

Может быть. Может быть.

Высотка спускалась к полю. За землянками на косогоре что-то странно пестрело — белое на буроватой, как бы припухшей земле. В первый момент я решил, было, что перед нами участок, возделанный под огород. Мы подошли поближе. Это было военное кладбище. На комковатом, жестком, еще не подсохшем суглинке стояли колонны березовых стандартных крестов. За ними, вдалеке, на весеннем поле, уже затронутом солнцем, стояли колонны немцев. Их было много. А справа, из-за дымчатого перелеска, к ним выдвигались все новые прямоугольники войска, плотные, серовато-зеленые, под цвет земли и травы. Я обернулся к Петрову. Он поглядел на часы.

— Все правильно. Молодцы.

— А куда они?

— По идее — к пунктам приема пленных...

По-видимому, Петрову было известно такое, о чем я и не догадывался. Но он до поры помалкивал, а иной раз неопределенно поругивался про себя. Мы обогнули кладбище и спустились на торфяное, покрытое тенью высотки, еще сыроватое поле. Головная колонна немцев ритмично протопала мимо нас и, как бы споткнувшись, двинулась наискосок по склону. Вереница колонн растянулась, переваливая высоту, и все новые серовато-зеленые, компактные прямоугольники появлялись из-за перелеска.

Я стоял и глядел, как они шли, а видел что-то другое. Мне виделось давнее утро, сырой сентябрьский рассвет, люди и кони в тумане. Мне виделся сам я — песчинка в железном потоке войска — боец стопятидесятой Сибирской стрелковой дивизии, стартовавшей на фронт. Тогда она только еще стартовала. А сегодня ее прошедшие сквозь огни и воды полки достигли победного финиша. Я представил себе этот финиш — линию белых флагов на опушке хвойного леса, из которого не без опаски вытягивается колонна сложивших оружие немцев.

Они шли на восток. В сорок первом они тоже шли на

восток. И вот чем это закончилось. Березовыми крестами. Прощальным парадом у кладбища. Пустой и жалкой бравадой вояк, снарядившихся в плен.

Мимо меня и Петрова прошли уже сотни немцев. Наплывали все новые лица. Назойливо мельтешили знаки различия: кокарды, петлицы, шевроны, зашарканные ремнями погоны в цветной окантовке. Мелькали тугие ранцы. Над ними упрямо торчали стволы кургузых винтовок, конусы пламегасителей и верхние рукоятки ручных пулеметов. Легкие портативные автоматы, похожие на испуганных, поджавших хвост собачонок, выглядывали из рядов.

Потом я непроизвольно переключил внимание на ноги немцев и на землю под их тяжелыми, коваными, щедро смазанными сапогами. Земля на глазах темнела. Происходило то же, что я уже видел однажды. Рождалась дорога. Сначала она едва-едва проступила, как изображение на фотобумаге, опущенной в проявитель. Но сапоги с короткими раструбами голенищ и тупыми, как бы надутыми, вместительными головками, делали свое дело. Железо и кожа подметок все толкли и толкли прошлогоднюю седую траву и зеленые, пробивающиеся сквозь нее весенние всходы. Толкли и смешивали их с красноватым, волокнистым торфом. В конце концов последняя из колонн прошла по нему. Отдалился глухой, заземленный, войлочный отзвук ее шагов. Перед нами снова лежало тихое светлое поле и косогор, вздымающийся в слепящую высоту. А по ним — по этому полю и по этому косогору — тянулась влажно-коричневая подсыхающая полоса открытого грунта, похожая на солдатский пропитанный потом ремень.

Мы еще постояли немного и тоже пошли по ней. Пошли и приостановились. Не сговариваясь, приостановились.

— Ну как?

— Порядок! А что?..

— А то, что...

Признаться, в тот миг мне почудилось, что с Петровым творится неладное. Он был какой-то не свой. Он рывком содрал с себя шапку и ударил ею о землю. Он ударил о землю шапкой, а потом каблуком. Он медленно, томно, как бы потягиваясь, простер руки вверх и в стороны и вдруг — сначала в полголоса, а потом все громче и громче — красиво заалалакал, заныл на мотив «Семеновны»:

— Ала-ла... ла-ла!.. Ала-ла-ла... ла-ла!..

В лад с этой песней без слов работали его ноги. Ах, как они работали! Как он плясал! Во мгновение в нем ничего не осталось от замкнутого и осторожного, себе на уме, контрразведчика. Остались только дурашливость да еще, должно быть, врожденная деревенская лихость.

— Давай!..

Он требовал, чтобы и я. Но я плясать не умел. Единственное, что я смог,— это слегка потопать на торфяной дороге. На той дороге, которая вела нас домой с войны.

ОЛЕГ ЦАКУНОВ

Баллада о женщине

Евдокии Михайловне Абариновой,
которую встретил у братской могилы
в г. Выборге

Война, как ни долго ты шла,
Но дольше солдат возвращала.
Вот женщина мужа нашла,
К Неве добиралась с Урала.

Шофер, что до места подвез,
Приметил: красивая, точно.
И так молода, что вопрос:
«Жена ли, а может быть, дочка?

Победе, считай, тридцать лет.
Медали и те износились...»—
«Жена...— прозвучало в ответ.—
На май мы как раз поженились».

Два месяца были вдвоем.
Да вдруг о войне сообщенье —
Ушел он. И в сорок втором,
Что «без вести» — ей извещенье.

Но «без вести» — значит, ждала,
Ходила к заветной березе...
Работала, как-то жила
В колхозе, а после в совхозе.

Красу разве взгляд обойдет?
«Что ждать, пребывая в печали?» —
Вещал ей и этот и тот,
Да все поворот получали.

Ждала. Сомневалась, что он,
Любовью лихой завлеченный...
Что ранен, все видела сон...
Гадали, что в доме казенном...

Писала туда и сюда,
Сама мастерила конверты.
Шли письма, а с ними — года.
Короткими были ответы.

Читала она на листках:
«...в другой батарее, как видно...»
Те справки держала в руках.
Теперь из автобуса видно:

На братской могиле слова —
Фамилия... Имя... И дата...
Ну что ж, получите, вдова,
Гранитную справку солдата.

Надвинулась тенью стена...
Хрустела гравийная насыпь...
И вот — на коленях жена.
Как раз возле губ эта надпись.

Коснулась. Холодная твердь
Хладеющим лбом показалась.
Впервые поверила в смерть.
А тридцать три года держалась...

Мгновенье — и вот в волосах,
Как соль, проступили седины.
Потухла надежда в глазах.
И врезались в кожу морщины.

Ссутулилась, съежилась вся,
Звучали рыдания глухо...
Сюда красоту принеся,
У камня осталась... старуха.

Застыли над ней облака.
А ветви взметнулись в смятенье.
И громом катилась строка:
«Есть женщины в русских селеньях...»

АНДРЕЙ УШИН

«Выборгский район»



АРКАДИЙ МИНЧКОВСКИЙ

Венгрия дважды в жизни

Очерк

Поезд «Москва — Будапешт», изрядно поюлив в ущельях кудрявых гор Закарпатья, миновав Ужгород и пограничную станцию Чоп, к вечеру вторых суток добрался до Дебрецена.

Сегодняшний Дебрецен чист, уютен, в двух шагах от центра чуть сонливо зелен.

Стоял август — пора некоторого затишья после вступительных экзаменов и начала занятий. И все же цветочно-линейный партер перед университетом кишел молодежью.

Эти шумные, уверенные в себе ребята — еще бы, ведь они уже зачислены в студенты! — родились лет через десять после того, как на венгерской земле смолкли пушечные залпы. Да, ничто здесь, в Дебрецене, не напоминало о войне. Ни ярко одетые девушки, ни раскрашенные скамейки меж усаженных розами газонов, ни накрахмаленные цветные скатерти на столиках под бордовыми тентами кафе.

Да была ли уж здесь война? Горели ли пакгаузы и взлетали ли в воздух скрученные рельсы? Прятались ли по подвалам и бункерам насмерть перепуганные женщины? Шло ли здесь одно из самых последних и жестоких сопротивлений силе, которой уже ничто не могло противостоять?

Трудным было начало той военной зимы. Трагическим для гражданского населения втянутой в фашистский омут маленькой страны, на редкость тяжелым для бойцов, пришедших сюда от стен Курска и Сталинграда, тех бывалых, обстрелянных солдат, которым уже виделось победное утро. Горечь утраты товарища была еще печальнее, чем в то время, когда решался вопрос, быть или не быть Советской родине.

Сражение за освобождение Венгрии стало затяжным. Тот, кому пришлось воевать здесь на рубеже последних двух военных лет, никогда не забудет сырых и холодных месяцев долгого топтания у стен упрямо обо-

ронявшегося Будапешта, в подвалах которого страдали сотни тысяч несчастных горожан, самым бесчеловечным образом обреченных немецким командованием на голодную гибель.

Жителям венгерской равнины, можно сказать, повезло. Тишина на востоке Венгрии наступила быстро. Страхи ушли. На освобожденной земле понемногу налаживалась жизнь. Но Будапешт и тех, кто остался в нем, ждали нестерпимые муки.

Странно, но теперь, в звенящем летними днями Дебрецене, мне казалось, что я один помню то далекое время. Да и неудивительно. Ведь даже людям с серебром в волосах, кого я встречал на дебреценских улицах, в зиму сорок четвертого — сорок пятого едва ли было пятнадцать.

Ну и очень хорошо. Хорошо, что на земле мир и гудящие в синем безоблачном небе самолеты никому не несут на своих крыльях смерть, а стены стройных новых домов стоят прочно, не собираясь обрушиваться. Хорошо, что зеленеет трава и цветут цветы на местах давно засыпанных воронок. Отлично! Может быть, и не нужно стариковских воспоминаний, хотя бы и овеянных героикой? Забыть, все забыть!

Но нет. Чтобы не вспыхнул вновь огонь, уничтожающий на своем пути все живое, не разгорелся, не распространился снова, нельзя забывать свирепость языков пламени, которое было потушено ценой невосполнимых жертв.

Нет, невозможно забыть о тяжелом и одновременно великом прошлом. Упрямая память не дает предать тех, чьему мужеству обязана преображенная земля тишиной ночей и мирными утренними рассветами.

Из Дебрецена великолепный экспресс — состав из полных света вагонов — стремительно несется к Будапешту. Испытываю не видимое ни едущей со мной дочерью, ни соседям по купе волнение. Предстоит встреча с далекой военной молодостью. Будапешт, разумеется, не узнает меня. А что помню о нем я?

Покидаем вагон и идем с Ириной чего-нибудь попить. Просторный бар-буфет на колесах торгует венгерскими сосисками, пивом множества марок, соками. Вдоль стен вагона — удобная стойка. Хочешь — оставайся на ногах, хочешь — устраивайся на высоком сту-

ле. Берет досада, что до такого еще не додумались наши железнодорожные нарпитовцы.

Я сижу против широкого зеркального окна. За стеклом веером проплывают ухоженные поля. Вдали цветными жучками, поблескивая на солнце, бегут машины по невидимому отсюда полотну шоссе. Нашелся собеседник — крепко сколоченный пожилой мужчина с дотемна загорелым лицом, на котором белой щеточкой топорщатся аккуратно подстриженные усы. Он вполне сносно говорит по-русски и рад случайному знакомству. Выясняется, что воевал в тех же местах, где я. Понятно, мы находились по разные стороны, и он торопится сообщить, что был шофером. Украинец, от рождения живущий в Венгрии. Военного прошлого мы не уточняем. Обстановка не располагает припоминать подробности. Ему этого, видно, не хочется. Я не считаю нужным. Говорим о детях. У собеседника два сына. Один пошел по пути отца — автомеханик в Дебрецене, другой офицер — служит в Будапеште. В гости к нему — младшему — сейчас он и спешит. Мы говорим о жизни сегодня. Ему, как видно, нет оснований ее хулить. Пьем отличное пиво. Мягко посипывает газ, когда с маленьких темных бутылочек слетают пробки. Поезд без остановки проходит небольшую станцию с трудным венгерским названием. Дорога мне незнакома. Во многих краях страны пришлось побывать более четверти века назад, но здесь не был. Да если и был бы — вряд ли бы признал, что сейчас увидел. Минуем большой завод. Высокий бетонный забор с кричащими трафаретами рекламных надписей. Светлые стены корпусов и какие-то башни с лабиринтом сверкающих на солнце серебристых труб. Августовское синее небо густеет, и огромные решетчатые стекла цехов готовятся вспыхнуть, отражая закат. Как не похожа эта предвечерняя картина на знакомую мне — ту, когда покрытые сажей пожаров корпуса заводов с развороченными фугасками крышами и стенами, избитыми снарядами, мертво глядели на нас с окраин венгерских городов.

Я смотрю в окно. Вслед за заводом разворачивается ландшафт небольшого городка. Киоски, полные мелочей, машины, парочки на улицах, афиши боевиков, кирпичная стена с рекламой кока-колы... А я вижу безлюдные улицы, обуглившиеся стволы деревьев, помятые и побитые корпуса пятнистых машин, сброшенные взрывной волной вывески, поваленные столбы, настежь

растворенные окна пустых домов с сорванными ставнями. Я вижу бледных, испуганно глядящих детей, которым некуда было уйти, и исхудалых, готовых ко всему пленных солдат-мадьяр в шинелях, сделавшихся из желто-зеленых грязно-бурыми.

Воспоминания давно пережитого не оставляют меня и здесь, в сияющем пластиком и никелем, мерно покачивающемся вагоне-баре, в поезде, стремительно несущемся в прекрасный Будапешт, а тогда еще вражескую венгерскую столицу, в которую нам пришлось входить не с парадного подъезда.

Позади было многое. Черные руины Сталинграда, среди которых и старожил с трудом отыскал бы место, где был его дом. Весенний и солнечный, вдруг ставший далеким тылом Крым с еще не сорванными плакатами «Засевайте землю, а немецко-румынское оружие защитит вашу работу!». Позади были круглые разбитые стены Севастопольской панорамы, пустой, как гигантская каменная кастрюля без крышки, и памятник Тотлебену, без головы, с насквозь пробитым осколками мундиром. Позади был Днепр со взорванным фермами моста и беспомощно торчащими из воды высокими, как башни, быками. Позади оставались поверженные Яссы, и развалины того, что когда-то звалось городом Плоешти, и тучные бескрайние виноградники Румынии, которые мы проскочили вслед за танками и усаженной на машины пехотой. Позади был и поразивший нас, несмотря на войну полный товаров, совсем не военный Бухарест, города Клуж, Орад, Тимишоара, которым сказочно повезло. В них не было войны — не свистели бомбы, не разрывались мины и, кажется, даже на день не закрывались киношки, ресторанчики, бары и прочие увеселительные заведения.

Позади была и темноглазая девчонка на крылечке неказистого дома одной из румынских деревень. Устроившись на лесенке со стопкой учебников, она деловито, с каким-то упоением вырывала из каждой книжки изображение диктатора Антонеску.

Впереди еще была война. Ради мира и свободы других народов бились и умирали на незнакомой им, теперь уже венгерской земле сибирские и уральские, вятские и рязанские, харьковские и полтавские колхозники и рабочие, ставшие солдатами.

Когда-нибудь я еще постараюсь написать про то, как удивительной осенью сорок четвертого года проходили

наши батальоны румынскую землю. Тогда казалось, что военным ненастьям пришел конец. Дальше так и откроется нам дорога на запад. Немцы еще будут огрызаться, но это там, севернее, на территории во всем виноватой Германии, а мы — южные фронты — так и покатим навстречу радующимся освобождению от фашистов странам, пока не встретимся с не спешащими сюда союзниками или славными партизанами Югославии.

Радужным надеждам не пришлось сбыться. В Венгрии советские войска столкнулись с отчаянным и злобным сопротивлением. Кое-как примирившись с потерей Болгарии и Румынии, гитлеровцы решили во что бы то ни стало подольше удержаться на венгерской земле. Печальный опыт катастрофы под Яссами был учтен в оккупированной Венгрии. Теперь впереди, перед собой, немецкое командование выставило мадьярское войско. Ни в одной из освобожденных нашей армией стран не было таких тяжелых и долгих боев, как в Венгрии.

Бессмысленный и безнадежный для врага бой на территории Венгрии длился всю зиму.

Говорят, что солдат не может судить о том, что делается на фронте. Он смотрит из окопа своего взвода. Со мной было иначе. Положение командира небольшой инженерной части фронтового подчинения, которую всякий день могли придать любому из армейских соединений, позволяло мне увидеть на венгерской земле многое.

В моем командирском планшете, кожа которого за три десятилетия высохла и потрескалась, сохранилась карта будапештского участка фронта. Это так называемая военная десятикилометровка. Давно протершаяся на сгибах, она сослужила мне добрую службу, когда на трофейном «опель-кадете» мы с шофером, ефрейтором Амзараковым — низкорослым симпатичным хакасом,— мотались по венгерским дорогам, отыскивая населенные пункты, названия которых не только невозможно выговорить, но и прочитать трудно. Благо карта была наша, русская. Прежде и на Дону приходилось пользоваться трофейными немецкими, наглядно убеждаясь в том, как давно и тщательно готовились гитлеровцы к нападению на СССР.

План Будапешта в центре карты со всеми его пригородами легко закрывается ладонью. Венгрия невелика, и на одном топографическом листе умещается и почти весь текущий через нее Дунай, и находящийся на

севере страны Эстергом, и западный Секешфехервар, и голубая гладь озера Балатон. Старая карта испещрена красными птичками — отметками населенных пунктов, по мере того как они занимались Красной Армией. Гуще всего выцветшие карандашные уголки теснятся в юго-западных предместьях столицы. Здесь бои были в особенности упорными. Битва шла за каждый квартал.

Широкая стремительная стрелка исходит от Дуная южнее Будапешта и, охватывая его с востока, острием своим упирается в Дунай наверху карты, где река резко сворачивает на запад. Здесь встретились войска, окружавшие будапештскую группировку с юга и северо-запада. В кольцо попал и старинный Эстергом, город, славящийся гигантским собором — многовековой резиденцией венгерских кардиналов. Собор в общих чертах похож на наш Исаакий, только внутренние его помещения еще вместительнее. Эстергомский собор остался невредим. Советские войска обошли город. Артиллерия пощадила национальную святыню страны.

После соединения войск и завершения окружения исход боев за Будапешт был предрешен, но Гитлер, еще надеявшийся на какое-то неведомое никому чудо, приказывал осажденным частям сражаться «до последнего солдата». Меньше всего хотелось умирать за Гитлера солдатам-мадьярам, но что остается делать, когда дула офицерских парабеллумов направлены в спину. Венгерские солдаты погибали за то, чтобы дать немцам хоть какую-то передышку. Диктатора Хорти сменил у власти отъявленный фашист Салаши. Новый «спаситель» Венгрии заявил, что всякий, кто бросит оружие, будет уничтожен «патриотами». Обреченные на истребление, поредевшие венгерские батальоны продолжали цепляться за последние рубежи. За Эстергомом, на придунайских высотах, наши артиллеристы и авиация отражали безнадежные атаки немцев, пытавшихся извне пробить брешь в кольце окружения.

Голубонебым августовским днем с высокого венгерского берега смотрю вдаль через полноводный Дунай. По воде бегут ослепительно белые пароходики, тянутся длинные, как сигары, тяжело груженные самоходные баржи. Издали не разобрать, под чьим они флагом. За зелеными пологими берегами дрожащая в летнем мареве беспредельная синь переходит в густую лиловую бесконечность.

Осаждаемый туристами собор, возле которого теснится с десяток зеркально сияющих «икарусов», за моей спиной. В голубом небе ни облачка. В куполе собора растопилось солнце. Здесь, на площадке перед Дунаем, слышатся русская и немецкая речь. Сошлись группы — одна наша, другая из ГДР. Обычная здесь мирная картина.

Гид венгерского туристического бюро — расторопный молодой человек с черными усиками, для мадьяра более чем сносно говорящий по-русски, показывает окружившим его советским туристам на противоположный берег реки. Чуть правее многотрубно дымит какой-то завод. У мола возле него принимают продукцию сухогрузы.

— Там уже Чехословакия,— говорит гид.

Загорелый беловолосый парень в рубашке навыпуск, беспрерывно во все стороны щелкавший «фэдом», на миг оторвался от видоискателя и, повернув лицо к гиду, спросил:

— Нет, это вы серьезно?

Ему, приехавшему из Орла или Тюмени — города, от которого государственные границы за тридевять земель,— удивительно видеть, что Венгрия кончается, вот тут, под ногами, всего в какой-нибудь полусотне километров от столицы, что внизу, за Дунаем, уже другая страна.

В тот далекий памятный мне год четверть века назад мы не очень-то разбирались в границах. Да они, помнится, и были иными. Там, куда смотрит парень, уже направивший свой объектив за Дунай, тогда взламывалась чуть ли не последняя на нашем пути оборонная линия немцев. Гремели, кажется, ни на час не затихавшие пушки. Отгромыхав, куда-то во тьму уходили танки с чумазыми ребятами в черных, металлически лоснящихся комбинезонах. В непроглядное небо, освещая малознакомую картину, взмывали ракеты.

Помню, в такую ночь в штаб части, которой я был временно придан с ротой саперов, привели молоденького, почти мальчика, венгерского солдата. Щурясь от яркого света, он жался к стене, боязливо поглядывая по сторонам.

— Сам сдался, сам пришел,— весело объявил приведший его молоденький парень-сержант с автоматом на груди, сказав это таким тоном, будто привел знакомиться с нами товарища.

Трудно было с мадьярским языком. Переводчиков не

хватало. Объяснялись кое-как, при помощи немецкого, который тогда в Венгрии знали хорошо.

Допрос пленного был недолгим. И без его объяснения было ясно, что мобилизован он неделю тому назад. Тоненькая мальчишеская шея торчала из ворота шинели. На лоб сползала венгерская солдатская шапочка из сукна. Солдат-мальчик сообщил все, что он знал, а знал он куда меньше нашего. Пора было его и уводить, но тут на глазах юноши появились слезы. Он вытирал их широким грязным рукавом.

— О чем это он? — недовольно спросил допрашивавший пленного подполковник.— Ничего с ним не будет.

Переводчику с трудом удалось выведать причину подавленности пленного.

— Он плачет,— пожал плечами лейтенант, в прошлом аспирант-историк,— потому что сдался. Он говорит, что ему стыдно. Его товарищи по гимназии воюют, а он не мог, испугался и сдался.

Странно, но тогда, в переполненной военными тесной комнате, никто не засмеялся над нелепым признанием. Смятение юноши, начиненного понятиями о «чести» воина трижды поруганной родины, не было смешным.

— Он еще говорит,— добавил переводчик,— что в Будапеште у него мама и маленькая сестренка и что они голодают в бункере.

— Скажи ему про Ленинград,— крикнул зло кто-то из угла комнаты, но подполковник прекратил объяснения.

— Пускай не страдает. Нечего! — сухо бросил он.— Маму он еще, надо надеяться, увидит, а если его товарищи тоже не будут дураками — и они вернутся домой.

Теперь, в мирный час свободной и суверенной Венгрии, я стоял у металлических перил площадки и думал о том, где же сейчас тот благополучно кончивший свою недолгую войну тотальный солдат. Ему, должно быть, едва за сорок. Помнит ли он сырую ветреную ночь вблизи Дуная и понимает ли, что, бросив тогда немецкий карабин, сделал лучшее, что мог сделать для своей родины?

Растерзанная боевыми действиями последней военной зимы Венгрия делилась на части. На востоке страны уже наступил мир. «Венгерских порядков не ломать и своих не вводить»,— гласил приказ советского Верховного командования. Там уже властвовало народное уп-

равление. Безземельные крестьяне — недавние нищие батраки — впервые готовились засевать свою землю. Юго-запад еще держали оккупанты, собирая там силы для безумной контратаки.

На низком берегу Дуная, в местечке Каталин, вблизи Эстергома, мы встречали Новый год — последний военный год. Впереди была с нетерпением ожидавшая нас восстающая Чехословакия. Идти бы и идти без устали вперед, но за нашей спиной еще дышала плененная венгерская столица. В окопах и в укрытиях у ее стен пришлось встречать Новый год сотнями стрелковых рот и артиллерийских батарей.

Нет, армия не стояла на месте, ожидая, пока сама по себе падет одна из самых последних немецких крепостей. Один за другим брались с боя маленькие города и местечки. Давно уже сделался надежным тылом Цеглед, чистенький тихий городок с могучим монументом — памятником Лайошу Кошуту, герою венгерской революции прошлого века, бесстрашному гордому борцу за независимость родины. Бородатый и плечистый, с крутой грудью, бронзовый Кошут в высоких сапогах как бы шел к Будапешту, уверенный в том, что дойдет до него — свободного, никому не подвластного.

В январе были заняты славный рабочими традициями Чепель и юго-западные пригороды столицы — Кишпешт, Кобанья, Ракошсентемихаль, трудовой Уйпешт. Бои завязались в промышленных предместьях столицы.

А в селах и местечках на равнине, там, откуда враг был прогнан, очень быстро прошел внушавшийся гитлеровской пропагандой страх населения перед солдатами Красной Армии. Ладно сбитые парни с медалями и нашивками ранений над карманами гимнастерок сидели на кухнях венгерских крестьянских домиков — этих единственно отапливаемых зимой помещениях, ели зеленую маринованную паприку, запивали ее мутным деревенским вином, в свою очередь угощая хозяев свиной тушенкой или баночной колбасой.

С хохотом, удивляясь местным обычаям, ложились спать на перины в холодных комнатах, накрывались сверху такими же пухлыми перинами, оставляя головы в прохладе.

Мы уже не были ни загадочными, ни страшными, да и мадьяров понемногу узнавали. В населенных пунктах отыскались портные и сапожники — преотличные, между прочим, мастера. У офицеров нашлись отрезы, а в

мастерских — кожа. Местные ремесленники оказались заваленными заказами. Портные скоро освоились с покроем кителей, принялись за дело и сапожники. Правда, готовые кители все же чем-то смахивали на мадьярские мундиры, а сапоги шились по привычному здесь образцу, с низким подъемом, и надевать их и снимать было сущей мукой.

Работали охотно и ошеломляюще быстро. Просьба была одна — расплачиваться продуктами: крестьяне ничего не продавали. Те, кто не имел своего хозяйства, бедствовали.

Понятно, что блага ближнего тыла доставались в основном подразделениям второго эшелона, тем, кто с техбазами и авторотами располагались на достаточном расстоянии от переднего края. Тем, кто вел бой в пригородных кварталах венгерской столицы, было еще не до портных.

Год на войне, а значит и день, считается за три. Норма эта принята при исчислении стажа офицерам-фронтовикам. Но нет, не совсем так. Бывает, что день на войне равен прожитому году. Недаром же фронтовикам десятилетиями видятся военные сны. Причем памятны не только часы боев — время наивысшего напряжения, но и многие житейские эпизоды военных лет.

Навсегда запомнились мне венгерские домики с плитами в первой комнате, полугородская обстановка, крашеные, с трафаретами, стены и обязательные фотографии в рамках.

Нами долго пугали население. «Красные солдаты несут вам грабеж, насилие, смерть! — во все горло вещала салашистская пропаганда.— Бейтесь, скрывайтесь, бегите!» Но мадьяру-крестьянину некуда было бежать со своей земли, даже если он порой и был обманут гитлеровской брехней. Ему говорили: «Сопротивляйтесь! Доставайте оружие, стреляйте из дверей и окон!» Но нет, население Венгрии в нас не стреляло. Я не запомнил ни одного такого случая. Да, пропаганда сделала свое. Давным-давно осмеянный «бородатый большевик» с ножом в зубах и в мохнатой шапке кое-кому снова показался реальным. Мы входили в поспешно брошенные дома. Большей частью, конечно, это были дома зажиточные.

Помню оставленный впопыхах особняк средней руки в зеленом пригороде Сегеда вблизи Тиссы — дом, в котором нам пришлось временно располагаться. Не нуж-

но было обладать большой проницательностью, чтобы догадаться, что здание принадлежало какому-то венгерскому музыканту. В просторной комнате второго этажа с эркером стоял концертный рояль. На стенах висели фотографии сухощавого седого человека то за дирижерским пультом, то пожимающего руки людям во фраках, то сидящего над нотами с карандашом в руке. Впрочем, музыканта среди нас не было, и брошенные бежавшими хозяевами ноты интересовали нас мало. По всему было видно — хозяева уходили поспешно. На плите оставался кофейник с недопитым кофе и сухарики в плетенке. Полки кладовочки при кухне были заставлены баночками с маринадами. Показалось не только смешным, но даже несколько обидным то, что музыкант — по всему, человек образованный — так позорно бежал, поверив в «варварство» русских.

И вот, кажется, на третий день нашего здесь пребывания он вернулся. Меня вызвали на улицу. Перед крыльцом стоял высокий костлявый пожилой мужчина с длинными полуседыми волосами. За спиной его неуклюже висел рюкзак с какой-то поклажей. Тонкие ноги-палки, вынырнув из брюк гольф, уходили в широкие походные ботинки. Он был похож на альпиниста-любителя с солидным спортивным стажем. Рядом с ним стояла женщина в очках, опустившая на землю чемодан, и девочка лет пятнадцати с большой сумкой. Обе были тоже в брюках, что для нас тогда было непривычно.

Сомнений не было: передо мной хозяева дома. Объяснялись недолго. На кое-как понятном нам немецком языке музыкант, назвавшийся профессором, объяснил, что просит разрешения занять хотя бы одну комнату в доме, который он с семьей оставил, боясь бомбежки.

Они поселились на втором этаже. Уже на следующий день мы услышали сверху звуки рояля, а в саду слышался смех Милошки — дочки профессора, которую учил русскому наш повар Ушаков.

Хозяин дома оказался известным венгерским пианистом и композитором. Помню наш с ним разговор. Мелькали имена Глазунова, Прокофьева, Шостаковича... При упоминании каждого из них музыкант возводил глаза к потолку и, словно в молитве, поднимал вверх руки. Стараясь быть взаимно любезным, я высказывал свои небольшие познания в области венгерской культуры и называл Листа, Кальмана, венгерские танцы Брамса. Успокоившийся и уже поверивший, что с

его семьей ничего не случится, профессор даже сыграл что-то из Прокофьева, стараясь дать нам понять, как любит и ценит русскую музыку.

Четыре пятых Венгрии тогда еще были заняты немецкими войсками, и мадьяры сражались с ними заодно. Мы еще были враждующими армиями, но здесь, на клочке освобожденной венгерской земли, уже рождались иные отношения, и композитор начинал верить: дружба меж далекими друг от друга народами возможна.

Как-то с неизменным моим Амзараковым возвращались мы на нашем «опеле» из штаба фронта, располагавшегося километрах в двухстах. По дороге, чтобы попросить вскипятить воды для чая и поесть, завернули мы в один из крайних домов лежащего на пути небольшого поселка. Хозяйкой дома оказалась полноватая женщина. И вот, пока я ждал чаю, пока Амзараков распаковывал съестное, я, разглядывая висящие на стене карточки, среди привычных уже усачей в венгерской форме увидел фотографию, странно показавшуюся чем-то знакомой.

На карточке, накленной на серое паспарту, была снята семья. Мужчина лет около пятидесяти — седоватый, плечистый, с усиками, двое детей — мальчик и девочка — и женщина с прямым пробором в волосах и приметно русским лицом. И костюм мужчины, и одежда детей и матери не оставляли у меня сомнения в том, что снимок сделан в Советском Союзе и что на карточке советская семья.

Принесшая чайник хозяйка заметила мое любопытство. Она сняла фотографию со стены и, смахнув пыль, вручила мне, чтобы я мог разглядеть снимок поближе.

Как умела, она объяснила, что это ее брат. Что он был пленным в ту войну, затем сражался на стороне красных и остался в России. Что в Москве он какой-то начальник, а тут снят со своей семьей.

Слово «Москва» она произнесла с нескрываемой гордостью, сверкнув на меня живыми быстрыми глазами. Стало ясным, что это для нее не просто название города, не географическое понятие, нет, что-то большое, значительное. Она не сказала, что ее брат коммунист, но это было очевидно. Темное пятно от фотографии на стене говорило о том, что карточка здесь висит не один и не два года. Висела и в те времена, когда не только

получать из Москвы письма, но и иметь там родственника было рискованным.

Я смотрел на московскую семейную фотографию, и теперь уже не имена мировых гениев, роднящих нас с Венгрией, приходили на ум. Нет, совсем иные, еще более близкие имена: Бела Кун, Матэ Залка — прославленный испанский генерал Лукач. С юности знакомые имена писателей: Бела Иллеш и Антал Гидаш. Оказалось, вовсе не так уж далека была от нас Венгрия. Ведь и над ней, пусть и недолгий срок, в 1919 году развевался алый флаг Советской республики.

Десять дней мы с дочерью провели на озере Балатон. «Венгерское море» пользуется большой популярностью. Берега были буквально усеяны прибывшими сюда из всех стран Европы иностранцами. Теплое, как вода в ванне, в которую без меры влили зеленого экстракта, озеро кипело купающимися. Загорелые тела, не оставляя, кажется, и квадратного метра пространства, покрыли пляж, на котором в двадцати шагах от берега выстроились шестнадцатиэтажные стеклобетонные ярусы отелей. Переполненные гостиницы, забитые сотнями автомашин площадки, такое количество баров, кафе, ресторанов, что все их занять, казалось, не представлялось возможным. Больше всего тут было длинногривой рослой молодежи в клешах и шортах всех цветов радуги. Только пляжными костюмами девушки отличались от парней. Последние носили символические плавки, девушки — не менее условные купальники.

Нынешняя молодежь на Западе отдыхает по-своему. Всю ночь не смолкал на улицах курорта рев проносящихся мимо нашего отеля легковых машин. В летних ресторанах и барах радиофицированные квартеты и трио создавали такой шум, на какой вряд ли способен и сошедший с ума духовой оркестр. С наступлением темноты от пристани отвалил теплоход-дансинг. На всех его палубах также гремел неоджаз, звуки которого разносились по всему озеру. Без устали танцевали танго, шейки и еще что-то очень модное.

Таким увидел я нынешний Балатон. Мне не пришлось находиться в этих местах в дни боев за Венгрию. Отсюда немцы, собрав внушительный кулак танковой армии, наносили контрудар по войскам 3-го Украинского фронта. Им тогда удалось потеснить наши части и на какой-то момент снова выйти к Дунаю ниже Будапешта.

План фашистского командования состоял в том, чтобы отвлечь силы от венгерской столицы и дать уйти оттуда осажденным частям. Помню, в сводках мелькали отмеченные кружками на моей карте переходящие из рук в руки города: Дунафельдвар, Харцегфальвар, Аба и теперь знакомый мне, такой сейчас развеселый Шиофок. Вблизи него шли решающие судьбу Венгрии танковые бои, о которых сейчас ничто не напоминало ни в городе, ни в его красочных окрестностях.

Мы, фронтовые саперы, оказались тогда на время несколько западнее вышедших к Дунаю немецких войск. Мы находились выше и наводили через незастывшую реку ложный мост. Он должен был обмануть авиацию врага, становясь мишенью. Но наш мост остался невредим. Бомбы, сброшенные с порядочной высоты, и прилетевшие издали снаряды поднимали в Дунае смерчи воды справа и слева от моста на декоративных понтонах, с декоративными танками. Наши артиллерия и «катюши» били через мост на запад и юг. Усталость непрерывно находящихся в бою артиллеристов была нечеловеческой. Помню, мой сосед по расположению, командир, батареи, уснул в оставленном хозяевами прибрежном доме. Проснулся он от пронизывающего сквозняка. Слева над спящим в глинобитной стене зияла огромная дыра. В другую дыру, не меньшего размера, над спинкой кровати, гляделось рассветное небо. Попавший в угол дома и пробивший две его стены снаряд разорвался в саду. Ни взрыв, ни то, что посыпалось на счастливчика капитана, не разбудило его. Так спали мы тогда. Теперь музыка бара напротив отеля «Нопфень», где я жил, не давала заснуть до утра.

Вскоре после ликвидации дунайского прорыва был взят Пешт — восточная и основная часть венгерской столицы. В центральные кварталы его автоматчики проникали через подземные бункера — городские катакомбы. В них, спасаясь от неминуемой гибели, уже несколько недель пряталось голодное население столицы. Потерявшие облик горожан люди с ужасом в глазах встречали пробившихся в подземелья советских саперов и автоматчиков. Страх отступал, как только обитатели бункеров убеждались, что бойцы не воюют с гражданским населением. Пехотинцы рвались вперед, к Дунаю. И тогда в катакомбах стали появляться венгерские солдаты. Иные из них уже были переодеты в штатское. Другие, еще носившие почерневшие обтрепанные шине-

ли, по всей форме вытягивались перед нашими автоматчиками и предъявляли свои солдатские книжки. Находились и такие, что делались проводниками, предупреждая об опасности. Становилось ясным, что мадьяры теперь воюют только из-под палки и при первой возможности ищут способа сдаться. Иным из них такая попытности стоила жизни. Эсэсовцы, собранные в Будапешт, безжалостно расстреливали всех, кого подозревали в желании капитулировать. Белый платок в кармане венгерского солдата был достаточным поводом для расправы.

И все-таки после уличных боев, в которых трудно было распознать — в тылу ли ты или на переднем крае, немцы оставили Пешт, бежав на высокогорную сторону Дуная, в древнюю Буду. Красавцы мосты, слава Будапешта, были взорваны. Фронт в городе установился по Дунаю.

На левом берегу, в кварталах Пешта, остановились части 2-го Украинского фронта. На правом, в Буде, в ее аристократических особняках и толстостенных готических замках, засели стиснутые со всех сторон немецкие и те мадьярские части, которые фашистам не удалось вывести с собой. Новоиспеченный диктатор Салаши и его министры бежали за австрийскую границу и оттуда продолжали взывать к патриотическим чувствам брошенных на истребление «братьев-мадьяр».

В Будапешт под влиянием пропаганды, утверждавшей, что «русские не щадят никого», сбежались тысячи жителей из маленьких городов. Они попали в страшную ловушку. Около миллиона беззащитных женщин, детей и стариков прятались в подвалах и бункерах города. Правители фашистской Венгрии обрекли их на голодную смерть. Не имеющие ни домашнего крова, ни пищи люди жили в импровизированных укрытиях, стащив туда кровати и стулья из брошенных квартир. На керосинках и самодельных очагах готовили жалкое подобие еды. В узких переулках Пешта беспрерывно рвались снаряды. Никто не смел высунуть голову.

Восточная часть города Пешт была окончательно очищена от врага во второй половине января.

Еще в румынском городе Яссы, во время боев (коммерсанты в Румынии торговали и под свист снарядов), я обзавелся тетрадью, в которую решил по возможности записывать то, что увижу. Тетрадь, побывавшая со мной и в югославской Суботице, и в чешском Брно, как это ни удивительно, сохранилась у меня до сих пор. Так

вот там, в начале ее, есть торопливая запись, сделанная в дни освобождения Пешта. Пусть простит меня читатель за стиль.

«Будапешт, город, переживший тяжелое бремя страданий.

Многоэтажные, избитые осколками здания в большинстве своем целы, лишь выбиты окна да кое-где бреши от снарядов. Красавец цепной мост взорван немцами посередине. Беспомощно и печально, опустил он свои стальные руки-цепи в ледяную воду Дуная. На Дунае идет перестрелка. По эту сторону — наш передний край. На той стороне — немцы. Здесь, в занятой нами главной части города, уже идет никогда не утихающая жизнь. Бледные, добротно одетые мужчины в шляпах куда-то спешат по улицам. Худенькие большеглазые венгерские мальчишки играют в брошенных подбитых машинах. На лицах встречающихся девушек — боязливые улыбки. На площади, где лежат раздувшиеся трупы артиллерийских лошадей, изможденные женщины пытаются кухонными ножами вырезать из конских туш еще, может быть, не протухшее мясо.

Кое-кто боязливо и жалко просит хлеба у каждого проходящего мимо советского офицера.

В двух-трех кварталах от передовой, в узких улицах, люди в черных длиннополых шинелях и шапках-кастрюльках чинят разбитую снарядом стрелку на рельсах трамвайной линии. Мадьяры — трудолюбивая нация. Эти люди не могут сидеть без работы.

В разбитом Будапеште уже кое-где горит электричество. Восстанавливается водопровод.

Будапешт. Январь 1945».

Отлично помню этот зимний, уже теплый день конца января. Мы ехали в Будапешт с севера, из Каталины. Миновали расположенный у подножия горы городок Забеген... Впереди темнел Уйпешт — рабочий район города. Навстречу нам по краю шоссе и обочинам двигалось нечто похожее на демонстрацию без лозунгов и знамен. Люди из освобожденного Будапешта возвращались по домам. Толпа была черной. Во всяком случае, такой она запечатлелась в моей памяти. Женщины катили коляски с маленькими детьми. Тех, кто мог как-то идти сам, вели за руки. Некоторых несли на руках. Мужчины — их было немного — везли какие-то самодельные тележки на колесах от детских велосипедов с

погруженным жалким домашним скарбом. Печальная колонна растянулась на километры. Люди шли в деревни, может быть, в города, откуда два месяца назад бежали в столицу, ища там спасения. Иные двигались еще сносно. Были и такие, кого придерживали под руки.

И тут я подумал о родном Ленинграде. Не так уж давно мы, оторванные войной от блокадного города, узнали в подробностях о том, что пережили ленинградцы. Здесь люди сами еще уходили из города, отделавшись голодом и страхом в его подземельях. Сколько же никуда не ушло и уже никогда не сможет уйти из Ленинграда?!

В Ленинграде в начале 1942 года умерла моя мать. В частях морской пехоты у его стен погиб старший брат — инженер с завода «Красная вагранка». Я уже знал, что недосчитаюсь многих оставшихся в городе товарищей. Мы расставались, уверенные в победе, и не обманулись, хотя не представляли себе масштаба горя, какое принесет война.

И все же человеку, видевшему пепел городов на родной земле и смерть боевых товарищей, тем не менее чуждо низменное чувство мести. Так мы были воспитаны нашей советской школой и ленинской Красной Армией, в рядах которой я воевал уже четвертый год. Мне было жаль и только жаль идущих навстречу нашей медленно пробиравшейся машине людей. Они шли, стараясь не смотреть в нашу сторону, хотя уже было ясно — нас не страшились.

Навсегда запомнил я Будапешт тех дней. Непривычные дома его центральных керулетов (районов). Здания с дворами-колодцами, но, в отличие от ленинградских, без арки на улицу. Со всех четырех сторон, по всем этажам опоясанные сплошными балконами. Не знаю, что делалось на асфальтовом дне дворов прежде, но теперь там кучками собирались обитатели дома и варили себе пищу. Делали они это, как кочевники, на кострах, только вместо чанов над огнем висели эмалированные кастрюльки. В Будапеште не было ни газа, ни света.

Мы ночевали в предместье Уйпешт. В маленькой тесной квартире собралось несколько человек. Все они — женщины, пожилой мужчина и старик — были рабочими близлежащих заводов. У нас нашлось чем угостить, да и выпить нашлось. Мы охотно поделились тем, что было, с хозяевами квартиры и гостями-соседями. Уже не пом-

ню каким способом, но получился оживленный разговор, хотя переводчика среди нас не было.

Примерно в середине вечера зашумели и о чем-то горячо заговорили женщины. Возник не спор, скорее темпераментный обмен мнениями. Без особого труда можно было понять: речь шла о том, что русские — славные и добрые ребята и что тому доказательство — вот этот вечер и дружеская беседа с теми, кого еще недавно изображали душегубами. Сидящий у стола старик, почти ничего не выпивший, время, от времени поднимал свой сухой жилистый кулак и, грозясь им куда-то в пространство, хрипло восклицал:

— У-у, Гитлер, Хорти Миклош!

И женщины согласно кивали головами и вздыхали.

Меж тем в эту ночь над Уйпештом нависла серьезная опасность уже не военного порядка, но порожденная войной.

По Дунаю с его верховьев шел лед. Весна в том году была необычайно ранней, и реки вскрылись преждевременно. Дойдя до Уйпешта, он не мог пройти дальше. Мешали рухнувшие в воду фермы взорванного немцами железнодорожного моста. Первого из шести тогдашних будапештских мостов. Застряв в переплетах ферм, ледяные глыбы, наплывая, лезли одна на другую и создали непробиваемую для воды плотину. Дунай выше Уйпешта начал подниматься. Вскоре вода вышла из берегов и начала затоплять улицы предместья.

Нас разбудили ночью. Тот самый старик, что посылал проклятья Гитлеру и Хорти, дал понять, что в городе творится неладное. Уйпешт уже не спал. Торопливо надев шинели, мы пошли к Дунаю. Но оказалось, что туда уже прибыли армейские саперы. В темноте, чтобы не привлечь внимания немцев с той стороны реки, на лед доставили изрядное количество тола и заложили запалы. Взрывчатка сделала свое дело. Тишину ночи сотрясли взрывы. В черное небо вместе с огнем взлетели глыбы льда. Похоже было, будто произошло извержение подводного вулкана. Белая дамба рухнула. Вода вместе с обломками льда хлынула по течению и стала отступать с уйпештских улиц. Еще не освобожденная до конца столица и ее предместья Ракошпалота, Палотауфалу, да и совсем недалекий отсюда знаменитый остров Маргит были спасены от наводнения советскими саперами.

Немцы сидели на высоком берегу в Буде. Туда вода

вряд ли добралась бы. Ну, а если бы залило Пешт, прекрасное здание парламента, стоящее на самом берегу в центре набережной? Если бы залило сотни прибрежных домов с хлебнувшими горя жителями? Да разве они, те, что вели огонь по венгерской столице с высот левобережья, пожалели бы кого-нибудь?!

Теперь я ходил по улицам Будапешта, пытаясь угадать приметы прошлого. Их не было. Останавливаясь вблизи Дуная, припоминал. Вот по какой-то из перпендикулярно расположенных к реке улочек, из которых видна гористая часть города за Дунаем, мы со старшим лейтенантом Бучиным переходили дорогу. Пули одна за другой просвистели где-то совсем близко около наших фуражек. Когда мы, бросившись к стене, укрылись за выступ дома, из подъезда здания напротив нам крикнул автоматчик:

— Вы что?! — в сердцах он добавил пару крепких словечек.— Война же!.. У них там, на горе, снайперы. Только и ждут таких, как вы.

К счастью для нас с Бучиным, сидящий на берегу в Буде снайпер, видно, оказался не очень-то высокой квалификации.

Сейчас мирный Будапешт был прекрасен. Оживленные, заполненные ярко одетой толпой тротуары. Зелень бульваров и зеркальная синь прудов. Вереницы, нет, ленты плывущих вдоль улиц машин, блистающих лаком всех цветов радуги и раскидывающих во все стороны зайчиков, отраженных никелем радиаторов и бамперов. Тысячи продольных и поперечных стеклянных транспарантов, приглашающих, зовущих, требующих что-то посетить. Город был одновременно суетлив и праздничен.

Но великолепней всего — Дунай. Необыкновенно красив Будапешт по берегам, откуда бы на них ни смотреть. Давно вновь отстроена и горда своими архитектурными шедеврами Буда. По-прежнему прекрасно торжество готики — величественное здание парламента, а неподалеку ультрасовременный, отлично вписавшийся в череду прибрежных построек новый отель — песня из стекла и бетона. Там Дунай широк и полноводен. Смотреть на него сверху, с высоты горы Геллерт в Буде,— истинное наслаждение. Гордая река течет здесь на юг, перерезая пополам Венгрию до югославской границы. В ясный солнечный день Дунай и его берега с птичьего полета видны на долгие километры. Плывут пароходы, оставляя за собой белый бурлящий шлейф, тянутся

вдоль берегов ГЭС и фабрики, и сливаются с небом далекие просторы земли. На противоположной стороне — шумный, кипучий, деловой Пешт. Счастливая, ласкающая глаз панорама. Сами по себе уходят мысли о прошлом. Мир удивителен и в самом деле, может быть, уже непобедим.

И снова здесь говорливые туристы и восторги, восторги! Восхищение открывшейся красотой на множестве языков.

Милая худенькая девушка Лена — наш будапештский гид и переводчик — объясняет мне, что высящийся на горе монумент со статуей Свободы, поднявшей над головой пальмовую ветвь, работы скульптора Кишфалуди-Штробля, поставлен тут в честь советских войск — освободителей Венгрии от фашизма.

Невдалеке отсюда, внизу — новый мост, которого не было в те военные времена, и вообще здесь многое иначе. О войне, самой последней, Лена конечно же знает только из учебников истории. Она моложе и этого памятника, и, кажется, даже этого нового моста. Ну и прекрасно!

В Будапешт более четверти века назад я еще попал под самый конец войны, в апреле. Стояла цветущая весна. Здесь уже все зазеленело. По городу со скрипом и тарахтеньем ходили старые трамваи. Работали кино и театры. На улице Ракоци были открыты магазины. Появились откуда-то и товары. Они выставлялись в витринах, в которых не было стекол. Вечером Будапешт затихал рано, но днем он жил и находился весь в движении. Улицы были расчищены. Дома кое-как приведены в порядок. Мрачные дни зимы отошли в воспоминания. Горожане отличались находчивостью и сдержанным вниманием. Чувствовалось — Венгрия найдет свое место в будущем мире, завоеванном такой дорогой ценой.

После отдыха в шумном и жарком Шиофоке и малоспасительного купания в Балатоне мы снова в венгерской столице, только теперь живем не в отеле «Волга», вблизи центра, в северо-восточной части города, а на его левобережной стороне, в новом, комфортабельном отеле «Вена».

Отель стоит чуть ниже оживленного шоссе, на развилке двух дальних автротрасс. До блеска накатанные сизые ленты дороги ведут отсюда за границу — в Австрию и Югославию.

На кинжальном острие газона, там, где сходятся две

дороги, устремляясь затем к центру Будапешта, высится монумент советского воина с небольшим флагом в руках. Кто это? Вряд ли памятник какому-то фронтовому регулировщику. Возможно, танкист? Танкам, когда они идут колонной, путь указывают флажками специально для того выставляемые «маяки».

Машины на Будапешт и из него проносятся здесь, не снижая хода, со скоростью 80—100 километров в час. Подойти к монументу не так-то просто. Но я все-таки улучил момент и через некоторое время был возле памятника.

На постаменте, служащем опорой поднявшему флаг офицеру, прочитал имя капитана Остапенко.

Так вот это кто! Тот самый капитан Остапенко, который в декабре 1944 года, так же как другой капитан — парламентер советских войск Миклош Штейнмец, вышел с белым флагом навстречу врагу, неся гуманный ультиматум своего командования с предложением прекратить бессмысленное и безнадежное сопротивление и тем сохранить жизнь тысячам солдат окруженных частей и положить конец страданиям гражданского населения Будапешта.

Мне хорошо помнится этот день самого конца декабря. Фронт облетела обжигающая весть. Ультиматум остался без ответа. Оба парламентера убиты. Штейнмеца подпустили близко и расстреляли. Остапенко дошел до вражеского расположения. Капитулировать фашисты отказались, и, когда капитан направлялся назад, раздался выстрел в спину.

Убийство парламентеров считалось преступлением в истории всех войн. Советским фронтам не оставалось ничего другого, как начать решительный штурм. Немецко-фашистское командование взяло на себя ответственность за ненужные жертвы и разрушения венгерской столицы.

Два капитана — русский и мадьяр — несли мир войскам и избавление от гибели женщинам и детям. Пользующиеся незыблемым правом неприкосновенности, они были подло уничтожены.

Теперь на перекрестке до зеркальности накатанного шоссе, отражаясь в нем, стоит бронзовый капитан Остапенко. Лицом он обращен к Будапешту, за освобождение которого боролся и у стен которого погиб с флагом мира в руках.

Из Будапешта мы уезжали, когда на город уже спустилась густая синь летнего вечера. Состав «Будапешт — Москва» стоял под сводами вокзала. Нам повезло особо. В поезде был вагон до нашего города. На нем белела эмалевая табличка «Будапешт — Ленинград».

Так просто. Садишься в поезд в центре Будапешта, вблизи протекающего через половину Европы Дуная, и на третий день ты дома, на Неве. Погружаешься в тот же вагон в Ленинграде, двое суток — и вот она, столица социалистической Венгрии.

Ничего удивительного и необыкновенного. Студенты-мадьяры учатся в Ленинграде. Я по слуху узнаю их речь в театрах и музеях, в магазинах и автобусах. На улицах Будапешта нет-нет да и услышишь — говорят по-русски. Здесь очень любят Райкина, ансамбль Моисеева, театр Образцова и в особенности же советский цирк, который тут, как и повсюду за границей, называют Московским цирком.

Под землей Будапешта стремительно носятся сверкающие вагоны метро. Оно сооружено здесь с помощью советских специалистов. В аптеках наших городов продаются медикаменты, на аккуратной упаковке которых значится: «Будапешт, Венгрия». И то и другое отдано на службу людям. Их здоровью и счастью.

Дружба. Надолго, навсегда! Дорогой ценой, беззаветным героизмом наших солдат была добыта она той далекой зимой, что не давала покоя моей памяти знойным летом, проведенным два года назад на венгерской земле, такой цветущей и благополучной.

Впрочем, так, наверное, и должно быть. Молодежь пусть постигает по книгам уже историческое время. Мы же, для кого военное прошлое и память о товарищах никогда не покроется туманом истории, мы, те, кому посчастливилось... Да-да, именно посчастливилось своими глазами увидеть победу правды и справедливости, никогда не забудем того, как трудно она добывалась.

Я был в Венгрии дважды в своей жизни. Не знаю, случится ли быть еще, но мне кажется — я оставил там частицу себя.

ЛЕВ КУКЛИН

Города

Все столицы земли,
ваших плит я хотел бы коснуться!
Я хотел бы погладить шершавую кожу домов.
Я люблю в городах торжество современных
конструкций,
Как мы ценим в лесах совершенство сосновых стволов.

За кресты ваших храмов цепляются тучи сырые.
А теперь — телемачты подавно их сводят с ума.
Я люблю в городах симметричность и асимметрию.
Как гигантские друзы кристаллов, сияют дома.

Я люблю в городах проявленья бессилья и силы,
Наслоенья эпох, что людской оставляет прибой.
О история,
сколько ты хлама с собой приносила!
Сколько ты красоты по песчинке уносишь с собой!

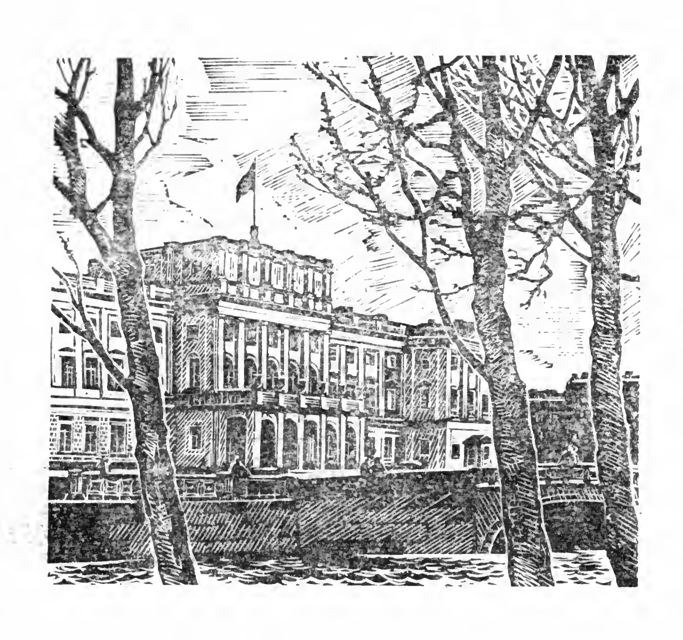
Разрушаются храмы, в хранилищах книги ветшают,
И — в сравнении с вечностью — так ненадежен металл...
Только люди живут
и жилища свои возвышают,
Пишут заново книги.
Бумага — смешной матерьял...

Я люблю города — человечества верные вехи,
Города — конденсаторы мысли, искусств и труда.
Да, я часто не сплю по ночам — горожанин двадцатого
века.
Как легко их разрушить...
Как трудно создать города!

Словно ветви сосны, этажи зримо тянутся к свету.
Об огнях городов к марсианам доходит молва.
Вы — я знаю — корнями вросли в почву нашей планеты.
Пусть не вечна гора Эверест — вечны Рим,
и Париж,
и Москва!

АНДРЕЙ УШИН

«Ленсовет»



ЕВГЕНИЙ КУТУЗОВ

Память

Рассказ

Письмо было написано аккуратным ученическим почерком на листе из школьной тетради. Матвеев улыбнулся, подумав, как старалась над письмом, высунув от напряжения язык, какая-нибудь девочка-отличница. Такие письма почему-то всегда доверяют писать девочкам.

«...К Вам обращаются «красные следопыты». Чертинской восьмилетней школы от имени и по поручению учащихся, педагогического коллектива, а также всех односельчан. Мы знаем, что нашу деревню Черты освободила от немецко-фашистских захватчиков рота, которой Вы командовали.

С радостью сообщаем Вам, дорогой Николай Петрович, что мы приняли Вас в почетные пионеры нашей дружины, и рапортуем: в дружине нет ни одного неуспевающего, все учатся только на «4» и «5». Своими силами мы отремонтировали школу, покрасили парты, посадили яблоневый сад, а во время каникул помогаем колхозу.

7 сентября у нас будет торжественно отмечаться тридцатая годовщина со дня освобождения деревни. К этой славной дате мы приурочили открытие школьного музея и очень просим Вас, дорогой Николай Петрович, приехать к нам на праздник...»

Письмо озадачило Матвеева. Сколько бы он ни думал, сколько бы ни насиловал память, ничего, решительно ничего не мог вспомнить про деревню Черты, которую якобы освобождал, хотя вообще-то помнил о войне многое. «Черты, Черты...— повторял он, досадуя на свою забывчивость.— Странное какое-то название, должен бы был запомнить!»

Он спрятал письмо в коробку, где хранил другие важные для него письма, однако время от времени мысли возвращались к этому письму, вызывая беспокойство в душе и тревогу. Матвеев был инженером, любил во всем точность и ясность, а тут как раз и не было не-

обходимой ясности. Случалось, ему снились Черты. Снилось большое село с колокольней, на которой гнездились галки, аккуратные дома, утопающие в яблоневых садах, а вокруг села — пронизанные солнцем, звенящие березовые рощи... Матвеев просыпался с надеждой, что теперь-то он вспомнит все, но память по-прежнему была глуха, словно из нее вычеркнули какой-то штрих, какую-то деталь, без чего потеряло смысл все остальное и потому не могло сохраниться в сознании. Пытаясь восстановить увиденное во сне, Матвеев всякий раз убеждался, что видел деревню вообще, которая не была конкретной, реально существующей деревней. А иначе не могло и быть, потому что он родился и всю жизнь прожил в Ленинграде.

Но должно же, должно хоть что-то сохраниться в памяти...

Вот ведь в неведомой ему деревне Черты помнили о нем и знали, что именно он, Матвеев, командовал ротой, освободившей деревню! Выходит, память чужих людей оказалась вернее и долговечнее его собственной памяти, думал Матвеев с горечью и раздражением, и ему делалось стыдно. Стыдно за себя, перед ребятами, нашедшими его и написавшими письмо — что из того, что написано письмо наверняка под диктовку взрослых,— а больше всего Матвееву было стыдно перед теми, кто т о г д а был рядом, был вместе с ним и кого теперь нет в живых...

Он не был человеком излишне чувствительным, сентиментальным (во всяком случае, не считал себя таковым). Выпив вина, не пел фронтовые песни, не ронял слезу на кинофильмах о войне, не ездил туристом к местам давних боев, но в деревню Черты поехал бы непременно, хотя бы только для того, чтобы внести я с н о с т ь.

Поехал бы не задумываясь и очень сожалел, что не может этого сделать, потому что еще раньше, чем получил письмо от «красных следопытов», задолго до письма, купил путевки — себе и жене — на теплоход до Волгограда и обратно. Они никогда не отдыхали вместе с женой, три года копили деньги на дорогие путевки, чтобы отдохнуть интересно и с комфортом, и отказаться теперь от поездки Матвеев не мог. А совместить невозможно: в Чертах нужно быть 7 сентября, путевки же куплены с 5-го...

Матвеев поблагодарил ребят за внимание и пригла-

шение, пообещал, что приедет в будущем году, а нынче, написал он, никак не получается приехать.

Однако письмо он не отправил сразу, а показал жене.

— Нехорошо как-то, Коля,— вздохнув, сказала жена.

— Я что-то не так написал?

— Не в этом дело. Понимаешь... Дети разочаруются, они ведь такие искренние и впечатлительные, ждут тебя на праздник...

— Да, но что же делать? Если только потом съездить. У меня остается дней пять от отпуска...

— Знаешь, я, пожалуй, поеду пятого одна, а ты съездишь в Черты и догонишь меня где-нибудь самолетом! — предложила жена.

— Это будет очень дорого,— возразил Матвеев, уже зная, что именно это он хотел и ждал услышать от жены.

— Ну что ж,— сказала она.— Раз надо — значит, надо.

Он был бесконечно благодарен жене за понимание и поддержку и еще за то, что жена как бы освободила его от неизвестности, от мучительного беспокойства и от неловкой обязанности самому сказать о том, что он решил ехать в деревню Черты. Иначе нельзя. Иначе он не обретет покоя...

Рано утром Матвеев сошел с поезда на станции Теплое.

«От станции Теплое до нашей деревни,— писали «красные следопыты»,— всего семь километров. Но Вы сообщите, когда приедете, и мы встретим Вас...»

Матвеев не стал сообщать.

В глубине души он надеялся, что, приехав на место, тотчас вспомнит все и тогда ему будет легче и не стыдно встретиться с ребятами. А не вспомнив, он обманет их ожидания: ведь от него ждут — Матвеев понимал это — рассказа участника событий, ждут каких-то подробностей, и он искал эти подробности. Он оглядывался по сторонам, присматриваясь, но память молчала, ничего не подсказывала ему, глаза не находили знакомых, пусть и полузабытых, примет, и даже больше того: Матвеев убеждался, что никогда прежде не бывал здесь.

Рубленый дом, похожий на обыкновенную деревенскую избу, в котором помещался вокзал... Перед входом невысокий, в рост человека, столб с фонарем... Чуть в стороне серый скучный пакгауз, стандартная рыжая уборная... Между путями бездействующие водозаборные колонки, ставшие ненужными с тех пор, как появились тепловозы... В отдалении, как обязательная, дежурная деталь станционного пейзажа,— старая водокачка...

Нет, ничто не вызывало воспоминаний. Все было незнакомо Матвееву. Или, напротив, все было слишком знакомо — он повидал множество точно таких же маленьких станций, которые мало чем отличаются одна от другой, но все же каждая станция имеет и что-то свое, а Матвеев, сколько ни оглядывался, не находил ничего, за что могла бы зацепиться память. Не было детали, подробности, способной взволновать память, вернуть ее в прошлое....

Конечно, за тридцать лет здесь наверняка произошли большие изменения, а станция Теплое — еще не деревня Черты, и, значит, не все потеряно, однако в душе Матвеева крепли сомнения, которые появились, когда он сел в поезд. Он вдруг понял, что его перепутали с кем-то. То есть не с кем-то, а просто приняли за другого Матвеева. Имя и отчество ни о чем не говорят,— в России найдутся тысячи его тезок, прошедших, как и он, войну.

К Матвееву подошел дежурный по станции. Похоже, его заинтересовал незнакомый пассажир. Здесь, наверно, не часто выходят незнакомые люди.

— Здравствуйте,— сказал Матвеев.

— Здрасте,— ответил дежурный, приподнимая форменную красную фуражку.— Ждете кого или как?..

— Мне нужно в деревню Черты,— сказал Матвеев, хотя еще за минуту до этого твердо знал, что не пойдет в Черты, а с первым же поездом вернется обратно в Ленинград и попытается догнать жену в Подпорожье.

— В Черты? — переспросил дежурный, оглядывая Матвеева.

— Да. Вы не скажете, как туда пройти?

— Чего ж, подскажу. Бывает, что машины до Чертов ходют, а нынче вот что-то не видать. Вы в отпуск к кому, погостить?..

— По делам.

— Понятно, если по делам.— Дежурный вынул но-

совой платок и вытер взмокшую шею.— Можно от меня позвонить ихнему председателю — он пришлет машину.

— Я по личному делу.

— По личному, оно конечно...— Дежурный еще внимательней, с каким-то даже пристрастием оглядел Матвеева, ничуть не смущаясь своего интереса. А пожалуй, и недоверия.

— Погода прекрасная,— сказал Матвеев.— Прогуляться одно удовольствие!

— Оно полезно, пешком-то, это верно,— согласился дежурный.— Вот! — Он вскинул руку, показывая зачехленными флажками на водокачку:— Ступайте прямо, а как зайдете за водокачку-то, увидите переезд. За переездом близко развилка будет, так вы от нее влево забирайте. А направо не ходите: та дорога в леспромхоз. Что-то не видать никого из Чертов. В базарный-то день бывает народ оттуда, а как же!.. Может, позвонить по телефону? Машина враз придет.— Его определенно смущала Золотая Звезда на груди Матвеева.

— Спасибо, не надо,— сказал Матвеев. И неожиданно для себя спросил:— Обратный поезд когда идет?

— А ночью, ночью. В час сорок девять прибытие. Вы, если что, сильнее стучитесь в кассу.

Матвеев поблагодарил дежурного и пошел к водокачке. Пройдя метров триста хорошо нахоженной тропой вдоль железнодорожной линии, он минул заброшенную водокачку, кирпичная кладка которой позеленела от старости и даже на расстоянии казалась ветхой, перешел переезд и, оказавшись на развилке, свернул по дороге налево. Ни впереди, сколько было видно, ни сзади не было никого, и это радовало Матвеева. Ему хотелось побыть одному, и больше всего сейчас помешал бы случайный попутчик.

Утро стояло теплое, ясное. Терпкий лесной воздух кружил голову. Матвеев не разбирался в лесных запахах, но ему было хорошо, он чувствовал себя помолодевшим и старался дышать как можно глубже. Так дышат, попав в лес, все горожане — жадно и торопливо.

И было очень тихо.

Подобной тишины Матвеев не слышал бог знает уже сколько! А может, не слышал вообще никогда. Он понимал, что и эта тишина, пронзительная и осязаемая, которую, казалось, можно потрогать, также мешает ему вспоминать прошлое и узнавать эти места, потому что

тогда, если ребята все же не ошиблись, здесь не могло быть тишины, лишь изредка случалось затишье...

Матвеев шел, перекладывая из руки в руку портфель, закинув ненужный плащ на левое плечо. Хотелось есть, и он пожалел, что не взял с собой ничего съестного. Скорее всего, уже к обеду он вернется на станцию, убедившись, что его спутали с другим Матвеевым, а на станции наверняка нет буфета, и целый день придется сидеть голодным. Разве что поблизости где-нибудь найдется столовая. Должен же быть какой-то поселок, раз есть станция и раз бывают базарные дни.

Он прошел примерно половину пути, когда из-за поворота прямо на него выехала девушка на велосипеде. Матвеев отступил на обочину, девушка круто взяла вправо, и велосипед опасно накренился.

— Осторожно! — испуганно крикнул Матвеев.

— Пустяки! — отозвалась девушка, выравнивая велосипед. На ней были тренировочный трикотажный костюм, кеды и красная косынка.

Они разминулись, однако Матвеев чувствовал, что девушка не уехала далеко. Кажется, она остановилась и смотрит ему вслед. У него появилось желание тоже остановиться и оглянуться.... Желание это было таким сильным, что Матвеев, чтобы не поддаться, стал считать шаги. Он досчитал до тридцати, когда девушка снова промчалась мимо, но теперь в обратную сторону, обгоняя Матвеева. Она быстро-быстро работала ногами, словно спешила первой оказаться у финиша.

Она скрылась за поворотом, из-за которого недавно выехала, и Матвеев опять остался один на лесной дороге. Солнце поднялось над деревьями и жарко припекало спину. В пору было снять пиджак, но Матвеев носил подтяжки и оттого стеснялся быть без пиджака.

Лес, пробуждаясь, наполнялся пением, щелканьем и трескотней. Начинался новый день. Ясно, что этот день тридцать лет назад не мог быть таким же светлым и прекрасным, и Матвеев смирился с тем, что не вспомнит и не узнает, покуда не увидится с ребятами. Или хотя бы покуда не увидит деревню Черты.

За очередным поворотом взору Матвеева вдруг открылось картофельное поле с пожелтевшей уже, поникшей ботвой. Оно занимало неоглядную площадь по обеим сторонам дороги, которая вынырнула из леса, а дорога, разрезав поле, взбегала на возвышенность, на которой приютилась деревня Черты.

Матвеев сразу узнал ее, как только увидел два высоких тополя. Его не обмануло и картофельное поле, на месте которого в сентябре сорок четвертого года было болото. Он повел глазами левее тополей — там было кладбище.

Матвеев опустил на землю портфель, ставший вдруг тяжелым, бросил на камень плащ, сел и достал сигареты. Руки дрожали, и он долго не мог высечь из зажигалки искру...

С половины августа зарядили дожди. Наступление приостановилось. Дивизия вела бои местного значения. Третью неделю сидели в окопах. По вязким торфяным стенкам сбегала коричневая болотная вода, превращаясь на дне окопов в жидкое месиво, и негде было присесть, некуда было прислонить голову.

Солдаты рвались в бой, потихоньку роптали и требовали у командиров объяснений, почему не продолжается столь успешно начатое наступление. А командиры взводов, рот — пожалуй, и батальонов — сами ничего не знали об этом.

6 сентября старшего лейтенанта Матвеева неожиданно вызвали к командиру полка, и он получил приказ: ночью со своей ротой пройти по болоту, выйти в ближние тылы противника, оседлать шоссейную дорогу и держаться во что бы то ни стало до подхода основных сил полка. Задача состояла в том, чтобы перерезать коммуникации врага, лишить их передовые части возможности получить подкрепление с железнодорожной станции Самохино. Но для того, чтобы выполнить эту задачу, сначала нужно было овладеть высотой 0.62, господствовавшей над окружающими ее болотами.

На высоте находился небольшой населенный пункт — четырнадцать дворов — деревни Черты. Здесь, по данным разведки, был опорный пункт противника, охраняющий подступы к шоссейной дороге со стороны болота. Похоже, противник не очень-то беспокоился за этот фланг,— болото на картах, в том числе и на картах противника, было отмечено как «непроходимое».

Но нашелся солдат, рядовой Гореликов, который хорошо знал местность. Он взялся провести роту потайной тропой.

Звали Гореликова Иван Потапович, он жил до войны в деревне Черты.

— Сколько потребуется времени? — спросил Матвеев.

— Это смотря как идти,— ответил Гореликов.— Если б налегке, так часа за два можно дойти... За четыре управимся, товарищ старший лейтенант, не сомневайтесь.

Был он уже не молод, несколько угловат, а когда говорил, делал между словами большие паузы. Впрочем, он и вообще не говорил, а только отвечал на вопросы, отчего создавалось впечатление подобострастия, однако смотрел он прямо, держался свободно, уверенно, как человек, знающий свое место и цену себе. И еще Матвеев заметил, что Гореликов чисто выбрит, подтянут, даже сапоги у него не заляпаны грязью.

«Это настоящий солдат,— подумал Матвеев удовлетворенно.— С ним не пропадем».

— У вас в деревне семья? — спросил он.

— Так точно, товарищ старший лейтенант.

— Большая?

— Обычная. Мать, жена...

— А дети?

— Старший погиб в сорок первом,— ответил Гореликов.— А младший воюет, должно...

— Извините.

— Что там, товарищ старший лейтенант.— Гореликов махнул рукой.— На то война. Худо вот только, что дети раньше родителей умирают.

В 23.00 рота снялась с позиции.

Брели по пояс в болотной холодной каше. Сверху сеялся дождь. Ночь была темная, безлунная, и Матвеев не видел, а, скорее, угадывал впереди себя спину Гореликова. Он не только шел первым, по каким-то таинственным признакам угадывая в абсолютной темноте тропу, но и тащил ручной пулемет. Матвеев не разрешил бы взять ему пулемет — первому и без того тяжелее всех,— но, по правде говоря, было страшновато, что кто-то другой, менее опытный и менее сильный, может оступиться с тропы и сгинуть в болоте вместе с пулеметом....

Время от времени Матвеев останавливался, задерживал дыхание и прислушивался к чавканью сапог в болотной жиже. Хотелось курить, а еще лучше — сделать привал на сухом островке, и Матвеев был близок к тому, чтобы уступить усталости, однако Гореликов шел и шел вперед, не оглядываясь, не делая переды-

шек, и Матвееву становилось стыдно за свою слабость. «Попрошу у командования, чтобы оставили его в моей роте»,— думал он.

К четырем часам выбрались из болота.

Была заманчивая возможность обойти высоту и деревню стороной и напрямую двигаться к шоссе. Но тогда гитлеровцы, закрепившиеся в деревне, оказались бы в тылу роты, а это не просто риск, но почти гибель. Овладев же деревней, рота оставляла за собой болото. Другой дороги, кроме проселка, соединяющего Черты с шоссейкой, не было. А ближайшая железнодорожная станция, откуда немцы могли получить подкрепление, находилась отсюда в шестнадцати километрах.

— Есть ближе,— объяснил Гореликов,— но туда ходу вовсе нет, так что мы всегда в Самохино, если что, ездим.

Деревня спала. Лишь изредка, словно по обязанности, лаяла собака. Ветер доносил запах жилья, но само жилье — избы и дворовые постройки — едва угадывалось в туманной серости. Однако на фоне предрассветного неба четко выделились два тополя.

— Тут как раз правление колхоза,— сказал Гореликов, показывая на тополя.— А через два дома от правления и наш дом...

«В помещении правления наверняка комендатура или узел связи,— подумал Матвеев.— Значит, туда прежде всего и надо ударить...»

Бой был скоротечный. Телефонную связь перерезали без шума, единственный часовой спал на крыльце, и противник, застигнутый врасплох, не оказал организованного сопротивления. Не задерживаясь, двинулись к шоссе. В роте потерь не было.

У развилки, где проселок отворачивал от шоссе, быстро окопались и заняли круговую оборону. Было ясно, что немцы, потеряв связь со своим опорным пунктом в Чертах, всполошатся и вышлют разведку. Долго ждать не пришлось, еще до полного рассвета со стороны станции Самохино появились мотоциклисты. Одному удалось уйти обратно, и вскоре показались два танка, а за ними два батальона пехоты...

К тому времени, когда подтянулось подкрепление, от роты осталось не более десяти человек, да и те раненые. Был тяжело ранен и Матвеев. А Гореликов погиб в самом начале боя. Матвеев находился все время ря-

дом с ним. Он сам взял из рук мертвого Гореликова пулемет...

Да, именно так все и было. А не помнил Матвеев деревню Черты потому, что после госпиталя попал в другую часть, ни с кем из прежних сослуживцев уже не встречался, к тому же и деревня для него была не деревней, а высотой 0.62...

Матвеев поднялся с камня, машинально отряхнул брюки и в обход деревни, краем картофельного поля, прижимаясь к лесу, почти тем же путем, что и в сорок четверетом году, вышел на кладбище.

Здесь было еще тише, чем в лесу. Или так казалось Матвееву.

Он долго бродил между могилами, читал надписи на крестах. Он отыскал несколько могил, в которых были похоронены Гореликовы, мужчины и женщины, но той могилы, ради которой он и пришел сюда, не было. Не было или не сохранилось.

А впрочем, вдруг догадался он, ее и не могло быть, потому что только он знал фамилию Гореликова, только он знал, что он из деревни Черты. Скорее всего, его похоронили там же, у развилки, где был бой, и вряд ли похоронная команда выясняла и разбиралась, кого именно они хоронят. А документов ни у Гореликова, ни у других солдат при себе не было...

И тогда Матвеев поклялся, что найдет в военных архивах сведения о рядовом Гореликове. Найдет, хотя это сделать и непросто: ведь он не знает, в каком батальоне, в каком полку их дивизии служил Гореликов!

И все-таки он сделает это. А сделав, напишет представление на Гореликова к награде — посмертно — и обязательно добьется, чего бы это ни стоило, чтобы Гореликова наградили. И после он, Матвеев, вернется сюда, в деревню Черты, и расскажет односельчанам Гореликова о подвиге, который тот совершил, о его героической смерти у порога родного дома.

Матвеев собрался уходить, и тут навстречу ему вышла старушка. Она остановилась, оглядела его с любопытством и, поклонившись в пояс, сказала:

— Ищешь кого, мил человек, али так интересуешься?

И Матвеева осенило.

— Зашел взглянуть. А вообще-то мне Гореликовы нужны.

— Из города приехал?
— Из города.
— Оно и видно. Тебе каких Гореликовых?.. У нас, почитай, вся деревня Гореликовы.
Матвеев растерялся.
— Ну... Жил у вас до войны Иван Потапович Гореликов...
— Постой-ка, постой...— Старушка задумалась.
— Он погиб на фронте,— подсказал ей Матвеев.
— Как же, как же! — оживилась старушка.— И сам погиб, и обои его сыновья тож погибли.
— И никого не осталось?
— Жинка жива. Ефросинья! Чего ей станется, она годов, поди, на десять помладше меня-то будет. Тебе ее надоть?..
— Да,— вздохнув, сказал Матвеев.
— Дома она. Видала я ее, сидит на завалинке. Она все так-то сидит, быдто ждет кого. А не шибко старая еще, не-ет!.. Помоложе меня будет. Мужик-то ейный, мил человек, не погиб вовсе, а без вести пропал, вот она и ждет. А ты никак знал его?.. Или нашелся Иван?..
— Нет, не нашелся,— сказал Матвеев.— А где дом Ефросиньи?.. Как ее отчество?
— Тож Ивановна по батюшке. А дом ейный с самого краю стоит. Вон он! — Старушка показала на крайнюю избу.— Прежний она продала, поближе к околице перебралась...
— Спасибо! — поблагодарил Матвеев.
Он не носил обычно всех орденов и медалей, только в торжественных случаях. Собравшись в Черты, он взял все свои ордена и медали с собой, и теперь они лежали в портфеле. Лежал там и орден Отечественной войны I степени, который ему вручили уже после госпиталя за взятие высоты 0,62.
Выйдя с кладбища, Матвеев оглянулся, раскрыл портфель и достал этот орден, еще не сознавая, зачем он понадобился.
Дорожка от кладбища к деревне взбегала вверх. И хоть взбегала не круто, но идти было затруднительно, не хватало дыхания, поэтому Матвеев шел медленно. А в сорок четвертом он и не заметил, как одолел этот подъем.
Коробочку с орденом Матвеев нес, зажав в руке, и она стала мокрая. Время приближалось к полудню, было жарко.

У крайнего дома на скамейке сидела старушка, опершись на толстую суковатую палку. Была она в черном платье и в черном же платке, из-под которого выбивались седые волосы. Когда Матвеев остановился возле нее, она подняла глаза.

— Здравствуйте, Ефросинья Ивановна...

— Здравствуй, здравствуй, сынок,— приветливо сказала старушка.— Чей же ты будешь-то?.. Что-то не признаю. Глаза худо смотрят...

— Приезжий я.

— Ну-ну. Из району или из области?

— Из Ленинграда.

— Ишь ты! — Старушка качнула головой и взглянула на пустынную дорогу, по которой Матвеев пришел со станции.— А председатель-то с Клавкой уехали. Вот только что. Не за тобой, случаем?..

— Вряд ли,— сказал Матвеев. Он чувствовал нарастающую острую боль в сердце, хотелось сесть и закрыть глаза, но садиться было неловко. Он поставил на скамейку портфель.

— Ты сам-то присел бы,— пригласила старушка.— Или спешишь куда?

— Нет.

— Я и думаю, что все одно председателя будешь ждать. И посиди. Они мимо поедут, тут со станции другой-то дороги нету.

— А на Самохино? — спросил Матвеев и весь напрягся. Боль в сердце то отпускала чуть, то делалась нестерпимой.

— Эка, на Самохино! — сказала старушка.— Нынче никто туда не ездит. Как построили эту дорогу, по той никто не ездит. А ты, видать, бывал здесь, раз знаешь дорогу на Самохино?..

— Бывал.

— Ну-ну...— проговорила старушка. Разговаривая с Матвеевым, она не отводила глаз от дороги.

— Я воевал здесь,— сказал Матвеев.— В сорок четвертом...

— Да, война...— Старушка вздохнула.— А у меня в сорок четвертом мужик пропал на войне. Без вести, стало быть...

— Он не пропал,— тихо сказал Матвеев.

Старушка вздрогнула и вдруг начала подниматься, одной рукой опираясь на палку, а второй на стену дома.

— Вы сидите, сидите!..

— Ты откуда знаешь про мово мужика?

— Я воевал вместе с ним, Ефросинья Ивановна. Вот приехал...

— Господи, сынок! — Старушка худыми пальцами вцепилась в плечо Матвеева.— Где же он, родненький мой?! И что же ты, соколик, так долго не приходил?.. А я все смотрю, смотрю, глаза уже все проглядела, тебя, похоже, ждала...

Матвеев знал, что начинается приступ. Боль в сердце сделалась беспрерывной и острой. Пересохло во рту, онемела левая рука. Нужно достать нитроглицерин, который лежит в нагрудном карманчике, но левая рука не слушалась, а в правой Матвеев по-прежнему держал коробочку с орденом Отечественной войны...

— Не молчи, соколик! — просила старушка.— Ну скажи что-нибудь! Где он, Ванечка-то мой?..

Перед глазами все плыло, туман мешал увидеть лицо старушки. Матвеев протянул руку и разжал пальцы.

— Вот...— с трудом выговорил он.— Это... орден... вашего мужа...

Он закрыл глаза и отвалился назад, прижавшись спиной к стене дома. Он понимал, что теряет сознание. А может быть, и хуже того: такой боли еще никогда не было. Но он должен сказать... Должен сказать этой женщине, что ее муж погиб смертью героя у порога своего дома. Нельзя забывать, как забыл он... Именно: знал и забыл. Знал и забыл... А больше никто не знает... Знал и забыл...

— Что с тобой, сынок?! — Старушка тормошила Матвеева, он слышал ее голос и, собравшись с силами, выпрямился и открыл глаза.

Возле дома резко затормозила машина. Из нее выпрыгнули мужчина и девушка. Матвеев узнал девушку — она повстречалась ему, когда он шел в Черты.

— Товарищ Матвеев! — радостно воскликнула она.— А я вас сразу узнала, еще на дороге!..

Он полез в карман за нитроглицерином, но слабеющие пальцы никак не могли ухватить баллончик с таблетками, и Матвеев еще не успел подумать, что лекарство надо класть в другой карман,— из этого неудобно доставать...

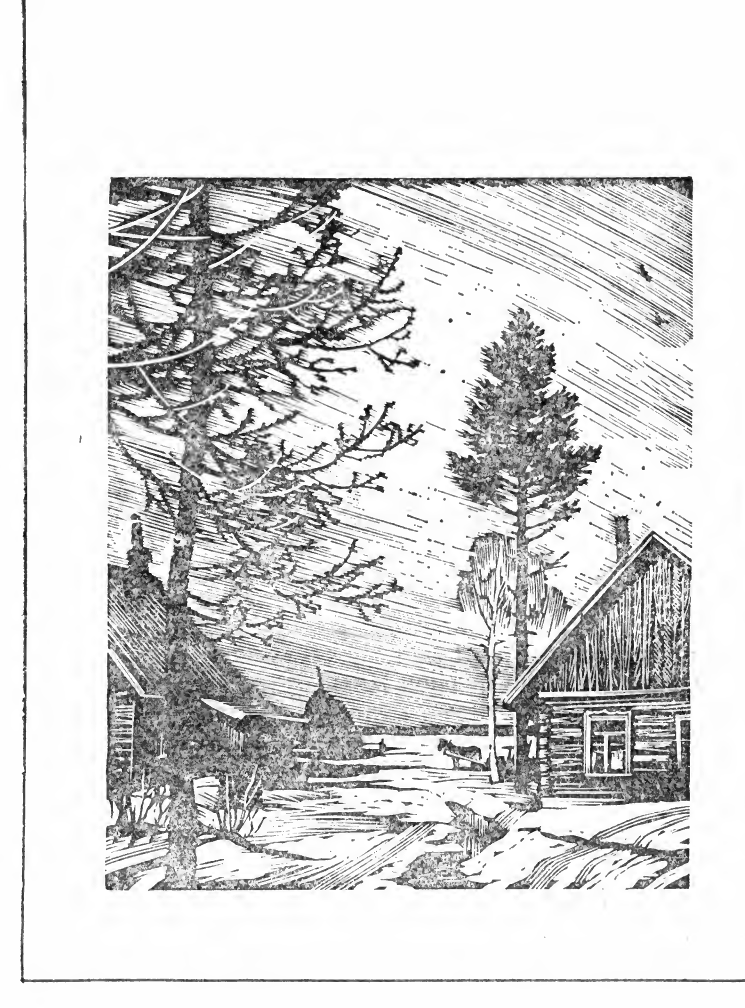
ЕЛЕНА ВЕЧТОМОВА

Дом

Ты вышивала лепесток
И как живой его сложила.
У перепутья двух дорог
На подоконнике забыла.
    Он виден был издалека,
    Украшенный твоим терпеньем.
    Изображение цветка
    Сияло всем на удивленье.
Среди сиреней тихий дом.
Казалось — счастье в нем отыщешь.
Но... Танк проходит напролом
Сквозь теплое твое жилище.
    Перебегают сквозняки
    Под крышею, осевшей плоско.
    Пробилась в щель дверной доски
    Как символ вечности — березка.
Мы перекурим. Помолчим.
И в дом твой вступим без опаски.
Его мы снова оживим
И новою покроем краской.
    Пускай твои цветы цветут
    На выведенных снова стенках.
    Пусть все, как прежде, будет тут,
    Ну, может, разница в оттенках.
Старанье сердца приложить —
Так даже разницы не будет.
И коль ты здесь не будешь жить,
Поселятся другие люди.
    Вернись на несколько минут —
    Веселое окошко настежь!
    Здесь люди снова разведут
    Тобою начатое счастье.
О женщина!
                Не только день —
Вся жизнь тобой полна на свете.
Я вижу — прежний дом, сирень,
Войны не знающие дети.

АНДРЕЙ УШИН

«Вечер»



ВАЛЕРИЙ СУРОВ

Ромашки

Рассказ

Мы притащили из дому старые телогрейки, постелили их прямо на землю и разлеглись возле завалинки. Стояла тишина. Ни ветерка. Только невдалеке скрипела лягушка.

У соседнего двора пилил на гармошке вернувшийся недавно с фронта Дима Лесков. Ему было восемнадцать лет. На его гимнастерке тускло светилась медаль, а возле лавки прислонился к забору новенький блестящий костыль.

— Димка! Шел бы спать! — прокричала со двора соседка.

— Успею, насплюсь еще,— ответил Дима, потом сжал гармонь, пошуршал газетой и зажег спичку.

В черном небе появилось полным-полно звезд. Мы с братом уставились на них и так лежали молча.

Мне было жаль Диму, и я как-то раз даже предложил ему:

— Давай, Дима, я тебе деревянную ногу выстрогаю — не хуже этой будет.

— Не надо,— ответил он.— У меня новая растет. Нака, пощупай.

Я пощупал и сказал:

— Врешь ты все!

— Ничего я не вру... Вчера же короче была култышка? Короче. А сегодня — длиннее.

Дима закурил и снова заиграл какую-то тоскливую музыку, а я стал считать звезды. Но чем старательнее я приглядывался к черному небу, тем больше их становилось.

— Знаешь,— сказал тихо брат,— а на звездах тоже живут...

— Ну-у! — удивился я и приподнялся на локте.

— Точно. Живут. Каждую ночь звезды опускаются на крыши изб и из них выходят люди...— Он помолчал.— Они тоже светятся голубым светом. Они ходят по крышам, пробираются через печные трубы в избы и разносят всем под подушки сны...— Он замолк.

Проскрипела калитка, звякнуло ведро о колодец, черный силуэт проплыл по той стороне улицы и исчез за углом.

— А какая она, звезда, если на крыше помещается? — спросил я Борьку.

— Чуть больше нашей кровати,— ответил брат.

— Так в ней же много народу не поместится...

— А их много опускается. Почти на каждую крышу.

— И на нашу?

— И на нашу тоже. Я сам видел. Хочешь, как-нибудь покажу? Только надо всю ночь не спать, а ждать...

Дима сильнее развернул гармонь и выдавил из нее «Саратовские страдания».

— Борька, вот ты сказал, что они сны под подушки кладут... Ну, а если кто без подушек спит?

Он призадумался, куда бы девать сны, и пояснил:

— Ну, просто под головы... Но всем обязательно!

Летом мы спали на чердаке: я и Борька внизу, на ворохе сухих липовых листьев, а старший брат — в гамаке, который он сам сплел из старых веревок.

— А собакам тоже сны разносят со звезд? — спросил я, вспомнив, как наш пес Шарик поскуливал во сне.

Потом я долго лежал, уставившись открытыми глазами в темноту. Пахло сухими листьями. Рядом сопел Борька... Старший брат сидел на гамаке и курил — он прятал цигарку в горсть. Ночь была такая, что из-за звезд толком не было видно неба.

Внизу кто-то ходил по траве. Наверное, мать, потому что собака не лаяла.

Я толкнул Борьку локтем в бок.

— Что тебе? — спросил он спросонок.

— Пошли завтра в лес за земляникой? Наберем и маме прямо на работу принесем?

— Давай,— сразу же согласился он и сипло окликнул старшего:— Вовка, пошли завтра за ягодами?

— Ладно... Спите...— ответил тот и, плюнув, загасил окурок.

На темную траву во дворе упало слабое пятно света. Это мама включила лампу и еще долго будет сидеть за обеденным столом, держа в руках ручку над листком бумаги, будет глядеть в пустое окно, шевеля губами, да так и ляжет спать, оставив на столе бумажку с одной строчкой: «Здравствуй, милый наш Ваня!»

Ранним утром на чердаке через маленькие щелочки пробивались букеты солнечных столбиков, мне все время хотелось собрать их в охапку и снести в дом, а там из них сделать планки для воздушного змея...

Мы выбрались с чердака в сени, а потом — во двор. Щурясь на солнышко, лениво потыкали ладошками в рукомойник, потолкались, пообливались и полезли за стол, что был врыт в землю посреди двора.

На столе стояла большая сковорода с жареной картошкой — над ней поднимался ароматный пар, возле которого, жужжа своими моторами, летал жирный шмель и нюхал.

Я всегда завидовал старшему брату: он перешел уже в седьмой класс. Он возвышался над столом и мог достать любого из нас, чтобы щелкнуть по лбу своим железным пальцем. Мой же подбородок едва касался стола, и, чтобы достать ложкой черную сковороду, мне надо было есть стоя.

— Борька,— сказал старший брат,— возьмешь бидон для ягод.

— Что — бидон! Надо ведро брать на всякий случай,— ответил тот.— Вдруг да много попадется!

— Бидон бы набрать...

Во дворе мать мяла белые облака пены в корыте.

— Куда это вы собрались? — спросила она.

— Купаться, на Волгу.

— Смотрите не утоните!— приказала она.— А то сейчас народу нет, спасать некому...

— Ладно,— согласился старший брат.— Не утонем.

Мы вылезли из-за стола. Отвязали собаку. Вовка открыл калитку, выпустил нас по росту, и мы зашагали по улице мимо выцветших заборов в ту сторону, куда вечерами упадало солнце. Лесковы открывали ставни, по тропинке шла Фатима-апа и вела козу к столбу. Коза была хоть и старая, но норовистая — идти никак не хотела, и Фатима-апа помогала ей хворостиной.

Солнце жарило сухую землю, вытапливало смолу из тесовых крыш... У дворов в пыли купались куры. Шарик, повесив рыжую голову, трусил в Вовкиной тени. Его язык почти что волочился по тропинке... Я тоже попытался высунуть язык, но прохладнее не стало.

Мы долго шлепали по загородной дороге, обжигая подошвы ног, пока серое полотно шоссе не устремилось в прохладу леса.

— В-во, зд-есь, нав-верное, й-йягод! — воскликнул

Максим. Он крепко заикался и разговаривать много не любил. Но тут не выдержал.

— Здесь все давно уже обобрали,— возразил Вовка.

— А я-я-ягоды снова нарас-с-стают, если их д-даже оборвать,— сказал Максим.

— Давай я тебе нос оторву,— нарастет он у тебя или нет? — предложил Вовка.

— А у Димки Лескова,— сказал я,— новая нога растет... Он мне показывал.

— Он обманул тебя, дурака, а ты и поверил.

Мы ушли очень далеко, прежде чем стали попадаться россыпи земляники.

В траве все чаще стали мелькать красные капельки, и мы сначала нагибались за ними, а потом и вовсе опустились на коленки и поползли по широкой поляне, собирая в ладони пахучие ягодки. Прислонялись щеками к траве, чтобы лучше было видно.

Набрав полную горсточку, я относил ее в центр поляны, где стоял нагретый солнцем бидон. Ссыпав в него ягоды и сглотнув слюну, вновь опускался на колени.

Вначале собирать было интересно: мимо бежали по своим делам муравьи, стрекотали кузнечики, где-то над головой пела кукушка. Солнце жарило спину... Но в бидоне прибавлялось очень медленно, а ползать становилось труднее. Уже заболели колени и плечи, от солнца стало темно в глазах. Кузнечики словно забрались в уши и пилили там напильниками барабанные перепонки. Солнце перевалило через поляну, и тени вытянулись. А потом дремучие кроны сосен совсем загородили солнце и стало прохладнее. Ладони покраснели от ягод, а на коленях появились маленькие ссадины.

Наконец-то бидон наполнился, но зато пришел вечер. И мы побрели домой по прохладной тропинке. С каждым шагом становилось темнее. Вечер уже выкрасил край неба в багровый цвет. Над шоссе струился теплый воздух.

Вовка шел с опущенной головой и следил, как под ноги уходит дорога. Наверное, думал о матери, потому что мама всегда говорила, что только он один о ней и думает... За ним бежал Шарик и вез колючки на хвосте. Борька нес бидон и время от времени заглядывал в него, восхищаясь ароматом и незаметно прихватывая ягодку-другую в рот. Чертовски хотелось есть... Потом

он вообще перестал следить за дорогой, а вперился в ягоды. Нюхал их...

Вдруг желтый пучок света выхватил из темноты дорогу, стволы деревьев... Резко просигналила машина — Борька от неожиданности вздрогнул, оступился и упал, едва не попав под колеса полуторки... Бидон выскользнул из рук — и все ягоды оказались на дороге. Мимо пронеслась машина, увозя на своих колесах земляничный кисель.

Мы остановились в растерянности. Это случилось так просто и неожиданно, что еще не верилось, что бидон пуст.

Вовка подобрал бидон, осмотрел его, зачем-то понюхал. Бросил его на дорогу, плюнул и зашагал от нас широко и часто.

Ветер тревожно покопался в кронах деревьев. Борька виновато подобрал плечи, опустился на колени и стал щупать руками мокрое пятно на дороге...

А мы пошли дальше. Я тихонько заплакал — болели коленки и плечи.

Потом набрели на Вовку — он сидел на обочине и смотрел в черноту леса. Мы остановились возле него и стали ждать. Он поднялся и полез в кусты.

За опушкой уже виднелись огоньки города.

К проходной фабрики мы подошли с большим букетом ромашек, но с грустными минами. Пахло еще ягодами из пустого бидона.

— А ромашки можно в аптеку сдать,— шепнул осторожно мне Борька.

Я не ответил.

Работницы уже выходили, хлопая дверью, одна за другой. Постепенно на фабрике никого не осталось. Максим дремал, сидя у забора на кирпичах. Борька преданно уставился на дверь и ждал маму. Вовка чесал Шарику ухо, а я спал...

— Что это вы надумали! — я открыл глаза и увидел маму.— Или дома что случилось?— обеспокоенно допытывалась она у Вовки.

— Нет, ничего,— ответил старший.

— Мы просто в лес ходили,— дополнил Борька.

— А я уж было испугалась... Ну, что? Пошагали?— она, видно, была очень рада тому, что мы ее встретили, что ей не придется в одиночестве тащиться по темной слободке.

Мы долго плелись по пустынным улочкам. За нами семенил измученный Шарик, а впереди всех Вовка нес большой сноп ромашек, и мать всю дорогу тихо улыбалась...

В наших окнах горел свет!

Мать первая бросилась бежать, а за ней и мы, позабыв про усталость... Скорее! К дому!

Уже не хватало воздуха, мы задыхались, но бежали на совесть, что есть духу... «Папа, папа...»— думал лихорадочно я.

Мать резко рванула дверь: за столом в комнате сидел наш дядька — младший материн братишка. Он сиял медалями и большой рыжей улыбкой. Перед ним стояли банки с тушенкой, лежал хлеб, сало...

— Ага! Вот вы где! Явились — не запылились!— загоготал он.

— Мишенька! — кинулась к нему мать. Он поднялся и прямо через стол расцеловался с ней.

Понемногу успокоившись, мать стала расспрашивать его:

— Ну, рассказывай давай-ка быстрее, как ты там? Надолго ли?.. Ивана там встречал?!

Она засыпала его вопросами, а он только ухмылялся и покачивал головой. Потом стукнул ладонью по столу и скомандовал:

— Давай сначала пацанов накормим, выпьем да и наговоримся... Время теперь у нас есть...

Мать принялась суетиться, ставить картошку на примус, а мы прижались ближе к дядьке и стали расспрашивать про фронт, про медали... Тот вытащил клочок газеты, погладил усы и стал сворачивать самокрутку, но руки у него дрожали и махра рассыпалась.

— Дядь Миш, дай я сверну,— бросился ему на помощь Вовка.

— Ну, сверни,— согласился дядька добродушно.

Вовка свернул цигарку и передал ее дядьке. Тот взял цигарку одной рукой, а другой поймал Вовку за ухо, дернул два раза и пригрозил:

— Вижу, без отца и самокрутки наладили крутить?! Смотри мне! — но прозвучало все это скорее радостно, чем грозно.

Я зачем-то полез под стол и обомлел.

Из-под скатерти торчала только одна нога, а вместо

второй стояла на полу палка, на которую он, видно, опирался, когда ходил. Я так и сел и не стал вылезать.

— А ну вылазь! — прикрикнула на меня мать.— Не путайся под ногами у дяди Миши.

— Не под ногами, а под ногой,— возразил я из-под стола.

Мать внимательно посмотрела на брата и побледнела.

— Правильно-правильно,— подхватил тот,— под ногой, а не под ногами... Младшенький у тебя верно подметил... сообразительный...

— Так ты что ж? Поэтому и не писал ни домой, ни мне?!

— Ну да уж... Так получилось...— пожал неопределенно плечами дядька.

— Эх, Миша, Миша...— и мать заплакала.

Она прислонилась к дверному косяку и утирала слезы посудным полотенцем. Ее острые плечи тряслись под платочком.

— Ну-у! — взвыл дядька.— Вот уж сестра называется — и без ноги к ней прийти нельзя... Кончай потоп, садись-ка лучше к столу... Сейчас встречу устроим... Собирай покуда закуску, а я выбегу на улицу, подышу немного... Дай-ка мне костыль из-за печи...

Я пошел за ним.

Дядька выхромал за ворота, увидел в окне Лесковых огонек сигареты и крикнул:

— Привет, дядя Федя!

— Дяди Феди нету,— ответил ему Дима.

— А-а-а! Это ты, что ли, Димка?!

— Я... А кто меня там в темноте распознал?

— А ты выдь и погляди...

— Иди ты лучше сюда, а то я теперь не ходок, да и ногу надо искать...

— Ты что? Безногий никак?

— Да... Есть немножко...

— Ну, тогда беги быстрее! Я тебе ногу с фронта привез. У самого Гитлера отнял...

— Мишка! Ты, что ли?!

— Я.

— Да ты что мне мозги пудришь? Что ты там стоишь?.. Сейчас я вылезу...

Замаячила цигарка — Дима покостылял к нашему дому.

— Эй, братец! Да ты, я вижу, тоже ногу посеял!— промолвил он, подковыляв ближе.

— Теперь мы с тобой — родственные души,— хлопнул его по плечу дядька.— Ну, что? Побежали наперегонки к столу?

— Побежали,— согласился Дима.

— Я там кое-чего горючего привез. А если не хватит — твой костыль заложим — товар нынче ходкий... Ну, а отец-то где?

— Помер... Еще зимой...— буркнул Дима.— Я тогда в госпитале валялся...

Они вошли в дом и уселись за стол, за ними — и мы. Дядька налил в стаканы спирт, взрослые выпили, потом мужчины стали закусывать, а мать уставилась на них заплаканными глазами.

— Димк,— сказал, жуя, дядька,— у тебя какой размер ноги?

— Сорок два. А что?

— Да... мне товарищ один сапоги подарил, еще до этого... У нас же разных ног нет,— он, кряхтя, полез в котомку, вытащил оттуда новый хромовый сапог, щелкнул по подошве ногтем и, протянув его Диме, сказал:— Держи. Мерь.

Дима взял сапог, чмокнул от удовольствия, увидев работу мастера, стал стягивать свой и натягивать новый. Сапог пришелся впору. Дима топнул им о пол и сказал:

— Хоть пляши!

Мать заплакала.

— Ну-у-у, вот! Она опять ревет! — возмутился шутливо дядька.— Она будто хоронит меня,— пожаловался он Диме.

— Что ты! — махнул рукой Дима.— Мои до сих пор не успокоятся...

— Больше не буду,— всхлипнула мать, утирая лицо все тем же полотенцем.

Они сидели до самого утра. Дима играл на гармони, и они орали песни так громко, что слободские собаки осипли от брехотни... и песни-то все пели веселые, будто два фронтовика были рады, что у них теперь вдвое меньше ног.

Когда чуть-чуть стало светать, во двор заглянул участковый милиционер Ахмадей. Он приложил руку к козырьку и сказал:

— Кончайте орать!

— Если с нас штраф причитается, то иди сюда, у нас тут еще и на штраф наберется...— и вскоре они запели втроем.

Вообще Ахмадей неважно говорил по-русски и отчаянно врал слова песен. Дядька врал мелодию, потому что наполовину оглох под бомбами, и Дима их своей гармонью бесполезно направлял...

Из-за шума я всю ночь не мог уснуть... Потом мне показалось, что вот-вот начнут опускаться звезды на крыши, но так я и не увидел ни одной. Я выбрался в сени и долго смотрел в проем окна на голубые капельки в черном небе... Но звезды оставались неподвижными.

Фронтовики о чем-то тихо разговаривали.

Небо побелело, и желтые венки подсолнухов поплыли в тумане.

Я влез на чердак и, зарывшись в листья, стал думать о звездах — мне очень уж хотелось верить, что они все-таки прилетают на крыши нашей слободки. Пусть хотя бы и не каждый день...

ЭЛИДА ДУБРОВИНА

* * *

Гармоники милые звуки
Почудятся мне в полусне.
Усталые, сильные руки
Ты снова протянешь ко мне.
В окошко февраль постучится,
И снег будет сухо скрипеть,
И сядет на ветку синица,
И станет качаться и петь.
И радостно клювом горячим
Рябину попробует дрозд...
Я вздрогну, проснусь и заплачу
При свете предутренних звезд.

И черные ели понуро
Придут, о тебе говоря...
Напомнит окно амбразуру,
И кровью прольется заря.
За дальней, знобящею рощей
В снегах затеряется след.
Наверно, страшнее и проще
Дороги в бессмертие нет.

И оттепель будет, и слякоть,
И станет мне юности жаль,
И будет качаться и плакать
Последней метелью февраль.
И ветер в трубе сквозь заслонку
Завоет в нетопленый дом,
И мне принесут похоронку,
Но все это будет потом...
С тревожною, странной улыбкой
Холодный конверт надорву,
И с дрожью — мертвящей и липкой —
Пойму: это все наяву.
И все будет просто и страшно...
Потом улетят снегири,
И стану я милого старше
На год,
и на два,
и на три...

СЕРГЕЙ ВОРОНИН

Народный музей

Рассказ

Спицынскому народному музею
Псковской области

На его открытие баба Нюша не смогла прийти — заболела. Но теперь, поoправившись, засобиралась. Хотела своими глазами увидеть то, что другие видели. Иного интереса у нее не было. За всю свою долгую, восьмидесятилетнюю жизнь дальше деревни она нигде не бывала. Тем более не приходилось ей бывать в музеях. И даже что они из себя представляют — не очень-то понимала. Но все же принарядилась. Аккуратно повязала голову цветастым, сохраненным еще с давних лет платком так, что два больших конца закрыли широким узлом грудь черной плюшевой жакетки, из-под которой тянулась до пят прямая шерстяная юбка. На ногах у нее были резиновые боты. Принарядилась так, как обычно одевалась, идя в клуб, на люди.

Шла не спеша по твердой дорожке, накатанной рядом с шоссе. По сторонам от дорожки темнел подтаявший снег. Пятнами обнажалась земля с прошлогодними отмершими травами. Возле дома на припеке грелись куры. Волглый ветер овевал морщинистое лицо, выбивая из глаз пресные слезы. Баба Нюша утирала их чистым платком и шла, ни о чем не думая, устремленно вперед.

Музей находился рядом с клубом. Ему отвели небольшую комнату, отгороженную от зрительного зала стеной кирпичной выкладки.

— Здравствуй, Елена Васильевна,— поздоровалась еще у порога с заведующей музеем баба Нюша.

Заведующая отложила книгу в сторону. Она была тоже далеко запенсионного возраста. Когда-то учительствовала, а теперь занималась на общественных началах народным музеем.

— Че это у тебя такое? — спросила все еще с порога баба Нюша, оглядывая стены, занятые картами, фотографиями, и столы-витрины с разными вещами.

— Заходи, заходи,— приветливо поощрила ее заведующая и взяла указку. Видно было, что она рада пришедшему человеку и готова все ей рассказать и показать, что было в музее.

Баба Нюша, оглядев пол, чтобы не наследить, остановилась у края, от которого начиналась выставка.

Там, на большом белом стенде, виднелись археологические находки десятого века. О них и стала говорить Елена Васильевна. И баба Нюша, к удивлению своему, узнала, что на земле их деревни давным-давно жили люди, носили бусы, стреляли из лука стрелами с бронзовыми наконечниками, рубились в боях секирами.

— Скажи ты, матушка,— покачала в удивлении головой старуха.— Надо же.— И вспомнила, как прошлым летом приезжали ученые люди — двое мужчин и женщина, жили у старика Мирона и все чего-то копали в кургане возле Чудского озера. Значит, это они и старались для музея. И сказала об этом Елене Васильевне.

— Нет, никакие они не археологи, а проходимцы,— ответила Елена Васильевна.— Разрушили курган, забрали что хотели, а это уж школьники подобрали остатки.

— Да как же это, матушка, такое допустили?— всполошилась старуха.

— А потому что доверчивы больно. Пускаем в свой дом всяких, а они тут и хозяйничают.

— Может, там что и дорогое было?

— Наверно, было. Затем и приехали.

— И что же, не найти их?

— Нет. Оказывается, они даже и в сельсовете не были. А Мирон Афанасьевич паспортов не потребовал. Вот так вот...

— Смотри ты, а мы живем и не знаем, что у нас под боком такие богатства!

— Ну, не богатство в том смысле, а... впрочем, может, что было и дорогое... А вот тут уже наше дореволюционное время.

И баба Нюша увидала большую фотографию, на которой был изображен сеятель. Но в нем она никого из своих не признала. Видно, был мужик из другой деревни, из дальней.

Внизу, на полу, лежали серпы, соха, стояла прялка с куделей и веретенами, воткнутыми в нее. Железные кованые удила. Тесало. Но это все старухе было знакомо,

и она не задержалась, не понимая, зачем эту рухлядь натащили сюда.

Дальше шел стенд коллективизации. На увеличенной фотографии, выстроившись в ряд, стояли молодые мужики-пахари и старики с белыми полотенцами в руках. Это был первый колхозный сев. Она помнила его. И всех мужиков узнала. И первого председателя колхоза Ивана Степановича Чистякова. Хороший был мужик, хозяйственный.

— Тогда в нашем сельсовете было восемнадцать колхозов. Некоторые состояли из пяти-шести дворов,— объясняла заведующая.

— Помню, как же, помню...— ответила ей баба Нюша.— Все на памяти.

И действительно, все было на ее не замутненной годами памяти. Помнила, как возвращались с полей с песнями, особенно с покоса. То ли от молодости силы было невпроворот, то ли оттого, что жизнь ладилась, но легко было тогда. Среди баб узнала и себя, чему-то смеющуюся. Может, кто сказал что смешное, вот она и расхохоталась. Чего греха таить — любила посмеяться. Теперь-то уж и забыла, как это делается, а тогда смеялась. Веселая была. А как и не веселиться — сама молода, муж молодой, сын подрастал — уже в школу ходил, дочка народилась. Все ладилось, вот и смеялась от беспечности...

И сразу как туча нашла на солнце. Это оттого, что заведующая подвела ее к большому стенду, на котором были три длинных ряда фотографий тех, кто погиб в войну из их деревни. И баба Нюша сразу узнала многих — да, считай, всех, и молодых и старых, и солдат и партизан, и мужчин и женщин. И как ожгло — увидала лицо своего сына. Он глядел на нее открыто и ясно, даже чуть улыбался.

— Сынок...— невольно вырвалось у нее, и она заплакала, прижимая руку ко рту. И вспомнилась война, и как среди ночи раздался тихий стук в окно, и баба Нюша, тогда еще не старая, вскочила с постели и, робея, подошла к окну, чуть сдвинула занавеску и увидала прильнувшее к стеклу лицо сына.

Он пришел раненый. Оставаться в лесу ему было никак нельзя. Начинала гноиться рана, и рука уже отекла до локтя. Как могла, очистила рану, приложила листья подорожника, завязала чистым. И он остался дома, благо немцев в деревне не было. Они только проезжали на

своих машинах в сторону Пскова. Тогда Василий спускался в подпол и там пережидал, пока не проедут. Но однажды случилось так, что трое мотоциклистов зашли в дом и потребовали молока. Она напоила их, и они ушли. Затрещали мотоциклы, и сестренка крикнула в подпол, чтобы Вася вылезал. Василий вылез. И ни к чему им было, что один из мотоциклистов чего-то задержался в сенях. Но вскоре и он уехал. А через каких-нибудь десять минут все трое вернулись. Василий не успел слезть в подпол и поспешно спрятался под кровать. Там они его и нашли, и, даже не потребовав, чтобы вылез, пустили по нему несколько очередей из автомата. Один из фрицев сурово погрозил ей пальцем, и они уехали, уже по-настоящему.

Сын глядел на мать с портрета чуть улыбаясь. И рядом с ним были спокойные, открытые лица, теснившие его и сверху, и снизу, и с боков. И все же каждому из них было просторно. Все они погибли. И три брата Журавлевых на войне. И Степан Авдеевич в партизанах. И Катюшка, еще совсем девчонка, повешенная за связь с партизанами. И Николай Мельников, погибший на войне. И двое братьев-подростков — Лушиных детей, запоротых насмерть за то, что не выдали, где находятся партизаны. А они и не знали где,— прятались от немцев в лесу и пришли за рамами для землянок в деревню. И тут их и прихватили. Подумали, что они пришли на разведку... И много, много еще деревенских, своих в этих трех рядах.

— Не все еще фотографии достали,— донесся до бабы Нюши голос заведующей.— Всех погибло сто восемьдесят семь человек из нашей деревни, а фотографий только шестьдесят восемь.

Ее сына фотография есть, чистая, большая. Ее пересняли школьники с маленькой, которая хранится дома у старухи. Он на ней такой, каким был перед войной. Баба Нюша глядела на фотографию и вспоминала, как вытаскивала его из-под кровати, всего в крови, мертвого. Как звала, заглядывала в глаза, думая, что он еще видит, но в глазах была уже закатная тусклота и ничего в них не отражалось. Даже свет от окна. Даже солнце. Кричала семилетняя дочка: «Братушка, что я наделала! Братушка, что я наделала!» — и каталась по полу возле него.

«А рука-то стала уже оживать»,— вспомнила старуха, но без боли, как давно пережитое. И вдруг в таком

знакомом лице не то чтобы увидала, а как-то почувствовала, что ее сын, вот на этой стене, не только ее сын, а еще какой-то другой человек, чем-то уже отрешенный от нее, слившийся со всеми, кто погиб, кого уже давно нет в живых. И все они вместе иные, чем каких она знала,— не просто деревенские, а тоже отрешенные. Кто убитый, кто повешенный, кто замученный. Она переводила взгляд с одного лица на другое, и все они были такие близкие и такие далекие. И какая-то неуловимая грань стояла между нею и этими людьми, собранными воедино, отдавшими свою жизнь за Родину. И сын, как бы уже в святом отдалении, глядел на нее.

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

* * *

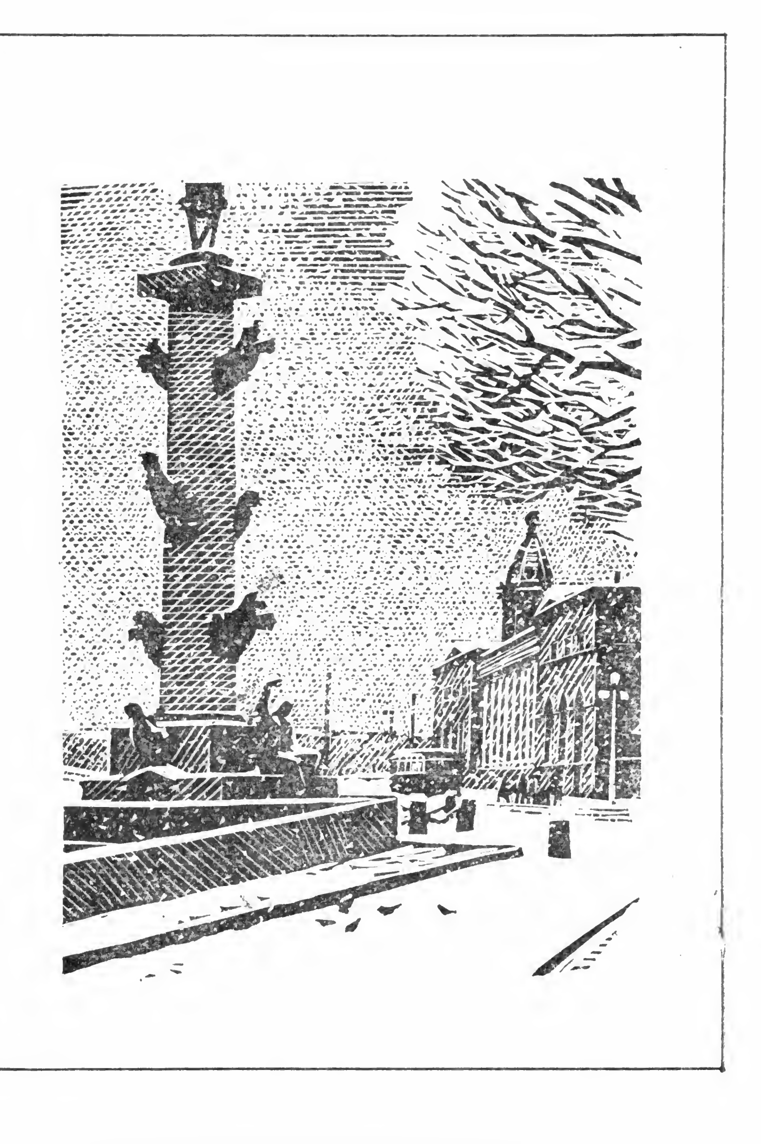
Декабрьским утром черно-синим
Тепло домашнее покинем
И выйдем молча на мороз.
Киоск фанерный льдом зарос,
Уходит в небо пар отвесный,
Деревья бьет сырая дрожь,
И ты не дремлешь, друг прелестный,
А щеки варежкою трешь.

Шел ночью снег. Скребут скребками.
Бегут кто тише, кто быстрей.
В слезах, под теплыми платками,
Проносят сонных малышей.
Как не похожи на прогулки
Такие выходы к реке!
Мы дрогнем в темном переулке
На ленинградском сквозняке.

И я усилием привычным
Вернуть стараюсь красоту
Домам, и скверам безразличным,
И пешеходу на мосту.
И пропускаю свой автобус,
И замерзаю, весь в снегу,
Но жить, покуда этот фокус
Мне не удался, не могу.

АНДРЕЙ УШИН

«Ростральная колонна»



ВИКТОР КОНЕЦКИЙ

Ленинград—Гибралтар

Из книги «Среди мифов и рифов»

09.12.68

Из Ленинграда снялись под вечер. И сразу пятибалльный ветер в левый борт при минус восьми градусах превратил судно в ледяную сказку.

Балтийское море дымилось
И словно рвалось на закат.
Балтийское солнце садилось
За синий и дальний Кронштадт.

Палубный караван — тысячи осиновых бревен — смерзся, верхний слой льда повторяет веерный рисунок брызг. Такелаж, рангоут, антенны обросли сверкающими сосульками. Крен на правый борт шесть градусов. Осадка увеличилась. Капитан послал замерить новое углубление штевней.

Черта с два засечешь осадку в открытом море, на волне, болтаясь, привязанный конечно, на шторм-трапе под кормой. Но точности особой не требовалось. Надо было записать в журнал новую осадку, чтобы иметь право идти в Северное море не Зундом, а Бельтами. Не любят нынче капитаны Зунд с его Дрогденским каналом.

Матросы рубят лед со стрел, такелажа. Представьте себе дровяной склад, который затопило, а потом он замерз.

Глядишь на судно — и вспоминаются времена, когда в Ленинграде проблема дров мучила людей уже с весны. Вспоминаешь жакты, очереди за талонами, охоту за «левыми» машинами или возчиками, несчастных лошадей, волокущих телеги с дровами, ссоры из-за березы, сосны, осины; пилку и колку по воскресеньям, взломанные замки сараев...

Привела судьба — везу 5111 тонн осины в Италию. Там она в бумагу превратится. Где-нибудь в Неаполе итальянец будет сидеть и читать газету. Разве придет ему в голову, что газета на ледяной бумаге напечатана,

что где-то в России росла осина, волны Финского залива замерзали на осиновых бревнах и матросы тыкали пешнями среди солнечного блистания льда...

12.12.68

Сказочные алые паруса, которые ждала Ассоль, несколько веков назад были обычными. Паруса старинных кораблей делались из алой или ярко-синей шерсти. Яркие краски помогали мореходам подбодрить себя, рассеять уныние серого моря и льдов, вселить во врагов страх.

И когда сейчас пересекаешь Северное море, видишь много маленьких рыбаков-частников. Их парусно-моторные суденышки раскрашены так же ярко, как ладьи предков. И паруса часто алые. Они хранят традиции и веселят себя красками чистого заката.

Лед на палубах все не тает. Крен остается пять градусов.

В этом рейсе новый начальник рации — Людмила Ивановна, пожилая полная женщина маленького роста. Отплавала всю жизнь, но похожа на сельскую учительницу. В свободное время сидит в каюте и вяжет внуку костюмчик. Или вырезает из пенопласта зверушек. У меня в каюте уже висят белочка, сердитый дельфин и нечто вроде бегемота. Все они висят на одной нитке, друг над другом. Покачиваются и покручиваются в разные стороны. И напоминают мне бременских музыкантов.

На дневной вахте мелькнул над мачтами самолет — низко, ниже тяжелой облачности. Серый декабрь в Северном море.

В рубку пришла, переваливаясь уточкой, Людмила Ивановна и сказала:

— Это по вашей части, мальчики,— и положила на штурманский стол радиограмму: «SOS Гельголанд 290 градусов 15 миль погиб самолет летчик выкинулся парашютом всем судам просьба следить за морем».

— Кто дает?

— Гансы.

Нам далеко до Гельголанда и до летчика, который барахтается сейчас в Северном море.

После вахты мы с Людмилой Ивановной пьем чай. Вернее, Людмила Ивановна уютно, по-домашнему, впри-

куску пьет чай, а я ем курицу с рисом. В обед курица не лезла в глотку, и буфетчица Марина оставила мне ее к чаю.

Мы с Людмилой Ивановной говорим о том, что видимость отвратительная и у немца мало шансов на спасение.

14.12.68

Прошли траверз Булони под английским берегом. Конечно, вспомнился «Воровский» и то, как мы здесь брали соль и дрожжи.

«Теплоход «Невалес»! Я «Воровский»! Сообщите ваши запасы соли».

«Имею на борту две тысячи тонн глауберовой соли, следую Геную, что вам нужно?»

«Срочно нуждаемся поваренной соли».

«Повторите!»

«Срочно нуждаемся столовой соли!»

«Какой у вас груз?»

«Имеем на борту триста двадцать пассажиров».

«Протухли они у вас, что ли?»

«Почему протухли?»

«Зачем вы собираетесь их солить?..»

«Штормовых условиях потеряли запас своей соли. Сообщите, сколько можете дать...»

И птички прилетели опять. Две маленькие прыгают на крыле мостика, чирикают. Потеплело, пояснело в воздухе. Четкий клин перелетных птиц в голубом небе строго на юг. Четыре разгильдяя болтаются в стороне от клина. И боязно, что разгильдяи отстанут от своих, потеряются.

Птицы пересекут Европу по диагонали, а мы обогнем вокруг. И встретимся в Средиземном море. Приятно видеть птичек, клюющих что-то в осиновых бревнах на палубе перед рубкой.

Только близость Лондона портит настроение. Так и видишь мерзкую погрузку, крюки докеров, рвущие мешки и вспарывающие фанеру ящиков.

Прошли Гастингс, Брайтон, Истборн.

Ночью над Ла-Маншем падало много метеоритов. Но сгорали быстро, я не успевал загадывать желания даже из одного слова.

Мой рулевой матрос имеет твердую фамилию — Стародубцев. Ему тридцать пять. Сейчас редко встречаешь матросов за тридцать. Служил на подлодках. Внеш-

ность неприметная — взгляд в сторону, поношенное крестьянское лицо, негромкая речь с паузами. Каким-то чудом в памяти осталось, что Лжепетра, самозванца, выдававшего себя за царевича Петра Петровича, драгуна Нарвского полка, замутившего народ, беглеца от службы на реку Бузулук, звали Ларион Стародубцев.

— Ваня,— спросил я вахтенного матроса в Ла-Манше под метеорным градом.— Не отрубили ли голову одному твоему предку, не сажали ли его буйную голову на кол, не жгли ли труп на площади? Не били ли нещадно кнутами его дружков, не рвали ли им ноздри, не отправляли ли в Сибирь на вечные работы?

Ваня взял и обиделся. И мои ссылки на большую историю не сразу помогли ему забыть обиду. А фамилия редкая, и вполне может быть, что в его жилах течет кровь Лжепетра.

В середине ноября Земля проходит метеорный поток, который называется «Леониды». Хвост потока достался нам с Ваней.

— Никогда не видел, чтобы падало так много кирпичей сразу,— сказал Стародубцев в кромешной тьме ходовой рубки. Куски когда-то рассыпавшейся планеты косо чертили небеса, вываливаясь из центра Ориона.

В половине четвертого ночи заглянула в стекло левой двери Людмила Ивановна, постучала. Волосы старой радистки метались за стеклом в привиденческом отблеске бортового огня. Она хотела узнать, не забыли ли мы разбудить подвахтенного радиста.

Когда Людмила Ивановна ушла, Ваня пробормотал:

— А я испугался. Смотрю — в стекло медведь лезет. Откуда, думаю, здесь медведь? Забыл, что эта тетка с нами плывет...

Людмила Ивановна переживает. Скоро Новый год, а поздравительные радиограммы ей не несут. Стараются сдать их второму радисту, к которому уже привыкли. А Людмилы Ивановны стесняются. К радистам, как и к докторам, надо привыкать, потому что они знают про тебя многое интимное, личное.

Манера рассказывать у Вани Стародубцева такая. Ночь. Плюханье волн. Тьма. Молчание. Зудит репитер компаса. Вдруг:

— Фамилия его была Крыс. Не верите?

— Ну.

— И его все время кусали крысы. Не верите?

— Ну.

— И в учебном отряде кусали, и на подлодке. Не верите?

— Не верю. На лодках нет крыс.

— А у нас была. Она ушки лапами терла, когда испытание на вакуум делали. Сам видел. Не верите?

17.12.68

Выходя из Английского канала в толчее всевозможных попутных и встречных судов, воистину вдруг ощущаешь себя частицей великого братства народов. Особенно ощущаешь это ночью, когда ходовые огни судов качаются и окружают тебя со всех сторон, а самих судов не видишь.

И не знаешь, какого цвета люди плывут вокруг тебя. Но все держат приблизительно одинаковый курс по одинаковым компасам и одинаково качаются на одинаковых волнах зыби под одинаковыми для всех звездами, и одинаково шипит пена на усах под форштевнем.

А утром вдруг уже не увидишь никого вокруг. Все побрели своим путем. Широк простор морской — суда теряются в нем.

На этот раз Бискай тряхнул стариной и нами вместе с ней.

Третьи сутки шторм от девяти до одиннадцати баллов.

Бултыхаемся уже в центре западно-европейской котловины. Все отворачиваем и отворачиваем в океан, в сторону от нужного курса, от Гибралтара. Ход малый, принимаем волну в крутой байдевинд. По существу, третьи сутки стоим на месте.

Срезало две стойки в корме, завалило бревнами вход под полубак. Бревна крутятся в водоворотах прямо под окнами ходовой рубки. Со стоек сорвало кору, лохмотья коры стелются, стреляют под ветром. Волна очень крупная. Про такие говорят: «Выше родного сельсовета». Старик наш ухает. Отвык он от такой погодки, да и возраст давит его.

Ночью типичный, стандартный ад. Зеленые сполохи, зарницы по всему горизонту, залпы и раскаты грома, град, шквалы с дождем, полосы тумана, давление упало до 730, брызги забивают стекла, и ничего не видно впереди, крены до тридцати градусов, радиопеленга не проходят — места нет. Самое загадочное, что караван еще на палубе, что осина еще не улетела в Бискай.

Действие непреодолимой силы на морском юридиче-

ском языке называется «форсмажорными обстоятельствами». Хорошее слово «форсмажор». И того и другого полным-полно вокруг.

В столовой упрямо крутим многосерийный «Щит и меч». Посмотрели еще грузинский фильм «Нарцисс».

Очередная ночная вахта. За четыре часа проглядишь в черном мокром хаосе порядочную дырку и потом любуешься в зеркало на синие круги под глазами — от бинокля. Сколько у меня еще впереди ночных вахт?

Шторм и не думает стихать. Начинает мерещиться какая-то чертовщина впереди. И вдруг Стародубцев:

— Викторыч, огонь!

И плохой огонь — белый с правого борта.

Вот и красный отличительный прорезался.

Мне отворачивать надо, дорогу уступать. А куда отворачивать? Вправо я не могу — ветер туда не пустит, даже если полный ход врубать. Влево — лагом к волне, водопад через палубу, караван в океан, а то и мы кувырнемся.

Зарницы, зеленые от зарниц полосы пены на волнах. И кровавым глазом огонь, пеленг на который не меняется. Обычный вообще-то случай, а так и тянет помолиться: «Господи, пронеси!» Не могу я отворачивать, не могу совсем застопорить ход, не могу прибавить. Ничего не могу. Ровно два часа ночи 17.12.1968. Молюсь, но не богу, а тому штурману, который идет мне на пересечку. Милый, молюсь я, ты же не слепой, тебе же по ветру отвернуть, это же раз плюнуть, возьми мне под корму, и дело в шляпе, выкинь из башки свое право на дорогу, пропусти меня вперед, милый, дорогой, дубина...

В таких случаях можно не только молиться. Можно включить радиотелефон, выйти на шестнадцатом канале в эфир, заорать: «Я советский теплоход «Челюскинец»! Встречное судно! Встречное судно! Прошу уступить мне дорогу!» Но сколько шансов на то, что встречное слушает тебя на шестнадцатом? И если слушает, то поймет? Ты же не знаешь его национальности. Ночью нет национальностей у судов, есть только огни...

Кто ты, неизвестный штурман, подвернувший мне под корму? Прими мое спасибо! Я вздохнул полными легкими, увидев твой зеленый огонь. И мы разошлись правыми бортами среди величественных зыбей, а под нами было четыре километра и еще восемьсот метров воды.

Когда минует опасность, испытываешь легкость. Пес-

ню орешь или стихи бормочешь. Но поэтический настрой моих чувств быстро улетучился.

— Впереди Фантомас! — доложил Ваня Стародубцев.

И действительно — по носу призрачный, непонятный свет. Пробьется сквозь брызги, залучится — и опять тьма. В пору за телеграф хвататься и полный назад давать. Выскакиваю на крыло, шарю биноклем в брызгах и тьме. Грохот, вопли, стоны, как будто Фантомасу зажали дверью пальцы на руках...

Свет у нас под полубаком!

Людей там нет уже трое суток. И ни один сумасшедший в нос не пройдет сквозь водовороты, и бревна, и тьму. А кто же повернул выключатель под полубаком?

Бревна его повернули, звезданула осинка по выключателю или кабель расплющила и теперь коротит. Хорошего мало. Под полубаком — малярка, огнеопасное место. Звоню в машину, чтобы вырубили электропитание в нос.

Людмила Ивановна приносит прогноз. Обещают ослабление ветра.

Людмиле Ивановне скучно одной в радиорубке. Проходимость отвратительная, связи практически нет, прогноз едва приняла.

Радистка заклинивается возле меня. Все вокруг задраено, разговаривать можно почти нормальным голосом.

— Вы где в войну были? — спрашиваю я, чтобы спросить что-нибудь.

— На мели.

Я уже знал, что юмора она не признает и не употребляет.

— Страшно?

— Я никогда и ничего в море не боялась и не боюсь,— говорит Людмила Ивановна.— Потому что ничего в море не понимаю. И понимать не хочу. Помню, шли норвежскими шхерами — солнышко, тишина. Я на кормовом люке загорала. И вот на повороте наша корма впритык к огромной скале прошла. За скалой островок, симпатичный, сосны растут, камнями теплыми пахнет. Вот, думаю, тут бы пионерлагерь построить. Раздолье бы детишкам было... А вахтенный штурман при том повороте поседел. Если бы я что в море понимала, так, может, тогда тоже сивой стала.

— А где вы на мели сидели?

— Как раз двадцать второго июня и сели. Шли из Архангельска на Нарьян-Мар. Картошку везли, бензин в бочках, лук. Напротив Колгуева сели. Старпом посадил. Ему срок дали и в штрафбат услали, а мы на мели остались. Месяц сидим, второй сидим, третий... Катерок там шастал. Обвяжут бочки с бензином веревками и тянут катерком куда-то. А у нас крен двадцать восемь градусов. Так и зазимовали. Немцы к Москве подходят, а мы на боку во льду лежим, камельки топим в каютах,— уютно.

Я одна женщина была. Капитана нового прислали — архангельского трескоеда, опытного зимовщика. С ним боцман повздорил, так он его в штрафбат упек. Строгий капитан. Набили мы картошкой прачечную и ели всю зиму. Та, что в трюмах, померзла, конечно. Ненцы по льду на оленях приезжали, спирт был. А на твиндеках в первом номере взрывчатка была, сколько тонн, уж не знаю. Нам до этой взрывчатки сперва как до лампочки было. А год прошел, море очистилось — и немцы приплыли, подводная лодка. Она как жахнет по нас из пушки! Тут-то и вспомнили мы про взрывчатку. Буксир военный рядом стоял — нас пытался с мели вымывать. На буксире пушка была, и она жахнула по лодке. Лодка ушла и полярную станцию разгромила,— я потом видела. И ужасная трагедия еще случилась. Катерок, который бензин волок, от немецкой лодки свою порцию тоже получил. Капитанский сапог только и подобрали с воды. И шинелишку. А шинелишка девчушки была, молоденькая девчушка — радистка на катере.

А одно хорошее даже получилось. Это я точно знаю. Картошку мы для Нарьян-Мара на весь год везли и не довезли. Ничего Нарьян-Мару не оставалось, как попробовать весной самим сажать. И теперь там картошка растет, а ученые считали, что холодно для картошки...

Наконец вывернулись и пошли на Гибралтар.

Теперь надо определиться по португальским маякам. Сплошные Санта-Марии, Сант-Яго, Санта-Кармен...

Санта-Мария вспыхивает долгим томительным огнем, потом он медленно затухает, превращается в тлеющую точку в слабом ореоле — это шторм поднял в воздух мириады частиц воды, они и светятся. И опять вспыхивает Санта-Мария.

Так звали флагманскую каравеллу Колумба. Гово-

рят, ее нашли возле Гаити. Нашел олимпийский чемпион по плаванию. От этих берегов отваливал Колумб и сюда возвращался, и тогда на палубе орали дикими голосами самодеятельную песню:

Все выше, выше, выше
На мачту лезь, матрос!
Не видно ль португальских,
Испанских берегов?
О капитан, я вижу,
Будь, капитан, готов!
Дошли до португальских,
Испанских берегов!

В самом узком месте Гибралтарского пролива встречаются течения, обозначающие себя зелеными и синими струями. Струи сталкиваются и переплетаются. И ветры над проливом, кажется, покровительствуют каждый своему течению, своей струе; и дуют то в лицо, то в затылок. И тоже сталкиваются, переплетаются и завихряются.

Белые гребешки сулойных волн, белые чайки над ними, поджавшие лапки к хвостам. И уйма дельфинов, шастающих из Средиземного моря в Атлантический океан и обратно.

Танжер в дымке. Развалины башен, белые дома. Африка.

Видение Африки.

На европейском берегу, над Гибралтаром, заметен как бы слип, огромный пологий скат — склон горы, обтесанный и, очевидно, зацементированный. Он служит для сбора дождевой воды.

Чей-то авианосец торчит под берегом. Самолеты чайками плюхаются и взлетают над ним.

В прорези пеленгатора плывет мыс Европа. И все время почему-то тянет записать в судовой журнал: «Мисс Европа».

Когда огибаешь самую западную точку нашего континента, кажется, будто видишь его весь со стороны, как бы в профиль. И очень ощущается в Европе какая-то женственность, женское начало. Быть может, потому, что многие годы я не знал, что Европа, которую похитил Зевс, превратившись в белоснежного, симпатичного лукавого быка, не наша Европа, а всего-навсего красавица дочь сидонского царя. Тезки навсегда спутались в моем воображении. Испуганная девушка, сидящая на спине могучего быка среди голубого моря...

Нашему теплоходу было тридцать три года. Но в пароходстве проходила кампания по определению маневренных элементов судов. Вообще-то говоря, у всех судов эти элементы должны быть определены еще при рождении. И всем судоводителям положено их знать как таблицу умножения. Но, очевидно, где-то что-то случилось. Какая-нибудь авария произошла из-за неточности определения маневренных элементов. И вот пришел приказ всем определить эти элементы снова.

Если кораблики, встречаясь на морских дорогах или в портах, разговаривают между собой, перемывают косточки своим капитанам, жалуются на плохой уход или хвастаются красивой трубой (а я уверен, что так происходит, как уверен, что так бывает и у лошадей), то над Средиземным морем грохотал неслышный для наших ушей издевательский смех.

Приказ есть приказ. И мы девять часов определяли определенные уже тысячу раз у «Челюскинца» диаметр циркуляции и величину инерции,— сколько, например, пройдет судно, если с «полного вперед» дать «полный назад» до полной остановки?

Встречные и попутные кораблики, разглядывая судорожные броски, прыжки и остановки старика «Челюскинца», крутили у своих лбов пальцем и сочувствовали старику или покатывались со смеху.

Смысла в наших манипуляциях было столько же, сколько в тщательном определении ширины шага у старого мерина, которого ведут на живодерню.

За девять часов мы потеряли сто ходовых миль. Дорого это нам потом обошлось. Штиль в море надо ценить и использовать. А Средиземное море сразу за Гибралтаром баловало нас мертвым штилем. Пожалуй, я видел такую неподвижную, прозрачную, как стекло телескопа, воду первый раз в жизни.

Чтобы придать хоть какой-нибудь смысл определению маневренных элементов, капитан сыграл шлюпочную тревогу.

И я надолго запомню миражное отражение легких облачков в лазурной неподвижной воде, перевернутый мачтами вниз «Челюскинец», с палуб которого каким-то чудом не сыпалась в глубины Средиземного моря осина, дымок из его трубы, касающийся отраженных в воде облаков, и морскую тишину вокруг вельбота, когда мы отошли от судна и заглушили мотор.

Ночная вахта была спокойная, видимость отличная, берега давно скрылись. Я несколько раз пытался определиться по радиомаякам. Алжир и Оран было слышно, но пеленга «вело». Сигналы радиомаяков оплывали и тонули в потоке джазов, чужих слов, женского эстрадного смеха. И мне никак было не отстроиться от помех. Мир эфира шумел предпразднично — на Европу надвигалось рождество Христово.

На курсе, прямо по носу, где поднималась из моря молодая луна, лежала древняя земля. Там родился Христос. Или родило его человеческое воображение.

— Алжирский пленник...— бормотал я, пытаясь нащупать минимум радиомаяка Алжир. Опять детская книжка — на красном переплете узник с черными цепями на руках и ногах — Мигель Сервантес...

За веру в Христа молодой Мигель четыреста лет назад сражался здесь, у мыса Лепанто, на борту галеры «Маркеса». Мало кто знает, что автор «Дон-Кихота» был не только солдатом, но и моряком.

Сервантес болел лихорадкой, но сражался «перед шлюпками» — в середине корабля, в самом опасном месте. «Маркеса» атаковала флагманскую галеру оттоманского флота и заставила ее спустить флаг.

Сервантес получил три огнестрельные раны.

Он писал потом: «Одною рукой сжимал я шпагу, из другой текла у меня кровь. В груди я ощущал глубокую рану, а левая рука моя была раздроблена на тысячу осколков. Но душа моя так ликовала от победы христиан над неверными, что я не замечал своих ран, хотя смертная мука перехватывала мне дух и временами я терял сознание...»

Христианской эскадрой тогда командовал итальянский адмирал Андреа Дориа.

Тринадцать лет назад у берегов Америки, у острова Нантакет, где сытые чайки презирают камбузные отбросы, где зеленые волны слышали когда-то отчаянную песню мелвилловских друзей-китобоев «Веселей, молодцы, подналяжем — эхой!» и где рвется сейчас из динамиков наших траулеров «Соленые волны, соленые льды!», произошла крупнейшая морская катастрофа века — утонул итальянский лайнер «Андреа Дориа».

Я был на могиле лайнера. Ее глубина шестьдесят метров...

А Средиземное море можно назвать братской могилой — самой большой на планете. Тысячелетиями убива-

ли здесь люди друг друга. Миллионы трупов опустились на грунт.

Быть может, там, на грунте, под килем моего судна, сидел в кабине своего безоружного самолета и Антуан Экзюпери. И рыбы тыкались в плексиглас его кабины. И ровный шум нашего винта доходил туда, в глубину, в вечность, к автору сказки о Маленьком принце.

Доктор Мунте, автор «Легенды о Сан-Микеле», кажется мне одним из самых чистых поэтов, писавших о Средиземном море. Но он все время помнил о смерти. Есть в Средиземном море нечто, соединяющее самую чистую радость жизни с вечным мраком, витающим вокруг этой радости. Ночь и утро.

Здесь Мопассан расспрашивал доктора Мунте о смерти в море.

Тот сказал, что, насколько может судить, без спасательного пояса такая смерть сравнительно легка, но со спасательным поясом, пожалуй, самая страшная. И Мопассан уставился расширившимися глазами на спасательные круги своей шикарной яхты «Милый друг». И решил было выкинуть за борт все круги до одного. Но не выкинул... Вообще-то он мечтал умереть в объятиях красивой женщины, а умер в сумасшедшем доме. В предсмертном бреду он утверждал, что бог с Эйфелевой башни объявил его своим сыном. Мопассану мерещились прекрасные пейзажи России и Африки. Почему России? Он никогда у нас не был...

«Я покинул Париж и даже Францию, потому что Эйфелева башня в конце концов слишком надоела мне... Впрочем, не только она внушила мне неодолимое желание пожить несколько времени одному...»

Первая глава «Бродячей жизни» Мопассана называется «Хандра». От пошлости он бежал в Средиземное море на яхте, он бежал в мифы, легенды, сказания, в притчи и в одиночество.

АНАТОЛИЙ АКВИЛЕВ

Когда прозревают слепые

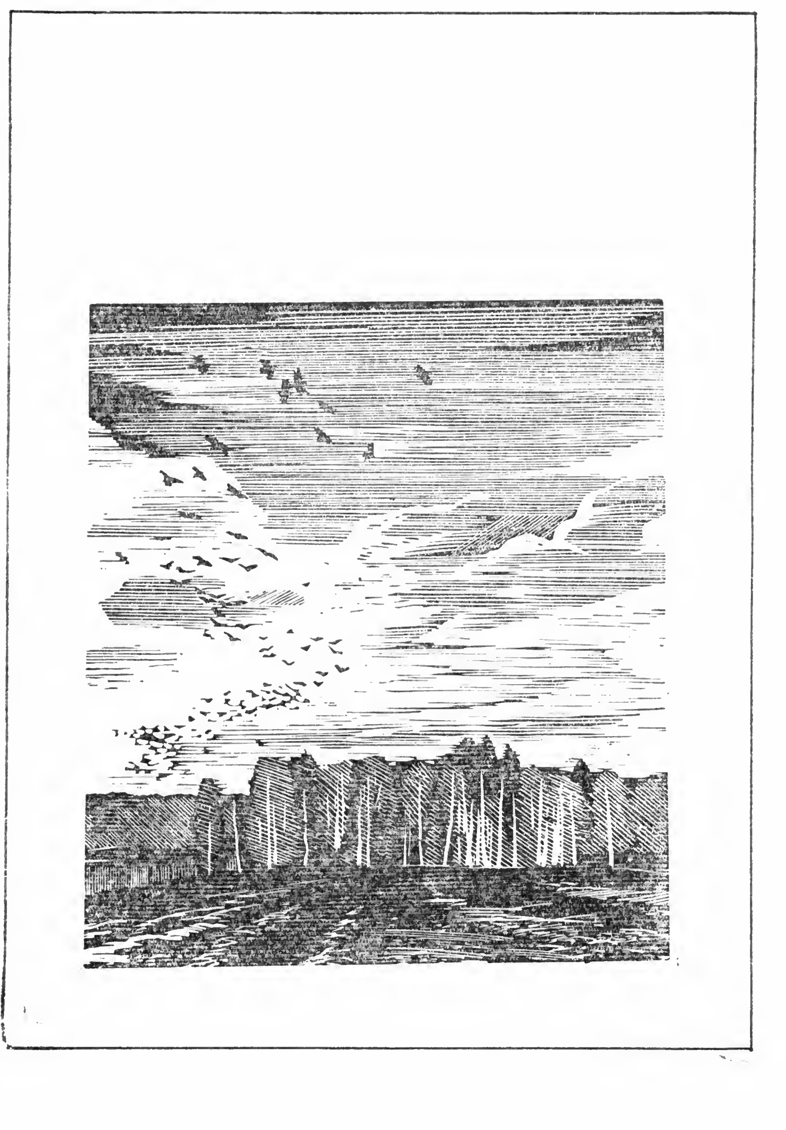
Навсегда
в хиросимский камень
силуэт человека врезан.
Не руками и не железом
силуэт человека врезан
навсегда
в хиросимский камень.

В миг,
когда увидел слепой,
даже слепой от рожденья,
синего неба сожженье —
навсегда в хиросимский камень
силуэт человека
врезан.

А на Тихом опять взрывают.
Но взывает оплавленный камень —
и слепые
все прозревают,
прикасаясь к нему
руками.

АНДРЕЙ УШИН

«Весна»



ГЛЕБ ГОРЫШИН

Накат

Рассказ

Ф. Ф.

Много лет я знаю этого человека. Он с двадцать шестого года, я с тридцать первого. Разница, в общем, невелика. Но те, кто с двадцать шестого, в войну успели навоеваться, а те, кто моложе, остались дома. Тут между нами, меж нашими поколениями, и проходит водораздельный хребетик, рубеж. С годами его, конечно, размыло, сравняло, но все же он есть.

Мой товарищ ушел на войну студентом ВГИКа, учился он там на кинооператора. Сначала рыл под Москвой траншеи. И сам он родом москвич, и семья его оставалась в Москве, за спиной у него, у защитника, мать, братья и сестры. Закончил войну он где-то в Восточной Пруссии, в дивизионе гвардейских минометов, то есть «катюш», шофером.

Согласитесь, карьера немалая: от студента, копающего траншеи под Москвой, до шофера «катюши» в Восточной Пруссии. Благодаря каким качествам, свойствам, достоинствам этого человека совершилась его карьера на театре военных действий, не знаю. Но, наверное, качества были — характер, главное, был, ну и, конечно, силенка. Слабака не посадят за руль «студебеккера» с установленной на нем самой мощной, непревзойденной в войну, смертоносной, к тому же и секретной реактивной установкой — «катюшей».

После войны человек этот стал кинооператором, как и замышлял в юношестве. И почему-то, не знаю, уехал на Дальний Восток. Там я и повстречался с ним, на острове Сахалине. Он сидел за рулем приспособленной для киносъемок, открытой, со снятым верхом машины — здоровый детина в полушубке (дело было ранней весной), в операторском синем берете. В расстегнутом вороте полушубка красовалась его не укрытая шарфом или галстуком мощная шея. Когда он вылез из машины, то оказался ростом, ну, эдак без пятнадцати сантиметров два метра.

Мы с ним не то чтобы сразу и подружились, но что-то возникло меж нами — как говорят, родство душ. Куда-то, не помню, мы ездили, где-то сидели, что-то пили, закусывали, по дальневосточному обычаю, красной икрой и крабами — крабы тогда продавались на рынке.

Он был оператором кинохроники, работал в самом дальнем на Дальнем Востоке корпункте. По прошествии лет получил еще и диплом режиссера. Картины он делает сам, сам снимает, по своему режиссерскому сценарию. Только текст ему кто-нибудь пишет. Вот я иногда и пишу. Снимает он Дальний Восток, живет на Дальнем Востоке, но обрабатывать пленку, перемонтировать и еще что-то делать приезжает каждый год на кинофабрику в Ленинград. Здесь мы встречаемся с ним и обязательно смотрим его картины, еще не вышедшие на экран,— где-нибудь в кинозале, ну, скажем, в Доме кино, в неурочное время нам показывают эти картины, мы вдвоем сидим перед широким экраном и смотрим.

И, случается, плачем, потому что картины его обладают особым свойством воздействовать на какие-то чувствительные центры. Ну вот, например, у дверей пароходства, на берегу Великого океана, вывешен график прибытия судов из дальних многомесячных рейсов. Приходят женщины: матери, жены, невесты — читают, читают, читают график прихода судов к причалу; на этих судах приплывают домой их мужья, сыновья, женихи. Оператор засел со своей камерой где-то в укромном местечке — и снимает, снимает, снимает женские лица, движения губ и бровей...

Или снимет морской прибой, океанский накат на острове Беринга. Тот же самый прибой, тот же самый накат, в том самом месте, где помер в землянке командор Витус Беринг.

Или снимет хорошего человека, ну, например, поэта Лебкова. Лебков — директор лесхоза, сажает сосенки на Сахалине. Землю попашет, посеет сосновое семя, вырастит колючие саженцы, выходит их — и попишет стихи. И почитает, не надо долго просить. Колышется борода у Лебкова, и пар изо рта, потому что зима...

И опять океанские волны, накаты, лесные дебри, льды Арктики — и лица людей крупным планом: любое лицо отдельно и самоценно, не затерялось в толпе. Жизнь просторна, есть где разгуляться. И ветер, что ли,

гуляет в зале, брызги морские... Мы смотрим кино, в глазах наших саднит, выжимает слезу.

Когда я бываю на Дальнем Востоке, то обязательно там встречаюсь с моим товарищем оператором-режиссером. Первым делом мы идем в кино смотреть его новый или старый, почему-либо не увиденный мною фильм. Сам он тоже, в который уже раз, настороженно смотрит — чужими, то есть моими, глазами. Он любит свои картины и боится за них, робеет перед чьим-нибудь судом, как молодой живописец перед лицом выставкома, первого в жизни...

Так было и в эту осень: я приехал на Дальний Восток, на самый дальний наш остров, встретил там моего товарища, и он пригласил меня посмотреть новый фильм, короткий фильм, длиной в одну часть. Пригласил он в кино посмотреть на себя и героя этого фильма. И, само собою, пришла киногруппа, директор картины, ассистент режиссера, шофер.

Герой, главный хирург островной области Игорь Петрович Игнатьев, пришел в велюровой шляпе, в светлом плаще с подстегнутым мехом, в тупорылых ботинках с подошвой такой толщины, что ее не стопчешь за целую жизнь. Лицо героя обрамляла большая курчавая борода, широко расставленные темные глаза были исполнены внимательной зоркости, блеска. Облик этого человека наводил на мысль об идеальном, пожалуй и не виданном никем никогда цыгане, который из табора, от костра, по длинной-длинной винтовой, спиралью восходящей лестнице поднялся на вершину цивилизации и наук... (Авторам фильма герой сообщил, что отец у него был цыган.)

Хирург смотрел кино о себе самом, но выражение его лица в потемках пустого, свежевыметенного и опрысканного водой зала (фильм прокручивали в кинотеатре «Восток» рано утречком, до начала первого сеанса) не выдавало каких-либо чувств, кроме, пожалуй, любопытства. Фильм о хирурге Игнатьеве не был еще озвучен, он шел, как в пору немого кино, в тишине, только стрекотал где-то позади киноаппарат. На широком экране — крупно — двигались, шевелились, что-то делали руки хирурга. Погружались во что-то, чего не следует видеть и знать никому, кроме него самого.

Борода Игнатьева, нос и рот были укрыты марлей. Взор сделался медленным, тяжким и грозным. Камера

наезжала все ближе, ближе к операционному столу — руки хирурга, глаза хирурга...

— Ну как? — первым спросил директор картины, самый молодой в киногруппе, когда в зале зажегся свет.

— Немножко неловко,— сказал хирург,— получается что-то вроде саморекламы... Впрочем, у меня претензий нет, вам видней...— он посмотрел на главу киногруппы — на моего товарища, режиссера-оператора.

Тот задумчиво произнес, глядя на хирурга малость выпученными, светлыми, с кровяными прожилками на белках глазами:

— Мне показалось, Игорь Петрович, чего-то пока не хватает. Черт его знает, изюминки нет. Биографический очерк получается. Хотелось бы найти какой-нибудь поворот... Вот если бы героя фильма вывести разок на люди, чтобы он пообщался с людьми... У вас же, наверное, есть такие больные, которых вы оперировали... Вы же встречаетесь с ними? Вот бы снять эпизод — встречу со спасенным вами человеком. Весь фильм бы по-новому заиграл, появилась бы в нем человечность...

— На Каменном мысу живет моя пациентка,— сказал Игорь Петрович.— На маяке. Я ее оперировал лет уже шесть назад. Тяжелый был случай, я считал его безнадежным... Я позвоню, там чилимов наловят. Поехали? Решайте.

Он посмотрел разом на всех нас, на группу, но и на каждого в отдельности. Взор его выражал дружелюбие, даже ласку, но главное — решимость к движению, к действию, поступку. Очевидно, определяющим в его характере было действенное, моторное начало.

— Чилимы под пиво — это вещь,— сказал мой товарищ, режиссер-оператор.— Только черт его знает, неудобно: к незнакомым людям такой оравой...

— Это не ваша забота,— сказал герой кинофильма.— Значит, что же? Сегодня у нас четверг, в пятницу у меня операционный день... Вечером в пятницу можем выехать.

— В субботу,— сказал режиссер-оператор.

Собрались мы в субботу только за полдень, дело было уже в октябре; в первую половину пути светило встречное солнце. Синели сопки вдали, а ближние склоны, поросшие даурской лиственницей, сплошь озолотились. Когда же в глаза ударила синь и прозелень моря,

солнце макнуло край диска в воду и утонуло. Сразу нахлынул темный октябрьский вечер, дорога словно пропала совсем; машина — автобус кинохроники — то ехала ровным местом, то прижималась к береговому откосу, то спускалась в лога, то подымалась куда-то, то увязала в грудах морских водорослей. Наконец взобралась на открытый увал перед морем, остановилась возле маяка. Луч маячный, исходящий из самой маковки башни, вращался; его синеватый проблеск то набегал, выхватывал из потемок пихты с заломленными ветром ветвями, то касался поверхности моря, и разбуженная вода оживала, струилась и будто дымилась на свету.

Игорь Петрович вылез из машины, воскликнул:

— Василий! Анна! Принимайте гостей!

И сразу вышли навстречу люди, распахнулись двери в низком строении с плоской крышей и каменными стенами. Раздались приветствия, выражения взаимной радости по случаю встречи. Радость, и правда, была; у нас, у приехавших, точно, была: после долгой тряской дороги, после кромешных потемок мы жмурились на свету, грелись у топящейся плиты, на которой булькал чугун с картошкой, рассаживались у стола и у телевизора с большим экраном: передача шла из Москвы по первой программе, по системе «Орбита». В Москве был полдень, а здесь, на маяке, на Каменном мысу, шел девятый час вечера.

На стол собирала хозяйка, Анна, худая, высокая женщина с бледным, сухим лицом, с просинью в глазницах. Она улыбалась гостям, привечала их, приглашала к столу, но не заискивала, а лишь исполняла работу гостеприимства с тщанием и даже страстью, как, видимо, исполняла она и любую другую свою работу.

Муж Анны, хозяин маяка, начальник его, Василий, топтался, смущался, спешил услужить, и все невпопад, он нес ахинею, смысл которой (если бывает смысл в ахинее) не удавалось никак уловить. Он был заметно ниже ростом своей жены.

Когда наконец стол сплошь заставили, завалили яствами и все уселись вокруг него, нить общего разговора сама собой оказалась в руках у Анны. Говорила Анна свободно, громко, о самом главном — для нее самом главном, для Анны. Все слушали — так получалось, что жизнь незнакомой покуда Анны, заботы ее и тревоги равно важны для каждого за столом.

— Раньше мы на Ломероне служили,— говорила

Анна, обращаясь разом ко всем,— тоже на маяке, четырнадцать лет. А теперь здесь... седьмой год. Как раз в тот год, как вы мне, Игорь Петрович, операцию сделали, мы сюда переехали.— Тут она посмотрела на Игоря Петровича, и взгляд ее был таков, что всем стало ясно: видит она сейчас одного человека и больше нет для нее никого, ни души.

— Когда же это было, Анна? — спросил Игорь Петрович, так спросил, будто вдвоем они с Анной за этим столом.— Когда я оперировал тебя? Неужели шесть лет прошло?

— Шесть лет, Игорь Петрович. У меня тогда старший только в армию ушел... Сейчас он тоже на маяке, на Светлом мысу, там у них радиомаяк. Он заместитель начальника. Это теперь у нас вроде как фамильное: мы служим кораблям... А ты откуда это бутылку достал? Тебе, Вася, хватит! — Анна смотрела только на Игоря Петровича, но видела также и мужа Васю.— Сказано было — хватит! Да ты что это, опять за свое?

— Такое дело, Анна...— забормотал в оправдание Вася.— Игорь Петрович к нам приехал, он тебя спас... Я как в больнице у тебя тогда побыл, домой вернулся — и плачу, как дите малое. Мне без тебя бы не жить. Я совсем бы пропал... Ну, Анна, еще по рюмочке, вот за Игоря Петровича...

— Шесть лет, Игорь Петрович... Мне как направление дали в онкологический диспансер, у меня буквально так ноги и подкосились... Я и раньше подозревала, но все же надежда была, вдруг язва. На двенадцать килограмм похудела. А бумажку мне эту дали, как все равно приговор... Взрежут, думаю, и зашьют.

— Ну что ты, Анна, так плохо думаешь о врачах. Медицина пока что, увы, не всесильна, но кое-что мы умеем, научились кое-чему.

— Я, Игорь Петрович,— продолжала Анна,— как вышла из кабинета врача, вижу, диванчик стоит, повалилась на него, и сил нет идти. Врач попросила машину — как раз в поликлинике оказалась секретаря горкома жена, на рентген приходила. Она меня и свезла в больницу, и там меня положили в палату хорошую — на троих. Думали, что я оттуда, от них, направлена... И записали на очередь к вам, Игорь Петрович. Так-то всем свои, местные хирурги операции делали, а мне говорят: вот Игнатьев должен приехать, и мы вас — к нему...

— Я помню, Анна, ты молодая тогда была. Да ты и сейчас еще — вон, совсем молодая... Четыре с половиной часа операция шла... Шесть лет уже минуло, говоришь?.. Ну, теперь-то до золотой свадьбы с Василием наверняка доживете. А ты, Василий, благодари бога, что тебе досталась такая жена. Смотри, какая она у тебя красавица да хозяйка!

— А все на ней и держится, Игорь Петрович,— с готовностью подхватил Василий,— она и вахту стоит на маяке, и ребятишки — все же трое у нас — теперь все взрослые, и так по хозяйству за что ни возьмись — и корова, и постирать надо, и баню стопить, и в лес сбегать за груздями или вон за лимонником, за черникой...

— Черника — человек,— вдруг сказал молчавший до сих пор юноша Володя, который глядел на незнакомых ему приезжих людей, обсевших стол, с таким дружелюбием, и доверием, и готовностью послужить, какие могут родиться только в истосковавшемся по общению юношеском сердце. Володя приехал на Каменный мыс, на маяк (я его расспросил), после армии, нынче летом. Володе двадцать два года, но можно на вид ему дать восемнадцать. С собой он привез молодую жену и дочку Свету полутора лет.

Дочка тут же сидела, за столом, на коленях у мамы, с серьезным и даже нахмуренным взором. Она занималась делом: ела чилимов. Тянулась ручонкой к эмалированному тазу, стоящему на столе; в тазу чилимы, их сварили в морской воде, с морскою же травкой,— креветки в пунцово-лаковых панцирях, морские кузнечики... Света отламывала чилимам головки и, чмокая, пуская пузыри, высасывала сладенькое, нежное, пряно пахнущее морем чилимье мясцо.

Володя сказал про чернику и замолчал опять надолго, нимало не мучаясь молчанием, не смущаясь. Каждый из сидевших за столом улыбнулся Володе, и Володя улыбнулся в отдельности каждому. Глаза его излучали такое количество света, будто маленький маячок светил.

— Да вы ешьте вон грузди, сметаной их хорошенько поливайте,— потчевала гостей Анна.— Картошку берите. Надо — мы еще сварим. Картошка своя. Икру-то вы ложками ешьте, чего ее размазывать. Нынче год рыбный, горбуши было полно, а кета вон и сейчас еще идет... Чилимов берите. Правда, мелковат чилим, если бы вы пораньше предупредили, Игорь Петрович, что при-

едете, Василий бы в Крабовую бухту на Чиже съездил, там чилим крупнее. А так — Василий только успел до отлива — вот здесь, под маяком, и ловил. Здесь чилимы мелкие.

— Что же вы, Анна, крупных-то всех попричесали? — пошучивал, подтрунивал Игорь Петрович.

Он, должно быть, усвоил себе этот тон в обращении с хозяевами маяка. Но глаза его — я-то видел, я помнил эти глаза в прорези марлевой маски, тревожные, грозные глаза человека, держащего в руках нить жизни другого человека — именно нить, волосок...

Игорь Петрович разговаривал со спасенной им однажды и поэтому доверившейся ему всецело и навсегда женщиной именно так, как разговаривают с тяжелыми своими больными лечащие врачи: он малость играл, брюзжал, насмешничал, попрекал Анну и особенно мужа ее Василия, нападал, понуждая их защищаться. Он, конечно, шутил, но, может быть, ему хотелось немножко позлить хозяев маяка, чтобы они наконец перестали глядеть на него умиленно, как на благодетеля. Впрочем, как знать...

Игнатьев сидел за столом вальяжно, почетным гостем, генералом.

— Это уже непорядок в хозяйстве,— выговаривал он Анне.— Я помню, раньше к вам приезжал, чилимы были — во! — как тигры.

— Так ведь что, Игорь Петрович,— серьезно, нимало не поддаваясь на шутку гостя-спасителя, отвечала Анна,— судите сами: сегодня вы приехали, с вами еще люди, мы вам, конечно, рады. Теперь у нас на маяке все лето геофизики живут, к ним тоже приезжают, тоже чилима охота попробовать. Завтра, из управления звонили, приедет наше начальство, опять без чилима никак. И пограничники ловят чилимов, и кто их только не ловит... А чилим — он что? Он кузнечик... Где же ему уберечься от всех ловцов?

— Нет, Анна, не в чилиме дело, а в ловце.— Игорь Петрович вполне вошел в роль, даже малость куражился.— Что-то у тебя ловец подраспустился. А? Василий? Я говорю, подраспустился ловец. Уже и мышей, должно быть, не ловит. Не то что чилимов. Разве это чилим?..

— Ваша правда, Игорь Петрович,— принимая правила игры, преданно закивал Василий,— чилим никакой... А как же? Он тоже... соображает. Вода почнет уходить — и трава вся ложится, и чилим тогда усики опускает, хвост

поджимает, спит. Тут-то его и не взять. Чиж у меня на что конь проворный, и на чилима нюх у него... Он ух какой злой на чилима. Когда прилив, сам в море бежит, чилимницу тянет, как трактор; мы с ним все дно перепашем, чилим весь наш... Прилив идет, вода-то травку подымает, колышет, расчесывает, чилим, за травку ухвативши, тоже морду к солнышку обращает, усами шевелит, пузыри пускает... А как же? В прилив его и берешь. Раньше-то бы за день сообщили, что будете, и чилимов бы поймали как следует. А то я вахту стою на маяке, Анна бежит, говорит: с заставы звонили, передавали, вечером Игорь Петрович приедет. А мне и вахту нельзя оставить, и отлив начинается... Ладно, Анна меня подменила, Чиж в сопки убег, его искать еще надо. А вода уходит... Я Чижа разыскал, гоню его в море, чилимницу подпрягаю, а он на меня смотрит, как на шизохреника: чего же, дескать, посуху-то пахать, дурья твоя башка? Чиж у нас шибко умный. А вы, Игорь Петрович, другой раз поедете к нам — дак за день хотя сообщите. Тогда можно и в Крабовую сгонять.

— Чилим — человек,— сказал Володя, и снова маячный свет его глаз обежал весь застольный круг.— Завтра утром, хотите, в сопки сбегаем, рябчиков — полно.— Володя каждому подарил по улыбке.

— Василий!— скомандовала Анна.— А ты чего не смотришь? Угощай людей лимонником. Сбегай-ка нацеди! Да и люди-то все какие! Будто личности ваши мне знакомые. По телевизору вас случайно не показывали?

— Все может быть,— уклончиво-скромно ответил за всех директор картины.

— Вы меня извините, конечно,— обиделся Вася,— четыре раза бегал, четыре жбана лимонника нацедил... Бочка-то тоже не бездонная.

— Ну это ты брось, Вася, брось,— рокотал Игорь Петрович.— Я тебя, слава богу, знаю. У тебя, наверно, пять бочек лимоннику запасено... Я предлагаю выпить за наших гостей! Себя я гостем не считаю. Мы здесь люди свои...

Игорь Петрович встал, заросший по самые глаза кучерявой, каштановой с проседью бородой, лобастый, плечистый, массивный, но в то же время легкий, в свитере тонкой шерсти, в замшевой куртке, в джинсах. Темные, влажные его глаза отблескивали на свету.

— За наших гостей! Они оторвались от своих дел, которых там, на материке, ничуть не меньше, чем у нас,

а может быть и больше... От своих семей... И приехали к нам...

Мой товарищ, облысевший за время нашего с ним знакомства, с головою, похожей на кабачок, несколько утолщенный книзу, с укоротившейся шеей, собственно без шеи, с длинными, тонкими, словно сведенными судорогой пальцами пианиста, сказал:

— За хозяев бы надо.

— За хозяев успеем еще... Хозяева — люди нашенские. Не первый раз мы у них, бог даст, не последний... За наших гостей!

— За нас что пить? — сказала горестно Анна, и горесть была столь же свойственна ей, как синева под глазами.— Мы тут на краю света живем, раки-отшельники... А тебе хватит, Василий! Сколько раз говорить? Тебе завтра чуть свет в сопки бежать за Чижом. Надо же товарищам по приливу чилимов поймать — с собой увезти. И баню надо стопить, дрова не колоты... Пусть Игорь Петрович попарятся, и еще, может, кто любитель... Да поставь ты рюмку-то, кому говорят!

— А чего за Чижом бегать? — бодрился, вскидывал подбородок Вася.— Он у нас как собачка. Я свистну — он тут как тут.

— Под такую закуску, да еще лимонником запивать — это можно литр выпить и не заметить,— с воодушевлением высказался водитель.

— А вот у меня, Игорь Петрович,— пожаловалась Анна врачу,— никакого вкуса нет к еде. На эту икру я и смотреть не могу. Как похудела тогда на двенадцать килограмм, так с тех пор ничуть не поправилась, ни грамма не прибавила в весе. Так... за день молочка выпью да кашку себе сварю, а больше ничто не идет... Вы бы мне сказали, Игорь Петрович, теперь-то уж время прошло, что было-то у меня?

— А то и было, чего теперь нет,— ответил Игорь Петрович, именно то ответил и так, что и как должно ответить врачу своей пациентке.— Об этом думать не надо. Ты, Анна, для жизни предназначена. Без тебя в жизни никак... А что не толстеешь — и слава богу! Тощему легче. Вон Василий у тебя, гляди, будку нарастил. Балуешь ты его, за все дела сама хватаешься...

— Да я что, Игорь Петрович,— заборматал, заспешил Василий,— я, конечно... мне как позвонили тогда на Ломерон, на маяк, что Анну в больницу взяли, я выскочил сам не свой — ладно, там дорога рядом, машины хо-

дили... Старший сын в армию ушел, средний в училище мореходном, дочке что тогда было? Пятнадцать лет... Она одна на маяке и осталась. Я в больницу примчался не помню как... Посмотрел Анне в лицо, а лицо у нее другое сделалось, будто и не ее лицо. Нос вострый... Я смотрю на нее, а сам плачу. И к вечеру на маяк мне надо вернуться. Анна мне говорит: «Поезжай, Вася, маяк пора зажигать».

— А как же? — сказала Анна.— У нас это первое дело. Мы служим кораблям.

Тут встал мой товарищ, взгромоздился над столом, лицо вровень с лампочкой. (Впрочем, лампочки две над столом висело, на одном шнуре, без абажура,— одна большая, другая маленькая. Когда работал движок, большая горела, когда же питание поступало от аккумуляторов, горела маленькая, большая гасла.) Плечи у оператора-режиссера — впору бы грузчиком быть с такими плечами, а пальцы истончились на творческой работе. Такими бы пальцами на рояле октавы брать...

— В сорок четвертом году,— сказал режиссер-оператор,— в конце уже сорок четвертого года, я был шофером — комбата на «додже» возил, в дивизионе «катюш». И помню, ночью мы въехали в тихий-тихий немецкий город в Восточной Пруссии. В маленький городок. И до того он был тихий и совершенно целый, этот немецкий город, как будто и не война. И нужно нам было найти в этом городе дом для ночлега. Городок весь уснувший: темным-темно, нигде ни души. И чувство такое было, что кто-то видит тебя, следит за тобой. Покружились мы по этому городу, потыкались в кривые улочки, остановились около одного особняка. Комбат говорит: «Сходи, Леша, посмотри». Я автомат взял, пошел. Дверь в особняке не заперта. Я внутрь тихо-тихо шагнул, и какая-то мне почудилась чертовщина. Будто весь этот особняк кряхтит и дышит. И часы в нем тикают, как в часовом магазине. И половица скрипнула... Я фонариком посветил, ничего не видать. Но стало мне вдруг до того тошно в этом немецком особняке, что я давай бог ноги. Выскочил — машина стоит, мотор работает... Залез в кабину, гляжу: комбат мой вроде заснул, голову на плечо уронил. Я думаю, ну его к черту, надо ноги уносить отсюда куда-нибудь поближе к своим, к братьям-славянам... Я еду, а комбат спит, привалился ко мне... И что-то тепло моему плечу стало. Я потрогал — плечо-то мое в крови. И комбат мой, смотрю, мертвый. И выстрела я

не слышал. И находились мы по эту, по нашу сторону фронта, хоть и не в глубоком, но все же в тылу. И комбат был парень хороший, совсем молодой... Я предлагаю выпить за то, чтобы войны не было. Не будет войны, будем живы мы и наши дети — а остальное приложится!

— Это правильно,— призадумалась Анна.— Это вы очень хорошо сказали. Самое главное, чтобы войны больше не было никогда. Все остальное приложится... За это и я даже выпью... А ты, Василий, сходи-ка чилимов еще принеси. Еще целый таз есть, сварены, на холод выставлены. Чилимы — как семечки: начнешь их щелкать и не оторваться... Я-то, правда, их не ем, а мужчины, как дети, любят... Особенно с пивом...

В это время отворилась на волю дверь, свет уперся в сплошные отблескивающие потемки. Это вернулась жена Володи, она относила домой свое уснувшее чадо.

— А чилимов всех Пират съел,— сообщила жена Володи, и смех в ее голосе боролся с сознанием плачевного смысла происшествия.

— Неужто всех? — первым огорчился директор картины.

— Всех, это уж точно,— будто гордясь своим псом, подтвердил Василий.— Он у нас что хошь съест. В отлив весь берег обегает, медуз всех сожрет. Картошку, брюкву сырую хрупает, как боров. Кету, горбушу — на берегу сидит, как медведь, лапой ловит. И морскую капусту — хоть что!

В подтверждение этих Васиных слов на пороге возник сам Пират. Передними лапами он наступил на порог, лапы у него с большими когтями, лохматые, львиные лапы. Мягкие уши Пирата болтались как попало — должно быть, он гончей породы. Во всяком случае, кто-то в его родословной гонялся за зайцем и за лисой. Пиратский хвост-гон ходил ходуном. Пират вытягивал нос в направлении стола, нюхал и слюнки пускал. Желтые его собачьи глаза выражали одну неизбывную радость существования, преданную любовь, а также готовность к шкоде.

— Он молодой еще, глупый,— сказала Володина жена, погладив Пирата по рыжей большой башке. Она просила у общества снисхождения к разбойнику. Пират полез ее обнимать, целовать.

— А что, он чилимов-то съел так прямо, со всей оболочкой? — осведомился директор картины.

— Чисто. Даже таз вылизал.

— Ну молодец! — воскликнул Игорь Петрович.— Из этого пса будет толк. Настоящий охотник. А ты, Василий, чилимов не уберег — значит, завтра тебе двойной план дается.

— Да я что, Игорь Петрович, я — пожалуйста! У чилима бы тоже надо спросить. Ему ведь тоже, поди, не больно охота в тазу вариться. Как первый год мы тут жили, он дуром в чилимницу валил. А теперь ученый стал, профессор...

— Чилим стал ученым — значит, ты перед ним должен быть академиком,— поучал Василия Игорь Петрович.

— Может, кто хочет маяк посмотреть, на башню подняться? — старалась Анна развлечь гостей.— Сейчас-то темно, а днем далеко видно... Другого берега, правда, не видать, море у нас большое — океан...

— Великий тире Тихий,— сказал мой товарищ, который малость отяжелел.— Мы подсветку захватили? — спросил он у директора картины.— Вот бы снять это застолье, все как есть, в натуре...

— Директор студии материал посмотрит,— улыбнулся директор картины,— скажет: «Опять пьянствуют».

— Вот я и говорю, нам бы другого директора студии, мы бы и не то еще сняли...— вздохнул режиссер-оператор.

— Ну, с нашим директором жить можно...

— Пойдемте, кто хочет маяк посмотреть,— позвала Анна,— я свет включила...

— Идем, Анна, веди нас,— поднялся Игорь Петрович.— Пойдемте, товарищи. Посмотрим в натуре маяк. Неизвестно, представится ли вам еще когда такой случай...— Игорь Петрович следом за Анной пошел. Володя вперед умчался.

Анна вела экскурсантов по длинному коридору:

— Здесь у нас переход из жилых помещений к маяку, стены в нем бетонные. Это чтобы зимой, когда нас снегом засыплет по самую крышу, можно было пройти. А здесь вот машинный зал...

Машина работала, старенькая машина, таких не бывает теперь. Столько она уже наработала, что никто и не помнит, когда впервые стрельнули ее клапана. Масленo отблескивая, вращалось большое колесо-маховик. Можно бы эту машину вот так целиком поместить в музей маячного дела — служения кораблям, как некий реликт, пример долгосрочной бессменной вахты — на из-

нос. Впрочем, машина вовсю гудела, стучала, урчала, хлюпала, и голос ее был иной, чем у нынешних машин. И молодой машинист Володя уже успел перепачкать руки и вытирал их ветошью, похаживал вдоль машины, как надлежит машинисту.

Из машинного зала по винтовой лесенке поднялись на маячную башню, где помещалась люстра, что ли,— многогранная, составленная из линз сфера. Внутри нее находилась лампа. Сфера вращалась, плавала в ртутном подшипнике, собирая свет в два пучка, направляя его в окошки-амбразуры. Один луч скользил по поверхности моря, в это время другой успевал обежать гряду сопок, поросших пихтами,— и тоже касался воды. И так непрестанно шло круговращение двух лучей — в подмогу штурманам невидимых с берега кораблей. Стоять близко к источнику маячного света больно было глазам...

Володя врубил сирену, вначале голос ее был сиплый, прерывистый, но прочистилось горло — сирена тонко завыла.

Оглохшие и ослепшие, мы вернулись к столу...

Ночлег нам приготовили в отдельном помещении, постелили на пол перины. Отдельное это помещение соединялось с жилым помещением, так же как и машинный зал, и башня, коридором с бетонными стенами. Все помещения на маяке составляли единый забетонированный блок — убежище от бурана. Первым лег на перину, укрылся тулупом режиссер-оператор. Ноги его выметнулись за пределы перины и тулупа — огромные голые ноги в коротеньких безразмерных носках. Он пошевелил пальцами, тяжко вздохнул и произнес хоть не длинную, но все же речь, монолог.

— Люди живут нормальной, естественной жизнью,— сказал режиссер-оператор на сон грядущий.— Мы для чего-то к ним приезжаем, чего-то нам надо от них. Они нас сажают за стол, угощают икрой и чилимами. Мы наедаемся, напиваемся, ложимся на их простыни и подушки. А наши семьи, наши жены в это время бог знает где. Им скучно без нас, они любят, когда мы под боком у них... И все это для чего? Все ради искусства. Чтобы снять один эпизод. А после эпизод этот вырежут, скажут, что нетипично... Эх-хе-хе... Не надо было ночевать оставаться.

Режиссер-оператор сказал и уснул. Природа надели-

ла этого человека не только ростом и мощью телесной, но и спасительным свойством мгновенного перехода от бодрствования к неколебимому и безгрешному сну.

Я устроился под бок к моему товарищу, далее в ряд — ассистент режиссера (он ничем не обнаружил себя за вечер — молод), директор картины. Василий с водителем подбрасывали в печь уголь, не прерывали громкого разговора, в котором поди улови суть да нить.

Игорь Петрович остался беседовать с Анной — наедине.

Чуть свет послышался его голос, свежий, как утренний океанский прибой:

— Подъем! Выходить строиться!

Вскоре он сидел верхом на Чиже, внахлест без седла. Чиж мотал головой, как конь крестьянский на пашне, без страху ступал по ниве морской, держал борозду, по грудь в зеленой воде, волочил за собою по дну кошельчилимницу. Ноги седока, обутые в бежевые резиновые японские сапоги, погружены были в море. Бороду его заносило ветром на сторону.

Ветер дул сильный, прямо с востока, откуда всходило солнце. И ветви пихт на склоне прибрежной гряды заломило под ветер.

Над баней уже курился дымок. Дрова и воду таскала в баню жена Володи. Видно было, как водитель с Володей ползут вверх по сопке с ружьями. Режиссероператор, накинув тулуп на плечи, примеривался к камере на треноге... Всяк нашел себе дело.

Анна с утра нарядилась — в предвидении киносъемок — в платье джерси, обула туфли на каблуках, и ноги ее оказались сухи, стройны, фигура тонка и легка, годы жизни, долгие годы, вся жизнь на дальних, недосягаемо дальних мысах — на Ломероне, на Каменном мысу — не согнули, не огрубили ее. И только в холодном, ясном утреннем свете еще заметнее стали тени в глазницах у Анны. Глубокие, синие до черноты.

Вернулись с моря ловцы чилимов, приехали на Чиже, запряженном в телегу. И начались киносъемки. Игорь Петрович, статный красавец, в тирольской шляпе, сдвинутой на затылок, с пером, в техасских штанах, в замшевой куртке, взял под руку Анну, высокую, тонкую даму, повел ее от обрыва над океаном, мимо маячной башни, на стрекочущую камеру. Анна пошла свободно, с каким-то врожденным и, может быть, не понадобившимся ей в жизни изяществом. И муж ее Вася, корявый

маленький мужичок в кирзовых сапогах, стоял в сторонке, смотрел это кино, и ветер выжимал у него из глаз слезы. Он утирался рукавом ватника.

Океан служил фоном. Живой океан — изменчивый, разноцветный, окраска его, тона непрестанно менялись: он был то лиловый, то голубел, как небо, то зеленели на нем лужайки, то темнели бездонные омуты. Океан прищурился на солнце, хмурился, морщился, тек, дрожал, делался то стальным, то свинцовым, закипал и вновь остывал. Он был покатый, сферический; дальний край его высоко, как туча, вздымался — выше утеса, на котором ярко, свежо белела башня маяка.

— Кто первым в баню пойдет? — звала Анна.— Баня готова...

Напарились сколько кто мог, утирались и отдувались, прикладывались к жбану с напитком из лимонника, так прямо из жбана и пили. Жбан опоражнивался и опять наполнялся. Казалось, что черпают эту живящую влагу в неиссякаемом роднике. Стол снова ломился от яств: таз полон был только что сваренных, теплых чилимов, в тарелках рдела икра, и грузди в сметане, и кета, и горбуша, и над картошкой вздымался парок. Будто скатерть на этом столе — самобранка...

Мужчины благодушествовали, и разговаривать вроде не о чем стало. И тосты все сказали вчера. И чилимы уже не шли... Только Анна, темнея глазницами и стараясь каждому услужить, напоить, накормить, говорила в охотку, как говорят прямодушные люди, найдя себе слушателей после долгой уединенной жизни вдали.

— Зимою здесь у нас воздух, должно быть, такой: ни микроба в нем, ни бактерии; внучонок жил, младшего сына сын, Федя — младший у нас на СРТ старпомом плавает, сайру ловит на Кунашире,— так он всю зиму раздетый бегал, в одном свитере. В снегу кувыркается — и хоть бы что, не болел ни грамма... А внучка Оленька жила, дочкина дочка... Дочка у нас в Корсакове замужем, тоже муж у нее плавает... Оленьку прихватило у нас, горло ей заложило, задыхается... А как раз буран был, связь порвалась с заставой. Я говорю Василию, чтобы вызвал по рации пограничников, спросил, когда у них вертолет будет... Оленька посинела вся, страшно смотреть на нее, и помочь не знаю чем. Горячим молоком ее пою, горчичные обертывания делаю, водкой на-

тираю, тетрациклин, сульфадимизин даю — ничего не помогает...

— Ну что же, лечение проводилось вполне грамотно,— сказал Игорь Петрович.

— Сама я не своя, с ума схожу, Чижа запрягли в сани, завернула я ее в тулуп — и поехали. Зимою мы прямо по морю ездим, по льду. А тут намело торосов. Чиж у нас конь хороший, умный, привычный. Он, как ледокол, себе путь торит, и я ему как могу подсобляю... На заставу приехали, ждем вертолета, а дело к вечеру уже, его все нет и нет. Потом сообщили, что вертолета не будет — видимости, что ли, нет... На заставе ночевать оставаться? Начальник говорит: у меня ночуйте. А я думаю: нет, все-таки дома лучше. Опять завернула Оленьку в тулуп — и домой. Назавтра опять на заставу, и опять вертолет не прилетел. Я ни есть не могла, ни спать, не отходила от Оленьки, дыханием ее своим согревала, по капельке ей горячее молоко в рот вливала. Только на третий день вертолет пришел... Ну слава богу, выжила Оленька...

— Это ты ее, Анна, спасла,—сказал Игорь Петрович.

— Скоро должны ее привезти — так я соскучилась по ней, и не знаю. Федька, бывает, и надоест, и отшлепаешь его, а эта кроха, беспомощная, кровиночка моя... Как вспомню, что мы тут с ней пережили... А детей своих как растили? Они же у нас все маячные дети... Это теперь вертолеты да вездеходы, а на Ломероне мы жили — заметет бураном, и связи с внешним миром совсем никакой; случись что — никто тебе не поможет. Только по радио... Да и здесь тоже: после бурана откопаемся, вылезем наружу, снег выше крыши, стеною стоит. Да плотный, ветер его спрессует. Кажется, ни за что не пробиться. Это глаза боятся, а руки делают. Начинаем рыть помаленьку тоннель, а там, глядишь, уже с той стороны пограничники к нам дорогу бьют, вездеход ползет... Вот так и живем...

— Ты у нас, Анна, молодец, героическая женщина.

— Да ну уж, будет вам, Игорь Петрович. Меня бы и совсем в живых не было, если бы не вы...

— Вот подожди, посмотрим в кино, как мы под ручку с тобой гуляем... А что? Хороша пара!.. А, Василий? Повезло же тебе, такую жену оторвал...

— Да я что?.. Я ничего...

— А ты чего это опять к рюмке присосался? Тебе же

на вахту... Да ты никак и водителю налил? Не знаю, как ваше имя-отчество.

— Вадим Павлович,— охотно представился водитель.

Никто и не заметил, когда он успел под шумок повеселеть. Укорять его в этом не стали. Но пора было ехать, прилив начался. И порешили на общем совете, что лучше садиться за руль оператору-режиссеру: раз всю войну за баранкой проехал, в дивизионе «катюш»,— наверное, опыту хватит. Старый конь борозды не испортит.

Мой товарищ залез на водительское место, баранка оказалась меж колен у него. Попрощались, пожали руки всему населению маяка, даже Володиной дочке пожали. Население осталось стоять малой кучкой, махало руками. Анна стояла поодаль от всех. Как будто зимовщики провожали последний в этом сезоне самолет, вертолет, вездеход...

Когда маячные люди скрылись за поворотом, все мы разом вздохнули и громко заговорили, живя уже тем, что предстояло нам: большой город, гостиница, ресторан. Маячная башня еще виднелась — заноза в плоти океана. Потом и ее не стало.

Автобус кинохроники по размытой потоками воды лощине осторожно съехал на лайду, на берег морской, то есть на дно морское — в отлив оно влажное, твердое, как асфальт после дождя,— и припустил. И долго, долго мчался у самой пены прибоя, покуда натешилась шоферская душа моего товарища, режиссера-оператора. Вдруг он затормозил и отдал приказ:

— Ребята, а ну давайте камеру, будем накат снимать, проезд сделаем — пригодится!

Проворные ребята, ассистент с директором картины, мигом пристроили камеру таким образом, что можно снимать на ходу, в открытую дверцу. Водитель сел за баранку, режиссер-оператор уткнулся в камеру. Машина поехала, камера застрекотала. Океан накатывал пенно-зеленые валы во всю ширину горизонта.

— Ну, хватит, ребята,— сказал режиссер-оператор и вылез наружу, направился к океану, ступил ботинками в пену и стал укорять океан: — Ну чего ты накатываешь? Чего шебаршишь? Чего ты от меня хочешь?.. Я из Москвы уехал — зачем? У меня квартира в Москве пропадает. И мама одна живет. И жена меня поедом ест, в Москву тянет... А я накат снимаю... вот уже двадцать лет...—

Он погрозил океану пальцем: — Ну чего колготишься-то? Ну чего? Чего расшумелся?..

Мой товарищ вернулся в машину, вздохнул и в каком-то раздумье сказал — без враждебности, впрочем, скорее с любовью:

— Ужасное все-таки дело — этот океан...

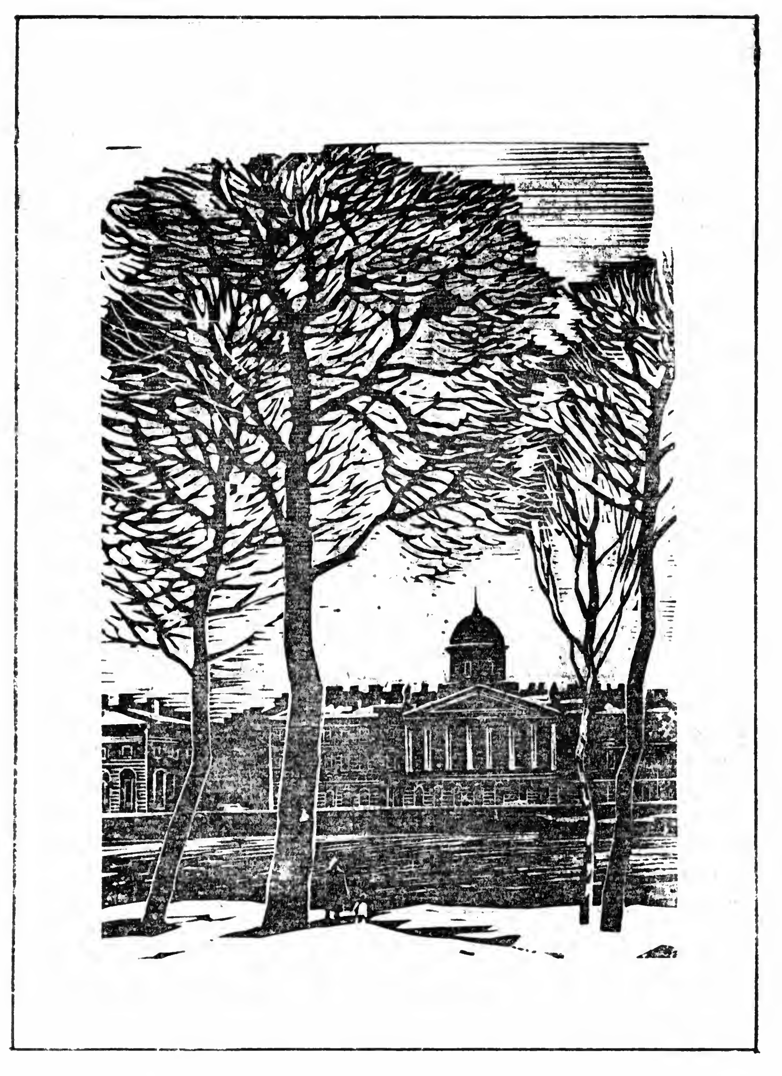
Никто ему не возразил. Ребята моментом убрали камеру. Поехали. След машинный остался на лайде до вечера — до прилива.

И еще остался, как говорится, след в душе. Ну если и не в душе, то во внутреннем зрении — образ. Закрою глаза и вижу: где-то у Тихого тире Великого океана стоит человек высокого роста, и разговаривает с океаном на «ты», и грозит ему пальцем. И океан — ничего, не ропщет, чуть шебаршит...

Я вижу (при закрытых глазах). Я помню. В памяти тоже, как в океане, бывают накаты. Говорю себе: я там был, что-то пил и закусывал морскими кузнечиками-чилимами. (По науке они называются «шримсы».)

АНДРЕЙ УШИН

«Пушкинский Дом»



ЮВАН ШЕСТАЛОВ

Камлание по Пабло Неруде

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Мне приснилось:
Убили меня
На зачатии дня,
На рассвете!
Сапожищем солдатским
Раздавив мое горло,
Вырвали мне язык!..
А заря в это время катила на небо
Огненный бубен солнца.

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Волны мечутся,
Камни движутся,
Скачут нечисти,
Ели ежатся,
Хищные песни
Заросшими тиною пастями,
Острозубыми тухлыми пастями,
Щуки поют, бельма выпуча!..

Что стряслось с планетой моей,
Что живого сердца живей?
Неужели пронзило ее
Смертоносной косы острие?
Железный сапог —
Он готов меня растоптать,
Железный штык —
Норовит и в мое сердце!..
Нет, бессмертна планета моя
Под волшебным названьем Земля!
Смертен я, но планета моя бессмертна!

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Волны мечутся,
Камни движутся,

Скачут нечисти,
Ели ежатся,
Хищные песни
Заросшими тиною пастями,
Острозубыми тухлыми пастями,
Щуки поют, бельма выпуча!..

О, какая часть света в крови?
Америка? Европа? Азия?..
О, какая часть сердца растерзана?
Перикард? Миокард? Аорта?
Это Чили мое убили!
Это в Чили черно, как в могиле!
В Чили черная оспа хунты!..

Қай-о! Қай-о! Қай-о! Йо!
Волны мечутся,
Қамни движутся,
Скачут нечисти,
Ели ежатся,
Хищные песни
Заросшими тиною пастями,
Острозубыми тухлыми пастями,
Щуки поют, бельма выпуча!

Поднимайся, землянин, мой брат!
Да не будет рыбьим твой взгляд!
Қ вам, о люди, идет заря,
Свой пророческий бубен даря!
Вы возьмите в руки его,
Вы за мной повторяйте: «Қай-о!»
Если на горло мое наступили —
Это твое, человечество, горло!
Если вырвали мой язык,
Разве останешься ты безгласно?!
Бубен мой в солнечной звонкой крови
С неба попробуй-ка, враг мой, сорви!

Қай-о! Қай-о! Қай-о! Йо!
Волны мечутся,
Қамни движутся,
Скачут нечисти,
Ели ежатся,
Хищные песни
Заросшими тиною пастями,

Острозубыми тухлыми пастями,
Щуки поют, бельма выпуча!

Полно пугать! Вы не так уж страшны,
Вы, чьи руки обагрены!
Если погибну —
Стану я Кличем.
Я пробужу равнодушных и спящих!
Смертным заклятьем чревы смердящих
Черных убийц превращу в пепелища!
Стану возмездием я!

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Так ли страшна ты, смерть?!
Острым ростком через твердь
К свету вырвавшись едва,
Произнесу я слова:
«Кай-о!..»
К солнцу, всемирному бубну,
Стебли свои протяну
И вдохновеннее прежней Песню свободы начну!
Так ли смертна ты, смерть?!

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Эй, пиночеты!
Какой я страшней —
На двух ногах
Или с тыщей корней?
Бубен мой — вечно живое солнце —
Вам не сорвать до скончания дней!

ЮРИЙ РЫТХЭУ

Хранитель огня

Рассказ

Кэвэв шел, с трудом вытаскивая ноги из рыхлого снега. Позади оставался кривой след — беспощадное свидетельство возраста человека. Лет двадцать назад цепочка снежных ямок от ног казалась вычерченной по длинной ровной линейке на розовом снегу. Кривая линия следов напоминала Кэвэву о том, что ему пора проведать склад погребальных дров, укрытых над таежным озерком в потаенном месте. Свой дровяной запас старик держал в секрете, о нем не знала даже жена. С годами дерево стало сухим, березовые поленницы потемнели...

Кэвэв присел отдохнуть.

Как прекрасна тайга! Даже такая редкая и мелкая, как здесь, на самой границе тундры. И деревья похожи на северных людей — коренастые, крепко держащиеся за землю. Попробуй выкорчуй вон ту иву! Придется переворошить всю землю, долбить ломом вечную мерзлоту.

Кэвэв встал и зашагал дальше, стараясь аккуратно ставить ногу, чтобы не провалиться в снег. Он глубоко вдыхал свежий воздух, и легкая боль в груди была сладостной. Свежесть, верил старик, разглаживает морщины в легких, отслаивает наросший за многие десятилетия табачный налет.

Неожиданно в воздухе почуялось что-то новое, необычное, странное. Кэвэв приостановился, прислушался.

Так он делал всякий раз, когда в таежных дебрях что-то настораживало его. Словно внутри существовал какой-то второй человек, который всегда был начеку, чуткий, как тугая тетива лука.

В те годы, когда Кэвэв еще охотился в тайге, этот умный двойник работал круглые сутки, приносил ему славу лучшего добытчика пушнины. И теперь, когда Кэвэв почувствовал запах дыма, услышал людские голоса, увидел высокое пламя, он догадался о случившемся, и силы покинули его.

Он свалился возле разоренной поленницы.

Подбежали люди, подняли старика и понесли к огню.

Кэвэв отбивался, рвался, но люди были сильные и крепкие.

— Дедушка, да ты что? — удивленно кричал самый большой, в собачьей меховой шапке.— Что ты брыкаешься? Чего ты боишься? У-у, дикий какой!

— Сама ты дикий! — закричал ему в лицо Кэвэв.— Дикий и дурной человек. Взяли мои дрова! Жаловаться буду в Москву! Бумагу напишу!

— Пиши, пиши,— ласково сказал большой, усаживая старика на проталину от огня.— Жадность свою покажи Москве.

Кэвэв увидел близко от себя высокое, чистое, чуть синеватое сильное пламя и над ним, над этим священным огнем, большое закопченное ведро с клокотавшим варевом. Это было кощунство.

— Зачем так обидели? — выкрикивал старик сквозь слезы.— Почему взяли? Сколько дров вокруг — вали да руби...

Высокий парень присел рядом.

— Извини, старик,— сказал он взволнованно.— Не знали, что это твои дрова. Завтра утром нарубим... Ребята устали. В наледь попали, промокли. Надо было обсушиться. А тут — дровяной склад. Вернем дровишки, не сердись.

Кэвэв вдруг понял, что до этого высокого парня не доходит самое главное — какие дрова он сжег, на каком огне варит суп в закопченном ведре.

— Не простые это дрова,— всхлипнув, сказал Кэвэв.

— Знаю,— отозвался высокий парень, сдвигая собачью шапку на затылок.— Таких дровишек поискать. Может, деньги заплатить?

— Да что я, на деньгах твоих буду гореть? — с болью воскликнул старик.

— Не понимаю,— сказал высокий парень, виновато улыбаясь.

— Понимать нечего! — ответил Кэвэв.— Когда помру — на чем буду гореть? Сожгли мои погребальные дрова!

Он мечтал: огонь будет жарким, высоким и бесцветным. Это будет хорошее пламя — свидетельство хорошо прожитой жизни...

— Извини, дед. Если бы мы знали... Как же так получилось? Игнат!

На зов прибежал молоденький паренек. Он держал в руке дымящийся котелок с гречневой кашей, заправленной колбасным фаршем. Содержимое котелка Кэвэв безошибочно определил по запаху.

— Кто дал распоряжение взять эти дрова? — спросил высокий.

— Вы, товарищ Петров,— быстро ответил Игнат.

Петров опустил голову.

— Верно, я распорядился.— Он повернулся к старику.— Один я виноват. Можешь меня наказывать как хочешь.

— Как я тебя могу наказывать?

Понемногу к Кэвэву возвращалось спокойствие. Священные дрова, конечно, сожгли не из озорства, а по необходимости. Да и откуда этим русским знать древний их обычай.

— Мы тебе нарубим новых дров,— пообещал Петров.— Не сердись, старик. Поужинай с нами.

Кэвэву подали большую алюминиевую ложку. Когда в тайге предлагают еду — грех отказываться. Он принялся за кашу, черпая ее из общей миски.

Костер пылал, кое-где дрова уже прогорели, и синий пепел вздрагивал от мощного потока теплого воздуха.

— Я знаю, как хоронили в старину чукчи, и эскимосы, и коряки... А вот такое — впервые мне попадается,— заметил Петров.

— А я из старинного рода кереков,— заговорил Кэвэв,— мы давно смешались с чукчами и коряками. Только речью отличались да некоторыми обрядами. И покойников хоронили по-своему. Сейчас, правда, все совершают обряд по-новому, в ящиках хоронят. А раньше пылали костры в лесотундре. Особенно когда мор или голод. Снег таял в лесах от жарких погребальных костров!

Кэвэв рассказывал с увлечением, но вместо почтительного интереса ловил в глазах слушателей ужас.

— Красиво было...— задумчиво закончил свой рассказ Кэвэв и взял сигарету, предложенную Петровым.

Он наблюдал, как геологи готовили ночлег, разбивали палатки, расстилали внутри оленьи шкуры и спальные мешки.

— Тут будете спать?— спросил он Петрова.

— Где же нам еще?— весело ответил геолог.— Приглашаю вас в свою палатку.

Палатка начальника партии стояла у самого огня.

Кэвэв не стал влезать внутрь спального мешка. Он улегся поверх и закурил свою трубочку.

Мысли мешались в голове. Он искал в душе обиду и досаду на этих ребят — и не находил. Да и думал он сейчас о другом. Он догадывался, что группа Петрова из тех, что будут строить новую автомобильную дорогу через всю лесотундру на новые прииски. О них часто говорили по радио.

Наутро старик поднялся раньше всех. Легкий ветер шевелил невесомый белый пепел на кострище. Чайник и ведро стояли холодные.

Поколебавшись с минуту, Кэвэв взял топор, вынул из оставшейся поленницы чурку и принялся настругивать растопку.

Когда занялся огонь и затрещали дрова, изыскатели начали просыпаться.

Из палатки вышел Петров, увидел Кэвэва, хотел что-то сказать, но промолчал.

А старик тем временем подвесил чайник, натопил снеговой воды для утренней каши.

— Ребята, подъем!— скомандовал Петров.

Изыскатели выходили из палаток и радовались большому жаркому костру. Кэвэв охапками носил дрова, валил в огонь и с какой-то отчаянной веселостью покрикивал:

— Давай! Давай! Огонь, гори! Вари кашу, вари чай!

После завтрака изыскатели принялись рубить дрова. Старик работал вместе с ними, носил расколотые чурки к поленнице и аккуратно укладывал их.

— Морозом быстро их высушит,— говорил он.— К весне как раз будут годны.

— Да ты что!— Петров даже остановился.— Не собираешься же ты весной помирать!

— Не собираюсь,— деловито ответил Кэвэв.— Зачем собираться! Пенсия теперь у меня хорошая, живу со старухой. А дрова пусть все-таки про запас будут.

К полудню, когда изыскателям надо было отправляться дальше, весь дровяной запас старика был восстановлен.

Тепло попрощались и погрузились на вездеход. Кэвэв долго смотрел ему вслед. В селение возвращаться

не хотелось. Кэвэв решил заглянуть в свою охотничью избушку.

Избушка так была скрыта среди деревьев, что ее мог отыскать разве лишь сам хозяин. Дверь занесло снегом, и пришлось порядочно поработать, чтобы откопать вход.

Приведя в порядок домик, Кэвэв остался проверить старые пасти и ловушки, поставленные на пушного зверя.

На третий день он почувствовал, что достаточно силен и бодр, чтобы провести в тайге еще один охотничий сезон.

К концу недели он услышал урчание вездехода и направился на его звук. Кэвэв ожидал увидеть Петрова, но это были другие люди. Они стали лагерем там же и снова жгли его священные дрова.

— Здравствуй, дед,— поздоровался обросший до самых ушей золотистой бородкой парень.

Он выпростал из рукавицы большую ладонь и подал старику.

— Твои дрова?

— Мои,— кивнул Кэвэв, но не стал рассказывать, для чего они предназначены.

— Не волнуйся, мы заплатим,— сказал бородатый.

Утром старик принялся восстанавливать поленницу. К вечеру, закончив работу, он услышал знакомый звук вездехода.

Молодая девушка, оказавшаяся, на удивление, старшей в этой группе, весело захлопала в большие рукавицы и крикнула своим спутникам:

— Глядите! Добрый дед-мороз приготовил нам дрова! Айда варить кашу и кипятить чай!

Кэвэв молча, вместе со всеми носил дрова к костру, пил чай и улыбался на благодарные слова.

Теперь старику потребовалось два дня, чтобы восстановить запасы дров.

Потом появились еще две группы, которые тоже пришлось обогревать.

А тем временем по таежным партиям большой комплексной экспедиции пошел слух о чудно́м старике, который готовил дрова для проходящих групп, щедро делился огнем с замерзшими путниками.

Эти слухи дошли до Петрова, и он навестил старика.

— Здравствуй, Кэвэв!— сказал изыскатель, вылезая из кабины вездехода.

— Здравствуй, Петров,— ответил старик.

Он похудел, но выглядел бодрым и здоровым.

— Как твои запасы дров?

— Держу наготове,— коротко ответил Кэвэв.

— Слышал я, что делишься священными дровами с моими людьми?

— Пусть греются,— тихо сказал Кэвэв.— Мне приятно.

— Но тебе же нужно иметь свой запас?

— Живым людям нужнее.

— Смотри, Кэвэв,— задумчиво произнес Петров.— Хочешь, оформим тебя на работу?

— Разве это главное?

— Главное не главное, а порядок нужен. Будешь у нас хранителем огня.

— Хорошо,— согласился Кэвэв.

Так и живет до сих пор на границе тундры и леса старый керек Кэвэв. Дрова у него всегда есть, и любой путник — будь то изыскатель, геолог, охотник — знает, что в этом квадрате обширной корякской тундры они всегда найдут тепло священных дров, костер жизни.

ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ

* * *

Марине

На Неве живем —
островитяне.
Здесь гранит, и волны,
и трава.
В грусть ли,
в радость,—
если вас потянет,
приезжайте к нам на острова!

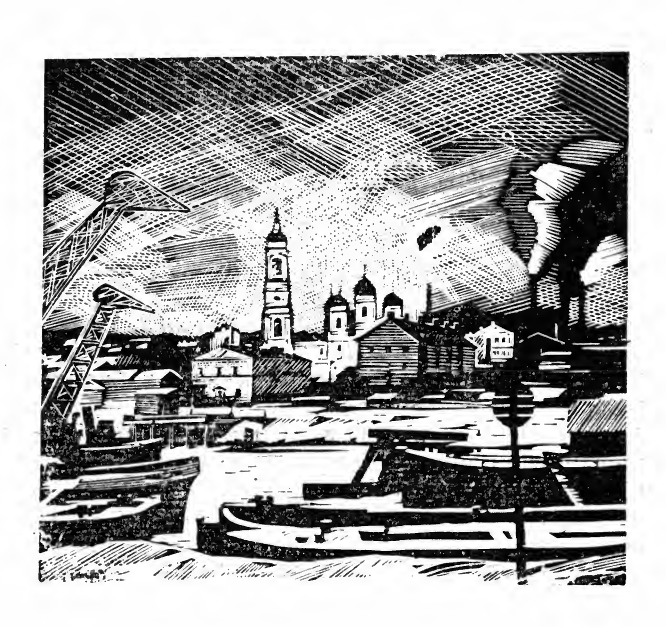
Пусть уйдут печали!..
Хлебом-солью
встретим, словно сына или дочь.
Будет плыть над вами невесомо
белая,
серебряная ночь.

И бродите,
ощущая остро
жизнь...
Пусть околдуют соловьи!..
Город мой...
Блокадный голод...
Остров...
Остров жизни,
мужества,
любви!
Город мой,
твой полдень
или полночь —
все во мне,—
как смех и плач детей.
Пусть всегда простое слово «помощь»
будет в обиходе
у людей,

Потому что все —
                    островитяне,
хоть и не у каждого
                    Нева...
В общем,
если здòрово потянет,
приезжайте к нам —
                    на острова.

АНДРЕЙ УШИН

«Рабочая Нева»



ЮРИЙ ПОМПЕЕВ

Этой силы частица

Очерк

Он был подобен кедру, отличаясь редкой красотой крупно вылепленного лица и рук, мужской статью и стройностью, поразительной живостью глаз, а в них — доброта и пытливость. И — музыкальностью. Каким звучным баритоном выводил Чуев «По диким степям Забайкалья», ненавязчиво дирижируя за праздничным семейным застольем...

В седьмом цехе, крупнейшем на Балтийском заводе, вы услышите сегодня при всяком серьезном деле, при оценке любого поступка: по-чуевски или не по-чуевски.

— У меня учитель, знаете, был великолепный,— волнуется Сергей Смаев, комсомолец, один из сотни чуевских выучеников.— Я у него подсобным начинал. На этом самом станке.— Волнуется Смаев, потому что прикоснулся к чуевской жизни, беспокойной, незаурядной...

Перенял он и чуевскую рассудительность:

— Сейчас довольно часто вопрос ребром ставят: хотели бы вы, чтобы ваш сын стал, как вы, рабочим?.. Ничего не имею против. Главное в жизни — найти себя. На любом месте. И на этом — тоже.

Делится задуманным, с чуевской же суеверностью не раскрывая деталей:

— Есть у меня одна техническая затея. Пока не скажу какая. Секрет. Но кое-что с товарищами как будто бы нашли.— И связывает свою жизнь, избранное дело с непрерывной цепью времени и судеб:— Это, вообще говоря, традиция. Токари в нашем цехе много разных приспособлений придумали и внедрили. А на чуевском станке — больше других.— И в этом самом месте — горячая признательность:— У меня учитель, знаете, был великолепный...

Давайте раскроем светло-коричневую, почти полувековой давности, папку с выцветающими строками. Тут внешняя канва жизни А. В. Чуева.

Поступил на Балтийский завод 3 марта 1934 года,

то есть на третий день после того, как отметили Леше Чуеву день рождения: 16 лет!

Через год — распоряжение по заводу: гостехэкзамены сдал на «отлично». Что ж, начало хорошее.

Февраль 1938 года. Папанинская эпопея. На Балтийском заводе снаряжали мощный ледокол «Ермак». Чуев сорок часов не отходил от станка. Обед и ужин приносили прямо на рабочее место. Точил он болты для крепления руля, каждый более пуда весом, точность же — три сотых миллиметра. 9 февраля «Ермак» вышел в море.

30 апреля 1941 года — премируется «за досрочное окончание работ по заданию мастеров». И тут — загадка: каких работ? каких мастеров?..

Война занимает одну строку: «старший авиамеханик отдельной эскадрильи истребительного авиаполка».

Дальше вклеена послевоенная заметка из многотиражки «Балтиец» от 14 мая 1949 года: «Один из лучших стахановцев механического цеха. Нормы выполняет на 270—280 процентов. Тов. Чуев ставит на изготовленной им продукции личное клеймо и сдает ее без предъявления ОТК». Вон когда завоевал он *личное* клеймо!

В пятидесятые годы — благодарности и премии от министра. В характеристиках: токарь-валовик, вырос до высококвалифицированного специалиста, новатора; применял новшества и добился обработки особо сложных крупногабаритных изделий на повышенных скоростях; скромный, трудолюбивый работник; передает богатый производственный опыт; член парткома завода; поручается обработка наиболее сложных и ответственных валопроводов, дейдвудных устройств и рулей... Рекомендуется для поездки на теплоходе вокруг Европы. Принципиален и прямолинеен.

Январь 1960 года. Министр поздравляет токаря Чуева с трудовой победой при строительстве головного танкера «Пекин». Тогда же Алексей Васильевич занесен на районную доску Почета «за активное участие в партийной жизни завода и Ленинграда».

Чуть позже записано в приказе: токарная обработка гребного вала для танкера типа «София» выполняется им за 46 часов при норме 74 часа; это «наиболее высокая производительность труда в современном судостроении».

1962 год — А. В. Чуев назначен членом жюри Международного соревнования молодых токарей...

Через год — министерская премия «за участие в создании и за внедрение приборов для измерения резьб и конусов без применения объемных калибров».

Последнее обстоятельство кратко уточняет Анатолий Михайлович Мотовилов, нынешний начальник седьмого механосборочного цеха:

— Объемные калибры нас всех измучили. Цех забит был этой чугуниной.— И тут же неожиданно, неподдельно вздыхает:— Какого токаря потеряли!..

Итак, просмотрев внимательно личное дело, не узнаешь таких знаменательных фактов, как, например, тот, что Алексей Васильевич Чуев — дважды Герой Социалистического Труда, что ему первому среди рабочей гвардии Ленинграда был установлен бронзовый бюст в Московском парке Победы. Это был памятник рабочему-токарю в городе, прославленном скульпторами всемирно известных титулованных особ. Не обнаружите вы и сведений об избрании Чуева в Верховный Совет СССР в течение двух созывов, об участии его в работе XXV съезда нашей партии, где он выступил с последней в его жизни речью. И многого, многого другого.

И это, видимо, вполне естественно, потому что жизнь токаря Чуева удивительно многогранна. Зато отзвуки, следы этой жизни запечатлены в молве, заводских легендах, в устойчивых оценках: «по-чуевски»,— «не по-чуевски»,— и в газетных, конечно, строках, и в написанной им книге, верстку которой он успел вычитать и подписать,— «Путь корабела». Да и в этом же личном деле, где сохранена последняя по времени его автобиография: «Я — рабочий, профессия — токарь по обработке крупногабаритных гребных валов для кораблей. Я со своей бригадой работаю на уникальном токарно-валовом станке. Ведем обработку гребных, промежуточных, упорных валов для новых судов. Детали эти весят до шестидесяти тонн. Но не в весе дело. Точность требуется идеальная. Малейшая оплошность может принести огромные убытки, сорвать программу целого коллектива судостроителей...»

А вот иной документ, оставшийся в протоколах конференции Межпарламентского союза в Тегеране. Лето 1966 года. Чуев недавно закончил обработку гребного вала для атомного ледокола «Ленин», после болезни бросил курить, улыбался друзьям: «Без перекуров обхо-

жусь...» На той конференции депутат советского парламента Чуев чувствовал себя уставшим, рвался домой: успеть бы на спуск первого атомного ледокола в мире... Но он услышал выступление представителя Ирландии, господина Макинти. Тот называл США «спасителем свободного мира во Вьетнаме», оправдывал цели НАТО, возлагал на этот блок надежды «свободного человечества». Нашу страну называл «агрессором», обливал грязью.

Услышав такое, Чуев напрягся, попросил слова и вышел на трибуну, бледный, рослый, решительный.

— Я, русский рабочий, депутат советского парламента, хочу сказать и скажу, что мы, трудящиеся Советского Союза, думаем насчет военных агрессивных пактов. Вы знаете, что советский народ умеет защищаться, когда на него нападают. Я, как и другие члены нашей делегации, с оружием в руках встретил фашистских захватчиков, и мы вместе с нашими союзниками по антигитлеровской коалиции били их до тех пор, пока гитлеровская Германия не развалилась. Я был тогда военным летчиком, господа... Я не могу не реагировать на те выпады, которые сделал в адрес нашей страны министр Макинти из Ирландии, позволивший себе облить грязью мою Родину, отдавшую двадцать миллионов жизней ради спасения Европы от фашистской диктатуры. Господин Макинти сказал, что — человек это агрессивное животное. Ну что ж, вероятно, эта оценка подходит к тем кругам, в которых вращаются правители Ирландии — страны, входящей в НАТО. Но мы относимся к человеку иначе. «Человек — это звучит гордо»,— говорил наш писатель Горький. Человек хочет мира, и ради мира и счастья он готов своротить горы. Ради мира и счастья, а не ради войны и горя!.. Давайте заниматься делом, господа, а не повторением истрепанных басен в духе холодной войны.

Этим закончил он свою речь. Говорил, как всегда, убедительно, быстро, но очень четко: дикция безупречная. Делал акценты на главных положениях, выводах: «Ради мира и счастья, а не ради войны и горя!» Говорил взволнованно, долго не мог успокоиться. Ничего он не мог делать равнодушно.

Такие слова и сегодня вправе повторить любой советский рабочий. Потому что заявлено прямо, без обиняков. Потому что выстрадано сердцем и всей жизнью. Сказано по совести, что и значит как раз — по-чуевски.

Семья Чуевых была многодетной. Сначала сестры шли: Клава, Мария, Ольга, Антонина. И за ними — сын Алешка. Отец — кормилец. Жили дружно. Комнатка в четырнадцать квадратных метров. Рассаживались вечером за столом у кастрюли борща, под лампочкой в двадцать пять свечей. Отец любил домашнее чтение: Войнич, Джованьоли, Жюль Верн, Майн Рид. Начинал же с «Красной газеты», она ярко освещала рабочую жизнь. Соседи называли Василия Никитича за прямоту его суждения «прокурор». Умел говорить правду, боролся за нее, не боялся нажить врагов. Даже когда другие молчат. Молчат или рассуждают: «А что, мне больше всех надо? Скажешь правду — затирать начнут. Себе дороже». Ненавидел эту обывательскую мораль. «С семнадцатого года,— восклицал,— вытравляем и все вытравить не можем». Потому и называли, видно, старшего Чуева «прокурор».

От отца, конечно, с малых лет вынес Алексей Чуев единство убеждений и поступков. Чтоб пригнаны были слово твое и дело без малейшего зазора. Не обязательно, понял он юношей, идти в бой на кулаках или на ножах. Бой может случиться словесный, принципиальный, но он требует не меньшего мужества, прямоты, убежденности. Только такой человек и заслуживает уважения, особенно в цехе, в рабочей спайке, где все друг у друга на виду. Цех — это не вокзал. Здесь знают, кто есть кто. Это не проходной двор.

Вспоминал ли он отцовские рассказы, формулируя по-чуевски весомый вывод о чувстве рабочей ответственности за слова и поступки? Не знаю. Знаю лишь, что он их помнил. И нить этой связи не прерывалась, на нее нанизывался каждый день чуевской жизни. Убеждает в том такое признание Алексея Васильевича:

— И на собраниях, и среди товарищей привык говорить, что думаю, прямо и нелицеприятно. Люди не обижаются. А если и осердятся поначалу — придет время, поймут твою правоту, не осудят за честность. Наоборот, станут больше уважать, прислушиваться к твоему мнению, приходить за советом...

Василий Никитич на трубочном заводе работал одно время вместе с Михаилом Ивановичем Калининым.

— Почему, думаешь, рабочие шли за Михайлой Ивановичем?— наставлял он сына за домашним столом.— Потому что говорил красно?.. Издавна известно, что народ уважает умелого труженика. Ведь где труд,

там и правда. А любовь к труду у людей на виду. Михайло-то Иванович был токарь — дай господь каждому. И мне и тебе, сынок. А кто в работе силен, тому и веры больше. Народ в том не обманешь...

И этот отцовский наказ он безотчетно впитал, усвоил. Не переносил шумихи, афиширования. Ночи просиживал над чертежами и схемами — отнюдь не ради дипломов и авторских свидетельств. Когда в последние годы жизни Алексея Васильевича Чуева принимались перечислять: депутат, делегат, член Совета, председатель,— он морщился:

— Стоп. Прежде всего я — рабочий. Начальник цеха как-то мне в шутку, но очень правильно сказал: «Алексей, можешь сколько угодно заниматься общественной работой, но чтоб валы всегда были в срок...» Я и «козла» люблю забить. Когда делать нечего, почему и не постучать костяшками. Но такого что-то не помню, чтоб делать было нечего. Не упомню такого.

После награждения Чуева второй Звездой Героя один молодой рабочий спросил у него:

— Неужели вам теперь не предложат какой-нибудь государственный пост? Неужели так и останетесь токарем?

Он сатанел от таких вопросов. Показывал на площадку суппорта, словно на капитанский мостик:

— Вот это мое рабочее место у станка и есть самый высокий, самый ответственный государственный пост.

Известность же — не аванс на бессмертие, а всего лишь ответственность. Любимое слово Чуева. Прежде всего — ответственность. И обязанность сделать значительно больше того, что уже сделано.

Он это *так* понимал.

Высокие награды и почести не избаловали Алексея Васильевича. Оставался таким же сердечным, свойским, готовым в любую минуту помочь и знакомому и незнакомому. В меру сил своих. А они были немалые. Его называли «Шостакович токарной профессии». Чуевскую работу и сегодня узнают по стилю, как по абзацу — произведение крупного писателя. Разбирая известный случай, когда в 21 год математик стал доктором наук, в цехе заметили: в 21 год право работать на чуевском станке не получить. Для этого надо быть Чуевым.

Именно потому Алексей Васильевич Чуев и заявлял:

— Мой главный государственный пост — у станка.

Я прежде всего рабочий человек и никогда не забываю об этом.

А как же общественная работа? Ведь профессия — не самоцель...

— Общественную работу, какой бы важной и ответственной она ни была, я никогда не выполняю в ущерб основной. Да и как я своим товарищам в глаза посмотрю, если они за меня работать станут? Мы ведь трудимся на один наряд, одно дело делаем,— тут каждая трудовая минута на счету. Приходится меняться сменами либо потом свои часы отрабатывать. Это принцип непреложный. Мои товарищи — они ведь сами меня выдвигали — с пониманием относятся к моей общественной занятости, всегда стараются пойти мне навстречу. Знают: я их тоже не подведу...

Думается, что авторитет отца, Василия Никитича — он погиб в декабре 1941 года, в блокаду, на Балтийском заводе, отстояв за станком четырнадцать часов,— незримо сопутствовал Чуеву. Алексей Васильевич счастливо ощущал себя как бы звеном в неразрывной цепи, по которой передаются от отцов к сыновьям и мастерство, и отточенные традиции генетических пролетариев, и незаемное чувство личной ответственности за все происходящее вокруг. Это и есть наше нравственно-трудовое наследство. Крупнее богатства не бывает.

При выборе профессии он никаких сомнений не испытывал. Почему? В рабочих семьях сын наследовал профессию отца. Как правило. В чуевской породе фамильной специальностью было токарное дело. И завод он не выбирал: отец уже двадцать лет был балтийцем. Научил сына различать голоса гудков всех василеостровских заводов, но с особым значением заставлял вслушиваться в басовитый протяжный гуд Балтийского судостроительного. Рассказывал о первой броневой канонерке «Опыт», о первой отечественной подводной лодке, о двигателе для самолета Можайского. Да только ли это было создано руками балтийцев! А крейсер «Рюрик»! Он вызвал восторг специалистов еще в прошлом веке, когда показался на рейде города Киля, на параде боевых кораблей передовых стран мира в связи с открытием Северного канала. Крейсер «Рюрик» тогда же и окрестили «жемчужиной кильской эскадры».

Так что похлопотал отец (приходилось хлопотать), и взяли Алешку Чуева сразу после семилетки на учебу в двухгодичное ФЗУ. Руки о верстак пачкал,

чтобы были они как у настоящего токаря: обгонял время. В заводском училище основательно готовили по математике, технологии металлов, прививали умение безошибочно разбираться в чертежах. Многие не раз удивлялись тому, как токарь Чуев в уме, по всем правилам инженерного искусства, высчитывал температурную, пространственную усадку обрабатываемых валов, без обязательных, казалось бы, формул и эскизов. Математическое мышление, пространственное воображение, помноженные затем на пристальный опыт, вырабатывались-то за партой ФЗУ.

Особенно популярной среди ребят была игра: по звуку определить, что за станок работает. Такая игра включала их в симфонию звуков трудового дня.

3 марта 1934 года, окончив ФЗУ, попал Алексей Чуев в седьмой механический цех Балтийского завода. Тут же работал и отец, который мог бы взять мальчика подручным именно к себе. Но и тут существовала неписаная традиция: к себе — нельзя, нужно — к друзьям.

— Анатолий Дмитриевич,— обратился отец к пожилому мастеру Бессонову (погиб в народном ополчении осенью сорок первого на Лужском рубеже),— будь добр, возьми моего сынишку на свое попечение. Век благодарен буду.

При этом — чуть заметный даже поклон, тоже по ритуалу. Хотя договаривались-то заранее, что и как, но такая сцена нужна была не столько им, ветеранам, законным рабочим, сколько новичку. Тут уж не смотри: сын, не сын — обряд таков.

Станок оказался высоким, до суппорта не дотянуться. Отец принес подставки. Молча постоял, ушел. Огляделся Алексей. Все вроде понятно· коробка скоростей, привод от трансмиссии. Можно выжимать до четырехсот пятидесяти оборотов в минуту. Тогда эта была скорость. Бессонов раскрыл шкафчик. В нем, как в шкатулке, подобраны резцы, сверла, метчики, цанги, угольники, крепеж, мерительный инструмент.

— Станок для нас, токарей, кормилец,— запомнились первые слова бородатого токаря Бессонова.— Станок любит ласку и смазку...

И тут же, особо не мешкая, без назиданий выдал мастер первое задание: выточить сальник для судовой арматуры. Разобрался Алексей в чертеже, понял сразу, что работа — ответственная, в училище было попроще. Требовалось установить заготовку точно по плоскости,

обточить по скобе, чтобы размер был правильным, расточить отверстия по калибру, сделать еще несколько операций, и, конечно, все это в нужном соответствии с чертежом и классом точности.

Пустил станок, начал, закусив в волнении губу.

Бессонов посмотрел его работу перед обедом, проверил размеры штангенциркулем, сказал:

— Не зря тебя в ФЗУ учили. Но такую работу, Алексей, токарь должен делать вдвое быстрее.

И пригласил обедать в *партию* токарей. Так тогда говорилось. Честь для начала высокая.

С первого дня началось освоение им скорости. Сначала — неосознанное, по толчку мастера, а после — вошло в привычку, в каждодневное сражение за скорость обработки металла.

— Я никогда не гонялся за заработком,— объяснял Алексей Васильевич,— хотя, естественно, хотелось мне лучше одеться и больше денег давать на семейные расходы. Но я знал, что заработок придет сам, если овладеешь профессией.

Что задержалось в памяти из тех первых лет? Цех — полутемный, в окнах кой-где фанера, полы деревянные выщерблены, оборудование тихоходное. Завтраки у своих шкафчиков или партиями на рабочих местах: ни бытовок, ни буфетов.

Первая серьезная похвала запомнилась. Было так. Точили гребные валы со съемными лопастями для ледокола «Красин». За этим заказом следил сам Серго Орджоникидзе. А Чуев прочитал в «Морском сборнике» рассуждения адмирала С. О. Макарова, по чертежам которого был построен в начале века первый в мире ледокол «Ермак»: «Дело ледоколов зародилось у нас, в России. Ни одна нация не заинтересована в ледоколах столько, сколько Россия. Россия природой поставлена в исключительные условия: почти все ее моря замерзают зимой, а Ледовитый океан покрыт льдом и в летнее время. Если бы Ледовитый океан был открыт для плавания, то это дало бы весьма важные выгоды».

«Красин» оказался первым ледоколом Алексея Чуева. Валы пришлось обрабатывать резцом из твердого сплава, на больших скоростях. Принимал их представитель Морского регистра СССР. Дело в том, что в судостроительной промышленности всех стран есть организации, стоящие на страже безопасности мореплавания, а значит, и высокого качества любой корабельной дета-

ли; в нашей стране — это Морской регистр СССР. Осмотрев целиком обработанную лопасть, представитель сказал:

— Смотрите — пацан, а так красиво сработал!

И поставил круглое клеймо с государственным гербом СССР посередине. Этот герб и оказался высшей похвалой — после расписки цехового ОТК треугольным клеймом, после квадратного штемпеля мастера и прямоугольного автографа начальника цеха. Герб стал знаком рабочей совести.

И пришло время, когда весной 1938 года Бессонов сказал отцу Чуева:

— Василий Никитич, у твоего сына в руках профессия.

Алексей получил тогда шестой разряд, а вместе с ним признание отца:

— Теперь уже не ты должен посматривать на мою работу, а я — на твою.

У отца разряд был пятый.

— Рос среди заботливых, умелых, самоотверженно трудившихся людей,— с присущей ему добротой и признательностью подытоживал Алексей Васильевич свою довоенную пору жизни,— и не мог быть только исполнителем...

22 июня 1941 года Чуев работал в ночь; к полудню успел выспаться — дело молодое — и поспешил на стадион, где сражались известные в ту пору футбольные команды — Балтийского завода и «Красной зари». Игра только началась, когда из репродуктора разнеслось: «В четыре часа утра, без каких-либо претензий, без объявления войны... напали на нашу страну».

Чуев подобрал обрывок газеты, чтобы вытереть запыленные сандалии, и в глаза бросился заголовок: «Миномет — чудесное средство».

В цехе с первых дней организовали производство катков для гусениц танков. Алексея, молодого, здорового, забронировали.

Далее события развивались так.

4 июля в Горном институте выдавали военное обмундирование ополченцам Балтийского полка. Вместе с другими пришел в институт и Алексей Чуев.

— Вам придется идти обратно, на свое рабочее место,— сказал ему райвоенком, напомнив слова

А. А. Жданова о том, что войну выигрывают не только на фронте, но и на заводе.— Вы — токарь высшего разряда, специалист, должны быть заняты в цехе. Иначе не стали бы вас бронировать.

— Сидеть дома не могу, поймите! — выкрикнул Чуев и вырвал из своего военного билета красный листок брони. Не думал в ту минуту о доме, о близких, да и не предполагал, что станет с заводом, городом.

Не мог представить в тот солнечный день, что через пять месяцев, в декабре, отстояв блокадную вахту, скончается на заводе отец, Василий Никитич. Что вскоре не станет матери и старшей сестры Клавы...

Райвоенком же тогда рассудил здраво: из токаря, да такого упрямого, может выйти хороший авиамеханик. В них была особая нужда.

Алексей Чуев стал курсантом авиатехнической школы.

Техником был прекрасным. Достаточно сказать, что после войны ему настоятельно предлагали продолжить учебу в Военно-воздушной академии.

А в сорок втором, читая сводки, Чуев стремился на защиту родного города.

— Если уж хочешь бить врага,— сказал ему командир эскадрильи после очередного рапорта,— то надо бить его самому в небе, а не сидеть на ремонтно-эксплуатационной базе, готовя самолеты для вылетов. Воспользуйся тем, что ты отличник, просись в летное училище. Если пройдешь медкомиссию, тебе не откажут.

Отбирали в тот момент два десятка человек из восьмисот желающих. Чуева — взяли. Мечтая стать истребителем, попал, однако, в авиацию дальнего действия (АДД). Благодаря своему приличному росту. Кто-то из начальства решил, что рост летчика АДД обязательно должен превышать 173 сантиметра.

Обрел право летать. Сбрасывал бомбы на коммуникации и военные объекты противника, но на Ленинградский фронт так и не попал.

Больше того: окончилась война, а старшего лейтенанта Чуева не спешили демобилизовывать, перебросили на Дальний Восток. Там, на Сахалине, вглядывался он в высокие сопки, покрытые лесом и дикими виноградниками, в стремительные реки, в озера, полные рыбы. Но все это меркло перед тоской по семье, заводу, токарному делу. Война отгремела три года назад, а он попрежнему был в строю.

Летом 1948 года А. В. Чуев был, наконец, демобилизован.

В одном интервью его спросили:

— Не тоскуют руки по штурвалу?

В любом ответе он был не только откровенен, но и стремился к обобщению:

— Нет, представьте, не тянет меня к штурвалу. Тянул и всегда будет притягивать завод, токарное дело. С детства я к этому пристрастился. Тридцать пять лет уже в цехе, а работой своей не насытился. Она сродни родниковой воде. И выбрал я ее по любви. В токарном деле считаю себя полезнее, чем в любом другом, и лучшей доли для себя не ищу. Мне ведь не раз мастером предлагали стать, участком командовать доверяли. Не согласился. Меня от станка силой не оторвешь. А навязать человеку дело не по душе — он загубит его, а нелюбимое дело загубит человека... Есть у меня один знакомый (не стану называть его фамилии), так у него, помоему, вообще ничего не получится. Потому что нет у парня интереса к профессии, увлеченности делом, которое он выбрал случайно. Какой-то он вялый, медлительный. Все делает без огонька, по обязанности. Вечно на работу опаздывает. Далеко живу, говорит. А его сверстники во время войны с одного конца города в другой, голодные, полумертвые, на работу пешком шли. Но опоздать — никогда! Это было равносильно дезертирству, преступлению.

Так что не отделял себя Алексей Васильевич, служа в авиации, от сверстников, работавших в блокаду на ленинградских заводах. Не отделял.

Ответ же на вопрос о штурвале закончил так:

— У нас рабочих, что силой от завода не оторвешь, сколько угодно. Сам я дня без него прожить не могу.

...В июле 1948 года Чуев появился в отделе кадров Балтийского завода.

— И хорошо, что вернулись, нам военные люди вот как нужны, предлагаю должность...— быстро говорил ему человек во френче.

— Пойду к станку.

— Да как вы на нем будете работать-то? — вопрошал инспектор.— Ведь семь лет прошло, как резец в руках держали. Административная же работа вам, бывшему офицеру, вполне...

— Нет, хочу к станку.— Он мог быть на редкость упрямым.— И обязательно в цех, где трудился отец и я сам.

Вновь — полутемный седьмой механический. Многие станки еще разрушены. На Чуева равнодушно поглядывают незнакомые молодые люди. Стало тоскливо.

Вдруг из соседнего пролета донеслось:

— Чуев! Леша! Молодец! Живой!..

Бегут довоенные друзья-приятели Олег Стремилов, Иван Захаров, мастер Григорий Захарович Базилевич.

— Кто умел работать, будет работать! — только так и могли высказаться хорошо знавшие Алексея Васильевича довоенные товарищи.

Так и случилось. Уже через полгода на чуевском станке красовался вымпел токаря-скоростника. Он трудиля как бы и за отца, и за токаря Бессонова.

С юности Алексея Васильевича увлекли станки-великаны, на люнетах которых свободно крутились блестящие валопроводы строящихся балтийцами лесовозов, танкеров, ледоколов, пассажирских судов. Для работы на таких станках нужно было овладеть вершинами мастерства, а Чуев именно к этому и стремился.

Послевоенное отечественное судостроение набирало силу.

В углу правого крыла седьмого цеха стоял огромный станок, выведенный из строя в дни блокады. На поверженного великана махнули рукой: практически металлолом. Осколки бомбы пробили чугунное основание и нанесли тяжелое увечье многим частям станка. Металл — клочьями. Больно глядеть было на израненного гиганта длиною в сорок шагов и высотою с двухэтажный дом.

Чуев обходил его каждый день. Осматривал заботливо, как хозяин, выстукивал внимательно, как врач.

Что сказать?

Станок-инвалид был восстановлен стараниями и под руководством Алексея Васильевича. Он приспособил к нему новую, современную схему управления и снабдил всеми новинками скоростного резания. Ответной силой, несравнимой с проектной мощностью, станок удивил авторитетнейшую комиссию. Люди прогуливались по его станине, как по улице.

Чуев не только отладил станок, но и проработал на нем двадцать лет, пока не появился чехословацкий уникум. Но бывший инвалид и по сей день в строю. На

нем работает талантливый чуевский ученик Валентин Волков.

Обращался Чуев с «Большим Вальдрихом» (так называют обновленный им станок) властно. «Большой Вальдрих» стал дорог токарю, как солдату — любимое оружие. Именно на этом станке вместе со сменщиками Г. А. Брейкиным и В. А. Ивановым он выточил многотонные валы для атомохода «Ленин», для научно-исследовательских судов Академии наук СССР. Движители целой флотилии вращались в центрах возрожденного к жизни станка.

Именно здесь овеществлялась пытливая мысль и рабочая дерзость токаря Чуева. Ограничусь двумя примерами, приведенными самим Алексеем Васильевичем.

— Гребной вал ледокола «Ленин» весил шестьдесят тонн, а наш станок был рассчитан на пятидесятитонные детали. Долго думали, как найти выход из положения, как же закрепить вал на «Большом Вальдрихе», чтоб не случилось радиального биения, при котором просто невозможна чистовая обработка. Совещались у главного инженера завода. Решили усилить задний центр станка, поставить дополнительный подшипник для лишних десяти тонн. Я предложил заменить обычные скользящие люнеты, поддерживающие вал от прогиба, на роликовые. Они представлялись мне в этой обстановке надежнее... Когда был включен станок, вокруг собралось много народа. Кое-кто даже оставил свою работу, чтобы посмотреть, как же поведет себя «Большой Вальдрих»... Станок загудел, огромный гребной вал из сверхпрочной стали начал набирать скорость. Медленно, осторожно подвожу резец. Из-под него побежала тончайшая стружка. Скорость оборотов — максимальная. Слой за слоем сходит металл. И вот поверхность вала заблестела, отражая бьющий из цеховых фонарей солнечный свет.

Два месяца длилась работа над этим главным и двумя другими валами атомохода «Ленин», и никто из чуевской бригады ошибки не допустил. На валах появилось главное клеймо, с гербом страны посередине — знак приемки Морским регистром СССР.

Но что истощало силы и терпение токарей, так это стружка. И как было не поднять руку на дедовскую технологию с помощью обновленного станка?!

— Как-то приехал к нам кинооператор,— рассказывал Алексей Васильевич,— подошел к станку, просит

дать стружку потолще и подлиннее — силу станка показать; уж очень эффектно, мол, все это выглядит. Но эффект и эффективность — понятия разные. Может, для непосвященного такая стружка красива, а для меня — нож в сердце. И металла больше уходит, и температурные напряжения выше, и качество работы хуже.

Отказавшись от того «эффектного» кадра, Чуев сосредоточил свое внимание на длинной сливной стружке, прозванной вьюном. Как она донимала токарей! Обволакивала вал, наматывалась десятками лент на резец, становилась просто опасной.

— Тут решение было найдено двоякое,— нашел я ответ у Чуева.— Во-первых, удалось найти такую геометрию резцов, которая предусмотрела слом стружки в момент ее образования. Во-вторых, мы придумали специальный наклонный лоток, прикрепленный к суппорту. Он следовал за резцом, не давая стружке падать под ноги токарю и на направляющие полозья станины. Стружка по лотку у нас скатывалась сама, по другую сторону станка, в бункер.

Весной 1963 года Алексею Васильевичу Чуеву было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.

Вскоре он стал преемником знаменитого кировца-путиловца Владимира Якумовича Карасева на общественном посту председателя Ленинградского совета новаторов (а насчитывалось их в нашем городе не менее двухсот тысяч человек).

— Моя жизнь сложилась так,— признавался Алексей Васильевич,— что почти все свободное время отдаю общественной работе. Теперь уж и не скажу, с чего она началась. Может, с заметки в стенгазете. Или с выступления на цеховом собрании. Бывает, и устаю, зато жизнь предстает во всей шири.

Ширь жизни открывалась и представлялась не только перед токарем Чуевым, но и перед теми, кто с ним общался.

Принимали они на Балтийском заводе группу зарубежных гостей. Один из них оказался инженером-судостроителем. Чуеву интересно было его слушать: знающий человек. Зашли они в седьмой цех, познакомились с чуевской бригадой.

— Все эти приспособления на станке придумали вы сами? — справился инженер.

— Кое-что сам, но многое позаимствовал из материалов секции токарей и городского Совета новаторов.

— Какого Совета?

— Новаторов. Ну, изобретателей, понимаете?

— Изобретателей — понимаю. Но для чего им Совет?

— Чтобы делиться опытом. Скажем, я нашел что-то полезное. Совет позаботится, чтобы это полезное переняли на других заводах. Понимаете? — терпеливо объяснял Алексей Васильевич.

Инженеру было совершенно непонятно, зачем такой орган: Совет новаторов? Другой мир, иная психология... А Чуев упрямо втолковывал:

— Мы жить без этого просто уже не можем.

Тот глядел на токаря и постигал удивительную ширь открывшейся ему жизни...

Чуев был академик среди токарей. И — гвардии рядовой рабочего класса. Как у всякого рядового, над ним немало командиров: мастер, старший мастер, технолог, начальник цеха. Многие из них по возрасту в дети годились Алексею Васильевичу. Деликатность в общении со всеми соблюдал он неукоснительно. Если «заносило» вдруг мастера по молодости лет, Чуев промолчит, слова на людях не обронит. Считал: авторитет человека подорвать легко, да и резкое слово надолго обидеть может. Выбирал момент и ненавязчиво, без укора советовал:

— На вашем месте я бы поступил не так.

Главным в словах прославленного токаря было не назидание — совет.

— Неужели он настолько незаменимый? — мог возникнуть и возникал такой вопрос не однажды.— Ну проявил себя человек в мастерстве, в лучшие попал, но неужели на нем весь завод держится?!

— Когда бригада Чуева обтачивала валы для «Сибири», на нее действительно смотрел весь завод,— вспоминает начальник цеха А. М. Мотовилов.— Если бы требовалось для дела, накрыли бы их стеклянным колпаком, чтобы ниоткуда не дуло, и вносили бы в цех на руках.

— А почему?— естественный вопрос возникает.

— Предполагалось для этого суперледокола заказать гребные винты за границей и там обработать. Алексей Васильевич настоял: справимся. Речь ведь шла

не об очередном уникальном задании, а о престиже цеха, завода, страны в целом.

Валы для ледокола «Сибирь» были воистину лебединой песней Алексея Чуева. На воду этот ледокол спустили в марте 1976 года, на старте десятой пятилетки, в дни работы XXV съезда КПСС.

На этом съезде Чуев выступал полномочным представителем ленинградского рабочего класса. Подумал о себе: коммунист, токарь, родился и вырос в Ленинграде. Многое повидал на своем веку. А что же главное вынёс? Чуев мог свидетельствовать: у истоков любого доброго дела, в котором участвовал и он сам, стояла партия. Именно она увлекала смелым планом, помогала советом, учила служить людям не за страх, а за совесть. Служить — у станка, на рабочем собрании, на депутатском приеме, на сессии в Кремле.

Думал, как устранить недостатки и достичь новых успехов. Ради этой цели не жалел ни времени, ни сил, не боялся никогда переработать и совершенно по-чуевски вопрошал себя: да и можно ли переработать на народ?!

В речи на XXV съезде Чуев высказал главное:

— Хочется работать так, чтобы не пропала даром ни одна минута. Сегодня цена различных недоработок, простоев иная, чем была десять лет назад. Если будет допущен простой уникального станка хотя бы на один час, завод недосчитает продукции на тысячи рублей...

За станком и за тысячами рублей стояло лично им пережитое, душевная боль и гордость за товарищей своих, балтийцев.

...За три недели до смерти Чуева ранним субботним утром в седьмом цехе раздалось:

— Вал запорот!

Около громады станка крутились люди, измеряли, всплескивали руками: что делать?.. До выхода «Сибири» в море оставались считанные дни.

Начальник цеха Мотовилов позвонил директору завода. Тот был на даче, сказал, вздыхая:

— Подождем до понедельника. Скандал, конечно, мировой. Будем заказывать новую отливку, что делать...

Суматоха в цехе усиливалась. И тогда Анатолий Михайлович Мотовилов решился позвонить Чуеву домой. Знал, что токарь болен, расстраивать его никак нельзя, но — позвонил.

Алексей Васильевич помолчал, медленно произнес:

— Через десять минут буду.

Придя в цех, к станку, он будто почувствовал облегчение. Пришло второе дыхание. Суматоха улеглась сама собой. Чуев все перемерил сам и сделал вывод: нарушение размеров от неравномерного перегрева частей вала. Соображал он, как всегда, быстро, расчеты производил в уме. Две смены не отходил от станка, никто его не смел потревожить в такое время, даже поздороваться не решались. Он будто слился со станком и валом. Работал не только резцом, но и шкуркой, даже шершавой своей ладонью. По ходу резца в отдельных местах легонько постукивал кулаком по станине. Он знал, в каких местах, на какую долю миллиметра она истерлась. Все он учел в своих расчетах...

Две смены понадобилось Чуеву, чтобы сказать:

— Вал готов, ребята. Приглашайте Морской регистр.

И ушел в больницу. «Своим ходом»,— уточняет Вера Евлампиевна.

— А что же он любил, кроме работы? — интересуюсь.— Не одной же работой жив человек...

— Любил собирать грибы, бродить по лесу...

Да, не жил он одной работой. Любил собирать грибы, бродить по лесу. Эти прогулки давали время для раздумий, помогали ему сосредоточиться. Он постоянно думал о совершенствовании обработки тяжелых валов, об инструменте, и это захватывало, приносило радость, когда токарь находил наконец удачное решение. Его слова:

— Сами искания бывают и трудными, и мучительными, но какая награда, какое испытываешь счастье, если задача решена!

Это счастье сравнимо лишь с познанием хорошей книги. «Без книги,— признавался,— не могу». Не пропускал ни одной повести, романа о Великой Отечественной войне: «О ней мы должны знать больше. И дети наши тоже. Вообще чтение, активный интерес к науке, искусству, к новейшим достижениям техники, медицины, биологии — просто необходимы». Был в этом отношении категоричен: «Без такого интереса человек неполноценен».

По дороге на завод каждый раз вглядывался Алексей Васильевич в золотой кораблик, венчающий шпиль Адмиралтейства. Это трогало его, как и другая примет-

ная черта родного города — силуэты судостроительных кранов.

В одном из выступлений перед художниками Чуев взволнованно признавался:

— Ваши произведения не только украшают нашу жизнь, но и открывают, должны открывать в ней черты, которые порой в суете, в суматохе не заметишь. Своими произведениями вы не только знакомите нас с жизнью человека, но и впускаете нас в сердце этого человека, в его душу...

Бывая на выставках, токарь Чуев встречался там с художниками и со своими товарищами по жизни, по профессии, которые стали героями их произведений. Случалось по-разному: то он узнавал этого человека, открывал в нем какие-то черты, а то и удивлялся — до чего невыразительно поведал о нем автор. Откровенность — он это чувствовал — не приходит по приглашению, ее надо завоевать. И когда она возникает, зарождается, то ее неосязаемые нити обязательно становятся видимыми — в картине ли, скульптуре, графике. Даже эскиз, набросок может дать правдивое представление о человеке, если художник почувствовал своеобразие личности своего героя, того, с кем он тебя хочет познакомить, чей мир раскрыть.

— Любое произведение художника,— заключал тогда Алексей Васильевич,— это своего рода окно, через которое он смотрит на мир, но это и окно, через которое мы, зрители, видим помыслы художника, его устремления. Сегодня мало быть бесстрастным летописцем событий, надо быть их исследователем.

В чем виделся ему смысл произведений о рабочем классе, вообще о людях труда? Показать пытливую мысль рабочего, его творческий поиск, страстную увлеченность делом, нетерпимость к фальши и мерзости. Считал важным не проходить мимо хамства в любых его проявлениях. «Ведь хамство — это не только грубость. Это и равнодушие к чужой беде, к чужой грубости, невнимание к женщине или ребенку, неуважение к старости».

Любил книги, в которых, по его словам, «правда нашей жизни, боль сердца и вера в рабочего человека, на котором держится вся земля».

Весной 1980 года многие ленинградцы следили за спуском на воду нового корабля. И набережные, и достроечная стенка заполнены людьми. Как любил и

сколько таких спусков пережил сам Алексей Васильевич Чуев!

Над стапелем разнесся радиоголос:

— Как твое имя, корабль?

— «Алексей Чуев»,— отвечают с кормы.

Эхо доносит с другого берега Невы: «Алексей Чуев...»

— Кто тебя строил, корабль?

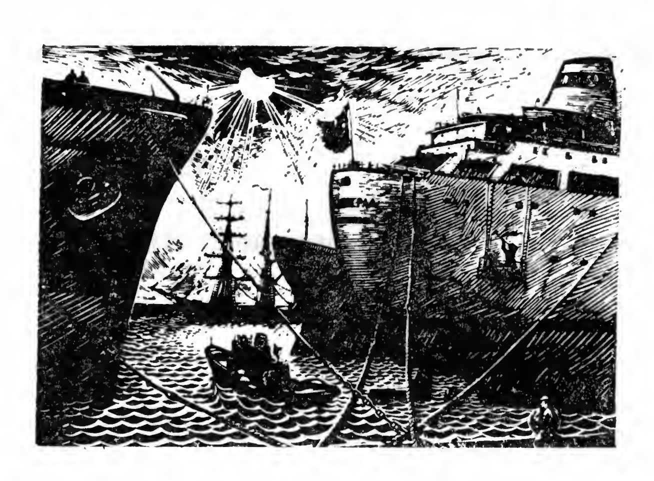
— Балтийцы и адмиралтейцы.

— С честью неси имя свое, корабль! Спуск разрешаю!

Разрезан задержник, и под звуки Государственного гимна СССР «Алексей Чуев» скользит в темную невскую воду...

ЛЕОНИД СОБОЛЬ

«Утро в порту»



ИЛЬЯ ФОНЯКОВ

На реке Да

В Северном Вьетнаме на реке Да (Черная) с помощью советских специалистов возводится крупнейшая в Юго-Восточной Азии гидроэлектростанция Хоабинь, что означает «Мир».

1

Как это все мне хорошо знакомо —
И контур недостроенного дома,
И груды развороченной земли,
И длинная ручища великана —
Строительного башенного крана,
Над крышами простертая вдали.

Все — как на Ангаре, на Енисее,
Вот разве только глина чуть краснее
Здесь, на большой тропической реке,
И, русских здесь узнав не понаслышке,
«Льенсо, льенсо!» — кричат мне ребятишки
И «здравствуйте!» — на русском языке.

Кругом ворчат сердитые моторы,
Смеются белозубые шоферы,
Сырую глину месит колесо,
И, к детворе испытывая нежность,
Острее ощущаешь принадлежность
К великому сообществу «льенсо».

Упорен землекопов труд ритмичный,
И колокол, отчасти необычный,
Им вечером «отбой» провозгласит —
Там корпус бомбы, некогда фугасной,
Уже давно пустой и безопасный,
На толстой перекладине висит...

2

Я вьетнамским друзьям объяснил без труда,
Что такое по-русски короткое «да»,

По-вьетнамски оно произносится: «ва» —
Очень схожи, как видите, эти слова!

«Да» у нас означает: «Согласен с тобой!»
Означает: «Готов на работу и в бой!»
И забыть не смогу я уже никогда,
Как любимая тихо сказала мне: «Да...»

А сегодня я в лодке стою на корме
И вот эти стихи сочиняю в уме.
И журчит за кормой, и бормочет вода
Величавой реки под названием Да.

Здесь поднимется ГЭС через несколько лет.
И заблещет ясней электрический свет,
В мощный ток превращенная сила реки
На заводах и фабриках двинет станки.

И на свете умножится слава тогда
Величавой реки под названием Да,
Над зеленой землей понесут провода:
«Миру — да,
солнцу — да,
человечности — да!»

БОРИС НИКОЛЬСКИЙ

Утренняя прогулка по Вашингтону, или Размышления на Арлингтонском кладбище

Очерк

Время идет, и тот день, о котором я собираюсь рассказать, все более и более отдаляется, уходит в прошлое, но тем не менее продолжает жить в моей памяти. Да и события, происходящие в нынешнем, сегодняшнем мире, не дают забыть впечатления того дня, заставляют вновь и вновь обращаться к ним.

Так случилось, что в тот день, один из последних дней нашего пребывания в Вашингтоне, я опоздал на туристский автобус. После завтрака я поднялся к себе в номер перезарядить магнитофонную пленку, а когда снова спустился в холл отеля, увидел, что никого из моих товарищей по туристской группе уже нет. Я выскочил на улицу, но и здесь, у подъезда отеля, никого не было. Не было и нашего автобуса с маленькой табличкой за лобовым стеклом, сообщавшей, что в нем путешествуют «soviet writers» — «советские писатели». Уже позже выяснилось, что в суматохе, в спешке, когда все рассаживались по своим местам в салоне автобуса, никто не заметил моего отсутствия, кого-то, наверно, посчитали дважды, сочли, что вся группа в сборе, и благополучно укатили. Но это я узнал позже, а тут я в растерянности и досаде топтался возле отеля, все еще надеясь, что, может быть, мои друзья заметят мое отсутствие, спохватятся и вернутся. Однако автобус не возвращался. И мне оставалось только всячески ругать себя за то, что я связался с магнитофонной пленкой, зачем, спрашивается, мне во что бы то ни стало понадобился магнитофон?..

Моя досада была вполне понятна, потому что я знал, что в этот день нашей группе предстояло побывать в Капитолии, в мемориале Линкольна и на Арлингтонском кладбище, где похоронен президент Джон Кеннеди,— одним словом, осмотреть самые главные достопримеча-

тельности Вашингтона. Нет, смириться с тем, что я уеду из Вашингтона, не увидев мемориала Линкольна, не побывав на могиле Джона Кеннеди, я не мог.

Не теряя времени, я решил действовать. Со своим знанием английского, со своим произношением, я не особенно рассчитывал на то, что сумею добраться до цели на обычном городском автобусе. К тому же я давно уже заметил: чтобы хоть немного почувствовать, узнать незнакомый город, самое лучшее — промерить его улицы собственными ногами. План Вашингтона, причем достаточно подробный, у меня был, я мысленно прикинул по нему свой путь: главное — выбраться на Двадцать вторую стрит, а там уже шагай себе прямо, никуда не сворачивая, не так уж, оказывается, и сложно. Правда, судя по плану, мне предстояло пересечь с севера на юг едва ли не половину города, но спешить теперь было особенно некуда, и я уверенно двинулся в дорогу.

Стояло ясное, осеннее утро, мягко пригревало солнце, улицы, по которым я шел, были по-утреннему чисты, тихи и пустынны. После Нью-Йорка с его небоскребами и трущобами Бауэри-стрит, после бесконечных автомагистралей Лос-Анджелеса, после гордящегося своими сверхсовременными фешенебельными отелями Сан-Франциско Вашингтон казался уютным и тихим. Здесь не надо было задирать голову, чтобы увидеть полоску неба,— оно просвечивало мягкой голубизной, солнечными бликами сквозь пожелтевшие листья деревьев.

И чем дольше я шел по этим улицам, тем сильнее охватывало меня ощущение покоя и умиротворенности. Есть в ранней осени с ее прозрачностью, с багрянцем опадающих листьев, с ее светлой задумчивостью нечто такое, что вызывает в душе особое состояние, когда радость мешается с легкой печалью и весь мир, вся земля, все люди вдруг начинают казаться такими близкими, такими бесконечно дорогими тебе. Это состояние я не раз испытывал у себя на родине, в России, именно ранней осенью, а теперь неожиданно оно явилось ко мне здесь, в чужом, незнакомом городе.

Пожилой, полный мужчина в комбинезоне сметал со ступеней, ведущих в особняк, опавшие желто-красные листья. Услышав мои шаги, он выпрямился и взглянул на меня. У него было загорелое, приветливое лицо. Он улыбнулся мне одними глазами — или, может быть, это только показалось мне? — но я пошел дальше, унося с собой эту улыбку.

Как легко, как славно шагалось мне в то утро!

И когда я вышел наконец к парку Конституции, к мемориалу Линкольна, я вовсе не ощущал усталости. По-прежнему светило солнце, и небо было все таким же ясным, голубым, оно отражалось в торжественной водной глади, идеально ровным прямоугольником протянувшейся перед мемориалом Линкольна. Среди аккуратно подстриженных газонов двое ярко одетых ребятишек с самозабвенной веселостью играли в мяч. Тут же, на траве, подстелив газету, спал старый негр. И даже вид этого, по всей вероятности, бездомного человека не смутил, не нарушил того ощущения безмятежности и покоя, которое владело мной. Казалось, и этому старому негру хорошо спится сейчас, здесь, под лучами осеннего солнца...

И от знаменитой белоснежной статуи Авраама Линкольна веяло величавым, даже чуть суровым спокойствием.

В молчании я постоял перед великим американцем и пошел дальше — к мосту, ведущему через Потомак к Арлингтонскому кладбищу. Мимо меня со стремительным шорохом пробегали редкие туристские автобусы, сверкнув, проносились легковые автомашины — пешеходов на мосту не было. Я шагал в полном одиночестве, и это тоже казалось удивительным — словно в странном сне или фантастическом фильме: огромное пространство моста и только один-единственный человек, шагающий по нему. Едва ли не в самом центре столицы я оказался вдруг один на один с небом, водой и солнцем. Как будто кто-то нарочно заботился о том, чтобы ничто не мешало мне предаваться собственным раздумьям, чтобы ничто не разрушило того настроения, которое не оставляло меня все это утро...

Мост кончился. Я подходил к Арлингтонскому кладбищу.

Оживленно переговариваясь, выбирались из автобусов иностранные туристы, шумно, целыми семьями, шли американцы, приехавшие, видно, сюда из других штатов. И все они наверняка устремлялись туда же, куда направлялся и я,— к могиле Джона Кеннеди. Это имя витало в воздухе.

Я свернул на боковую, пустынную аллею. Остались в стороне и постепенно затихли голоса туристов. Теперь вокруг царила тишина, такая глубокая и безмятежная, что даже шорох листьев под моими ногами не мог нарушить ее. И в этой тишине здесь, на кладбище, невольно дума-

лось о смысле человеческой жизни, о смерти и бессмертии, о невидимых нитях, которые связывают тех, кто жил до нас, с нами сегодняшними и с теми, кому суждено прийти после нас...

Какой-то негромкий звук, слабое шуршание отвлекло меня от этих мыслей. Впереди, среди деревьев, я увидел одинокую фигуру — седая, худенькая женщина, склонившись к аккуратному надгробию с невысоким белым столбиком, то ли украшала его цветами, то ли убирала высохшие листья. Она была так сосредоточена, так погружена в свои заботы, что не замечала меня.

Такие же чистенькие надгробия, такие же аккуратные белые столбики возвышались по обеим сторонам аллеи, терялись в глубине, среди деревьев. Я наклонился к одному из этих столбиков и на табличке разобрал надпись: имя, фамилия, дата рождения, дата смерти. Всего двадцать два года уместились между двумя этими датами. И чуть пониже — строчка: убит во Вьетнаме. Я шагнул к соседнему надгробию и снова прочел: убит во Вьетнаме. Взглянул еще на один столбик и опять: убит во Вьетнаме. И еще. И еще. Убит во Вьетнаме... Убит во Вьетнаме...

Так вот кто покоился здесь.

Здесь, под этими одинаковыми надгробиями, лежали американские солдаты, бесславно погибшие на земле Вьетнама. Тут лежали те, кому внушили, будто они призваны защитить цивилизацию от «коммунистической угрозы». Защитить с помощью бомб, напалма и отравляющих веществ. Защитить, убивая детей и женщин.

И сразу, мгновенно рухнула, исчезла, рассеялась иллюзия покоя и безмятежности. Какой там покой, какая умиротворенность! Запахом войны и тлена пахнуло вдруг на меня.

За что, во имя чего отдали жизнь эти парни? Что, кроме огня, насилия, смерти, принесли они на вьетнамскую землю?

Говорят: «Мертвые сраму не имут». Да, мертвые не ведают вины, не знают позора. Но живые, живые-то должны знать! Должны помнить!

Вокруг по-прежнему стояла глубокая тишина, и желтые листья все так же задумчиво и бесшумно опускались на землю, но меня вдруг потянуло быстрее уйти, выбраться отсюда, из этого лабиринта ровных белых столбиков, неотличимых друг от друга надгробий. Однако я

продолжал стоять перед этими столбиками, продолжал вглядываться в них...

А мысленно я видел иные могилы, иное кладбище. То кладбище открыто всем океанским ветрам, оно раскинулось высоко над городом, на сопке. Там, на морском кладбище во Владивостоке, спят вечным сном советские моряки Николай Рыбачук и Юрий Зотов. Два этих человека, наверное, даже не знали друг друга и в море выходили на разных судах, но теперь здесь лежат почти рядом, ибо разделили одну и ту же судьбу. Красные пирамидки со звездочками поднялись над их могилами: «Убит во время бомбежки теплохода американскими агрессорами в порту Камфа». Не щадя своей жизни, эти люди спешили на помощь истекавшему кровью вьетнамскому народу, героически отражавшему натиск жестокого и сильного врага.

Да, могилы могилам рознь. Одни молчаливо свидетельствуют о позоре и бесчестии, другие хранят память о мужестве, самоотверженности и человеческом благородстве.

Вот о чем думал я в те минуты, стоя на пустынной аллее Арлингтонского кладбища.

Мимо меня неслышно, словно бы невесомо, прошла седая женщина — та самая, которую я только что видел возле одной из могил. К кому приходила она, о ком вспоминала, о ком плакала?.. О муже? О брате? О сыне?..

...Могилу Джона Кеннеди я нашел без особого труда — к ней и правда стекались люди с разных сторон. Щелкали затворами фотоаппаратов туристы, вели свою отшлифованную скороговорку гиды. Маленький мальчишка, привычно перекатывая во рту жевательную резинку, по складам разбирал строки, выбитые на каменной полированной плите. Это были слова, произнесенные Джоном Кеннеди в одной из его речей. Я не ручаюсь за дословную точность перевода, но смысл их сразу запал мне в душу, остался в памяти:

«Не спрашивай у Америки, что она сделала для тебя, спроси себя — что ты сделал для Америки? Не спрашивай у мира, что он сделал для тебя, спроси себя — что ты сделал для мира?»

Хорошие, справедливые слова. Потом я не раз мысленно повторял их, вслушиваясь в их звучание. Они звучали торжественно, как стихи. Что ж, американским президентам нельзя отказать в умении произносить речи. Если бы только их дела не расходились с речами. Если

бы только те, кому сегодня принадлежит власть в Вашингтоне, действительно следовали бы словам, выбитым на могиле Кеннеди, если бы...

Джон Кеннеди знал, что такое война, в годы борьбы с фашизмом он был храбрым офицером. Может быть, именно поэтому многие люди в нашей стране с искренней симпатией относились к этому человеку. Я помню, как были мы потрясены известием о покушении на него, известием о его смерти.

Мир до сих пор не получил ответа, кто же был истинным убийцей президента. Тайна убийства Джона Кеннеди, тайна заговора до сих пор не раскрыты. По одной из версий нити заговора тянутся к кубинским контрреволюционерам, к мафии, к самым оголтело-реакционным кругам страны. По этой версии Джон Кеннеди заплатил собственной жизнью за то, что недостаточно решительно поддержал тех, кто стремился силой задушить кубинскую революцию, свергнуть народное правительство. Впрочем, повторяю, это лишь одна из версий. Всякий раз, едва только предпринималась попытка серьезного расследования, гибли свидетели, внезапно умирали или исчезали люди, хоть что-то знавшие о том, как готовилось покушение на президента. Брат покойного, сенатор Роберт Кеннеди, баллотируясь в президенты, заявил однажды, что если займет президентское кресло, то непременно даст указание докопаться до истины, начать новое следствие. Роберт Кеннеди не смог сдержать своего обещания. Он обрел последнее пристанище здесь же, на Арлингтонском кладбище, неподалеку от брата, так же, как и он, сраженный пулей убийцы. И в тот день, о котором я рассказываю, я видел свежие цветы на его могиле...

Кровь, жестокость, насилие... Мемориал Линкольна, могила Кеннеди...

Да что же это за страна такая, думал я, которая с такой легкостью позволяет убивать своих президентов, а потом воздает им почести? Да что же это за страна такая, которая с такой готовностью посылает своих сыновей сражаться и проливать кровь за продажных диктаторов, чтобы потом они, ее сыновья, возвращались сюда, на Арлингтонское кладбище, под звуки гимна, прославляющего Америку, в гробах, укрытых звездно-полосатым флагом?.. Что же это за страна такая...

Я оглянулся на тех, кто стоял сейчас рядом со мной, и, показалось мне, не увидел на их лицах ничего, кроме

торопливого туристского любопытства. По-прежнему щелкали фотоаппараты...

Я повернулся и пошел прочь, к выходу, назад, к Арлингтонскому мосту, протянувшемуся через Потомак. Справа вдали серой громадиной виднелось здание Пентагона. Теперь уже в душе моей не оставалось и следа того настроения, которое я испытал утром. Одиночество уже не радовало, а давило гнетущим ощущением собственной затерянности. Уже без воодушевления я думал о том пути, который мне еще предстояло проделать. К тому же я проголодался, да и усталость давала себя знать.

Я подошел к одному из передвижных лотков, чтобы купить «хот дог» или, говоря по-русски, горячую сосиску с булкой. И в этот момент кто-то весело окликнул меня. Я обернулся: автобус с табличкой «soviet writers» был тут как тут! Какой желанной и радостной показалась мне эта встреча! Словно и правда после долгой разлуки, после длительного путешествия вернулся я к родным берегам.

Кажется, по всем законам жанра тут бы и следовало поставить точку. Однако жизнь диктует свои сюжеты — события того дня еще не закончились.

Оказывается, нас уже ждали в Обществе Поля Робсона, в обществе друзей нашей страны. Когда мы приехали туда, зал, спускавшийся амфитеатром к небольшой сцене, был уже заполнен. Здесь собрались и чернокожие граждане Соединенных Штатов, и белые, и выходцы из Латинской Америки; некоторые пришли на встречу с нами целыми семьями, с детьми — молодые и старые, мужчины и женщины. Никогда не забуду той атмосферы глубокого расположения и интереса к нашей стране, чистосердечности и товарищества, которая царила в этом зале! Как чутко отзывался зал на каждое слово моих товарищей — писателей из Москвы и Ленинграда, каким шквалом аплодисментов ответил председательствовавшему на этой встрече Александру Крону, когда тот представил московского прозаика, Героя Советского Союза, в прошлом отважного разведчика, взявшего в плен не один десяток вражеских «языков»,— Владимира Карпова! Так могут аплодировать лишь те, у кого крепкие, рабочие руки и отзывчивые сердца. А с каким затаенным вниманием слушали собравшиеся рассказ Елены Вечтомовой о женщинах блокадного Ленинграда, как оживленно реагировали на стихи, посвященные Полю Робсо-

ну и прочитанные советским поэтом Джеймсом Паттерсоном, чей отец был американским негром. Кстати, тут же, на этой встрече, у Паттерсона нашлись то ли дальние родственники, то ли знакомые его дальних родственников. Были объятия, радостные возгласы, растроганные улыбки...

Ораторы сменяли друг друга, страстно, взволнованно, темпераментно они говорили о силе дружбы, о ненависти к войне, о стремлении к миру. Звучала английская и русская речь, песни протеста и строки стихов разносились над залом. Гневом наливались голоса тех, кто протестовал против нейтронной бомбы, против военных приготовлений, затеваемых современными варварами, против ядерной стратегии вашингтонских политиков.

Встреча была в самом разгаре, когда вдруг на сцене, рядом с очередным оратором, появился крошечный чернокожий мальчонка. Видно, ему надоело томиться на коленях у матери, и он, отважно прошествовав по залу, взобрался на сцену, привлеченный сверканием никелированной штанги, на которой крепился микрофон. С радостной доверчивостью он потянулся ручонками к микрофону, и зал ответил ему веселым одобрением, аплодисментами и приветственными, подбадривающими возгласами.

Кто-то подхватил малыша, обнял, прижал к себе...

Каким символичным, исполненным глубокого смысла показалось мне тогда это нечаянное появление ребенка на сцене, на той самой сцене, откуда произносились антивоенные речи, звучали призывы к миру! Словно он поднялся сюда, как посланец от всех детей Земли, чтобы обратиться к нам, взрослым, обратиться с надеждой и доверчивостью, с верой в разумное всемогущество взрослых.

Так и остался у меня в памяти этот курчавый, чернокожий мальчишка, радостно и открыто, с веселым детским лукавством вглядывающийся в лица взрослых...

Теперь, за годы, что прошли с того дня, он, конечно, уже подрос, стал старше, а тогда, в тот день, я просто записал на магнитофонную пленку голос этого мальчонки, вплетающийся в голоса взрослых. И он, этот голос, хранится теперь у меня, как самая дорогая память. Кстати, записан он на ту самую пленку, перезаряжая которую, я опоздал к нашему туристскому автобусу. Так что все-таки магнитофон мне пригодился.

ЮРИЙ СКОРОДУМОВ

Встреча на Кубе

Что за встреча была за полсвета!
Вот и здесь отыскалась родня,—
То, прищурившись, смотрит с портрета
Сам Владимир Ильич на меня.

Сразу день показался пригожей.
На большой многолюдной тропе
Я совсем не случайный прохожий
И уж вовсе не лишний в толпе.

Мы беседуем, встретившись взглядом,
И родством и сердцами близки.
Улыбались идущие рядом,
Понимая — сошлись земляки.

ЕЛЕНА СЕРЕБРОВСКАЯ

Красивые острова

Рассказ

Пароход неторопливо подплывал к зеленому острову. Внизу, у берега, клубились седые ивушки, словно мотки серебристой пряжи, свесив ветки-нити к самой воде. Подальше, на берегу, красовались три елочки с такими чистыми иголочками, что куда там изумрудам! Они стояли на пригорке, заросшем высокой некошеной травой. Пригорок был весь в ромашках, отчаянно белых, легких — под ветром они гурьбою пугливо качались то вправо, то влево. Пригорок венчала низенькая рощица, наверное, орешник, темно-зеленая, уходящая куда-то далеко, почти в небо. Солнце пронизывало все эти листья, травы и цветы, они сами светились, напитавшись его лучами. Душа отдыхала, глядя на этот островок.

На пароходе играла музыка. Какая-то песенка о парне и его милой девушке. Мария Ивановна стояла на палубе, стараясь не слушать,— слова песни ее раздражали: «Не то чтобы прекрасные, а в общем — подходящие...» В общем, подходящие — вот как мы рассуждаем! Лишь бы какого-нибудь парня к себе поближе... И все дела.

Мария Ивановна ничем не выделялась из толпы туристов, купивших билеты на этот двухдневный рейс к Красивым островам. Хорошо уложенная шестимесячная завивка, темно-синий костюм кримпленовый, простое лицо, какие встречаешь десятками. Женщина накануне выхода на пенсию — у нас ведь рано выходят,— еще не думающая оставлять работу. Спокойная русская женщина, серые обыкновенные глаза, полные добрые губы...

Спокойной она вовсе не была, просто умела держаться. Довольно внимательно поглядывала на пассажиров. Вот молодая пара. Все время вместе, никто им не нужен. Пожилой ухоженный мужчина с сигаретой в зубах, две счастливые пенсионерки на отдыхе, довольные, сияющие. Три молодые женщины, модно одетые. Хохочут, переговариваются. Одна вызывающе заявляет подругам: «Может, я без мужчины не могу...» — «Ну и заведи себе муж-

чину!» — смеется другая. Словно советует: заведи себе телевизор или собаку.

Мария Ивановна отошла подальше, на самый нос корабля. Она умела отключаться от того, что раздражает. Какие-то свои мысли пересиливали все эти впечатления, уводили совсем в другую сторону.

Музыка стихла. Такой тут был закон на пароходе: когда приближались к Красивому острову, музыку отключали, чтобы люди насладились тишиной. А вот когда пароход швартовался, то включали «Маяк», тоже музыку большей частью, чтобы туристы, гуляя по острову, слышали, куда возвращаться.

Она не в первый раз пускалась в путешествие. Это — коротенькое, а бывали и дальние поездки. Натура бродяги? Нет, не в том дело. Так уж сложилась жизнь, что поездить пришлось немало. Не по работе, совсем по другой причине. Но что об этом вспоминать, только мучаться понапрасну!

Пароход обогнул Красивый остров и снова вышел на просторы озера, широкого, как море. Заиграла музыка. Потом позвали обедать первую смену. После обеда подошли еще к одному Красивому острову. А здорово кто-то придумал этот маршрут к Красивым островам! Билеты на пароход всегда распроданы за две недели вперед. Кто хоть раз побывал, хочет снова поехать.

Этот островок был иным. На нем росло несколько высоких кудрявых дубов, а под ними почему-то было пусто, никаких кустарников. Зато в сторонке — сочные купы высокой ольхи, среди них торчали голубые луковки старой церквухи, без креста,— видно, ее давно уже использовали под мастерскую или склад. А луковки очень симпатичные, словно большие игрушки. Дальше, среди деревьев,— домики. Одноэтажные, старой постройки, но чистенькие, крашеные, дерево и кирпич, тоже приятные на вид. Поселок какой-то.

У этого острова пароход пришвартовывался. Объявили по радио три часа на прогулку. Желающие могут присоединиться к экскурсоводу, он расскажет о прошлом этого озерного края.

Мария Ивановна не пошла с группой. Она любила ходить одна. Интересно, как люди тут живут на этом островке? Телефон через озеро не протянешь. Снабжают их тоже по воде, на пароходах. Поселок невелик. Но, наверное, давний, если церковка стоит.

Она вышла к строениям и неторопливо двинулась

вдоль улицы. Жилые домики. Булочная. Продуктовый магазинчик, клуб, промтоварная лавчонка, школа. А вот двухэтажное каменное здание — интернат. Что за интернат на таком островке?

Она обратилась к старушке, сидевшей на лавочке возле дома с резными наличниками на окнах. Та объяснила: интернат инвалидов войны.

Сердце Марии Ивановны забилось учащенно. Она вспомнила поездки свои в Пермь, в Новосибирск. Больницы, госпитали, и интернаты тоже. А сюда попала впервые. А может, именно сюда-то и надо было прежде всего?

Мария Ивановна обошла вокруг здания. Заглянула разок-другой в окна. Но увидела только пустой медицинский кабинет, чистую кухню с огромной плитой да стеллажи библиотеки. Видно, окна палат все выходят во двор. А впрочем, летний солнечный день, народ на воздухе.

К дому примыкал небольшой парк. Через ограду свешивались ветки бузины с кистями ягод. Кустарники закрывали парк от нескромных глаз. За кустами было светло, деревья росли где-то в глубине парка. Голосов слышно не было.

Она должна зайти сюда! Как это раньше она не знала, что есть такой интернат на Красивых островах! Зайти, спросить...

Мария Ивановна позвонила в дверь с вывеской. Открыла старая строгая женщина в синем халате.

— Извините, пожалуйста,— начала Мария Ивановна, смутившись от взгляда этих строгих глаз.— Здесь, я слышала, инвалиды войны живут? Я хотела бы справку навести.

— Мы справок не даем,— сурово ответила женщина в синем халате.

— Но мне ничего такого. Мне просто узнать...

— Я объяснила вам, что справок мы не даем. Извините, пожалуйста.— Женщина хоть и говорила вежливо, но всем видом показывала Марии Ивановне, что отсюда следует уйти.

— Вы не можете вызвать дежурного? Или главного врача? Вот мои документы, я не с улицы... Технолог текстильной фабрики...

— Гражданка, я же объяснила вам — справок мы не даем. А главный врач в отъезде, в Ленинграде.

— Боже мой, до чего люди формалистами стали, черствые какие,— сорвалась Мария Ивановна. И сразу коль-

нуло в сердце. Она раскрыла сумочку, достала из стеклянной трубочки таблетку.— Воды-то хоть можно у вас попросить, или тоже не положено?

Женщина в синем халате не рассердилась на резкие слова. Напротив, сразу подошла к столику, где стоял графин, налила воды и подала Марии Ивановне. Та запила таблетку.

— Вы с парохода, наверное? Усталый вид у вас. Присядьте хоть на минутку.

Мария Ивановна села без церемоний. И, не дожидаясь вопроса, заговорила:

— Вы не беспокойтесь, мне же ничего особенного не надо. Мужа я ищу. Похоронки так и не было. Он не писал долго, я запрашивать стала. Пришло извещение о тяжелом ранении и номер госпиталя. Я — туда писать, а его перевели в другой госпиталь. Война уже кончилась к тому времени. Я пишу, а ответа нет. Он уехал — я в положении была, у меня дочь растет от него. Нет и нет ответа. Поехала в Новосибирск, там дали пермский адрес. Я туда, а его снова куда-то перевели. Концов не найти. А потом мне санитарка одна проговорилась, что изуродовало его сильно, обеих рук нет и ноги. И что он сам захотел в интернат, попросился, чтобы домашних не утруждать. Да разве бы он утруждал меня! Да я бы видела его, живого, говорила бы с ним, совет бы дельный он дать мог... Я искала, да когда же искать-то? Ведь и работать надо, и отпуск кончается. Потом я и у нас в Ленинграде узнавала — ничего.

Женщина в синем халате слушала ее с пониманием, как будто привыкла к таким рассказам.

— Вот и к вам я за этим. Мне бы узнать, нет ли его случайно здесь. Ведь все мы на чудо надеемся. Дочь выросла, в институте учится. Я бы порадовала его...

— Поймите, миленькая, никакие мы не формалисты. У нас тут такие находятся, которые сами от дома отказались. Сами. Зачем их мучить? Люди же они, а на вид чурбаки — война проклятая обкорнала. Ты, милая, и представить себе не можешь, какие они видом-то, некоторые. Если нижней челюсти нет — это хорошо еще, ее искусственной заменяют. Я тут третий десяток лет работаю, теперь по возрасту в вахтеры перешла. У нас и мужчины-санитары есть. У наших интернатских — гордость своя. Не хотят обременять. Здесь спокойно, чисто, накормлены, полная забота. Радио, телевизоры есть. Жить-то интересно. Узнавать, как все дальше развивается

страна наша, ведь человек не только одним своим телом живет. У кого рука осталась, так те даже писать и рисовать научились. Но ведь одна рука — ни вымыть самому, ничего. Зависимость, вот что тяжело.

— Меня то мучает, что он не поверил в нас. Мы бы и дома обмыли, одели да накормили. Неужто и мой так-таки сам не пожелал!

— Не справилась бы ты. Его же поднимать требуется, переносить с места на место. И по нужде сам не обойдется, а чистоту соблюдать надо.

— Я бы справилась, что вы говорите! Был бы он рядом. О муже заботиться — что о себе самой, ничего не трудно и не стыдно. Меня то мучает, что он не поверил в нас.

— Почему не поверил? Может, пожалел. Ты молодая была, замуж могла бы, а он как камень на ногах.

— Какой замуж! Какой там замуж, если любила я его, и сейчас сердце не пустое! И не думала замуж. Искала. Да, видно, ненастойчиво. Ну что ж, что калека, он с лица очень хорош был... Вот посмотрите...

И она протянула маленькую фотографию. А сама уставилась в лицо женщины в синем халате.

Та взяла карточку, вгляделась, потом отвела глаза. И Мария Ивановна не выдержала:

— Вы знаете его! Он тут? Скажите!

— Почему знаю?

— Да вижу же я, вижу! Ну, будьте человеком...

— Иван Иванович. Старший лейтенант. Был у нас долго. Грамотный человек, политинформации сам проводил. Радио послушает, газету я ему на подставке принесу — почитает, а потом всем докладывает. Не терзайся, миленькая, теперь уж не буду тебе врать. Полтора года как умер.

Мария Ивановна как-то вся осела, обессилела: опоздала... На полтора года... Она не плакала. С ужасом смотрела на ту, что объявила ей страшную новость. И всего-то, всего полтора года назад могла она заглянуть в его живые милые синие очи! Могла услышать родной его голос!

Неизвестно почему, но в то же самое время на мгновение она почувствовала и облегчение: теперь все, больше искать не надо. И даже что-то недоброе шевельнулось в ней к мужу: не захотел домой, не поверил в нас...

— Дело прошлое, значит, разлюбил он меня,— сказала она, поднявшись со стула.

— Эх вы, жены! Вот ничего не понять вам, пока сами в такую шкуру не попадете! Сколько раз он, когда по телевизору текстильщиц показывали, прямо-таки впивался в экран! Потому и пошел сюда, что любил. Не хотел мучить тебя.

Нет, она была несогласна. Она ушла, забыв проститься. Постаревшая, безутешная уходила она от этого белого дома, где так неожиданно закончились ее многолетние поиски. И вдруг ужаснулась своей мгновенной жестокости: как она могла хоть на секунду рассердиться на него! Всегда он заботился о ней, всегда! Война это, гитлеры это проклятые!

Издали звучала музыка — пароход подзывал гулявших по острову туристов. Пора было плыть дальше.

ВОЛЬТ СУСЛОВ

Приезжай, побратим!

Из города в город торопится ветер,
Гудит над громадами зданий.
Для дружбы границ не бывает на свете
И нет для нее расстояний.
Одна к нам на землю приходит весна,
В просторах небес голубея,
И улицам нашим даны имена
Варшавы, Софии, Бомбея.

Пусть будут цветы, и улыбки, и встречи,
Все больше друзей год от года!
А песни любых языков и наречий
Понятны и без перевода.
Ты к нам на завод приезжай, побратим!
И в школы мы сходим с тобою.
Мы встретить друзей непременно хотим
Из Дрездена, Праги, Ханоя!

Гоняя мячи, на асфальте рисуя,
Смеется веселое детство.
Давайте же, братья, мы дружбу большую
Оставим ребятам в наследство.
Пусть добрым и ясным приходит рассвет
В Москву, Будапешт и Манчестер.
Да здравствует дружба на тысячу лет
И песни, пропетые вместе!

ОЛЕГ ПОЧТЕННЫЙ

«Праздничный салют»



СОДЕРЖАНИЕ

П 39 Площадь Мира: Сборник. — Л.: Сов. писатель, 1984. — 456 с.

Сборник «Площадь Мира» посвящен 40-летию Победы, борьбе за мир, дружбе между народами. В книгу вошли произведения ленинградских прозаиков и поэтов.

П $\frac{4702010200-339}{083(02)-84}$ 107—85 ББК 84.Р7

ПЛОЩАДЬ МИРА

Сборник

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1984, 456 стр. План выпуска 1985 г. № 107. Редактор *Н. А. Милосердова.* Худож. редактор *А. С. Орлов.* Техн. редактор *Е. Ф. Шараева.* Корректор *И. Г. Клейнер.*

ИБ № 4790

Сдано в набор 22.05.84. Подписано к печати 19.10.84. М 24379. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 23,94. Уч.-изд. л. 23,56. Тираж 100 000 экз. (I завод 30 000 экз.). Заказ № 728. Цена 2 р. 10 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Набрано и отматрицировано в Тульской типографии Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109. Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

2р. 10к.


ПЛОЩАДЬ
МИРА